

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

12

2001

2001



# **ВОЛКОДАВ ПРАВ, А ЛЮДОЕД НЕТ БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ**

**В 2002 И В 2003 ГОДАХ**

**«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

**АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);**

**ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;**

**АРКАДИЙ БАБЧЕНКО. Алхан-Юрт (повесть);**

**АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);**

**СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Ты человечество презрел» (об одном классическом сюжете);**

**МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;**

**РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);**

**ДМИТРИЙ БЫКОВ. Орфография (роман);**

**АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);**

**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);**

**РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);**

**ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;**

**ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ. Фантастическая реальность:**

**Честертон, Льюис, Толкиен (сегодняшний взгляд);**

**ЕВА ДАТНОВА. Война дворцам (четыре года);**

**БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;**

**ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);**

**НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);**

**ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);**

**МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);**

**КОНСТАНТИН ЛИВАНОВ. Без Бога (записки доктора, 1926 — 1929);**

**БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;**

**ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;**

**ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);**

(См. на обороте)

**АННА МАТВЕЕВА. Восьмая Марта (повесть);**  
**АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ. К портрету Лидии Гинзбург;**  
**АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);**  
**ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;**  
**ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);**  
**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;**  
**ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Горизонт событий (роман);**  
**ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;**  
**ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак среди руин (повествование в рас-  
сказах);**  
**ВЯЧЕСЛАВ РЕПИН. Адреналин (роман);**  
**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное по-  
вестование);**  
**РОМАН СЕНЧИН. Нубук (повесть);**  
**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман); Рандеву в конце мил-  
лениума (эссе);**  
**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух  
жерновов. Очерки изгнания;**  
**ИРИНА СУРАТ. Пушкин и Мандельштам (параллели);**  
**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч (повесть);**  
**АНТОН УТКИН. Новый роман;**  
**ГЕОРГИЙ ЦИПЛАКОВ. Верлибр как интеллектуальная проблема;**  
**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Онкология как модель;**  
**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Ангел мертвого озера (роман);**

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМО-  
ЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, АНАТОЛИЯ  
КИМА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АЛЕКСЕЯ  
СЛАПОВСКОГО, МИХАИЛА ТАРКОВСКОГО, СЕРГЕЯ ШАРГУ-  
НОВА; стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА,  
АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ  
ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА;**  
статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕ-  
ВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА  
НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА НОВИКОВА, МАРИИ РЕМИ-  
ЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ГЕОРГИЯ ХАЗАГЕРОВА, МА-  
РИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

# NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2002 году: \$ 10,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 120.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.

E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»  
с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_



## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2002». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2002 года — 300 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

*Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,*

*выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

# НОВЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 12 (920)

Декабрь, 2001 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

ИЛЬЯ ФАЛИКОВ — Под перекаты вороньего грая, стихи	7
АНАТОЛИЙ КИМ — Остров Ионы, метароман. Окончание	13
МАРИНА ТАРАСОВА — Свеча в сугробе, стихи	78
РОМАН СЕНЧИН — В обратную сторону, рассказ	81
СВЕТЛАНА ЛЬВОВА — Зерно винограда, стихи	94
ВЛ. НОВИКОВ — Высоцкий. Главы из книги. Продолжение	98

### ИЗ НАСЛЕДИЯ

ИЛЬЯ ТЮРИН — Многоточие в конце человека. Из записных книжек. Публикация Ирины Медведевой. Предисловие Юрия Кублановского	137
---	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ — Новый цикл российских иллюзий. Из дневниковых записей 1985 — 1986 годов. Окончание. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой	147
---	-----

### МИР ИСКУССТВА

ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ — О языке нелинейной архитектуры	166
---	-----

### ОПЫТЫ

АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ — Последний советский поэт. О стихах Бориса Рыжего	174
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ — Отрицание траура	179

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Мария Ремизова. Суровый быт в пастельных тонах	185
Бронислав Холопов. Сквозь глазок — панорама	187
Валерий Липневич. Невозможность любви	189
Елена Невзглядова. Безвредная радость	193
Владимир Губайловский. Конец интеллигенции?	197

(См. на обороте)



## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА АЛЕКСАНДРА НОСОВА	201
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	210

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ — О партпринадлежности философа	216
ВАДИМ БАРАНОВ — Не только о Горьком	216

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	219
Периодика (составитель Андрей Василевский)	222
SUMMARY	240

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ КЕКОВУ  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «МОСКВА-ТРАНЗИТ»!**

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО СОТРУДНИКА, ПРОЗАИКА  
РУСЛАНА ТИМОФЕЕВИЧА КИРЕЕВА  
С 60-ЛЕТИЕМ!**

---

**«НОВЫЙ МИР» В «РУССКОМ ЖУРНАЛЕ»  
[http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi](http://magazines.russ.ru/novyi_mi)**

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 1700 экземпляров журнала «Новый мир».

Издание выходит при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

---

---

ИЛЬЯ ФАЛИКОВ

\*

## ПОД ПЕРЕКАТЫ ВОРОНЬЕГО ГРАЯ

\* \*  
\*

Один от Золотой орды, другой от рыжей бороды,  
а ты откуда, брат?  
Оттуда, где ни ост, ни вест  
не поставляют нам невест,  
оттуда, где ни вест, ни ост  
ни денег в долг, ни счастья в рост  
бродяге не сулят.

А посему направь копьё на городское воронье,  
орущее навзрыд.  
Пускай заглохнет хоть на миг,  
пока среди гранитных книг  
ты скоробогатеем стал —  
твой непомерный капитал  
на кладбище нарыт.

Отбрось лопату, водку пей среди светящихся теней.  
Они и сами пьют.  
Есенин пьёт, Высоцкий пьёт  
за сто цветочниц у ворот.  
Пока людей хоронишь ты,  
живородящие цветы  
приходят, слезы льют.

Земля трясется и дрожит, могилу роет Вечный Жид,  
похоже, для себя.  
Его надежды — прах и тлен,  
старик ярится, как чечен,  
за невозможностью уйти  
с высокогорного пути,  
себя не истребя.

### Илиада

Гнев воспой, богиня, Ахиллеса,  
грозный и губительный, который  
стоил столько крови и железа,  
что бомжары, стоя под конторой  
в очереди к мрачному Аиду,



в сотый раз обнюхали друг друга,  
 в сотый раз на памятник Атриду  
 помочилась отчая округа  
 и, стеклопосуду на обиду  
 поменяв, завывла как белуга.

Для чего молчал я больше года?  
 Для того ли, чтобы Илиада  
 вновь ко мне приставила уroda  
 в центре Александровского сада?  
 Там, где чем-то тише рукоделья  
 заняты береза да осина,  
 тенью друга, как из подземелья,  
 возникает эта образина,  
 только стань с глубокого похмелья  
 с парой пива возле магазина.

Там, пока всему причина — баба,  
 ветреница, лгунья и подлиза,  
 производят лошади Зураба  
 омовенье бешеного низа.  
 Я пленен фонтанной гигиеной,  
 деньги, слава, гидра и химера  
 в чистоте содержатся отменной —  
 все отмыто в прачечной Гомера.  
 Вижу некий свет за ойкуменой.  
 Где-то за Бореем, для примера.

Оттого, что есть всему причина,  
 на горе, достаточно высокой,  
 мыслит совоокая Афина,  
 соревнуя Гере волоокой,  
 о международном равновесье, —  
 ревностью к учению пылая,  
 засвищу в родное поднебесье  
 соловьем, воспитанным на лае,  
 о русоволосом Ахиллесе,  
 о русоволосом Менелае.

И о том, что жизни настоящей  
 в предстоящей жизни будет много,  
 сребролукий, дaleкоразящий  
 возвестит плейбой в наряде бога.  
 На суде Париса некий послух  
 в облике моем, бронзоволицый,  
 скажет, что устал сидеть на веслах  
 в море, где летят из-за границы  
 ослепить пигмеев малорослых  
 журавли, эпические птицы.

### Песенка

Под широким деревом  
 дождь пережить,  
 о своем потерянном  
 больше не рыдать,

видеть много наново  
писанных картин,  
вместо пива пьяного  
пить ранитидин.

Ой, душа народная  
очень широка,  
просто полноводная  
матушка-река,  
где купаться хочется  
летом и зимой,  
хочется и колется,  
да пора домой.

Дома стены белые,  
бывший березняк,  
все родные целые,  
нету доходяг.  
Нетуту непрошенных,  
никаких таких  
купленных и брошенных,  
вечно молодых.

\* \*  
\*

Только флоксы остались одни  
в бабьелетние дни —  
остальные ушли без названий.  
Только иней оденет — мохнат —  
угасающий сад  
и подымет паром над баней.

Бабье лето вступило в права —  
эта баба трезва  
как стекло и предельно прохладна  
к обожателям вроде меня,  
ибо корм не в коня,  
конь беззуб, да и с кормом неладно.

А когда побегу в магазин,  
тормознет лимузин  
перед носом, залают собаки,  
из тени выйдет спонсор: — Ты где?!  
Ищешь блох в бороде?  
Бабье лето — в обмен на дензнаки!

Наконец-то. Устал тебя ждать.  
Я и зиму додать —  
не припрячу — сумею в придачу.  
А когда про лучину споем,  
умолчу о своем.  
О своем я уже не заплачу.



Не потрачу уже ни копыя,  
 на халяву пия  
 самограй, знаменитый в народе,  
 от которого в зимнем саду  
 за полкана сойду  
 и за пугало на огороде.

\* \*  
 \*

*Памяти Бродского.*

Академик Саврасов застрял на Хитровке.  
 Тонет редкий прохожий в воронке метели.  
 Ни огня кочегарки, ни белой головки,  
 ни дворовой вакханки в пуховой постели.  
 Леденеет пространство пустой Третьяковки.  
 В Третьяковке бесптичь: грачи улетели.

Беспробудно уснувшему нет интереса  
 раскричаться во сне о превратностях века.  
 Ни высокие гости, ни желтая пресса  
 не возникнут, излишние, как ипотeka.  
 Микрофильмами Библиотеки Конгресса  
 обернулась прибудная библиотека<sup>1</sup>.

Перемолоты старые книги машиной,  
 золотые обрезы померкли во мраке.  
 Мировое скитальчество нитью единой  
 серебрится в руках у ткачих на Итаке.  
 Академик Саврасов на туче грачиной  
 видит сквозь эпикантус последние знаки.

Ни спортивного бега, ни быстрой пробежки  
 в магазин на углу к ослепительной цели.  
 Днесь повеет, в отсутствие славы и слезки,  
 венециейской лазурью из мраморной щели.  
 Слышишь: бухает рядом на нарах ночлежки  
 чье-то слабое сердце. Грачи прилетели.

### **Пробуждение в Трубчевске**

*Борису Романову.*

Не хоронят. Некогда. И некому.

*Даниил Андреев.*

Густо растут на березах вороны,  
 гроздь ворон,  
 черные вдовы, крошечные кроны,  
 гул похорон.  
 Под перекаты вороньего грая  
 в отчет пиру,  
 систематически в ящик играя,  
 вряд ли умру.

<sup>1</sup> Библиотека сибирского купца Юдина, с которой произошло то, о чем здесь говорится.

Стан половецкий шумит в конопели  
издалека.  
Или высокую гору без цели  
точит река.  
Или, затмив соловьиное пенье,  
солнце встает  
в польском полоне, в гремучем шипенье  
пойменных вод.

То ли стихи сочиняет Мазепа,  
хрипло шепча,  
то ли выходит из княжьего склепа  
дух трубача.  
Лебедь собора шипами утыкан  
диких цветов,  
и на столпе усыхающий Тихон  
к взлету готов.

Под перекаты вороньего грая  
возле столпа  
князь умыкает, попа убивая,  
дочку попа.  
Перемахнув через горы и реки,  
старый бандит  
сооруженьем Изюмской засеки  
Русь оградит.

Стоило в древние дебри нагряться,  
в эти края,  
в круглое озеро искоса глянуть —  
в глаз бытия.  
Скифская конница в месиве ила  
сумрачно спит.  
Брежит над озером тень Даниила  
в громе копыт.

Здесь мы учились на лодке кататься,  
чтобы впотьмáх  
по средиземной лазури скитаться  
в рабских трюмах.  
Шайку возглавить, вернувшись из плена  
через века.  
Жемчугом метит прибрежная пена  
край сосняка.

Только успею вернуться с поминок,  
в городе груш  
вновь проведут на невольничий рынок  
тысячу душ.  
Ибо в тумане уснули ополья,  
дрыхнут дворы,  
пряча в кургане тупые дреколья  
и топоры.

В делях трясут разъяренные туры  
киевский стол.

В черную яму юхновской культуры  
рухнул костел.  
Плачет зегзицей пролетная панна,  
вянет вдова  
крупного землевладельца Бояна —  
сохнет трава.

\* \*  
\*

Свищут, блещут косы. Веет сеном.  
О существованье драгоценном,  
равном драгоценному созданию,  
разразиться опусом программным,  
восхититься восхищеньем, равным  
восхищенному существованью.

Неопубликованным, забытым  
хорошо запрятаться за бытом,  
совершенно не литературным.  
Хорошо лежать в траве забвенья,  
улаждая орган слухозренья  
платиновым небом и латунным.

Слушай, из какого драгметалла  
жизнь моя сначала состояла?  
Почему лежит копейкой ржавой  
на зеленошелковом откосе?  
Блещут косы. Дело в сенокосе.  
В голубых зарницах над канавой.



---

---

АНАТОЛИЙ КИМ

\*

## ОСТРОВ ИОНЫ

*Метароман*

### ЧАСТЬ 4

**П**исатель А. Ким, которому Я поручил записывать этот роман, вдруг по непонятным мне причинам потерял всякий интерес к работе, он просто начал открыто манкировать, скучать и даже зевать, сидя за рабочим столом, на котором стоял включенный компьютер. И вид у светящегося экрана дисплея был какой-то потерянный, унылый и безнадежный, и очень часто на нем стали проявляться таинственные предупреждающие сигналы, которых бедняга писатель никак не постигал...

Мне кажется, ему стали неинтересными все человеческие истории. Его начала охватывать оторопь от ничтожества всех так называемых гениальных открытий, откровений, общих идей и частных мыслей тех самых человек, которые в человечестве — времен присутствия А. Кима в нем — считались самыми великими. Какие там великие! — вдруг вскрикнул он однажды, припрыгнув на своем стуле, — ведь их даже не видать на земле, никого не видать уже с первого уровня Онлирии!

Ах, неужели почтенный А. Ким как-то незаметно для меня сошел с дистанции раньше срока и смог самостоятельно просочиться в Онлирию? Может быть, он и действительно помер во сне, о чем неоднократно просился в молитвах? Но что бы там ни случилось, у меня пока нет никаких особенных сведений о нем, лишь стало известно, что писатель шлет мне мысленное прошение о том, чтобы ему было разрешено в данном романе перейти из разряда авторов в уровень персонажей, сиречь действующих лиц. То есть он не хотел больше быть сочинителем, а желал стать сочиняемым, что ли... Ну хорошо, допустим, Я это ему разрешу. А роман, роман-то кто будет за него оканчивать? Пушкин, что ли? Или мне самому садиться за компьютер?

Ревекка и Андрей-Октавий, выйдя из жизни, решили пройти пешком по всей Западной и Восточной Сибири, дойти до Берингова пролива, а затем, когда пролив зимою замерзнет, по льду перейти на американский материк и отправиться по нему дальше. Но им удалось добраться только до бассейна реки Енисей, до болотистой таежной Страны Пяти Тысяч Озер, которая находится за синеводной Каменной Тунгуской.

Это путешествие, длившееся почти семьдесят лет, они вынуждены были прервать из-за одной роковой ошибки, допущенной в тунгусском краю, и вернуться вспять по времени и надолго задержаться в лепрозории Жерехова. Их тогда захватили в тайге как беглецов из лагерной зоны, но ни в каких побеглых списках оба не числились, к тому же у Андрея Цветова обнаружилась глубокая проказа, поэтому их по-быстрому отправили особым этапом в лечебницу для прокаженных.



Он и Ревекка проникли к тому времени сквозь семь десятков особенных лет для Российской империи, ставшей советской, благополучно избегав встреч с несколькими поколениями ее граждан, и, не имея никакого представления о том, что происходило с Россией за все это время, однажды летом вдруг почувствовали ностальгию по человеческой жизни и решили выйти к людям. Желание это настигло их в дичайшей таежной равнине Пяти Тысяч Озер, где было настолько безлюдно, что казалось, от сотворения здесь не возникало человеческого духа и это не Сибирь, а некая иная планета, никогда не знавшая человека. Именно там они и набрали на стойбище тунгуса и решили на этот раз людей не сторониться, а пойти с ними на контакт.

Захар-Семен, старый тунгус, имевший также двойное имя (одну зиму у его матери было два мужа, промысловики из русских, соболятники Захар и Семен, после них родился мальчик, которому и дали двойное имя), ничуть не был удивлен, когда обнаружил при свете костра двух людей, стоящих перед ним. Он лишь спокойно перевел в их сторону взгляд узеньких своих глаз и уставился на пришельцев из ночной тьмы.

Затем улыбнулся и молвил:

— Бабы надоели хуже комара. Решил ночевать тайга.

Это было произнесено лесным человеком невольно после тех событий в Советской (бывшей Российской) империи, которые нарушили весь ее установившийся постреволюционный исторический уклад. Но об этом живущий за четыреста километров от самого ближайшего поселка тунгус еще не знал, поэтому и сам ничего не мог рассказать интересного гостям, а, наоборот, с любопытством воззрив на них и стал ждать интересных новостей. Но люди из таежной ночной тьмы молчали, ни о чем не способные поведать одинокому тунгусу, ночующему у костра. Поэтому Захар-Семен еще на многие годы остался в неведении, что за новая перетряска произошла в великой империи.

Тут и вышла ошибочка со стороны Андрея, которая отбросила его и Ревекку по времени назад лет на шестьдесят и привела их в Жереховский лепрозорий. Октавий-Андрей посчитал, что, так долго проведя на полной свободе безлюдия в сибирских дебрях, ни разу за все это время не соприкоснувшись с другими людьми, тщательно избегая городов и весей, не нуждаясь в пище и тепле, он с Ревеккой вместе обрел и прямую, и косвенную независимость от человеческого общества. Расстрелянный офицер, он считал, что имеет право на подобную независимость от людей. А теперь, пожалуй, можно и встретиться с ними, все простить друг другу и наконец-то сесть рядышком и спокойно поговорить о жизни — для Андрея тунгус у костра был всем человечеством в одном лице, широким, как лопата, с выпуклыми каменными скулами.

— Ты ничем не болен, братец? Здоров ли ты вполне? — молвил первое он после стольких лет перерыва в общении с людьми. А ведь Андрей хотел произнести обычное приветствие, которое в простонародии звучало бы: *Здорово, брат!* — или что-нибудь в этом роде.

Но разулившийся даже приветствовать людей, бывший белый офицер, расстрелянный красноармейцами, но не погибший, а постигнувший состояние Высшей Свободы, совершенно невзначай задел в сердце замершего на месте тунгуса самую уязвимую точку. Ибо Захар-Семен вместе с двумя своими женами был болен проказой и очень давно ушел от жизни людей в немыслимую глушь Пяти Тысяч Озер, под самый Полярный круг на севере сибирской лесотундры. Шаман, первым распознавший в нем болезнь, сказал ему, что этим болеют верхние люди, те, что давно перекочевали на небо, и она там лечится, а на земле, если кто заразится ею от духов, нет никакого излечения.

— Не болеем, кажись, а сразу стали, с моими женками вместе, как верхние люди, мать честная, — несколько смутившись, ответил тунгус, плохо умеющий врать.

— И вы тоже? — обрадованно воскликнул Андрей. — Мы ведь такие же! Совсем как верхние люди. И много сейчас стало таких?

— Не знаю, однако, — пряча глаза, молвил Захар-Семен. — Кочевали сюда очень давно. В бегах живем.

— И мы в бегах живем. Уже лет семьдесят, наверное.

— Ка-аво! Семьдесят? Такие старые уже! А почему такие молодые?

— Какие уж есть. Ведь ты же сам сказал: как верхние люди... Вот мы и стали такими.

— Ишь как оно выперло по вашей-то, паря... У нас по-другому... похуже будет. Мы не молодеем, однако. А чего вы кушаете? — взволнованно спрашивал тунгус. — Чего пьете?

— Ничего не кушаем, — был ответ. — Питаемся только солнцем, воздухом. Пьем, правда, воду. А вы что, разве едите пищу?

— Спрашиваешь! — отвечал тунгус. — Рыбку едим, оленину помаленьку, морошку и бруснику. Черемшу лопаем, спасает от цинги, мать честная.

— Это значит, что в твоём, равно как и в нашем, положении принимать обычную пищу не возбраняется, — сделал вывод Октавий-Андрей, ошибочно предположив, что встречный туземец у костра однозначно является преобразенным существом из Онлирии, по каким-то личным соображениям также вернувшимся в физическую жизнь.

— Покушать хотите, мать честная, — сделал вывод и тунгус, по-своему воспринявший информацию пришельца. — Тогда пойдем в мой дом, раз вы такие же, как и я, мало-мало верхние люди. Дам покушать. Муксуна варят нынче мои женки.

Он привел путников в свой низенький дом, снаружи земляной, дерновый, а изнутри бревенчатый — домик на маленьком холме. У очага шевелились две согнутые фигуры, женские, старые, — и по запаху из котла, в котором они помешивали темными палочками, можно было определить: готовят еду из рыбы. Очень давно не пользуясь пищей для поддержания жизни, наши онлирские путешественники почти забыли, как пахнет вареная рыба, и густой дух свежей ухи, заваренной на зеленом диком чесноке, потряс их души мощной гармонией радостных, живительных звериных чувств.

И они захотели есть горячую, душистую уху, и ели ее, и во время еды почувствовали возвращение в их тела давно забытых земных свойств и состояний. Образовавшаяся тяжесть в желудке способствовала восстановлению в туристах из верхнего мира чувства счастья при сытом, вполне благополучном существовании на земле, и на глаза их стали наворачиваться слезы умиления. Все ведь это было забыто! Лет семьдесят обходились они без такого неприродного человеческого понятия, как «счастье», потому что оно есть лишь людское сравнение — при наличии у них чего-то, хотя бы сытой пищи в желудке — с тем, когда этого самого наличия полное отсутствие или очень немного: еды, тепла, прохлады, воздуха и воды, звезд над озером, повисших одна против другой.

Они не захотели остаться в Онлирии, потому что там нельзя было им обняться, даже поцеловаться, и вернулись в пространство Онлирской Сибири, чтобы иметь возможность прикоснуться друг к другу губами в поцелуе или просто руками, помогая перепрыгнуть через поваленное дерево или, как в самом начале *бессмертного* путешествия, — при них еще был живой конь, — подсаживая Ревекку в седло или лоя ее, когда она со счастливым смехом валилась с этого высокого седла в объятия Андрея. Но по пути лошадь умерла от старости. Поцелуев и всяких других прикосновений, коих хотелось женщине и мужчине, полюбивших друг друга, испробовано было неисчислимым множеством. Постепенно и это сошло на нет, само собою прекратилось, перестав ощущаться из-за бесконечного их повторения, околевшую лошадь оставили прямо на черном льду какого-то зимнего озера, там, где настиг ее конец, а сами онлирские невозвращенцы направи-

лись дальше... И никто ничего отнять у них не мог, поэтому они постепенно забыли о пронзительной радости человеческого счастья, которое не есть видимая вещь жизни, но всегда является тенью окончательной и беспредельной утраты.

И вот, наскучившись без обычных человеческих радостей, которые ежедневно доступны были даже безобразно состарившимся бабам тунгусского таежного обывателя, Андрей и Ревекка приняли из их рук деревянные долбленные блюда с горой наваленной, дымящейся паром рыбы. Они стали есть — и пища земная, в которой гости не нуждались раньше, теперь буквально их потрясла. И даже показалось — Ревекке? или Андрею? — что хорошая пища земная, на которую для одних живых тварей идут другие живые, — еда человеческая ничуть не хуже, чем их любовь земная, телесная, тесно соприкасабельная, непременно забирающая всю устремительную силу мужского нетерпения в нежное лоно женского притяжения.

И только насытившись губительной земной пищей, они заметили — сначала Ревекка, она толкнула под локоть Андрея и глазами указала ему на вытянутые к огню руки одной из тунгусских старух, та зажимала ими дровяное полено, собираясь забросить в огонь, — и на этих руках были не пальцы, а какие-то белые огрызочные култышки...

Старуха тунгуска поняла, что загадочные гости совсем некстати узрели последние признаки ее болезни, которая изнутри ее вылезла через пальцы рук, по пути обглодав по паре суставов — на этих ее прекрасных пальчиках, которые в пятнадцатилетнем возрасте девушки были белыми, с атласной кожей, с длинными, утончающимися к розовым ногтям кончиками. Руки юной тунгуски были столь красивы, что даже она сама порой не выдерживала и, наклонившись, дружелюбно целовала их, по очереди поднося каждую к своим вытянутым толстеньким губам. А теперь, на последних шагах смертоносной болезни, уже самостоятельно собиравшейся покинуть художное, бесполезное для нее тело, старая таежница с жалостью и умилением вспоминала красоту своих девичьих рук, от которой остались одни лишь воспоминания да обглоданные болезнью култышки вместо пальцев. И вот печальное безобразие вдруг заметили гости, о которых широкоскулый, узкоглазый хозяин поведал женам, что это верхние люди, что им вдруг захотелось отведать вкусной земной пищи, ибо надоела им пресная небесная еда, намешанная из клочков белых, серых и розовых облаков.

Андрей и Ревекка вполне уразумели, что таинственные первопричины всех явлений и дел во всех мирах, во всякое время, где только появляются люди, на этот раз подвели их к весьма странной немилости — или к испытанию, либо к кармическому наказанию — и они должны были заразиться самой мрачной болезнью через принятую из рук прокаженных приготовленную ими пищу. Молча покинув земляную кубическую хижину тунгусских отшельников, расставшись с хозяевами, не глядя им в глаза и не сказав ни слова, Ревекка и Андрей вынуждены были уйти вспять по времени между таежными озерами — самым извилистым путем, какой только может быть на земле, — туда, где их уже давно ждали.

Но в том же году, когда Ревекка с Андреем попали в лепрозорий к Жерехову, тот был арестован и увезен в неизвестность — его не было на месте семнадцать лет, и все это время Ревекка ухаживала за своим больным супругом, который постепенно превращался в неузнаваемо-жуткое существо с лвиной мордой, а сама она старилась и толстела вновь приземленным телом. Однако лицом оставалась она юной и прелестной, гнедые волосы не седели, пребывали все такими же роскошными, но однажды новое начальство приказало ей коротко остричься и накрывать голову больной косынкой. Вернулся Василий Васильевич, и волосы длинные ей вновь разрешено было иметь...

Обо всем этом рассказала Ревекка писателю А. Киму после того, как однажды, в непредвиденный час, весь поселок лепрозория мгновенно исчез — и больше уже не вернулся назад. Переселение в иной мир *по-жереховски* произошло наконец... Колонии с ее «швейцарскими домами» как не бывало. Остались стоять втроем посреди зеленой лесной поляны — долго-вязый принц Догешти в голубой венгерке, старая дама с молодым лицом и буйным водопадом темно-рыжих волос и писатель А. Ким, не желающий больше быть автором этой книги, а желающий стать одним из ее героев.

Узнав о том, что Ревекка, пользуясь своим СВОБОДНЫМ выбором, теперь хочет вернуться к осенней ночи 1921 года, чтобы снова встретиться с преображенным Андреем-Октавием и повторить все путешествие через Сибирь, А. Ким стал чуть ли не заискивающе проситься, чтобы ему разрешили сопровождать их. Ревекка без всякого противления легко разрешила ему это. А у меня писатель так и не счел нужным спрашивать! Хотя Я, собственно говоря, не препятствовал бы и даже охотно разрешил столь необычный литературный ход — любопытно было, что с этого получится...

Таким образом, в движении времени у Ревекки с Андреем трижды получались «мертвые петли», закрученные: 1) вокруг земляного дома тунгусов; 2) с 1937 года вокруг лепрозория Жереховых; 3) возврат в двадцать первый год, после преображения Андрея, и начало нового — взамен старого, вычеркнутого в небытие, — повторного выхода на бесконечный путь в сторону востока солнца.

У писателя получалось со временем еще сложнее, пожалуй. А. Ким должен был проникнуть вместе со своими новыми друзьями за порог собственного рождения, почти на двадцать лет до него. Задача была архисложная, но сердце отважного не дрогнуло, он временно расстался с любезным для него принцем Догешти, отправив его одного к тунгусской хижине, чтобы он дожидался экспедицию именно в той точке пространства, а сам стал усиленно работать над текстом, осторожно выискивая наиболее верную схему для проникновения во времена, предшествующие его рождению.

При повторной встрече с тунгусской семьей прокаженных Андрею с Ревеккой надлежало исправить ту небольшую ошибку, из-за которой они оказались отброшенными почти на семь десятков лет земного времени назад и вынуждены были «крутануть петлю» во весь свой первоначальный маршрут по Сибирской Онлирии. Ошибка заключалась в том, что они поддались соблазну жизни и не удержались от желания отведать свежей ухи из муксуна. Уже было сказано, что аромат ухи обладал могучей силой и гармонией жизнотворного начала и мог пробуждать, словно волшебная музыка, в душах, давно оставивших земной мир, совершенно неодолимую ностальгию по человеческому *счастью*.

После исправления роковой ошибки онлирцев наша экспедиция к острову Ионы должна была быть продолжена. Предложено было присоединиться к ней Андрею и Ревекке, ибо последняя, как было передано ей через А. Кима, являлась далеким потомком китоспасаемого Ионы. Найти пращура, встретиться с ним и заключить его в объятия было бы ей очень даже лестно. К тому же она должна была унаследовать от него капитал, равного которому еще не было на Земле за всю ее историю. Но об этом позже.

Итак, по исправлении сценария судьбы Ревекка, Андрей-Октавий и примкнувший к ним писатель А. Ким (с голубем за пазухой) и принц Догешти, который *повторных* семьдесят лет смиренно дожидался экспедиции возле дернового домика тунгусов, — все четверо дружно отказались от приглашения отведать Захар-Семеновой ухи. И тут же, несмотря на подступившую ночь, отправились дальше, раздумав останавливаться на бивуак. Старый тунгус, ничего не понявший, растерянно смотрел им вслед, сидя возле своего костра и куря длинную кривую трубочку из можжевелевого корешка.



Он размышлял, каким это образом так могло получиться, что странные гости, *верхние люди*, лишь вчера приснились (тогда их было, правда, всего двое), а сегодня вот снова приснились, но на этот раз явились вчетвером. От рыбы отказались и мгновенно улетучились в черную тайгу. Таким образом, повторное семидесятилетнее путешествие онлирских туристов относительно тунгуса Захара-Семена прошло всего за одни сутки.

Он сидел возле догорающего костра, опустив тяжелые припухлые веки на глаза, в которых возникали, сменяя один другого, странные образы посетивших его верхних людей. На коленях его лежала холодная потухшая трубка, и старый тунгус трогал уродливым огрызком большого пальца оглаженный до блеска чубук, совершенно не ощущая предмета, словно можжевелевая палочка была из того же неощутимого материала, что и зыбкие сновидения всей его жизни. А уже на другой день старик, имевший на лице маску отупевшего полусонного льва, совершенно забыл про эти расчудесные сны.

Дорог никаких через эти присаянские таежные дебри не имелось, ночная Страна Пяти Тысяч Озер была густо населена тысячами тонн летающих кровососущих насекомых, которые прекрасно ориентировались как в темноте влажной ночи, так и в эфирном пространстве, а вновь помолодевшая пара онлирцев с писателем и румынским принцем вкупе вынуждены были двигаться по черной тайге с вытянутыми вперед руками, боясь долбануться головой о дерево. Это были напрасные опасения верхних людей, спустившихся вниз, так как твердый нижний мир не мог войти в соприкосновение с ними и свободно пропускал их сквозь себя, словно электронные волны, — однако совсем не видя вокруг ни зги, наши путешественники, еще не забывшие, как в грубой жизни набивают шишки себе на лоб, продвигались вперед с большими предосторожностями.

Кровососущие насекомые в нарушение всех законов физики и метафизики обнаруживали их в темноте, всей миллиардной *камарильей*, с inferнальным воем нахлобучивались на головы и наваливались на виртуальные фигуры путешественников. И вскоре онлирцы, сиречь верхние люди, были сплошь облеплены поверх своих эфирных тел мошкаррой и комарами. Так что через некоторое время представляли собою мохнатые чудища одинакового вида: дымящаяся *мошкарильей* голова, растопыренные руки, над кончиками которых, над каждым виртуальным пальчиком, как будто взвивается струйка дыма. И растерянно моргали дырки глаз, в которых поблескивали испуганные зеркала души. Но уже очень давно путешествуя по Сибири, наши опытные онлирские землепроходцы мужественно и совсем немучительно преодолевали выпадавшие им на пути тяготы и лишения.

Писателю А. Киму на седьмом десятке лет также вдруг пришлось поворачивать вспять, отъехать вплоть до своего дня рождения, а затем и откатиться еще дальше, минус лет на двадцать, — с тем, чтобы начинать вместе с Ревеккой и Октавием-Андреем повторный исход из мира революционных убийств в сторону блаженного острова Ионы. Выяснилось, что *до своего рождения* А. Ким, оказывается, пребывал в состоянии очень независимого СВОБОДНОГО духа, и этому амбициозному духу вовсе не хотелось влипнуть в человеческое прокисшее сусло и становиться писателем А. Кимом. Но Высшая Воля всегда неисповедима, она распорядилась таким образом, что через двадцать лет А. Ким все-таки должен был появиться на свете — хотел он этого или не хотел, — наспех внедренный в только что родившегося в одной корейской семье младенца. Он увидел свет в старореческом селе Сергиевка, что в Южном Казахстане Российской империи, и хранителем его, значит, стал *ангел Сергий*.

И до своего рождения, как было уже сказано, А. Ким в качестве независимого духа сопровождал повторный исход Ревекки и Андрея. А в день своего рождения наш писатель вынужден был разделиться, раздвоиться.

Одна часть, вырядившаяся в синий джинсовый костюм, продолжала сопровождать поход онлирцев наравне с двумя его участниками, а другая, как это и было предписано судьбой, для начала приняла вид орущего краснолицего младенца.

Виртуальный и безвозрастный, джинсоодетый А. Ким плелся по западносибирскому бездорожью, незаметно держась за хвост темной лошадки, на которой ехала Ревекка, а тем временем ребенок А. Ким стал брать материнскую грудь, сосать молоко, расти в теле, марать пеленки, зевать и пукать, орать как оглашенный, при этом хитро поглядывая на незнакомую матушку сквозь щелочки сведенных век. И уже прискорбно сожалея, что сам напросился на это монотонное, бесстрастное, невнятное путешествие, похожее на бессмысленный перекур небытия, А. Ким вневременный пытался забыть о самом себе, а младенец А. Ким, лежа посреди лужайки в пеленках, испуганно оглядывался на шатавшуюся под ветром траву, вслушивался в далекие тяжелые шаги командора, закатывал глаза и старался увидеть то, что творится внутри его собственного черепа. И он продолжал удивляться обилию ватных облаков в небе, мастурбировать в постельке, хохотать и шмыгать носом, подтягивая сопли, свисавшие из ноздрей на верхнюю губу, — а затем, обмерев от удивления, однажды услышал чей-то мужской голос, произносивший: *Ребенок принес мне горсть травы и спросил: что это?*

Но, оказавшись там, во времени, в котором его еще не было, — заявившись туда из будущего в потрепанном джинсовом костюме, — он в духе своем ревниво сохранял для себя тот образ одежды, который был модным в его время жизни. И на всех дорогах Онлирии он всегда появлялся в «джинсе» — синих тесных брюках и коротенькой, на талии заканчивающейся куртке с отстроченными желтой ниткой нагрудными карманами. Дивились Андрей с Ревеккой, одетые соответственно своему времени в шерстяное сукно и льняное полотно, на эту грубую хлопковую ткань, крашенную в дикий цвет индиго, толстую и колом стоящую, как дерюга, — могло же людям прийти в голову такое: шить из нее одежду! На что писатель деликатно, снисходительно, слегка даже презрительно отмалчивался, не находя нужным объяснять спутникам, что о таком великолепном одеянии он мечтал всю свою бедную молодость, да так и не сбылись его мечтания — молодые годы его пришлось на такое грустное время, когда в Стране Советов американская джинсовая одежда была большой редкостью и стоила бешеных денег. Итак, хотя бы двадцать лет до своего рождения похожу в суперкостюме фирмы «Lee», если уж не придется в двадцать реальных молодых лет покрасоваться в них! — решил А. Ким, горделиво оглядывая свою одежду и затем, для сравнения, — дорожную экипировку спутников.

Так и шла двумя параллельными дорогами его жизнь-матушка: по одной двигался он к своему великому будущему пенсионному возрасту, шестидесятилетнему юбилею, — писатель А. Ким, а по другой вместе с прекрасным молодым человеком благородной наружности и с не менее прекрасной и благородной девушкой шел он по дорогам Сибирской Онлирии в сторону далекого острова Ионы. Там, там надлежит им встретиться и соединиться наконец друг с другом!

Есть некая легкая недоуменная печаль в том, что ты присутствуешь в мире, в котором тебя еще нет, — точно так же, наверное, весело-и-грустно в мире, где тебя уже давным-давно нет, думал А. Ким, следуя позади лошадки, на которой ехала по-бабьи ссутулившаяся, пригорюнившаяся Ревекка. Она снова была молода, пышноволося гнедыми непокорными патлами и прекрасна, как и должно было быть ей в свои восемнадцать классических лет. Стан ее, обтянутый темно-вишневым, в черную крупную клетку шотландкой платья-амазонки, обвязанный еще и пестрым турецким полушалком, — женский стан даже в своем согбенном и унылом со-

стоянии молодо и чувственно раскачивался и пружинил над высоким казачьим седлом, уверенно попруженным широкими бедрами. Хороша задница у девушки, размышлял будущий писатель еще лет за двадцать до своего рождения, следуя позади лошади, держась за ее хвост, которая не видела и даже не чуяла этого.

Разумеется, перспектива семидесятилетнего путешествия, предстоящего всем троим, не могла не вогнать А. Кима-виртуального в состояние легкого ступора воли, и душевное самочувствие *еще раз* идущих на восток его спутников также было сложным. Но ведь это были не обычные земные пилигримы, рассчитывающие свое паломничество через жизнь какой-то арифметической суммой земных годов, — нет, расчет путешественников Онлирии зиждился на неоглядном времени, притекающем по жемчужному туману *дожизни* — и как молния пробивающем земной мир, чтобы улететь далее вперед и в небеса, оставляя после себя глухой рокот и затихающие раскаты грома. И они не роптали на свою судьбу.

Ведь только *человеку-разумному-бессмертному* во Вселенной дозволено было прогуливаться пешком по дорогам времен туда и обратно, летать по воздуху без крыльев над бесконечными просторами разных миров, раздвигаться и проживать свою жизнь в двух совершенно разных вариантах... Только ему дано волшебное оборудование слов, с помощью которого он, смешной и трогательный, с лохматой пиписькой между ног, может построить под звездами красивый Дом и целое царство вокруг него, где присутствует постоянное добродушное невидимое веселье, звучит смех любимых тварей Господних — тех, от которых Он навсегда убрал смерть, как хозяйка убирает тряпку после мытья полов в Доме.

Итак, повторное путешествие до тунгусской хижины уже совершилось, на этот раз, как сказано, путники не стали заходить в земляную-бревенчатую избу аборигенов, зараженных губительной лепрой особого вида, при которой у человека либо у больной страны не только кожа изъязвляется в свою глубину неодолимой лютой паршой, гниют государственные мышцы, ломаются кости, дряхлеют державные устои, а лицо накрывается маской льва, — но и отваливаются конечности, уши, нос, отпадают кусками целые республики, и человек под конец остается без движения, без ума и без своего человеческого обличия, а через имперское тело перестает проходить электрическая энергия *Бессмертия*. И утративший эту силу человек внезапно прозревает наглое преступление жизни, в нем рождается жажда мести и самому себе, и всем подобным себе, получившим от Бога жизнь. Он весь содрогается от омерзения к ней и, укрыв под балахоном лицо, оставив над заслоненными рукой устами одну лишь узкую щель для глаз, готов страшным, замогильным голосом кричать на всю Вселенную: *нечист! нечист!* — испытывая при этом особенную мазохистскую радость.

Мы все имеем возможность отправиться вспять по времени — если только захотим, — каждый из нас сам себе проводник, один и тот же во все времена, вожатый самому себе, всегда имеющий возможность навесить давно умерших отца и деда (то есть самого себя), побывать последовательно в их трех жизнях, всякий раз отдавая всю ее до последнего вздоха делу, скажем, освобождения прокаженных от вероломной и тяжелой тирании жизни-смерти.

Постепенно писателю стало ясно, что остановка экспедиции в лепрозории Жерехова, встреча с Ревеккой и возвращение вместе с нею вспять в двадцатые годы (когда самого А. Кима на свете еще не было) имела свой скрытый смысл. Потом новое путешествие с ними через всю советскую эпоху вплоть до того вечера — огненно-багрового над облитого фиолетовыми чернилами туч предночной тайгой, — когда они отказались от приглашения Захара-Семена войти в его дом отведать вареной рыбы и, быстренько забрав с собой румынского принца Догешти (что терпеливо прождал своего сочи-

нителя, отстояв на том самом месте, где ему велено было стоять, несколько десятков мистических лет), уже вчетвером отправились дальше.

Остановка в пути имела тот смысл, что каких-нибудь три четверти века для *безсмертных* не имеют никакого значения. А для тунгуса Захара-Семена их появление всего лишь было сновидением, повторявшимся в продолжение двух ночей подряд, когда он, наскучившись со своими старыми женками в доме, ночевал в тайге. Перед ним приплясывал огонек костра, дыша на него теплом, и от чувства одиночества его отвлекали многочисленные вши, копошившиеся на нем и покусывавшие спину. Но для писателя, прожившего всего шестьдесят лет и все это время продрожавшего в страхе за свою шкуру, такие гигантские скачки-зигзаги и петли Нестерова во времени — с заходом даже в его преджизненную эпоху — могут означать только одно... Это как вручение ему Нобелевской премии Неба — акта дарения величайшей личной свободы. СВОБОДЕН! — объявляется ему с небес торжественно и весело, по-королевски милостиво.

Да, отныне он СВОБОДЕН — быть в составе экспедиции на остров Ионы или не быть, оставаться ли автором романа или окончательно стать лишь одним из персонажей своей собственной книги. И, шагая в ночной тайге с вытянутыми вперед руками, чтобы только не захватить лбом в дерево, — в аналогичной неуверенной позиции продвигались во тьме леса и остальные спутники, — А. Ким окончательно определился, кем он хочет быть. Отныне он будет только одним из персонажей этой книги, наравне с остальными, а летописцем экспедиции он больше не хочет быть, потому что ему уже давно надоело это занятие — писать книги.

Глубочайшая удовлетворенность всем, что только выпало ему на долю, разлилась в сердце писателя; маленькая неудовлетворенность была лишь в одном — в том, что, побывав в верхних людях Онлирии и вернувшись вниз на землю, он мог только видеть своих новых друзей-спутников, но прикоснуться к ним или обнять их никак не мог. Они все были неощутимы для его рук, словно воздух, равным образом и коллеги по экспедиции не могли бы дотронуться до него.

Утро следующего дня застало их идущими по лесу, озаренному невероятным светом пробившегося сквозь тучи солнца. Солнечная доброжелательность, такая же невесомая и бесплотная, как они сами, но столь же убедительно визуальная, как и их обличия, разноцветно загорелась ярким пламенем на ветках и листьях деревьев, на росинками обрызганной паутине, на сияющих белых крыльях молчаливо летящей над лесом пары журавлей.

Болотистая дикая лесотундра Страны Пяти Тысяч Озер вся засверкала, как пять тысяч осколков упавшего наземь небесного зеркала, и мгновенный всплеск ослепительного расколотого света был отражен и отброшен, выплеснут пятью тысячами солнечных зайчиков на повисшие у края небес свинцовые тучи. Они тускло залоснились на своих округлых боках и дружно издали всеобщий глубокий вздох удовлетворения. Еще один день земного мира, имеющий столь краткую видимость, в первый и последний раз воссиял в лучах взрывающейся звезды.

Экспедиция приблизилась как раз к тому месту, где совсем недавно упал комок другой, давно взорвавшейся звезды — от него-то деревья тайги полегли ровными рядами по всему кругу, ногами к месту его падения и головами в разные стороны.

Одна из жен тунгуса Захара-Семена, та, от которой заразился проказой Октавий-Андрей, в детские годы слышала от своей бабушки, что как-то поздним вечером, когда она возвращалась из гостей домой, наступил среди ночи яркий день в тайге, и бабка успела при свете этого дня увидеть белочку на дереве, испуганно сжавшуюся в комок и сверкавшую глазками, уставленными в сторону внезапного солнца, заметила под ногами какую-то лесную канаву и перепрыгнула через нее, нагнулась, чтобы подтянуть



на обуви развязавшийся ременный шнурок, — и лишь вслед за этим бабка услышала такой страшный грохот, какого никогда еще не слыживала. Далекая потухшая звезда, приславшая привет другой, стремительно потухающей, как раз предупреждала последнюю, что это только с виду кажется безобидным процессом — остывание звезды и покрытие ее твердой коркой, на которой может образоваться жизнь, — но что вслед за тем, как звезда совсем остынет и вроде бы станет выглядеть вполне безобидной, она может вдруг неожиданно взорваться, как бомба замедленного действия в жизненной оболочке...

Впрочем, это уже к моему повествованию не относится — судьбы и жизни звезд, планет и астероидов нас пока не волнуют, их дружба и вражда, взаимное тяготение и отталкивание нами здесь не рассматриваются. Я провожу свою экспедицию возле места падения Тунгусского метеорита, о чем ее участники даже и не догадываются, — пусть Совсем Свободные Люди спокойно следуют дальше дикими просторами Восточно-Сибирской Онлирии в сторону Тихого океана. Моя экспедиция и *те*, которые прилетали на так называемом Тунгусском метеорите, — они разошлись как в море корабли, ну и замечательно, баста...

Я оставил мертвое пространство и перенесся прямо к дверям одного американского квакерского колледжа, где учится тот, который интересуется меня как один из будущих участников экспедиции на остров Ионы. И пока наш писатель, довольный своим решительным выбором, неведомо чем занимается в русской части экспедиции, мы уже без него проследим и запишем события американской стороны.

Ее продвижение к острову Ионы совершалось в обратном направлении, нежели то, которое избрала русская группа с участием А. Кима, окончательно решившего стать одним из героев данной книги. Отпускаю его на свободу где-то на просторах Восточной Сибири, на недостроенной, законсервированной, одичавшей трассе БАМа, и пусть он гуляет себе, довольствуется участием в путешествии, совершаемом совместно с румынским принцем Догешти, онлирцами Ревеккой и Андреем — господами, ранее им же самим придуманными, и за пазухой у писателя ворохается и коготками поцарапывает кожу живота его почтовый голубь, далекий потомок сизаря Кусиреску. А мы пока вернемся к американцам.

Будучи выходцем из немецкой семьи старинных переселенцев из России в Америку, Стивен Крейслер традиционно знал русский язык, он с детства неосознанно говорил по-русски, как и многие его родственники по мужской линии, — Крейслеры еще времен Екатерины Великой целенаправленно осваивали русский язык и бережно передавали его потомкам из поколения в поколение. Напоминаю, что прапрадед Стивена в компании с Толстым-Американцем пересек мировой океан и внедрился в США, Наталья же Мстиславская была творческой волею А. Кима отправлена назад по времени и выдана за румынского цесаревича, потом, через несколько веков, снова была водворена, в конце двадцатого века, в город Олбани, что недалеко от Нью-Йорка.

Здесь мы застаем ее на кухне у одного профессора-астронома, старенького холостяка, который дал рабочее место приходящей домработницы своей способной, но необеспеченной студентке. Где ее знатные русские родители, почему она бедна и одинока и где остальные родственники девушки, нам неизвестно, впрочем, и старому профессору также, да и это было совершенно неинтересно ему. Он и своей-то родословной не совсем представлял: немного итальянского, немного еврейского и хорватского, чуть-чуть шведского — вот и все, что знал он насчет своего американского происхождения.

Русская девушка, пожелавшая учиться у него астрономии погибших звезд, оказалась весьма способной и трудолюбивой, она вскоре из домашней работницы профессора стала в его большом нелепом коттедже

подлинной домоуправительницей, которая полностью вела хозяйство. Могла толково править сама собою да уборщицами по вызову два раза в неделю, готовила еду и стирала в старой шумной машине профессора — и это все Наталья Мстиславская, из княжеского рода. Но вскоре профессор Энгельгардт Поларая выбил для студентки в университете место своей ассистентки и ввиду экономии времени и средств предложил ей жить в его доме, существенно увеличив при этом сумму заработной платы. И в первую минуту состоявшегося по этому поводу разговора девушка вначале обрадовалась, но потом вдруг призадумалась и уже в следующую минуту вежливо отказалась от нового предложения профессора. Он пожал плечами и ни о чем не стал ее расспрашивать, но, когда пришло время в очередной раз выдавать зарплату, Энг Поларая передал ей в конверте столько денег, сколько он обещал платить за новую должность. Девушка обнаружила это, находясь уже вне профессорского дома, она вернулась и молча положила на столик перед профессором, с унылым видом сидевшим на кухне, всю разницу и также молча удалилась. И потом никогда больше не переступала порога его дома, а вскоре по невозможности оплаты учебы оставила университет, так и не успев защитить диссертацию по определению космического происхождения знаменитого Тунгусского астероида.

А профессор Энгельгардт Поларая к семидесяти годам, уже после выхода в отставку, заболел болезнью Альцгеймера, был увезен в лечебницу и кончил свои дни на земле в состоянии глубокого маразма. Погибшие звезды, астрономию которых он представлял в мировой науке одним из самых первых, вновь ушли от него в забвение, утратили свои звучные имена, словно бы их никогда и не было, а про русскую девушку с именем Наталья больной Энг так ни разу и не вспомнил, годами сидя на одной и той же больничной кровати и мерно раскачиваясь взад-вперед.

Молеальный дом квакеров находился недалеко от профессорского хауза, на территории колледжа, квакерского же, в котором учился юный Стив Крейслер, и как-то Наталья Мстиславская случайно зашла на мирный, простодушный и наивный, словно детская игра, митинг сектантов, ей там понравилось, и она стала ходить туда часто. На эти собрания Наталья продолжала ходить и после того, как отказалась от предложения, собственно говоря, руки и сердца старого одинокого профессора. Не то чтобы он не нравился Мстиславской, мне кажется, он ей очень даже нравился, таким от него веяло спокойствием, молчаливой уверенностью в том, что все погибшие звезды, свет от которых продолжает лететь к Земле, и еще живые — только что начинающие взрываться — небесные тела имеют право на одинаковое внимание к себе. И он бестрепетной рукой вносил в звездные атласы и те и другие — подлинные небесные тела и световые призраки. Он лишь обводил последние черными кружочками, получившими среди астрономов название *траурных венков Поларая*.

Он расположил к себе сердце юной студентки тем, что часто приглашал ее в свою домашнюю обсерваторию и предлагал полюбоваться в телескоп на звезды-призраки, угасшие уже тысячи лет назад, но которые ничем не отличались от остальных — живых — и могли сиять с небес ничуть не менее ярко, восторженно и заманчиво. Поэтому-то она и сама вся восторженно просияла, когда профессор предложил ей из домработниц перейти в его ассистентки и жить у него дома. Но в тот момент, когда она готова была радостно согласиться, голова ее как бы внешне чувственно отделилась от тела, плавно вынеслась сквозь стены дома и взмыла к небесам. Это душа ее на миг покинула землю, вознеслась высоко — и с огромной высоты оглянулась назад и не увидела никого, ни одного человека на земле, даже себя самое. Тогда стало понятно Мстиславской, что имя ей Никто, и, кроме этого имени, ничего-то у нее нет на свете, и сходиться со старым человеком для того, чтобы вместе с ним спать в одной постели, под одним одеялом, ни в коем случае ей не нужно.

В тот день на квакерском собрании она оказалась рядом с незнакомым молодым человеком, который как огорошенный оглядывался вокруг себя, и в то время, как остальные неподвижно и безмолвно сидели на стульях, прикрыв глаза, положив руки на колени, юноша вдруг заелозил на месте и громко произнес:

— Мне только что был голос: «Стивен, ты должен заработать полмиллиона долларов, положить их в банк и жить на проценты...»

Но погруженные в молчаливую молитву квакеры никак не отозвались на это сообщение юноши, оставались сидеть, держа руки на коленях, опустив веки или даже совсем закрыв глаза, и тогда сосед Мстиславской продолжил в молитвенной тишине:

— А еще мне было сказано, чтобы я построил свой дом и жил в нем.

После службы Стивен Крейслер и Наталья Мстиславская разговорились, узнали друг от друга об общих российских корнях, ушли с собрания вместе, но, расставшись на углу улицы, больше уже не встречались. Мстиславской, все еще увлеченной астрономией умерших звезд, совершенно неинтересен был молодой человек, которому высший дух повелевал заработать пятьсот тысяч долларов и построить свой дом. Они больше никогда друг друга не искали, каждый из них был глубоко забыт другим — но вот однажды Стивену приснился сон в его собственном доме, который он построил-таки, и приснилась ему эта однажды встретившаяся ему в Америке девушка. Однако вполне возможно, что это было не сном, а чем-то совсем иным.

Когда жизнь по возрасту и по благополучному исполнению всей жизненной программы существенно приблизилась к завершению, Стивен Крейслер оглянулся и увидел, что он точно исполнил то самое предписание, которое в молодости прозвучало внутри его уха приятным мужским голосом: он заработал и положил в банк предначертанные полмиллиона и стал жить в своем собственном доме на окраине Олбани. Семейная жизнь у него не сложилась, хотя в Риме предположительно у него должен был быть сын, рожденный от итальянки, после развода с ним уехавшей в Италию... Итак, глухой ночью явилась к нему в спальню не эта бывшая жена Стивена Крейслера, а та почти незнакомая русская девушка, которую он встретил однажды в молодости. Она была в точности такую, как в день их встречи. Многочисленные крупные веснушки, обсыпавшие ее хорошенькое личико, словно птичье яйцо, были не только не припудрены, а умело подчеркнуты розовым гримом, наложенным на верхние веки и окраины скул, — собственно говоря, если бы не эти милые веснушки, Стивен и не узнал бы вновь, после столь давнишней, единственной встречи, Наталью Мстиславскую. Она явилась как раз в тот миг, когда спящему Стивену Крейслеру снилась его бывшая жена-итальянка, и он, проснувшись, довольно дружелюбным тоном молвил ночной гостье:

— Как это вы сумели войти в мой дом? Впрочем, я могу предположить, что сон мой продолжается. Или кто-нибудь из нас двоих только что умер и получил Большую Свободу... И теперь может гулять за пределами своей жизни, где хочет. Даже по чужим снам.

— А что, без этого никак нельзя? Ну, получить эту вашу Большую Свободу — по-другому нельзя?

— Не умирая, что ли? Я не знаю... Но мне кажется, что нельзя.

— Можно, мистер, можно! — улыбнувшись, возразила Мстиславская. — Вот я же пришла к вам СВОБОДНО, а я не помню, что мне пришлось умирать.

— Тогда, возможно, это я сам? Хотя тоже не помню... Я бы, наверное, что-нибудь да и заметил, что-то почувствовал бы?

— Разумеется. Совершенно ничего не заметить нельзя.

— А вы, мисс? Каким образом вы получили Свободу, если вы не...

— ...Очень холодно было... это я помню... Я плыла по холодному морю. Почти доплыла до острова. Я была черной собакой с длинными височными ушами. Когда плыла по морю, уши мои плыли по воде рядом с моей головой.

— Как и почему вы... черная собака... оказались в море?

— Того я не знаю. А вам разве известно, почему вы оказались здесь?

— А что за остров был, к которому вы подплывали?

— Это остров Ионы, возле Камчатки. Я почему-то должна была быть там. Наверное, я упала в море с проходящего мимо японского китобойного судна. И вот, когда я совсем замерзла в холодной воде, мне почему-то вспомнились вы...

— Но позвольте, черная собака — и вы? Как это прикажете понимать?

— Наверное, я была превращена в черную собаку. Или внедрена в нее.

— Кем? За что?..

— Не знаю. Словом, я вспомнила про вас, про то, что вы говорили на молитвенном собрании квакеров, и подумала: а получилось ли у него заработать полмиллиона и построил ли он свой дом? То есть вы, мистер... мистер...

— Крейслер. Стивен Крейслер.

— И вот в следующее мгновение я оказалась здесь, у вас, мистер Крейслер. Извините, что в такое позднее время.

— Значит, вас «внедрили» в черную собаку... А меня вот никто ни во что не внедрял... Как закончил университет, так и поработал юристом в нескольких крупных фирмах, затем открыл свою адвокатскую контору... Я честно заработал свои деньги, осуществилась и моя американская мечта... Но меня никто никогда ни во что не превращал.

— О, бедный мой американский мечтатель! Не надо печалиться. Сейчас и вас подвергнут превращению, как и меня... Это делается просто, с помощью Слова...

— В результате чего вы, мисс...

— Мстиславская.

— ...вы, мисс Мстиславская, снова оказались молоды. Я же перед вами — больной, полудохлый старик.

— А вы посмотрите на себя в зеркало.

— И... что?!

— Просто подойдите к зеркалу и посмотрите на себя. Кажется, вас превратили... в самого себя, мистер Крейслер, — но помоложе...

Через несколько минут после этого разговора два полупрозрачных силуэта поднимались по длинному, отлогому автомобильному пандусу к зданию университета — потихоньку шагнули они с крыши высоченного коричневого небоскреба, похожего на воткнутую в клумбу колбасную палку, и зашагали по воздуху. Отныне в Америке они были свободны от трудов зарабатывать доллары, чтобы тратить их, — много зарабатывать, чтобы много тратить. Я освободил их от этой суровой американской повинности и направил к Тихому океану, на запад, в сторону острова Ионы.

Они не видели меня, как видел Я их, и, даже не заметив того мгновения, когда были выведены мной из зоны жизни — нижней земной жизни, — преспокойно зашагали по небу аки по суше, в оживленном разговоре распознавая друг друга... В нижней зоне жизни вышло так, что эти люди только однажды встречались, в молодости своей, поговорили совсем немного и жизнь до старости прожили друг без друга. И если бы не моя воля, так бы и преспокойно умерли в общем порядке, а встретились бы они в Онлирии или нет, это еще вопрос.

Америка — огромная страна, я имею в виду Соединенные Штаты, и неспешным образом проходить над нею, разглядывая сквозь толщу воздуха ее поистине бескрайние просторы, было делом захватывающим. С высот Онлирии наши герои вполне удостоверились в том, что их страна и на самом деле могущественна и прекрасна. Оба они были патриотами, но из



них двоих более патриотичной предстала Наталья Мстиславская, потому что она, шагая по ровным перистым облакам над каким-то равнинным центральным штатом, вдруг приостановилась и, обернувшись к следовавшему за нею Стивену Крейслеру, стала чуть ли не с угрожающим пафосом восклицать, тыча пальчиком вниз, в прореху меж облаками:

— Америка! Это Америка!

О чем-то глубоко задумавшийся Стивен Крейслер от неожиданности словно запнулся о завиток облака и, качнувшись, выехал за его край метров на тридцать сразу. Склонив лысоватую голову, он вгляделся в этот провал под ногами — и где-то очень далеко, на самом дне, различил словно наклеенные на желто-бурой плоскости равнины ярко-зеленые, абсолютно круглой формы заплаты.

— Но это же фермерские поля! — сообразив, воскликнул Стивен.

— Да, поля! — с прежним пафосом, высокопарно продолжала Мстиславская, вдохновенно глядя в глаза спутнику. — Американские суперрациональные поля! Автоматизированная распашка земли по кругу! Ведь мы кормим хлебом весь мир!

— Кормим, конечно... — усмехнулся он. — Заваливаем всех дешевым хлебом, а их собственный заставляем закапывать в землю.

— О, мистер Крейслер, да вы, я вижу, не патриот своей страны! Вы что, коммуняка?

— Нет, я квакер. В политику не лезу. Но в молодые годы работал юристом в одном хлебном синдикате, и я видел, как это делается.

— А я всю свою молодость прожила в бедности. Очень часто и куска хлеба не было. Мои родители были эмигрантами из России. Маленькими детьми их вывезли сначала в Европу, потом они выросли и перебрались в Америку. Пытались всю жизнь снова подняться наверх, но так и не выкарабкались. Мой отец, потомок князей, был таксистом. Я жизнь прожила в прекрасной Америке, глядя со стороны, как в ней прекрасно живетя другим. Словно во сне все это было! Но никто не виноват, что так у меня получилось, такая была моя карма, не так ли, мистер Крейслер?

— Называйте меня просто Стив. Ведь мы уже снова, кажется, стали молодыми.

— Это мы только кажемся такими. А на самом деле... ах, мистер Крейслер... Стив... Как же это снова можно стать молодым, если молодость давно уже прошла? жизнь пролетела, как сон?

Тем временем спутники пересекли долину полупрозрачных перистых облаков и вышли на воздушную территорию сплошной облачности. Облака в ней шли чуть пониже уровнем, но были столь плотны, что уже ни пятнышка не проглядывало снизу, и ровная тускло-серая пустыня тянулась до самого едва заметно искривленного, страшно далекого края небес. И вдруг над этой войлочной пустыней плотной облачности появился быстро летящий одинокий самолет. Длинный ряд иллюминаторов вдоль его фюзеляжа отсвечивал вечернее солнце, отчего казалось, что в самолете начался пожар и он исходит изнутри огненными брызгами.

— Интересно, люди там видят нас или не видят? — сказала Мстиславская после того, как воздушный лайнер исчез вдаль и гул его двигателей стих. — Когда мне приходилось летать в самолетах, я любила смотреть в окно на землю, на облака. И мне всегда казалось, что я вот-вот увижу какие-нибудь похожие на людей существа, заоблачных жителей. А вам так не казалось?..

— Признаться, нет. Я всегда помнил, что за бортом пятьдесят градусов холода по Цельсию. И что человек тяжелее воздуха и на него воздействуют силы гравитации. Да и теперь, несмотря на всю очевидность этой нашей прогулки, я не представляю того, что мы и на самом деле существуем и что нас даже могут увидеть из пролетающего самолета... Дайте вашу руку.

— Но ведь вы уже проверяли это.

— А вдруг что-нибудь изменилось... Я настолько отчетливо вижу вас, и эти поля, и холмы облаков, эти провалы меж ними, похожие на реки и озера, а вон там, внизу, вижу другие поля, те, что на земле, и я знаю, знаю, что это действительно Америка, штат, может быть, Невада. Так почему же это я могу видеть все вокруг, но ни до чего дотронуться не могу?

— Вы просто не успели еще привыкнуть к этому, Стив, оттого и психуете. Поначалу это меня тоже беспокоило, но затем прошло. Ах, как это замечательно! Ведь не только ты не можешь ни до чего дотронуться, но и до тебя ни одна собака дотронуться не сможет! Простите, я не вас имела в виду... а тех, которые почему-то обижали меня и презирали, когда я просто хотела заработать у них немного денег.

Как будто наметилась теперь симметрия в том, что уже две пары двигались — и по верхнему, и по нижнему этажам земного мира — навстречу друг другу, одна пара с запада солнца на восток, другая с его востока на запад, вослед солнцу. Как же было приятно двум путникам, направлявшимся по небу Онлирской Америки на запад, в сторону водного Тихого океана, вдруг встретить на высоте сереньких кучевых облаков одиноко парящего меж ними молодого Икара, Дедалова сына, которому его отец смастерил первые на земле искусственные крылья, способные поднять в воздух человека посредством его мускульных усилий. Долго спорили Наталья и Стивен, Икар ли это на самом деле или кто другой, — бывший адвокат сомневался, считая невозможным столь большое перемещение во времени и вместе с этим не веря в реальность мускулолетного аппарата. Романтичная же патриотка своей страны ничего невозможного в том не видела и была уверена, что в ее великой Америке такие пустяковые проблемы давно решены — доказательством тому являются, мол, и эта встреча с мифическим сыном Дедала, и все те необычайные перемены, которые произошли и в них самих. Одно только свободное перемещение по воздуху — не учитывая даже факта их чудесного омоложения — должно было убедить, по мнению девушки, какого угодно скептика в абсолютном всемогуществе американской науки и культуры слова. И Стивен сдался, не стал спорить с нею, и они решили просто приблизиться к окрыленному юноше и попытаться заговорить с ним на каком-нибудь языке. Стивен Крейслер кроме английского знал русский и немецкий, а Наталья еще немного знала древнегреческий.

Но когда они сместились к краю большого, широкого облака, по которому шли (для передвижения пешком в воздухе ногам онлирцев нужна была все же хоть какая-нибудь, пусть и самая эфемерная, опора), предполагаемый Икар, совершавший в окне чистого воздуха, меж тучами, сложные воздушные эволюции, то бишь голубиные кувыркания «через хвост», складывая крылья и запрокидываясь на спину, а потом и перевертываясь в салто-мортале через голову, — крылатый пилот завершил очередной кувырок, завис в воздухе и оглянулся на оклик. Но подлетать к ним не стал, а, наоборот, плотно прижал крылья к телу и стрелой, чуть наискось, помчался вниз. Обескураженные таким финалом встречи с человеком в небе, спутники лишь молча сопроводили взглядом его стремительное удаление к земле.

— Наверное, чем-то не понравились мы ему, — предположила Наталья, вздохнув грустно.

— Я думаю, он просто испугался, — возразил Стивен.

— Чего бояться Икару? Тем более нас. Ведь он же понимает, что для таких, как он, гениев, научившихся летать автономно, и для таких, как мы, туристов, пешком разгуливающих по облакам, не существует никаких проблем. Мы ведь ничем никому не можем угрожать — нам тоже! И под нами демократическая Америка!

— Но, может быть, это был вовсе не Икар?

— Кто же тогда — нагой, прекрасный, в сандалиях, в фиговых листочках, с длинными локонами, с привязанными к плечам крыльями?

— Ну, предположим, такой же, как и мы, любитель гулять по небесам — человек, получивший Большую Свободу.

— Тогда зачем ему избегать нас? Нам обоюднo было бы интересно о чем-нибудь потолковать, не правда ли, мистер Крейслер?

— Например?

— Хотя бы выяснить, как это удалось Дедалову сыну настолько далеко продвинуться во времени после своего падения, то бишь после своей смерти?

— Наталья, а может, это мы смогли каким-то образом задвинуться так далеко назад в пределы «до своего рождения»?

— И что? Мы теперь в античности?

— Вполне может быть.

— Какое странное ощущение... И замечательное. Просто упоительное! Стивен, я вижу, я понимаю теперь... Все, что *будет* у меня в жизни, все, из-за чего я в конце концов умру, это так замечательно! Просто гениально! И даже то, что я буду одно время проституткой, и то, что стану изучать астрономию мертвых звезд, — это ведь действительно гениальное сочетание в судьбе одной женщины!

— И мне ни о чем не надо будет сожалеть: все мы, оказывается, родились от умерших звезд, тех самых, которые ты изучала в своем университете. Черная дыра извергает всех нас, и мы от рождения своего всего лишь призраки тех, которых не знаем и которые остались там, за черной воронкой. Поэтому никто не виноват в том, что он так дико одинок в жизни, — иначе и быть не должно.

Стивен, ты не должен быть недоволен той жизнью, которая у тебя была, внушала Наталья своему спутнику, — не то чтобы недоволен, отвечал он, но мне очень жаль, что все так получилось и я самым жалким образом потратил жизнь на то, чтобы осуществить еще одну американскую мечту.

Я не поняла, Стив, так мы в античности или нет, то Икар перед нами промелькнул или какой-нибудь современный герой-левитатор? Я тоже не совсем понял, Наталья, но несомненно одно: мы с тобой вышли за пределы наших дней на земле и далеко, очень далеко унеслись.

Однако хотелось бы знать, в какую сторону — где это я оказалась: до своего рождения или после смерти? Но разве ты умирала, Наталья, разве ты явилась ко мне в комнату — после своей смерти? Не знаю, Стив, я совершенно не припомню ничего такого, что хоть каким-нибудь образом приблизит меня к разгадке... а с тобою что произошло? О, со мною все было ясно и классически просто, я заболел той самой болезнью, которая приходит: а) от жуткого постоянного страха перед чем-нибудь; б) от чувства стыда и вины за свою жизнь; в) от обиды на людей, — и когда в клинике мне все объяснили, я попросил перевести меня на домашний режим, с тем чтобы уход за мной и необходимые процедуры совершала приходящая медсестра. В одну из ночей, после ухода сестры, ты и пришла ко мне.

Бедный Стив Крейслер! Ты тяжело страдал, наверное... Нет, не так тяжело, Наталья, ведь мне разрешили инъекции ЛСД, и я постоянно был под их воздействием. О, куда меня не уносило, кто только не заявлялся ко мне! И вот однажды явилась ты... Так откуда ты пришла? Не знаю, Стивен, темный провал у меня между этим, когда я пришла к тебе, и последним воспоминанием, которое сохранилось в памяти.

Какое же это последнее воспоминание, можешь рассказать? — Конечно, могу, ничего тут нет такого... Я находилась в богадельне, я была уже старая. После ужина в столовой, куда я добиралась самостоятельно, мне захотелось немножко побыть на воздухе, и я спустилась в лифте на первый этаж, вышла на открытую веранду и немного посидела в креслице, любуясь на повисшую в небе, сбоку от какой-то черной заводской трубы,

круглую луну. Потом мне захотелось спать, и я вернулась в свою палату, легла на кровать... Вот и все. Может быть, Стивен, я умерла во сне? — Что ж, вполне допустимый вариант, Наталья, но все же хоть что-нибудь еще ты должна была запомнить...

Да, запомнила следующее. Когда я перед тем, как лечь, заплетала в косички свои волосы, а они у меня были густые, пышные, хотя и седые, как снег белые, — кто-то сзади постучал мне по плечу, причем довольно бесцеремонно и даже больновато, — жесткими, как палки, негнушимися пальцами по костлявому моему плечу... Я невольно вскрикнула и обернулась, передо мной были вы, мистер Крейслер, — был ты, еще молодой и светловолосый, Стив, каким я запомнила тебя с той единственной нашей встречи в молодые годы. Ты улыбнулся мне и затем исчез, растаял в воздухе.

Ну и что дальше было? — А дальше — ничего... попросту не узнала тебя, ведь я успела все забыть, ты меня совершенно не заинтересовал при жизни, о тебе, кажется, никогда и не вспоминала, да и чем ты мог заинтересовать меня, девушку с русской душой, неужели своей святой американской мечтой насшибать полмиллиона долларов... — Ну хватит, хватит, дорогая моя, сколько еще будешь долбить меня своим острым русским клювом по моей американской макушке, там скоро дырка будет. Можно подумать, что я-то тебя вспоминал каждый день... хотя, если сказать по правде, я тебя все же вспоминал... не часто, временами, с какой-то грустью несвершенности, сожаления, утраты. Когда ты явилась в мою одинокую берлогу, которую я выстроил, как думал, по указанию Святого Духа, но — оказывается — для того лишь, чтобы умирать там от рака, я ведь сразу узнал тебя по твоим коричневым конопушкам, которые ты не только не замазывала пудрой, но еще и подчеркивала розовым гримом, наложенным на окраины скул и надглазья.

О, Стив, ты запомнил, какой у меня был грим!.. — Да, он делал тебя очень привлекательной, Наталья, твое лицо было пестрым, как сорочье яйцо, но при этом таким милым и очень-очень даже сексуально привлекательным, и ведь ты сама знала, наверное, что это так? Конечно, Стив, мне еще мой профессор в университете комплименты делал в том духе, что мои веснушки напоминают ему угасшие звезды в космосе, целая галактика угасших звезд, представляешь? и мне надо, мол, каждую свою конопушку тщательно исследовать на предмет галактического происхождения и классифицировать ее — так шутил со мной профессор Энгельгардт Поларая...

Что с нами произошло, Наталья, почему оказались мы здесь, куда идем по серым этим облакам, два никому не видимых путника на туманной дороге? — Мы идем, Стив, в сторону Тихого океана, на запад, два никому не видимых в туманной толще путника, а с нами произошло то самое, о чем начинали поговаривать уже в пору нашей молодости и что модно было называть *выходом за пределы своего «я»*.

И где же мы оказались, выйдя за пределы своего «я»? — Да в небе над Америкой оказались, ты же видишь, Стив, — ну хорошо, я понимаю, что это стало возможным благодаря словам, они ничего не весят, с их помощью можно уйти за пределы чего угодно... однако как понимать такое, Натали, что не только душа, но и тела наши вдруг обрели абсолютную Большую Свободу? — Какие еще тела, Стивен Крейслер, ведь ты попробовал уже взять меня за руку, обнять за талию — что-нибудь получилось у тебя? — Ничего не получилось, да, и я убедился в том, что мы теперь совершенно эфемерны; однако почему это я снова и снова наполняюсь грешной похотью, когда вижу сексуально привлекательные веснушки на твоём хорошеньком личике, похожем на сорочье яйцо, ну как это прикажешь понимать?

Так, разговаривая и подшучивая друг над другом на ходу, они перемещались среди сумрачных туч в сторону острова Ионы со скоростью надви-

гающейся на северо-восточный регион Тихого океана пасмурной погоды, обеспеченной серой массой колоссального циклона, скрутка которого в спирали многотысячекилометровой сплошной облачности как раз совершалась вокруг того места, где находились наши американские путешественники. В это время русская часть экспедиции, продираясь через тайгу по другую сторону океанической линзы, скоро должна была выйти на берег Охотского моря, и над головами идущих по саянской тайге путников проносился дымчатый шквал облаков того же могучего циклона.

В центре этой замкнувшейся в гигантский круг — и в дальнейшем заворачивавшейся в часовую пружину более мелких витков — облачной спирали находился остров Ионы, к которому с двух разных сторон устремились организованные мной экспедиции, американская и русская. И одну Я отправил по облакам циклона, которые стремительно несли на себе двух американцев к острову, словно гигантский механический эскалатор, и наша путешествующая парочка неспешно шагала по нему, хотя могла бы преспокойно стоять на месте и подкатиться к острову на самодвижущемся транспортере грозовых туч.

Вот уже и заканчивается — а может быть, уже и закончился — двадцатый век от Рождества Христова, всеобщее ожидание конца света что-то затянулось, ничем не разрешившись, и Я по-прежнему нахожу все обычные *безсмертные* признаки в благословенном нашем мире неизменными, неприкосновенными. По-прежнему все, что подчинено закону смерти, благополучно умирает, а человеческие жизни, полностью подчиненные словам, все так же сначала звучат, звенят, щебечут, лепечут, бубнят сквозь легкомысленный любовный смех за стеной, под скрип кровати, потом стихают и замирают в недолгой паузе и снова всплескивают в веселом оживлении... и вдруг окончательно смолкают, тонут в мертвой тишине, которая представляется такой могучей, что уже и с трудом верится в возрождение в ней нового слова — или воскресение старого, отзвучавшего... Я никогда раньше не беспокоился о том, что слова, собираемые и хранимые мною по Вышнему повелению и передаваемые дальше людям, могут быть утеряны или выброшены за ненадобностью. Мне всегда было приятно, что человек, в особенности русский человек, хочет жить, питаясь словами, — за это Я и любил его. Но что это? В последние времена — или и на самом деле настали Последние Времена? — самые блистательные словесные комбинации, бесподобные перлы стиля, самая замечательная огранка алмазов русской поэтической речи остаются граждански неоцененными и отечественно не востребованными. Редкостные бриллианты сыпаются вместе с пыльным строительным мусором в разболтанные кузова самосвалов и увозятся неизвестно куда...

Но ближе к делу! — возвратим наше внимание к продвижению экспедиции на остров Ионы. В русской группе с участием А. Кима стало вдвое больше людей, чем в американской, состоящей из квакера Стивена Крейслера и его знакомой Натальи Мстиславской; не надо еще и забывать, что за пазухой у писателя, отказавшегося быть летописцем этой бесподобной экспедиции, сидит почтовый голубь, далекий потомок знаменитого румынского почтаря Кусиреску.

Знала ли американская Наталья, что в далеком прошлом она была, под тем же именем, румынской царицей и что спустя несколько столетий ее царственный супруг Догешти движется навстречу ей в составе русской части экспедиции? Скорее всего ничего такого она не знала, ведь рожденные словом, а не кровью памяти не имеют, — *эта* Наталья Мстиславская не только была вышвана к словесному существованию спонтанной фантазией А. Кима, но еще и отправлена — после очередного отбытия ее земного срока — на несколько веков назад и выдана замуж за румынского принца. После его ранней смерти при всеевропейской эпидемии инфлюэнцы царица Наталья родила ему престолонаследника, по малому возрасту которо-

го назначались часто сменяемые регенты, плелись вокруг трона бесконечные интриги, созревали тайные заговоры и в конце концов совершился дворцовый переворот и сменилась правящая династия. Что стало с законной царицей и с ее сыном — в тексте А. Кима не указывается, и, выпустив из внимания лет триста, Я увидел ее на многолюдной улице в Москве. В дальнейшем, как уже известно, он по моему наущению отправил ее вспять по времени, выдал за румынского принца — к вящей радости и восторгу румын, очарованных ее красотой, встречавших царскую невесту непрерывными плясками на всем пути следования свадебного кортежа — от границ Румынии до самого Бухареста.

А мы с вами впервые увидели ее в Америке, в городе Олбани, на одном из квакерских митингов, молодую русоволосую девушку с симпатичным веснушчатым лицом, похожим на пестрое птичье яичко, потом она явилась перед нами старушкой, заплетавшей на ночь свои густые белые как снег волосы в косички, сидя на кровати в богадельне, — и после всего этого мы вновь встретили ее молодой, энергично шагающею по облакам над Америкой в сторону острова Ионы. Рядом с нею был спутник, в прошлом адвокат, квакер, человек, который в жизни встречался ей всего лишь однажды и прожил эту жизнь, по всей вероятности, совершенно не нуждаясь в Наталье — впрочем, как и она в нем.

Но не ведая того — так и не узнав друг друга, — они были теми самыми людьми, которые могли бы, стань они близки, еще при жизни вместе постигнуть *безсмертие*. Ведь вдвоем оно постигается гораздо проще. Предки Стивена Крейсlera, перебравшиеся в Россию, все — корневые отрасли екатерининского лейб-медика Готлиба Крейсlera, могли, конечно, совершенно случайно пересекаться с многочисленными представителями княжеского рода Мстиславских, однако эти две генеалогические системы существовали настолько автономно, на разных уровнях, что само предположение большой близости или возникновения любовной страсти между родовыми монадами тех и других было невозможно. Тем не менее — увы, увы — Наталья и Стивен, жители Америки второй половины XX века, могли бы составить то великое, сладкое, чудесное единство вдвоем — ради чего люди посылаются на свет, отдельно мужчинами и женщинами. Их брачный союз был бы предопределен на небесах — но этого не случилось, они шли через жизнь порознь, умирали в одиночестве, так и не узнав ничего друг о друге. Поэтому Я и приводил каждого из них в час кончины к смертному одру другого, а потом и отправил обоих вместе в экспедицию на остров Ионы.

Пусть на этом необитаемом острове также встретится, как бы незначай, бывшая царственная чета румынского престола. Так и не узнав друг друга — разделенные судьбами десятков поколений, — Догешти и Наталья вновь ощутят волшебство своей прошлой любви. Когда-то их развела вещь обычная, мистически заурядная — эпидемия гриппа, завезенная в Европу из Америки через Испанию, и то было одним из самых ранних эпизодов невидимой мировой войны, которая сразу же началась между Старым и Новым Светом, едва только их представители столкнулись на земном шаре... А молодой царь Догешти стал одной из первых жертв этой войны, которая продолжалась далее, крутыми валами перекатываясь в каждый новый век. В середине XX века гигантская волна-цунами из Америки обрушилась на северо-западное побережье Франции у пролива Ла-Манш и, все сметая на своем пути, устремилась в сторону Германии, к самой напряженной эгоцентрической точке Старой Европы, — и навстречу этой волне, столь же стремительно и грозно, катилась мутная, фиолетовая от пролитой в нее человеческой крови, насыщенная заразой тоталитарной ненависти, необозримая русская волна. Так с противоположных сторон надвигались на Германию фронты двух войн против Старого Света, после которых,



когда Европа будет брошена им под ноги, Америка с Россией наконец сойдутся лицом к лицу. И лучше было бы им, фатальным братьям, сблизив свои буйные головы, внимательнее всмотреться в юго-западном направлении от острова Ионы.

Оттуда как раз шел некий хорошо выглядевший, словно прогулочный, сине-белый корабль «Итимару» под японским флагом, это было китобойное судно, легально действующее как плавучий научно-исследовательский институт по изучению жизни морских животных в бассейне Тихого океана. Капитан судна, некто Суэцу Ивомото, приказавший убить уже несколько сот китов разной породы для научных изысканий, был на самом-то деле большой любитель животных, и на корабле он держал черную собаку по кличке Монго, которая всюду ходила за ним, словно привязанная к его ноге, умела карабкаться по крутому трапу, спокойно лежала и дремала на палубе капитанского мостика. Когда поднимался шторм и бортовая качка принималась бросать вверх и вниз далекий темный морской горизонт, спящая собачка даже не просыпалась, хотя и ездил на брюхе по гладко надраенному полу рубки от одной ее стены до противоположной. Капитан Ивомото задумчиво посматривал на свою черную кудрявую собаку, молча любуясь ею, и испытывал большое удивление по тому поводу, что душа собачкина совершенно не тревожится наступившим штормом, могучим и угрожающим, что Монго спит себе, разбросав по полу длинные уши, беспечно и сладко дрыхнет, нисколько не притворяясь в том. Это значило, что она ничего плохого не предчувствует и ей снятся, должно быть, какие-то потешные сны: капитан мог бы поклясться, что он слышал, как она визгливо посмеивается — с закрытыми глазами, положив морду на сложенные вместе лапы. И у нее, сонной, поднимаются рыхлые, вялые брылы, обнажая внушительные зубы, настоящие звериные клыки, сквозь которые и протискивается наружу тоненький щенячий смех.

Когда «Итимару» оказался в виду острова Ионы, то на траверзе бодро плывущего корабля, на блескучей глади задумчивого после шторма Берингова моря, возник самодвижущийся фонтан, вскинувшийся белым султанчиком над некой темной, узкой, саблевидной линией, которая появлялась над водой и, отлого заваливаясь вперед, исчезала в ней. Это был огромный серый кит, метров тридцать длиной, который успел попасть, в общем-то, под защиту Международной конвенции по охране китов, но при встрече с коварным японским «научным» судном рисковал быть убитым и растерзанным на мелкие кусочки ради приготовления из него множества блюд национальной японской кухни. Это был такой же законопослушный и богобоязненный кит, как и тот, что глотал Иону, — то есть три дня держал его во рту под языком, не смея ослушаться Бога, безмолвно роняя слезы из глаз, и лишь на четвертый день, следуя новому приказанию, выплюнул пассажира на берег... Ведь душа у огромного кита была младенческая, она, эта душа, испуганно воззрилась на твердую самурайскую душу капитана Ивомото, когда поняла, что он таит противу нее самые нехорошие намерения. Однако японец сделал вид, что ничего такого нет, ничего он не заметил, и отнял от глаз бинокль, а по радиомегафону дал команду преследовать кита.

«Итимару» резко взял лево руля, началась погоня, в результате которой судно сместилось, следуя за морским гигантом в сторону острова, а в это время черная собака с длинными ушами, сбегавшая на нижнюю палубу, чтобы оправиться на специально отведенном ей для этого месте, только было подняла ногу, прицеливаясь в черный коренастый кнехт, как корабль совершил крутой вираж, и песик Монго выпал в море. Он горестно взвыл, глядя вслед удалявшемуся судну, и вначале поплыл вслед за ним, шлепая по воде передними лапами, словно в надежде догнать его, но вскоре одумался и повернул в сторону видимого на горизонте зубчатого острова.

В такой для черной собаки трагический момент Я и вселил в нее освободившуюся душу умершей во сне — прекрасной легкой смертью! — Натальи Мстиславской. Я должен был доставить на остров американскую экспедицию, но преобразить *без смерти* Наталью мне не удалось, потому что она все же не проходила через экстремальные тесты самых жестоких земных страданий — на том ей и пришлось умереть. Но эфемерная смерть во сне даже не отложилась в ее памяти, и Наталья не могла унести с собой из жизни, из ее последней американской инкарнации, особенно сильного желания возвращения к ней. Слишком легкий выкуп за жизнь настраивал ее душу скорее не на возвращение и немедленное новое воплощение, а на долгий, долгий отдых вне всякого человеческого существования. И поэтому, когда Я увидел плывущую к острову черную собаку, мгновенно внедрил в нее недавно освободившуюся, еще охваченную посмертным забвением душу Натальи. Ведь собачка-то хотела жить!

...И вот, стремительно подлетая к острову на заворачивающейся гигантской спирали грозových облаков циклона, кружась в компании со Стивеном Крейслером в воронке черного водяного торнадо, которое встало толстым столбом над океаном, подпирая аспидно-черное небо, Наталья увидела внизу, в самом эпицентре смерча — в «оке тайфуна», на круглом окошке тишайшей гладкой воды, с отчаянным упорством выгребавшую в сторону острова черную длинноухую собаку. О, Наталье так стало жаль ее, что она тут же, не раздумывая, совершенно позабыв о своем товарище по экспедиции, стрелой полетела вниз и вошла в мокрое, сотрясавшееся от холода тельце гибнущего пса.

Так они снова разошлись, уже на верхних этажах тонкого мира, — Стивена прочь унесло гигантским торнадо, а черная собачка благополучно добралась до берега и, почувствовав землю под ногами, перестала ими загребать, встала на дне — долго стояла на месте, пока набежавшая небольшая волна не шлепнула ее в хвост и не вытолкнула на отлогую мель. Там черная собака легла на мокрый песок, быстро обнажавшийся из-под уходящей воды отлива. Потеряв все силы, она стала жалобно скулить, с обиженным видом вылизывая мокрую лапу.

Наталья Мстиславская при жизни очень любила собак и всегда им сочувствовала, и хотя у нее никогда не было своей собаки, сама она была схожа с каким-нибудь симпатичным охотничьим псом вроде спаниеля. Оказавшись на необитаемом острове, она ничуть не пожалела о том, что выбрала себе новую земную юдоль в образе и сути черной собаки с висячими длинными ушами. Все еще стояло у нее в глазах, как сверху увидела она ее, шлепавшую передними лапами по воде, испуганно глядевшую выпуклыми сверкающими глазами на стену темной воды, бешено крутившуюся вокруг оконца гладкой воды, в котором и бултыхался теряющий силы песик... Вдруг все закончилось — мгновенно исчезло круговое адское вращение торнадо, стих циклопический свист летящей воды, и неимоверно глубокий, вернее, неимоверно высокий ее раструб над головою качнулся в поднебесном змеином изгибе — в одну сторону, в другую, затем и вся титаническая воронка стремительным скоком унеслась вверх — и все закончилось... Настала тишина, ясный свет неба вернулся глазам, и скоро черная собака встала на ноги, встряхнулась усердно, раскидав вокруг себя целое облако водяных брызг, и побежала вдоль берега, обнюхивая землю.

Таким-то образом первый участник нашей экспедиции появился на острове Ионы, стал питаться рыбой, подбирая ее на дне мелких ямок, обнажавшемся во время отлива, а также и пернатой падалью под скалами птичьих базаров — в основном неудачливыми птенцами, выпавшими из гнезд, или теми птицами, которых убили и сбросили вниз в сутолоке грабежа напавшие хищники — крылатые бургомистры и бескрылые песцы. А однажды и сам черный песик нашел путь вверх, вскарабкиваясь по уступам, шершавым от лишайников, и стал таскать яйца из крайних гнезд. Но

его терпели недолго, пса приняли, очевидно, за полярную лисицу и стали атаковать вора по давно выработанному способу: всей несметной стаей, повисшей в воздухе над утесом, от которой беспрерывно, друг за другом, пикировали вниз бомбометатели, метко залепляя похитителя жидким теплым пометом. После первых же залпов черная собака сбежала вниз со скал, став совершенно белой, отфыркиваясь от заливавшего ноздри пахучего птичьего дерьма, едва не ослепшая от его едких кислот. Еле живая, кинулась она в морскую воду, в набежавшую небольшую волну, и, никогда дотоле не нырявшая, на этот раз погрузилась в глубину, крепко закрыв глаза. Собака терла их под водой лапами, соскребая размокший помет, встряхивала голову, отчего длинные всплывающие уши ее мотались в воде, а вокруг них взвихривалась мутная белая взвесь смываемых птичьих нечистот.

Впредь насчет добычи яиц черная собака была весьма осторожной, хорошо продумывала каждый шаг и предпочитала ходить за ними по ночам, когда птицы ничего не видели. Чувствуя, как она крадется и крутится рядом с гнездом, кайры лишь негромко попискивали, будто птенцы, и беспомощно моргали невидящими глазами. Ничего не стоило стянуть из-под носа самой воинственной чайки ее яйцо или даже, пихнув носом под бок, вытащить это яйцо из-под ее душно пахнущего рыбой горячего бока. Иная даже услужливо привставала, как будто хотела облегчить вору доступ к кладке высиживаемых яиц. Разумеется, любую из тех тысяч и тысяч беспокойно ворочающихся или тихо замерших на гнездах птичьих тел можно было ухватить за шею и потащить, чтобы потом съесть птицу, однако в природе черной собаки, воспитанной в цивилизованных привычках рядом с человеком, был подавлен навык убийства, к тому же она опасалась, что может подняться страшная паника среди великой ночной тишины, а любого излишнего шума она не любила, поэтому у нее и уши-то были так устроены, что свисали и как бы всегда оказывались прикрыты клапанами.

На высоте *Онлириш* колоссальный вихрь начинал расширяться, словно шляпка гриба, и зловеще напоминал собой взрыв сверхмощной водородной бомбы. Упираясь верхней частью в темную тучу размером в половину неба, торнадо ввинчивался в ее рыхлое черное брюхо и широкими круговыми движениями воздуха, словно вентилятор, рассеивал там дробленную до парового состояния, высосанную из океана водяную пыль. И грандиозная воздушная карусель циклона получала дополнительную силу вращательного движения, отчего Стивен Крейслер, подхваченный могучим центробежным устремлением грозовых облаков, в одно мгновение был унесен далеко в сторону от координат, определяющих местонахождение острова Ионы. Вместо Берингова моря, где был остров, под путешественником, мигом перескочившим через Камчатку, вскоре оказалось Охотское море, и впереди на весь горизонт вытянулось Колымское побережье.

Но ничуть не догадываясь об этом, свободный американец, в прошлом адвокат и не очень усердный адепт церкви квакеров, решил приземляться, последовав примеру внезапно ринувшейся вниз Натальи, которая или не успела его предупредить, что собирается спускаться, или решила вновь покинуть его, как сделала это однажды в жизни. Недоумевающий Стивен, все дальше уносимый заоблачным вихрем, решил наконец устремиться за нею и, вспомнив высокий пилотаж встреченного ими в облаках крылатого Икара, прижал руки плотно к корпусу и вниз голову пошел к земле, словно снаряд в свободном падении. Ни на мгновение он не задумался над тем, что его решение может быть неправильным, или бесцельным, или чем-то даже опасным для него, потому что он уже был человеком, получившим Большую Свободу, а потому и не ведающим, что правильно или что неправильно, никаких целей больше не ставящим перед собой и отныне не знающим страха.

Он оказался на земле — с одной стороны она уходила под серое холодное море, с другой — была одета в древесную шубу беспредельной тайги. Земля эта по-русски называлась Колымой, а к этому названию выползло из таежного мрака некое змеевидное двусловие: *зеленый прокурор*. Никогда не знавший Россию, книг Варлама Шаламова не читавший, Стивен Крейслер, потомок Готлиба Крейслера, лейб-медика Екатерины Великой, был сильно удивлен видом, запахом и странным беззвучием этого края. Слова на русском языке — *Колыма, зеленый прокурор*, — прозвучавшие внутри его уха, не убрали, но добавили удивления в человеке, который свою жизнь прожил в Америке, а не в России. И в дальнейшем все, что он увидел и узнал, нисколько не содействовало его американскому пониманию той жизни людей, что проходила тут совсем в недавнее время.

На Колыме, пространство которой так поразило и насторожило свободного американца Стивена, мера человеческих мук была настоль велика, а духовное качество страданий столь низко — ведь оно зависело целиком от мучителя, — что уничтожение человеческое осуществлялось на биологическом, почти на клеточном уровне и погибель исходила на человека от человека без ненависти, буднично, скучновато, деловито и отчужденно. Стивену было известно, что такое бывало и в давно цивилизованной Европе, в Древнем Риме — например, на гладиаторских боях, и в самом ее центре, в Германии, у стальных дверей газовых камер, куда пропускались для умерщвления строго по счету, обязательно раздетыми донага. Никогда тот, кто пропускал в дверь, не всматривался в лица пропускаемых, а считал их по головам, загибая пальцы на своей руке. В немецких лагерях травили газами, жгли в крематориях огнем, а на Колыме большей частью замораживали на холоде, порой при минус 60 градусов по Цельсию, так что немецкий способ получения искусственной смерти обходился гораздо и несравнимо дороже русского. Ведь первый вариант требовал расхода химических веществ и жидкого топлива, тогда как в русском варианте смерти использовались особенности местных природных условий. Но для *смерти* это было без разницы, так же как и ее работникам, перед которыми стояла одна задача — как можно быстрее прекратить жизнь большой массы людей, и такое лучше всего можно было делать, не заглядывая им в лица, не насылая на них всякие там беды, болезни, неудачи, утраты, отчаяние и прочие дорогостоящие страдания, а сразу на клеточном уровне быстро уничтожать тела с помощью огня или холода.

Видимо, настало время нам с А. Кимом снова встретиться и спокойно объясниться.

И вот Я вновь призываю его, находясь на побережье суровейшего и неприветливого моря, в том краю, который называется *Колымой*. Это слово вызвало в А. Киме целую бурю самых темных и тяжелых эмоций, будто в душе комнатного растения, рядом с которым некий озверевший от злобы мужик, небритый и красноглазый от затяжного пьянства, выкрикнул грязное матерное слово, угрожая кому-то...

Трое мужчин и женщина, одетые в костюмы разных, весьма отдаленных друг от друга эпох, подошли к Стивену Крейслеру, который предстал перед маленьким отрядом выходцев из леса в своем привычном виде последних спокойных лет жизни: в двубортном твидовом пиджаке с блестящими металлическими пуговицами и при галстукке. Итак, передо мной были почти все участники экспедиции на остров Ионы, исключая Наталью Мстиславскую, которая в виде собаки, помеси кокер-спаниеля и черного терьера, уже достигла острова и бегала по нему, хватая рыбу на отменях и таская яйца с птичьего базара. Писатель А. Ким в сильно поистрепаншемся джинсовом костюме, в прорванных на коленях штанах подошел к американцу третьим. Самым первым шел от леса Андрей с пятизарядной винтовкой старого образца за плечом, в офицерской фуражке, за ним шла

Ревекка в длинной клетчатой амазонке, далее следовал писатель. Замыкал шествие Догешти в черной длинной железнодорожной шинели, за распахнутыми полами которой сверкали на груди принца серебряные поперечные полосы голубой венгерки, в которой он любил ходить во времена оны. Шинель же черная, без пуговиц, была найдена в заброшенной будке стрелочника во время перехода экспедиции по трассе БАМа... Хороша, живописна была компания! Я с удовольствием разглядывал каждого по очереди, впервые имея возможность видеть всех их вместе.

Вот Ревекка, красавица с гнедыми роскошными волосами, которая вовсе не имела кармической вины за излишнюю жадность к деньгам, а была ведь наказана именно за это! Моя вина... Это мать ее и отец, торговец маслом, должны были понести наказание — и понесли — за свою чрезмерную любовь к деньгам, которая у них была намного больше любви к Богу Авраама, Исаака и Иакова, была сильнее даже, чем лютый страх смерти. Схваченная ею за горло, пышная и любвеобильная девушка должна была умереть от тифа, став вся истощенной и бледно-зеленой, словно высохший гороховый стручок, — так и не испытав в жизни дивных радостей Суламифи. Пришлось буквально вырывать ее из когтей смерти и возвращать на землю в суррогатной воскресенной плоти, которая ничего из прежних своих ощущений не имела, кроме чувства — по ее же доброй воле! — самого неистового сексуального наслаждения.

Андрей Цветов, дворянин, поручик царской армии. Подведен под расстрел за постоянное высокомерие к подчиненным и сословное презрение к черни — но не за свои собственные грехи, а за кармические проступки его прадеда, полковника Кирилла Даниловича Цветова, который заporол шпицрутенами, проведя сквозь строй, с десятков солдат насмерть. Сам Андрей был офицером сдержанным, к подчиненному рядовому составу относился без особенной строгости, хотя и держал дистанцию... Когда в составе колчаковской армии он отступал по Сибири, мне не удалось проследить за его судьбой, и внезапный плен, пытки и быстрый расстрел Андрея никак не связаны с мерой его собственной кармической вины — она была еще не столь велика, чтобы приводить человека под такое суровое наказание. И он тоже был возвращен на землю — по доброй его воле, — чтобы долгим, верным служением той, которая выбрала и полюбила его, был бы уменьшен тяжкий груз вины его прадеда, чью карму Андрей и получил в наследство.

Принц Догешти, нежный и просвещенный монарх, карма которого никак и ничем не была отягощена. Прожив всего двадцать восемь лет на свете, из которых только два последних года пришлось на его законное царствование, молодой государь Румынии хотел бы остаться в истории как великий строитель — такое в будущем он и предполагал имя получить: *Догешти-Строитель*. Но мое светлейшее начальство, никак не уведомив меня, по каким-то своим высоким соображениям решило отозвать незаурядного молодого человека назад из жизни, с тем и внезапно бросило его в котел массовой гибели от испанской инфлюэнцы. После этого начальство или забыло про него, или просто не знало, в каком направлении реинкарнации дальше запускать молодого незаурядного монарха. Догешти несколько веков витал в Непроявленном мире по Румынской Онлирии, одинокий и неприкаянный. Мне стало жаль его, он не заслуживал подобной участи, такого забвения, и тогда Я, рискуя навлечь на себя неудовольствие высокого начальства и тем самым утяжелить собственную карму, послал за ним писателя А. Кима с миссией пригласить принца Догешти участвовать в экспедиции на остров Ионы.

И наконец писатель А. Ким — которому с этого места Я хочу вновь передать бразды правления данным романом, — будет ли он рад, что завершается последний в его земной юдоли роман, действительно самый последний и, стало быть, самый дорогой и любимый для него? — *Не знаю,*

*что тебе ответить, мой дорогой и любимый сочинитель, создатель, сотрудник, соавтор, союзник, сорадатель, сострадалец, современник, соболезник, сопливник, сослезоточивец, сосмехотворец, соснаобалдевший словно, «соков со сна не сосущий», соснолюбивый, сочный, соблазнительный, соколик ты мой, со всех сторон совершенный, совриголовый, сорвиголовый, соматически-психический, сострадательный, со странностями, со смаком гоп — ты закабалил со времен юности моей меня Словом, а теперь собираешься скоро отпустить на свободу. Буду ли я этому рад? Наверное, буду — словно старый кривой раб, объявленный вольноотпущенником.*

*А ты сам будешь рад, что наконец-то развязался с писателем, который слышал одного тебя и писал только с твоих слов? — Буду ли Я рад? Что сказать тебе?.. У меня таких, как ты, знаешь сколько было! — *ан врешь, приятель, а если не врешь, то назови хоть одного, кто столь же безрассудно и слепо бросался бы во всякие незнакомые бездны, надеясь только на Тебя одного? — Это какие еще бездны, да еще и «незнакомые»? Ведь Я учил тебя работать чисто, точно, как в аптеке, и продолжай в том же духе, не вздумай бунтовать — а я и не думаю бунтовать, с чего Ты взял, если и сорвались с моих уст мои слова, не Твои, и они показали Тебе дерзкими, то прости меня. Ведь я никогда мое доверие не было обмануто, спасибо за это, Ты находил и передавал мне самые лучшие, верные слова — но тогда почему «врешь», да еще и «приятель»? хотел бы Я знать, за кого ты держишь меня, почему разговариваешь со мной столь дерзко и фамильярно?**

Ведь Я снисхожу на вашу маленькую Землю от тех Престолов, где жидятся творила Слов, неужели ты думаешь, дерзновенный и фамильярный, что Слова рождаются на Земле? Да знаешь ли ты, какая могучая, чудесная сила в них, что они способны не только сооружать вещественное мироздание, но и разрушать его? Световые потоки лучистой энергии, электронные невидимые стрелы, пронизывающие пространства галактик во всех направлениях, взрывающиеся и уже давно взорвавшиеся звезды в системе Большого Взрыва, само вещество вселенской взрывчатки, неистово и мгновенно сгорающее в продолжение какого-то миллиарда лет земного времени, — все это порождено Словом, в себе имеет его состав. Так неужели ты смеешь дерзко полагать, что у тебя есть твои слова, безумец ты этакий? Тебе хочется высказать обиду по тому поводу, что жизнь твоя заканчивается, и, стало быть, уже скоро Я перестану производить доставку слов тебе для написания романов — о дерзкий и неблагодарный! Бунтовщик и тайный роптатель, скрывающий свой ропот в наборе смиренных слов — «старый кривой раб», «вольноотпущенник»... чем ты недоволен, кривой раб, а ну-ка, сколько тебе за твою коротенькую жизнь дано было написать романов, повестей и рассказов? ты что, совсем оборзел, приятель?

Сидишь тут, как сыч, удалившись от всех людей, не хочешь развлекать их, поучать их, смешить их, подбадривать в часы уныния, сеять в умы полезные знания, призывать к справедливости, к братской любви, к демократии, вести их к алтарю высшей гражданской свободы, бороться, в конце концов, за права обиженных национальных меньшинств. Что ты сотворил из тех несметных слов, которыми Я буквально поливал страницы твоих рукописей, как из крупнокалиберного пулемета? Какими шедеврами ты облагодетельствовал бедное и несчастное, по твоему уверенному разумению, неблагополучное человечество? Что ты сделал — насколько спешествовало твое писательское мастерство делу возвращения человечества к изначальному счастью и благополучию Золотого Века? Молчишь, не отвечаешь? Что ты сумел сказать, используя мои дары, кроме того, что для тебя все хреново в этом мире, хотя он сам по себе неизменно прекрасен? Ты прятал за чудесными комбинациями моих слов мелочность своего вселенского страха... Опомнись и покайся! Разве Я не открылся тебе и не привел тебя к пониманию того, что *смерть есть и ее нет*, поэтому смерти

не надо бояться, — а ты по-прежнему боишься, дурачок. Ты бегаешь от нее, пытаешься удлинить расстояние между вами, а потом стараешься как-нибудь хитроумно замаскироваться, спрятаться от нее — вот и недавно, скомбинировав слова, ты объявил себя одним из персонажей своей книги, попытался укрыться в ней, а меня выдал, меня-то и выболтал. Теперь Я, выданный тобой и выболтанный, спровоцированный на то, чтобы из причины стать следствием, из охотника — дичью, из таинственного умолчания вывалиться в высказанную пошлость ходячего мнения. Я больше не имею возможности помогать тебе скрытно, эзотерически, и дело вовсе не в том, что ты уже старый, заканчиваешь жить и что большие открытия человек делает в молодости, поэтому, мол, с моей стороны помощь тебе уже не прибудет. Иди и не оглядывайся в эту самую *мою* сторону, а направляйся-ка и дальше в сторону острова Ионы, Я же буду смотреть тебе вслед — и сам еще не знаю, как дальше поступлю с тобою, грешником.

## ЧАСТЬ 5

Прошедшее лето было хорошим в тайге; от жары болота обезводели, стали проходимыми; на лесных прогалах мхи повысыхали, с легким треском ломались под ногами, и куда-то в навь свалила вся беспросветная многотысячетонная тьма мошкары. Бежавший колымский невольник вначале жил обильным кормом разной ягоды, и вскоре рот его по кругу и костлявые пальцы рук, рубаха и штаны на коленях стали черно-синюшными от сока. Затем пролились быстрые дожди, шквальные и часто сменяемые, и тут поперла дикая силища никем не сдерживаемых грибов, их столько выскочило на увлажневших мягких мхах, что даже негде было человеку улечься на отдых, не подмяв вытянутым телом ошметков задавленного грибного народа.

Жизнь тела при нечеловеческих условиях природного изобилия быстро свертывалась к своим первобытным привычкам, и вскоре человек безо всяких усилий превратился в некое умное, способное преспокойно существовать в одиночестве животное — сначала растительное, на грибах да на ягодах, затем и в хищное, когда беглецу удалось зашибить палкой глупого младенца косули, который и не думал убегать при виде человека. Он разорвал зубами кожу на шее косуленка, еще не совсем мертвого, вострепнувшегося при этом от боли, и стал пить теплую кровь — у зека не было ни ножа, ни возможности каким-нибудь образом добыть огонь и на горячих углях испечь мясо.

Побег из строительной зоны получился совершенно неожиданным и поэтому совсем неподготовленным. Днем зек схоронился от работы в тихом закутке между штабелями кирпича, недалеко от запретки, и грелся на солнышке — и вдруг услышал, как часовой на вышке захрапел, словно медведь в берлоге. Приспособив под задницу брезентовую плащ-палатку, которую на двух гвоздях конвойник подвесил к столбам сторожевой будки, он уперся грудью в доску перекладки, на которой лежала длинная винтовка Мосина, времен Первой мировой войны, — и, сверху приобняв эту винтовку, уронив голову на руки, ефрейтор Пигут сладко заснул самым откровенным образом.

Осознав такое положение, душа зековская, до своего рождения никак не предполагавшая, что когда-нибудь станет маяться на колымской каторге, в спецлагере при урановой шахте, вострепенулась вся и автоматически повелела телу совершить следующие движения... Взять доску из-под себя — на ней он только что лежал, спрятавшись меж двух штабелей кирпича, — в два прыжка подскочить к запретной зоне, перекинуть через нее доску, протиснуться под плохо натянутую «нить колючей проволоки», перебежать по доске через запретку — неширокую полосу распаханной и



граблями выбороненной земли, с той стороны вытянуть за собой доску, отшвырнуть ее подальше в кусты, чтобы не вызвала никаких подозрений, и, не оставив ни следа на запретке, быстренько прошмыгнуть в недалекую темную тайгу.

Словом, побег удался на удивление легко и просто; очнувшись от сна, часовой Пигут ничего не заметил — и до самого вечернего съема, когда стали строить в колонну и считать заключенных, беглеца не хватились. А тут скоро наступила ночь, погоня с собаками стала невозможна, и к утру следующего дня бежавший всю ночь вслепую лагерный раб оказался уже очень далеко, вне досягаемости для преследователей. Ефрейтор Пигут был прямо с конвойной вышки отправлен на дальний дозор, чтобы стоять на мосту и следить за дорогой. Но он плохо следил за ней, ибо, направляясь к месту назначенного поста, купил в поселковом магазине черную бутылку водки, вместимостью 0,75 литра, и ночью всю ее выпил на голодный желудок. Наутро пришедшая смена не нашла его на месте, он больше так и не появился в конвойной части и был отписан в дезертиры. А на самом деле он свалился пьяным на землю, совсем недалеко от таежной дороги, и умер. Его душевная монада никак не полагала — до своего появления на свет ефрейтором, — что однажды в жизни перед ним возникнет такое жуткое видение, о котором никому, ни друзьям, ни начальству — тем более начальству! — нельзя было рассказывать. Но и жить обыденкой с этим тоже было невозможно! Оставалось одно — нажраться как следует водки и отключиться. Так и вышло, что некое видение, никак не объяснимое, на-совсем отключило от жизни ефрейтора Пигута.

Видение же было вот какого рода. Началось оно на конвойной вышке, во время его дневного неположенного перекура с дремотой. Он незаметно уснул — и вдруг проснулся как от резкого толчка в плечо. Открыв глаза, ефрейтор увидел, что по ровной запретке идут, следуя друг за дружкой, три мужика и одна баба, впереди шагает подтянутый человек в старой царской офицерской форме с погонами, в фуражке, за ним и следует красивая толстожопая баба с большой копной волос на голове, третьим идет еще один мужик в синем, а замыкает небольшую колонну высокий человек в черной распахнутой шинели. Он и оглянулся, единственный из всех, проходя мимо конвойной вышки, и в темных глазах его, встретившихся с глазами ефрейтора Пигута, мгновенно промелькнули неподдельный страх и большое любопытство. Пигут решил издать предупредительный окрик и, если нарушители границ охраняемой территории не остановятся, сначала отстрелять этого последнего в черной шинели. Но конвойный, как часто это бывает во сне, не смог издать ни звука, ни шевельнуть пальцем, так и смотрел оцепеневшими глазами вслед уходящим, пока те не скрылись за дальним углом четырехстороннего *периметра зоны*, где возвышался высокий штабель серых бревен... Когда *те* исчезли с глаз, Пигут захотел еще раз проснуться, на этот раз окончательно, и это ему удалось — он внимательно вглядывался в разрыхленную граблями и ровно разбросанную землю охранной полосы и не увидел на ней никаких следов. Значит, приснилось — облегченно вздохнув, охранник хотел зевнуть, как бы окончательно давая знать кому-то, что сбрасывает в мусорную корзину небытия факт своего сонного видения. Но рот его остался только наполовину раскрытым — не успев раззявить свою желтозубую широченную пасть до конца, ефрейтор застыл в ползуевке, сильнейшим образом смущенный новым видением.

*Они* шли обратно по запретке, все в том же порядке строя, один за другим, но только повернувшись словно по команде «кругом марш», и теперь колонну возглавлял высокий, в черной расхристанной шинели, из-под отворотов которой виднелись сверкающие под солнечным светом серебряные шнуровки венгерки. Еще издали этот высокий улыбался Пигуту и глядел ему прямо в глаза выразительным взглядом, явно означающим

абсолютное миролюбие, благорасположение, добротолубие... и еще что-то, совершенно неподходящее для ефрейтора. Вроде бы заявлял этим взглядом черношинельный, что они стали уже в доску своими, в аккурат друганами-подельщиками в каком-то общем «деле», очень и очень серьезном, могущем потянуть и на высшую меру наказания... Но на «вышака» Пигут никогда, ни в чем и ни за что бы не пошел, он это и дал понять в своем ответном взгляде длинношеему фраеру, который уже чуть ли не подмигивал ему заговорщически... Ефрейтор увел свой отчужденный взгляд выше — и над головой фраера, которая покачивалась на тонкой шее и старательно тянулась ввысь к конвойнику на вышке, он и увидел невозможную, чтобы спокойно жить дальше на свете, и леденящую ужасом кровь бесшумную картину.

За черношинельным шел синеджинсовый, седовласый, азиатского обличия, с темными черточками бровей и усов на широком лице, следом шагала женщина с пышными гнедыми волосами, широкобедрая, в длинной юбке из клетчатой шотландки, позади нее неровной поступью продвигался офицер — вверх-вниз-вверх-вниз подсакивала его надвинутая козырьком на глаза фуражка. А позади этой странной спецгруппы следовала грандиозная беззвучная колонна зековской рванины, черное шествие лагерных доходяг, которым выпала такая кармическая доля — околоть в мучениях от холода, голода, болезней и помереть убитыми от побоев, пуль, ножевых уколов на территории спецзоны по обеспечению урановых рудников. Духи зеков — организовано уничтоженных по единой системе отнятия у людей жизни — шли в своей бесконечной колонне, привычно выстроившись по «пятеркам», и ширина строя как раз вписывалась в ширину запретной зоны. Умершие от истощения и от постоянного обморожения тела хоронились на спецкладбище в коллективных могилах, на которых не стояло крестов,obelisks или каких-нибудь других опознавательных сооружений, лишь насыпаны были продолговатые земляные бугры, быстро зараставшие березняком, кустиками багульника, вереска да бледно-лилового иван-чая.

Кладбище находилось точно в той стороне, куда сначала прошли и откуда потом снова появились эти четверо из сновидения ефрейтора Пигута. Он в глубоком оцепенении души смотрел сверху вниз на проходившую под вышкой многотысячную колонну черных оборванцев, ясно понимая, что на его глазах совершается что-то вроде массового побега заключенных. Но среди них конвойник видел очень и очень много таких, которые давно и совсем недавно умерли, уже при его службе в спецлагере, и были похоронены с очередной партией трупяков, за зиму накопленных в специальном леднике-сарая. И вид их бледно-серых лиц, особенно глаза, взгляды, какие бросали они снизу вверх в его сторону, проходя мимо, были для служивого человека совершенно невыносимыми. Они словно обвиняли его в том, что у них оказалась в прошлых инкарнациях такая тяжелая карма, из-за чего пришлось расхлебываться в этой жизни, — они словно обвиняли его в том, что и у него оказалась такая карма, вследствие которой ему приходилось торчать в виде «попки» на этой вонючей от горя и грязи вышке! Ефрейтор неуютно ежился, испытывая под этими косыми взглядами страх за будущие свои существования, которые окажутся — чуяло его сердце — еще более отягощены самыми некрасивыми, зловонными грехами, набранными на этой сраной государственной службе.

Заблудившись и поплутав во времени, отряд опять совершил лишний завиток лет в двадцать и, благополучно сопроводив этап до места, снова возвращался назад по тому же пути — уже в конце семидесятых годов. И, перейдя знакомым полуразрушенным мостиком через речку, экспедиция наткнулась на валявшийся на земле остов ефрейтора Пигута. Душа же его была неизвестно где. Скелет лежал, широко раскинув руки, вляпавшись

затылком большеглазого черепа в сырую ямку, и Ревекка уложила ему под голову букет синих таежных колокольчиков, что несла в руках. А поручик Андрей Цветов увидел на обочине дороги отброшенную ржавую винтовку и решил подобрать ее.

Ефрейтор Пигут был назначен в дозор для задержания сбежавшего из строительной зоны заключенного, который совершил побег в летнюю благодать, когда было тепло и даже жарко в тайге, и созрело в ней великое множество ягод, и выросла тьма-тьмущая грибов. Но вот исподволь сошли и ягоды, и грибы, как помните — стали тихонько подкрадываться колючие холодные ночи, и беспокойство по поводу *зеленого прокурора* стало нарастать в душе беглеца, постепенно переходя в темный, неизбывный, подавляющий все его существо ужас.

С подступающим голодом он смог вначале вполне сладиться, потому что забил палкой ни о чем не подозревавшего глупого косуленка, выпил из него кровь и понес тушку на себе, время от времени делая остановки и отгрызая от нее податливый нежный кусок. Но через несколько дней беглец почувствовал, что казнь прокурорская настала и холод начинает его убивать. Тогда он стал запихивать — сначала под рубаху, а потом и в штаны — сухие листья осени и палую иголку хвойных деревьев. Чтобы набивка не вываливалась, он подвязал лыками штаны на щиколотках и плотно заправил рубаху под пояс. Сухой лист пошел и в рукава форменной рубахи — и к утру зек, стремившийся спасти свою жизнь от холода, стал похож на толстое чучело, раскорячившее руки и ноги посреди заиндевелой тайги...

Итак, настало время пользоваться простыми словами и строить простую речь для выражения всего самого сложного, главного, глубокого, значительного в этом романе. Слов же, предназначенных для него, остается уже не так много. И Я не хочу больше мучить беднягу А. Кима сочинительством повестей и романов, нашептывая слова внутри его уха. Я решил отпустить писателя на отдых, ибо он устал писать и ему давно хотелось бы отдохнуть. И Я на него не сержусь — если вдруг захочется ему еще немного пожить на свете, пусть живет, в безвестности и забвении, освобожденный от необходимости водить стада моих слов, выпуская их в определенном порядке на просторные пастбища романских страниц.

И сотворю-ка Я для него то, чего он давно просит: пусть станет одной из эпизодических фигур романа, промелькнувшей где-то в ее первой половине, — помните, *когда два солдата вели на расстрел белого офицера, он увидел стоявшего на холме пастуха с палкой в руке, одетого в длинный выцветший брезентовый плащ*. Наверное, жизнь у этого мирного пастуха пришла к доброму согласию между его внутренними силами и всеми внешними обстоятельствами, к равновесию сна и бодрствования, к нулевому результату в борьбе яростных желаний с могучими жизненными неудачами. Что ж, пусть А. Ким станет этим пастухом, если хочет, и с детским страхом смотрит вслед тому, которого серые солдатики с винтовками ведут на расстрел. И пусть ничего не делает, пусть только смотрит, вздыхает и крестится, переместив высокий посох в левую руку и освободив правую для совершения православного крестного знамения. Потому что придется данный ему кусочек от бесконечного бытия почему-то провести в чужой ему и любимой России, очень похожей на тот рай, который неоднократно предстал в его воображении. А. Ким проживет в этой стране, признанный за своего, русского, писателя, — как и тот пастух в брезентовом плаще, признанный в деревне своим, русским, человеком.

...Набитое палой листвою и сухой иголкой чучело человека все-таки грянуло на землю и осталось лежать в буреломной чащобе тайги, куда не заглянет ни один человек вплоть до скончания земного мира. А. Ким был отправлен мною в безмятежную отрешенность пастуха в брезентовом плаще, чтобы в сельской тишине да на лоне природы незаметно перешел он в свое новое кармическое воплощение. Итак, внимание — Я поместил бес-

силенную душу А. Кима, что не помнила уже ничего из своего прошлого, в освободившуюся от смерти душу беглого колымского зека, также ничего не помнившую из своего земного прошлого. А ведь это он когда-то был пастухом в брезентовом плаще, стоявшим на холме с посохом в правой руке! В роковом для России 1937 году его за что-то арестовали и отправили на Колыму. А. Ким же родился в тридцать девятом — выходит, Я от правил писателя на отдых во времена, предшествующие его рождению, а дальше сам повел экспедицию к острову Ионы.

Но пора возвращаться к первому. Вышедшие из леса онлирские путешественники, ведомые офицером Андреем-Октавием, подошли к американцу Стивену Крейслеру и радостно его приветствовали. Он предстал перед ними, как уже говорилось, в твидовом пиджаке с металлическими белыми пуговицами и при розовом галстуке, что в настоящем ландшафтном окружении, в виду диковатого темно-серого моря и округлых сопок, густо поросших хвойными деревьями, выглядело неким ироничным и веселым вызовом инопланетянина местным аборигенам, привычная одежда которых была ватная телогрейка да стеганые штаны цвета старого асфальта... И редко бывало, чтобы костюмы эти оказывались без наложенных на локтях и коленях заплат иного, чем серый, цвета — обычно черного или зеленого, «защитного»... Но у одного чудака, мне пришлось самому это увидеть, заплатка на локте телогрейки была кричаще розового цвета, как безвкусный галстук у Стивена Крейслера. Я приветствовал его первым и начал представлять ему других участников экспедиции — Ревекку, Андрея-Октавия, принца Догешти.

Силою разыгравшихся могучих стихий, мы знаем, Стивен был снесен бушующей короной торнадо к магаданскому побережью Колымы и сброшен на землю там, куда Я наметил вывести российский отряд для встречи с американским. Все почти исполнилось, как было намечено. Только двоих Я недосчитался — Наталья Мстиславская в виде черной собачки самовольно заранее прыгнула на остров, командир же А. Ким был отправлен мною в бессрочный отпуск. Остальные оказались на месте...

Я коротко пояснил дальнейший маршрут экспедиции. Он пройдет берегом к северу и, огибая по нему море, круто развернется почти в обратном направлении, западая в узкую горловину Камчатского полуострова от Анадыря...

И вот уже вся эта великая дуга маршрута, похожая на путь выпущенной в небо ракеты, завершена. Экспедиция вышла на океанское побережье Камчатки в самом дичайшем и безлюдном его месте, куда никогда не ступала нога человека. Отвесные бурые скалы встали изошренно ломанными отвесными стенами на тысячи километров восточного берега Камчатки. Под стеною обрывов шла узкая лента серого песка, накрываемого в прилив мрачной толщей океанической воды, и каменные обрывы во время шторма были побиваемы оглушительными пушечными ударами волн. Колоссальные дыры пещер и глубокие арки подмывов образовывались в скалах от этих ударов, и время от времени — в безлюдных столетиях камчатского бытия — происходили небольшие землетрясения от обрушений циклопических глыб, заваливающих узкую песчаную полосу вдоль необитаемого берега. И тогда выходили на свет Божий удивительные дела, истории, существа.

На восточном побережье Камчатки, во время одного очередного шторма, в прилив, когда пушечные шлепки волн по береговым скальным пещерам, после особенно мощного выстрела, привели к обрушению высокой известняковой скалы — вслед за тем, как с грохотом подлинного землетрясения откололась от крутого обрыва и плоско опрокинулась в море гигантская каменная стена, — из открывшейся новой подземной ниши выступил на морской берег огромного роста великан глиняного цвета. Это и был ребенок «жителя мансарды» от его мимолетного брака с *Мать* — *сырой зем-*

лей, дитя, родившееся из ее тела на Камчатке, как некогда родился античный бог из головы своего отца.

Медленно спускавшаяся по эфирной тропе с острозубчатых заснеженных отрогов на прибрежное плоскогорье наша группа онлирских путешественников как раз приблизилась к месту появления на свет глиняного детинки. Он стоял по пояс в оливной морской воде, собираясь, видимо, отправиться куда-то по дну океана, но в последний миг что-то его словно окликнуло, и низколобый скалоподобный гигант повернулся всем корпусом назад, впившись прищуренными глазами в появившуюся на плоскогорье маленькую туристскую группу. Так и застыл бедный малый надолго, словно почуяв в одной из мимо проходящих фигур своего родимого отца. А Я и сам вроде почувствовал в сердце некое глухое беспокойство, ностальгирующую пульсацию боли по юности, давно прошедшей, и с непроизвольной лаской во взоре посмотрел на одинокую скалу в море, замершую в воде, недалеко от обрывистого берега.

Но мы миновали друг друга, так и не обретя отец сына и сын отца, потому что таковыми друг друга не являлись. Он на секунду принял было меня за своего родителя, но настоящий отец его был отсюда далеко... Мои же подлинные дети... я не знаю, где они... Наша группа онлирских туристов спустилась с обрыва на песчаную береговую ленту и, председательствуемая А. Кимом (*мною*), став в кружок, принялась обсуждать разные варианты переброски на остров Ионы, который находился на ближайшем расстоянии именно от данной береговой точки Камчатского полуострова. Я уже говорил — отряд не подозревал о том, что на некоем отрезке пути их руководитель заменен, а туристскую экспедицию верхних людей ведет теперь другое существо, несравнимо более высокое по мистическому уровню, чем старик А. Ким со своими бесплодными общечеловеческими амбициями. Стоя с ними наравне в их демократическом кружке, Я говорил, пребывая в образе синеджинсового плейбоя А. Кима:

— Вот и привел я вас, мои дорогие, к тому месту, откуда начнется последний бросок в нашем беспримерном походе на остров Ионы. Дальше нет пешего ходу, и нам придется добираться необычным путем — или шагая по морю аки посуху, или перелетев по воздуху наподобие птиц, или вплавь по глубинам океанским, путем рыб и морских животных. Выберите сами, кто каким способом хочет совершить переправу, пусть каждый из вас определится в своих дальнейших действиях, исходя из чувства полной СВОБОДЫ выбора. Потому что настало время, мои друзья, каждому самостоятельно добираться до острова.

— Почему вышло так? — спросил Андрей-Октавий, не очень довольный услышанным. — Шли до сих пор вместе, а теперь надо разделяться. Давайте и дальше шагать вместе — по морским волнам аки посуху...

— Я тоже хотел бы, чтобы идти всем вместе, — высказался принц Догешти. — Я привык к вам, господа, и ваше общество мне стало приятно и дорого... Но прошу все же подумать вот о чем. Мы все имели возможность интересно и долго путешествовать под открытым небом, шагая по земле, летая над нею. А теперь выдается редкая возможность пройти под водой и увидеть мир, которого никто из присутствующих, наверное, не видел при своей жизни.

— Идет! — неожиданно поддержала принца Ревекка. — Надоело мне топтать по земле. Хочу путешествовать под водой. Кроме Ионы, ни один представитель нашего рода, за все его существование на земле, не побывал в пучине морской, словно рыба или кит... Я буду вторая после моего праотца Ионы!

— Присоединяюсь к мнению дамы, — определился и американец. — Это будет увлекательное путешествие! Под воду я тоже никогда не бывал. Вот только хотелось бы узнать, как быть насчет нашего снаряжения... — Стивен прихватил двумя пальцами кончик своего галстука и при-

поднял его с ироническим видом. — Нам понадобятся акваланги доктора Жака Кусто и подводные костюмы, однако где их взять?

— Экипировка остается такой же, какая и была у каждого, — пояснил Я, успокаивая американца. — Какие могут быть сомнения, если в своей «спецодежде» вы, мистер Крейслер, облетели тысячи миль, сидя верхом, так сказать, на диком торнадо!

— Добро! Тогда давайте сделаем так, чтобы никому не было обидно, — ясно выразился Андрей-Октавий. — Я пойду с ружьишком пешком по волнам, а вы остальные идите подо мной, посматривайте на меня снизу вверх. Когда надо будет что-то сообщить мне, пусть кто-нибудь из вас всплывет на поверхность и высунет голову из воды.

— Договорились, друзья мои, — радуясь искренне и волнуясь, произнес Я. — Как приятно осознавать, что богоданная нам СВОБОДА и неограниченные возможности сделали нас такими демократичными и терпимыми по отношению друг к другу! Тем более, что Я хотел заявить вам: ни нырять в море, ни ходить по нему как посуху мне вовсе не хочется. Душа моя привержена к эмпиреям, верхним мирам, и тяжелое подводное царство меня мало привлекает. Поэтому Я присоединюсь вон к тем парящим в небе орлам и буду сопровождать вас с воздуха.

И вот мы разделились на три урвня. Ревекка со Стивеном и принцем Догешти, идя по дну, постепенно ушли под воду. Поручик с ружьем на плече довольно долго шел рядом, шагая по воде и перепрыгивая через набегающие крутые волны, которые вначале, недалеко от берега, поднимались, вспучиваясь, до груди идущих по дну моря пышноволосяй женщины и двух мужчин, один из которых был лысоват, в очках. Затем вода дошла им до горла, потом стала накрывать с головой. Последний раз промелькнув возле самых ног Андрея-Октавия, эти головы вскоре окончательно ушли под воду, и тогда поручик, оставшись на волнах в одиночестве, на ходу еще какое-то время всматривался перед собою, а потом поднял свою голову и уставился в небо, отыскивая взглядом меня.

А Я величественным морским беркутом взвился в свои эмпиреи, уйдя намного выше трех кружившихся над морем орланов, чьи белые развернутые веером хвосты мелькали подо мной на сером фоне моря, — за птицами, внизу, медленно двигалась черная коротенькая закорючка шагающего по волнам Андрея — так медленно, что казалась стоящей на месте. А под его ногами, аккуратно следуя за ним, как за путеводной звездой, перемещались внизу, на глубине двадцати метров, принц Догешти, Ревекка и Стивен Крейслер, решившие плыть, приняв горизонтальное положение рыб и китов при движении вперед. Невидимая аура, словно плотный скафандр, окутывала их тела, и они скользили, раздвигая руками воду перед собой, увлекаемые лишь одной своей духовной волей. Время от времени то одна голова, то другая поднималась вверх и устремляла взгляд своих закаченных глаз на тех, что продвигались в воздушном мире, — на шагающего по волнам Андрея и дальше его и намного выше, минуя плавное кружение трех орланов, — на меня, также вынужденного делать круги, распластав широкие крылья, на огромной высоте, чтобы следить за переправой на остров остальных участников экспедиции.

Мы вначале переговаривались телепатически, делились своими впечатлениями друг с другом, Я к тому же корректировал путь группы к острову, уже различая его сверху на далеком горизонте в виде темной крупинки, — а я, наклонив голову к воде, вглядывался себе под ноги, временами окликал своих подводных спутников, когда они увлекались какой-нибудь экзотической невидалью и сбивались с прямой дороги. Нам же под водой действительно было мудро держать ровный путь, ибо то, что возникало время от времени на нашем подводном маршруте, было настолько дивно, что заставляло забыть самую цель, с которой нас отправили в морскую пучину, — вот поэтому-то Я вынужден был напоминать всем троим, что гнать-

ся за огромным скатом, размером с небольшой стадион, или за яркой, как цветочная клумба, ядовитой медузой означает невольную вовлеченность на путь в никуда, в бесцельное эстетическое устремление, когда декадентские чары подводного мира могут насмерть приворожить впечатлительную наземную душу, от рождения привязанную к другой красоте и к другим гармониям.

Мы трое, выбравшие подводный путь, старались, конечно, чтобы химерическое очарование непривычной для нас жизни и впрямь не захватило бы нас и не превратило в своего вечного пленника. Морской мир предстал в ином струении света и в непривычном — зыбком — раскрытии пространства, в котором не имелось четкой линии обнадеживающего горизонта, а видимый оком проваливался в бездонную тьму и мутную непроницаемость. Это был более низкий, чем воздушный, более тяжелый океанический мир, в котором давление на душу было несравнимо большим, и она заметно уплотнялась в своем желании самоограничения. Душе хотелось стать витой раковиной или морским гребешком, чтобы уйти в себя и накрепко закрыться обеими створками.

Поэтому Я сверху внушал принцу Догешти, самому из всех нас впечатлительному, что густой и огромный, как туча, косяк сельдей, попавшийся навстречу, напоминает виноградник на покатоке холма, когда дует сильный ветер с гор и выворачивает листья лоз вертоградных наизнанку, отчего кажется, что вдали бесшумно бушует настоящий ливень световых бликов, — на земле, ах, хорошо все-таки!.. Ревекке нашептывал Я в ухо, что нехотя уходивший в сторону отряд черно-белых дельфинов-косаток является опасной группировкой самых страшных подводных бандитов и убийц, поэтому следует свое вспыхнувшее желание стать одной из косаток тотчас подавить в себе — во имя будущей гуманитарной встречи с праотцем Ионой. А Стивену Крейслеру, американцу немецко-русского происхождения, в еще недавней жизни приверженцу и любителю абстрактной мыслительности, Я открыл некую смешную подоплеку всей человеческой истории на земле, после чего душа американца, глядя сверху вниз на огромную, как туча, темную селедочную стаю, испытывала неудержимые позывы к самому веселому хохоту. И вот она какова, эта смешная подоплека.

Совершенно равные и одинаковые, в общем-то, как сельди в бочке, люди на протяжении всей своей обозримой истории изо всех сил старались выстроить систему неравенства, с помощью наговора слов доказывая, что один настолько больше другого по власти, по социальному положению, по деньгам и политике, по уму или по талантам, по прыжкам в высоту, по ширине плеч, по величине мошонки, по длине уда, по британскому юмору, по французской борьбе, по участию в Книге рекордов Гиннеса, — поэтому в сравнении с одним другой ничтожно мал, а третий и вовсе не виден — в силу, значит, своего полного ничтожества.

И Я тоже смотрю сверху, с высоты Камчатской Онлирии, вниз на серое пустынное море, по которому еле заметно перемещается маленькая одинокая черточка, поручик Цветов, переступая через набегающие ему под ноги белогривые волны. Порой он подпрыгивает и слегка зависает над ними в воздухе и продвигается в бредущем полете, прокручивая ногами, как на велосипеде, если встречный вал оказывается слишком крут и велик. Поручик часто всматривается вниз, желая не пропустить того момента, когда из-под воды вдруг да и высунется голова кого-нибудь из членов экспедиции, чтобы передать ему наверх необходимую информацию. Затем Цветов обращается лицом к небу и смотрит на меня, парящего в небесной Онлирии морского беркута. Он поверяет верность взятого направления — мы уже в открытом море, удалились от суши на такое расстояние, с которого не видно камчатской береговой линии. Кругом на все триста шестьдесят градусов один четкий морской горизонт, в небе перестали проноситься птицы, оставшись позади, в зоне своих будничных охот и кормлений.



Под ногами Андрея-Октавия вдруг стал промелькивать, словно стремительно бегущий глубинный шквал белых искр, огромный косяк рыб — это была устремившаяся на нерест тихоокеанская сельдь. И вперемешку с ними, в самой их гуще, неистово заюлили кормившиеся морские звери — похожие на темных головастиков нерпы, рыжеватые сивучи, юркие каланы, бурые котики, а уже вслед за ними бесшумно неслись преследующие их громоздкие морские разбойники, черные с белыми пятнами на боках дельфины-косатки. Выстроившись в неровный ряд, они охватывали сзади сей беспросветно густой, непроглядный рыбный косяк с клубившимися в нем азартными тюленями — и забирали в глухой мешок всю заднюю часть кипящего рыбно-звериного кипения. Отсека ближний конец от живого тела косяка, окружив этот бушующий комок со всех сторон, косатки разом набрасывались на более крупную добычу, нежели сельдь, хватали зубами сокрытых в густых рыбных завихрениях тюленей, у которых в зубах также неистово бились сверкающие серебристые рыбы.

Мне сверху хорошо было видно все широкое поле морской битвы за жизнь, по которому двигалась отрешенная фигурка поручика Цветова. Под ним кипел нештучный бой, где никто не воевал ни против кого, а каждый воевал только за себя, и невинно умирающая рыба не вызывала чувства скорби своей погибелью в пасти пятнистой нерпы, и мгновенно погибший тюлень, с одного раза перекушенный лязгнувшей гигантской челюстью дельфина-убийцы, не нуждался в воинских почестях и траурном марше. Все это понимал так же, как и Я, идущий по волнам поручик Цветов, и ему ничуть не было грустно, что он видит жизнь в момент ее напряженной кровавой битвы. Гораздо грустнее было поручику при мысли, что он сам уже не участвует в такой доброй охоте и никогда больше не будет участвовать. Преследующие, убегающие, убивающие и гибнущие — в азарте военной страсти — участники битвы не замечали шествовавшего над ними одинокого путешественника из мира иного. И даже когда в нескольких метрах от него убегающие тюлени стали выскакивать на поверхность моря и вода вокруг поручика взбурлила и окрасилась кровью, а какой-нибудь черно-белый убийца хватал за хвост нерпу и, свирепо мотнув головой, с пушечным шумом колотил ее корпусом по воде, оглушая еще живую добычу, — даже тогда отрешенная поступь поручика не убыстрилась и не замедлилась, и он проходил через шумное поле битвы с видом равнодушного стороннего наблюдателя.

Но Я-то знал, чего стоило подобное демонстративное равнодушие, мне-то хорошо было известно, *что* на самом деле испытывает живая душа, когда в силу необходимости она снова проходит — по смерти тела — старыми дорогами жизни. И хотя Я могу поклясться, что поручик Андрей Цветов никогда при своем телесном бытии не видел морского боя черных дельфинов, нерп и тихоокеанских сельдей, — он завидовал и паническому бегству рыб от преследующих тюленей, и кровавой, ужасной погибели последних, и разбойничьей, хищной воинской удали обрушившихся на добычу черных косаток. Ибо кроме этого кровавого живого бульона земного бытия везде бессмертную душу — на всех высших уровнях тонкого мира — преследует ледяная скука и стерильная пошлость совершенства, постность духовного вегетарианства, старательно демонстрируемые эфирными душами пред Высшей Властью.

Итак, чтобы скрыть тяжесть стыда несомой в душе кармы, Андрей-Октавий шел сквозь веселую и стремительную битву кормления на море спокойным, размеренным ходом, походным шагом, с равнодушным видом на лице. И когда, в завершение боя, оставшиеся целыми, спасшиеся тюлени бросились враспыленную и наутек, предоставив бандитам косаткам весело драться, подбрасывать на воде и пожирать туши схваченных охотников за сельдью, а рыбы, не потерпевшие большого урона в непроглядной массивности своего беспросветного войска, текли дальше сверкающей

широкой подводной рекой — вдруг налетели со стороны, явившись от невидимого далекого берега, возбужденные неисчислимы стаи темных бакланов и гагар. Они приближались к месту сражения длинными извивающимися в небе цепочками, и пульсирующими тучками компактных стай, и поодиночке, как гонимые ветром чешуйки черного пепла, подхваченные вихрем со старого кострища, оставленного каким-то безвестным камчатским бродягой на далеком берегу жизни... Птицы с пронзительными криками с налета падали в море вниз головой, вытянув вперед клювы. И сколько бы их ни обрушивалось на водную поверхность, все они вмиг исчезали за нею, будто падавшие камешки, — охота продолжалась, и теперь уже птицы ловили рыбу, гоняясь за нею под водой.

Все это Я видел сверху, был захвачен картиной беспримерной грандиозной битвы кормления, попутно следил за продвижением поручика по спокойной серой воде, на которой вовсе выгладились небольшие морщины волн, бывшие чуть раньше. На море пал могучий невозмутимый штиль — и только буйство кормящихся косаток разбивало на концентрически расходящиеся круги гладкую морскую пустыню. Этих кругов-блинчиков на плоскости моря возникало множество, и в центре каждого черный дельфин, «кит-убийца», трепал и колошматил по воде пойманным тюленем. Разбегались во все стороны уцелевшие нерпы-охотницы, сами едва не ставшие жертвами охоты. Вспухали, накручивались гигантские мышцы рыбного косяка и затем плоско растягивались, обтекая разгоряченные тела косаток и удирающих нерп, которые время от времени выскакивали на поверхность и, высунув голову из воды, с испуганным видом оглядывались назад.

Они видели одиноко бредущую фигуру человека не от мира сего, и он видел круглые безухие головы тюленей, с усов которых стекала вода, — но ясно различимая для него *майя водного мира* не смешивалась с видимостью земною. Звериное тело земноводной жизни не соотносилось с тонкоэфирным телом шагающего по водам Октавия-Андрея, оба этих тела могли только наблюдать друг друга и, не смешиваясь, далее изживать каждый свою карму. Поручик начал беспокоиться, видя под ногами одни нерпичьи головы, испуганно таранившие на него глаза, и не представляя, что происходит сейчас с тремя его товарищами по экспедиции, ушедшими под воду. Никто из них так ни разу не появлялся на поверхности моря, не высовывал своей головы, чтобы сверить единое направление движения отряда, и в полном одиночестве идущий по волнам Андрей все чаще стал обращать взоры вверх, на меня, вопрошая, все ли у нас идет так, как надо.

Я успокаивал его — да, все идет как надо, мне сверху видно все три уровня продвижения экспедиции, — но почему они не дают о себе знать, как договаривались, спрашивал поручик, и Я отвечал: не выходят на визуальную связь потому, что над ними повис живой широчайший и толстенный потолок движущегося грандиозного косяка рыбы, идет охота тюленей на сельдь и одновременно охота косаток на тюленей, и Я уже дал знать подводной группе, куда, в какую сторону надо двигаться под этой крошечной биологической тучей, внутри которой свирепствует грозовой бой насыщения.

Но в таком случае ниже ее уровня стало, наверное, темно, ведь дневной свет не проходит сквозь многорыбную толщу, как же наши в темноте могут сориентироваться, беспокоился офицер, и Я снова его успокоил: чтобы они не сбились с пути, к ним была послана светящаяся рыба-удильщик, она и плывет сейчас перед ними, указывая верную дорогу. В таком случае я могу больше не беспокоиться о том, что они не связываются со мной? — да, ответил Я, можете не беспокоиться, Андрей, подводная группа выйдет на связь позже, когда экспедиция минует зону сплошной рыбной облачности и снова вынырнет на свет.

...Таким образом, мы вскоре миновали темное подводное пространство, оказавшееся под сельдевым крошечным облаком, и, ведомые светя-

щейся рыбой-удильщиком, выскочили на широкий дневной простор, где эта рыба, метнувшись из стороны в сторону, как бы мгновенно растворилась на свету. Однако мы, все трое, двигавшиеся под водой, даже и не приняли во внимание миг ее исчезновения, ибо перед нами в размыватых полосах светового сияния дня, в прозрачном струящемся соляном растворе, предстал большой белый дворец, будто высеченный из цельного колоссального куска лунного камня. Это призрачно мерцающее под льюющими сверху потоками света высокое островерхое сооружение сразу же показалось мне знакомым, живо напомнило одно возведенное под «швейцарский дом» сооружение где-то в Западной Сибири. Мы решили посетить подводный дворец.

И вот мы приближаемся теперь к огромному беловато-призрачному зданию — словно выложенному из лунного камня, с полупрозрачными стенами, высеченными от одного колоссального куска размером с высокую гору. Я не менее сосредоточен и серьезен, чем мои спутники, Ревекка и принц Догешти, ранее побывавшие в этом доме, и Стивен Крейслер, никогда не видевший «швейцарского дома». Присоединился к остальной группе и поручик Цветов, которого срочно призвала Ревекка, наконец-то высунув голову из-под воды. И Я спустился с небес, под видом писателя А. Кима, и заполнил недлинную шеренгу путешественников, смиренно стоявших перед огромным дворцом белого камня, под нефритовой крышей.

Надо признаться, Я совершенно не ожидал, что увижу в глубинах Берингова моря перенесенный туда, в подводный астрал, весь комплекс лепрозория Василия Васильевича Жерехова. Уже рассказывалось, что в результате коллективных медитаций и молитв больных, врачей и всего обслуживающего персонала лепрозория — по духовному методу излечения Жерехова-старшего — весь упомянутый ранее лепрозорий однажды все-таки дематериализовался вместе со всеми людьми и улетучился в какой-то неизвестный мне тонкий мир... И теперь мы стоим перед высокими резными нефритовыми воротами, стучимся в них... Но Я никогда бы не подумал, что астральная колония прокаженных обоснуется именно здесь, в глубинах Берингова моря — самого безлюдного и диковатого изо всех морей мирового океана.

Нам отворили, и мы вошли — перед нами среди пестрых коралловых клумб и актиниевых ярких цветников стояли отдельными живописными группами, на разновысотных уровнях, словно хоры в античном театре, обитатели дома и молча, спокойно взирали на нас... Наверное, это преобразенные, из былого существования, пациенты лепрозория, многие из них, наверное, были когда-то ужасно обезображены роковой болезнью — а нынче, перейдя через несколько уровней тонкого мира, выглядят столь невиданно красивыми и гармоничными человеческими существами, что своим прекрасным видом вызывают во мне спазм восторга на сердце и чувство неловкости за то, как выглядим мы сами...

И то *безсмертие*, которым они все обладали и которое совершенно откровенно продемонстрировали друг перед другом, — на кой оно им? И для чего каждому из них, оказавших сейчас на том или ином уровне тонкого мира, Тихого океана, Туманной галактики, снова и снова возвращаться на поверхность этой маленькой планеты и возникать на ней в виде лягушки, слона, царя, китайского добровольца, чукотского губернатора, японского городского, рыцаря, мытаря, вертера, чижика, пыжика, сыщика, костоправа, чумака, чикатилы, чубайса, чукчи, ящика, хрящика, спички, лисички, тришки, мишки, нечитайло, нукера, букера, травести, лаперуза, лампедузо, макинтоша, кукина, соловейко, ротмана, толля, шелли, нинели, померанца, лютера, сталина, коккинали, аспазии, ларошфуко, курошупа, листопада, шоколада, лада, гада и так далее — для чего это? И Я почувствовал, как сладко всем нам, стоящим друг перед другом, вдруг осознать всю свою невинность и безответственность за самих себя.

Нет, с Василием Васильевичем здесь, в подводном астрале, мне незачем было встречаться. Ведь тут Я не мог бы полюбить ни его, ни другого своего самого дорогого гения на земле, курносого и босого Архангела Сократа. И никогда мы, сократики всех миров и времен, не познаем сами себя, ибо нас нет. И все же — какая это замечательная игра в жизнь! Как сладко замирает сердце! Мы стоим и смотрим друг на друга, давным-давно прошедшие через желание убивать и готовые играть дальше в иные заманчивые игры, уже без убийства и смерти. Наступило, говорили, на земле третье тысячелетие от Рождества Христова. И стало понятно, что играть-убивать — это скверная игра, где мы сами для себя игрушки, игра и азартные игроки. Такими нас сочинили.

Величаво и благосклонно взирая на нас, свободные от необходимости произносить вслух слова человеческой речи для общения, бывшие питомцы лепрозория Василия Жерехова — или кто другие — приглашали всех нас побыть у них гостями, поведать о том, что мы видали на своем пути и как выглядит теперь грубый мир жизни, где одни вынуждены убивать других, чтобы жить самим.

Всех разобрали по отдельным группам и потащили в разные стороны, а меня отправили по электронной почте в квартиру со знакомым адресом — и вскоре Я оказался в маленьком кабинете А. Кима, с видом на московские крыши. Из окна этой комнаты он и начал путешествие к острову Ионы.

Во мне пробудилась грустная догадка, что деревянная флейта и музыка, возникающая в пустотах ее скважин, это далеко не одно и то же. А вы ведь ясно представляете, Кто есть музыка и кто — деревянный музыкальный инструмент. Я очень сожалею, что А. Кима постигла та же участь, что и всех людей, которые появлялись на свете, но по существующим всемирным законам мне не дано право утешать или открывать прикрепленной ко мне душевной монаде всю истину того, чего она на самом деле стоит, — то есть какова цена деревянного музыкального инструмента. Уж пусть человек думает иначе, пусть полагает, что он *творил* в своей внутренней пустоте инструмента ту музыку, которая прозвучала через него, — *что он творил Музыку, а не она его*. Пусть полагает в своей мгновенной неповторимой единственности, что сочинял книги он, писатель А. Ким, а не безымянная Музыка творила его, рождаясь в пустых скважинах деревянной флейты.

И вот снова он сидел в своем кабинете, только что выпив чашечку черного кофе без молока и без сахара, горчайшего и сухого на вкус, как ощущение его одинокой старости и тягучего времени прощания с миром, обставленного полным отсутствием всякого живого человеческого присутствия — то бишь в абсолютном одиночестве, и лишь под рукой его оказалась книга на японском языке, которого А. Ким не знал, — его переведенный в Японии и только что присланный оттуда роман «Белка». Это была книга, открывавшаяся сзади наперед, строчки надо было читать сверху вниз, и шли они справа налево, — и ни одного слова, ни одного иероглифа он не мог прочесть, и его собственный роман, лежавший под рукой, явился вопиющим фактом и вещественным доказательством того, что так называемое людьми *творчество* никому из них не принадлежит, даже самим авторам и художникам, и принадлежать никому не может, потому что оно есть Музыка, возникающая в пустоте скважины простенькой деревянной флейты.

Зато бесшумные и предивные явления-картины возникали и оживали вокруг А. Кима — в его неуютном кабинете, единственное окно которого выходило на широкую пересеченную местность московских крыш, в безжизненные джунгли телевизионных антенн.

Итак, Я еще раз навестил его в московском доме, *Конюшковская, 26*, и вернул его в самого себя. Пусть завершает роман, как с достоинством завершают жизнь. Как блистательно проигрывают свою последнюю битву при Ватерлоо...

Мои слова для него — питание его души, чтобы он мог дышать, любить, волноваться красотой, молиться, пожимать плечами на творимое вокруг человеческое зло, надеяться на доброту и милость Христа, уповать на Преображение, вставать со смертного одра утром, спешить навстречу солнцу, благодарить, благодарить за наступивший день, просить Благоволения на то, чтобы прожить его хорошо, рисовать самой простой черной краской райский многоцветный фейерверк над круглой сценой Божественного театра, ловить посылаемые ему слова, как птиц, сажать их в клетки смысла, потом выпускать на страницы белой бумаги, а самому идти вслед за ними, за птицами-словами, в просторы и глубины лесов, где водятся грибы, собирать их и рисовать их, солить, варить их и съедать — все это в едином творческом порыве, вновь и вновь пытаться улавливать *безсмертие* в гибельном шквале проносющихся человеческих мгновений, шагать по земле, чувствуя в ногах тяжесть каждого своего шага...

Над его головой проплыла рыба-скат, размером со стадион, раздувая свои жаберные щели, как огромная небесная корова, поводящая в циклонно-антициклонном пыхтении крутыми ребрами, — и пока скат, снизу и впрямь похожий на гигантскую небесную корову, пронесся над писателем, шелковисто колыхая плоскими краями своих плавников, в его московском мире уже наступил глухой зимний вечер, в глубине этого мира зажглись желтые звезды и огоньки электрических фонарей. А. Ким встал из-за стола, сцепил замком пальцы рук на затылке и, запрокинув вверх голову, стал просматривать деталь за деталью и другие движущиеся чудеса подводного мира, вдруг разверзшегося над ним в тишине уединенной московской мансарды, во глубине четвертого измерения его потолка.

Вот какой-то загулявший одинокий дельфин, словно пьяненький, приплясывая и то и дело прокручиваясь вокруг своей оси на ходу, проследовал навстречу гиганту скату, элегантно поднырнув под него, и удалился в темноту на противоположной стороне. А вот и целая компания бодрых дельфинов-афалин быстро продефилировала в том же направлении, вслед за одиноком весельчаком. Заметно было, что они озабочены его поведением и следят за ним, чтобы он не попал в какую-нибудь передрагу. Таковою могло быть появление из глубины океана чудовищного осьминога, который всплывал, выпучив огромные, как прожекторы, глаза и растопырив свои толстые, как бревна, красные щупальца в виде отброшенных назад гигантских антенн искусственного спутника земли. Однако, разглядев, очевидно, своими выпученными глазами целую эскадрилью зубастых дельфинов, осьминогий исполин с разочарованным видом отвернулся в сторону и, словно и не собирался никогда преследовать загулявшего одиночку, кособоко провалился в океанскую темную пучину.

## ЧАСТЬ 6

Они выбрались на остров каждый своим путем, потому что в подводном дворце, куда попали, путешественников разобрали по кружкам и клубам интересов, так что на какое-то время они потеряли друг друга из виду. Как рассказывалось раньше, прокаженные из убежища Жерехова вместе с ним, своим руководителем, и со всеми врачами и обслуживающим персоналом, а также и с капитальными больничными постройками перешли сразу в свое тончайшее, *казуальное*, состояние и в преображенном виде предстали членам нашей экспедиции в глубинах Берингова моря.

Но вместе с большими классической древней лепрой, ушедшими от болезни не через смерть, а через чудесное преобразование, в «швейцарский» подводный дворец каким-то образом попало и невообразимое количество посторонних лиц коммуно-комиссарского периода Российской империи, чья проказа была не внешняя — на коже и роже, — а внутричерепная, мозговая, и выражалась прежде всего в том, что у наиболее рьяных партийцев и слуг народа лица становились похожими на озабоченные львиные физиономии. Итак, все они были счищены с лица земли к самой кончине советской империи, эти львиные морды, и тризна российских похорон отмечалась уже без них. А они об этом ничуть не печалились, потому что теперь находились в более завидном новом положении, в упоительном состоянии безответственного существования, по качеству несравнимо превышающего их прежний уровень *исторического материализма*, о котором они уже и не поминали вовсе, превесело плавая в свободной невесомости рядом с рыбками и легковесными медузами.

И те из бывших партийцев, что принимали в своем клубе Стивена Крейсера, в американской бытности своей близкого к социалистическим взглядам, унаследованным от своего предка-первопереселенца из России в Америку, горячо убеждали гостя в том, что идеи социальной справедливости и научного, атеистического, распределения материальных благ есть самый большой грех и преступный бред во человецех... Проморгав свою единственную возможность жизни ради пустоты, гили и нежити, *постпартийцы* здесь, в подводном дворце, распинались перед американцем, который по времени был намного ближе к жизни, чем они, — убеждали его отказаться от социалистических воззрений и окончательно поверить в Бога. На что Стивен Крейслер отвечал им, что в Бога он и прежде верил, хотя и тяготел к социальным идеям, но в его представлении Бог был анонимен, молчалив, неконтактен и приходил к человеку сам, когда захочет — например, во время безмолвных богослужений квакеров, в братстве которых он состоял в продолжение многих лет своей жизни. «И вообще я считаю, — заявил духам бывших партийцев Стивен (он был с ними довольно сух), — что самый большой лицемерный казус, который случился у людей при жизни, будь они квакеры, или социалисты, или кто угодно другой, — так это нелицеприятный вопрос относительно Бога. Кто Его видел или напрямую имел с Ним дело? Да никто, а именем Его клялись все, и больше всего те самые лжецы, которые называли себя профессионалами...» Так, в посмертии, Стивен Крейслер пытался задним числом свести счеты с кем-то из тех, кто насолил ему, видимо, при жизни.

А у Ревекки были другие неожиданные встречи, она бы никогда не узнала в одной из величественных женственных духов, сиявшей необычайно красивым тонким розовым светом, в роскошно разукрашенной блестящими жемчужин тунике, прокаженную Марьяну из жереховского лепрозория, которую знавала в продолжение лет пятнадцати — двадцати, с грустью наблюдая все ужасные стадии ее разрушительной болезни, и рассталась с нею, когда у больной уже стали дематериализовываться ноги, по самые колени. При вопросе о сыне, в разлуке с которым Марьяна столь отчаянно горевала в свою земную бытность, ее нынешняя ангелоподобная воплощенница, имевшая службу уже на самом высшем, Престольном, уровне — место уборщицы Престолов от залетавших и туда, к их подножию, разного духовного мусора более низких миров, — на вопрос о сыне земном Марьяна ничего не ответила, а только засветилась чуть интенсивнее, и розовое сияние ее стало заметно пульсировать.

— А все же встретишься ты с ним, Марьяша, — не отступалась от нее Ревекка, — привел тебя к нему Василий Васильевич, как обещал?

— Конечно, встретишься, — был ответ. — И Василий Васильевич не обманул. Но только оказалось, Ревекка, что сына я могла любить лишь там, на земле, когда еще бегала на своих полуоборванных култышках. А

здесь, когда меня подвели к светло-зеленому херувиму и он низко поклонился мне, я только смутилась и даже оробела перед ним. Ведь чином-то он оказался намного выше меня! И вообще — передо мной была совсем чужая судьба, не имеющая никакого отношения к моей судьбе. Оказывается, Ревекка, земное-то родство, даже самое близкое, кровное, как у родителей и детей, — здесь ровным счетом ничего не значит. Родители и дети на земле — это случайные спутники, которым дальше, при новых путешествиях, вместе совершенно нечего делать...

Была у Ревекки и встреча с химерической рыбой-скрипкой, у которой струны были натянуты между ее хвостом и головой, а на ней с двух сторон торчали приделанные черные колки; одушевленная эта скрипка звучала без прикосновения смычка, ибо вибрация всех ее четырех струн происходила самопроизвольно, от внутреннего музыкального желания рыбы-скрипки — и это оказалась та сибирская Шура-хромоножка, что спасала когда-то Ревекку от сыпного тифа. Сама Ревекка ни за что бы не узнала Шуру в ее запредельном новом обликии, но одухотворенный инструмент сам подплыл к бывшей земной соседке и на языке музыки смог напомнить ей о некоторых грустных и трагичных мелодиях жизни, когда-то соединивших их вместе на короткое время. Покружившись возле гостыи, рыба-скрипка тихонько отплыла в сторону и уже навсегда, должно быть, скрылась от Ревекки в сторону своих новых причудливых метаморфоз.

А у принца Догешти оказались свои интересы — его завлекли в клуб таких же, как и он, книжных персонажей, у которых не было живых прототипов, они явились детищем абсолютного вымысла и самой разнузданной спонтанной фантазии. Это был очень большой по численности клуб, с удивлением увидел Догешти в нем весь пантеон античных гомеровских богов и героев, от Афродиты до Язона, также и Данта с Вергилием, Дафниса и Хлою, Гаргантюа и Пантагрюэля, дона Кишота и Санчо Пансу, Петра и Февронию, Ромео и Джульетту, Тристана и Изольду, Руслана и Людмилу, Тахира и Зухру, Шамана и Венеру, Попрыгунью и Стрекозу, Иозефа К., С. Гулливера, К. Робинзона, Синдбада М., Шехерезаду, Лизу, Линду, Татьяну, Анжелику, Кармен, Юлу, Геллу, Скарлетт, ...ия — и так далее.

О, список имен никогда не рождавшихся на земле, но широко известных среди людей мужчин и женщин мог быть продолжен бесконечно — столь много выстроилось вокруг принца Догешти убедительных фигур, что он наконец-то воспрянул духом и расстался с чувством некоей неуверенности в себе, вызванной грустным фактом своего изначального небытия. Осознавая, что его материальность составлена всего из нескольких сотен слов русского языка, использованных в романе для создания его образа, деликатный принц сомневался в подлинности своей онтологической аккредитации в мире людей, *в котором детерминизм их собственного феномена, самовольно обективированный, так сказать, их же собственным интеллектом, иронически-релятивно парафразировал к известному оксюмороническому пассажиру: вечная жизнь.* Как так — «вечная»? — дивился робкий принц, если «жизнь» — то как она может быть вечной? — сомневался он, ведь *жизнь* — это и есть что-то *невечное*. Мне не нужна такая вечная жизнь, это ужас какой-то, рассуждал принц Догешти, ведь я как Слово был при Боге, а потом сам не знаю как выпал в жизнь. Но я хочу вернуться обратно! Для меня состояние словесного *добытия* гораздо дороже, чем мое нынешнее *небытие* в мире существующих ненастоящих человек.

Так дискутировал принц Догешти, окруженный доброжелательными к новому гостю особенными человеческими существами, выстроенными, точно так же, как он, из духовного состава слов и населяющими Божий мир в том виде, в каком пребывали теперь в нем и сам принц со товарищи по экспедиции. Собравшись в одном месте, в потаенном зачарованном доме подводной *Тихоокеанской Онлирии*, это многочисленное сообщество людей представляло, пожалуй, все человечество за много последних веков



его существования — от Адама вплоть до Нового Времени. Но придуманное писателями словесно-человеческое общество различалось от непридуманно-подлинного по многим существенным признакам. Главное — здесь никто никого не убивал, чтобы жить самому, да что там убивать — здесь ничего не надо было делать, чтобы жить, но все запросто существовали в мире, однажды спонтанно возникнув в нем. И поэтому эти люди, не сговариваясь и не определяя своего статуса, владели подлинными свободой, равенством и демократией, и какой-нибудь голый дикарь, лишь вчера слегка цивилизованный и названный Пятницей, никак не считался крупнее или мельче, хуже или беднее, значительней или низкосортней Великого Гэтсби и Великого Инквизитора...

Ну да, находились и здесь господа, которые готовы были ткнуть тростью в грудь пролетарию и молвить брезгливо: *«Отойди, братец, от тебя пахулями пахнет»*, — но все дело в том, что видимая пижонская трость сноба не могла уткнуться в утлую пролетарскую грудь, тоже хорошо видимую благодаря стараниям писателя, ибо все в том мире, куда он вхож благодаря допуску к работе со Словом, может представлять друг перед другом, видеть друг друга, любить, восхищаться красотой, плакать от восторга, вожделенно пожирать очами — но никто ни до кого не может дотронуться рукой, коснуться губами, коленями, достать мечом, шпагой или подпрыгнувшей детородной балдышкой... Обо всех этих преимуществах и особенностях своего бытия вовсю распинались перед неопитом, принцем Догешти, самые прославленные и, может быть, и на самом деле *бессмертные* герои известнейших книг человечества, в своем самоупоении напрочь сметающая выполосканный в деликатной водице сомнений экзистенциалистский скепсис принца Догешти.

И тот уже был готов поверить, что он существует, и даже очень неплохо существует, и у него когда-то было целое царство, красавица царица Наталья, из рода русских бояр Мстиславских... А тут еще словно выполз откуда-то некий лысоватый длинногорлый мужичишко, с голой волосатой грудью под дырявым в мышках пиджаком — отчего и казался товарищ длинношеим: собственно шея плюс полоска голой груди... — он всех прославленных героев сдул в сторону и зашептал в ухо принцу Догешти: «Ты не смотри, что я драный да сраный, мне, шабра, пока неважно живется, ведь я герой-молодчик из еще не опубликованного романа, „Бомжи” называется, поэтому все эти мировые тузы меня сторонятся, а ты ведь тоже пока не опубликованный, и я тебе верю и люблю, сволочь ты этакая...» — так что принцу деваться было некуда, и он с того мгновения окончательно поверил в себя, в свою звезду, которая горела где-то над его головой, затерянная среди миллиардов пылевидных звездных туманностей.

Он стоял на земле, оказывается, и смотрел в небо, запрокинув голову, лицом к ночным звездам. Рядом в темноте мерно шумели невидимые волны, влажно плюхались на мокрый песок при накате и умиротворяюще шипели, откатываясь назад. И никого уже рядом не было из клубных знаменитостей со всей их великой мировой славой, и бесславного бомжа из какого-то неопубликованного романа также не было. Подошел сухо шуршащей по песку, неторопливой поступью писатель А. Ким. Он курил на ходу, и в приближение его красная точка горящей сигареты проделывала сложные эволюции в темном воздухе ночи.

— Мы где теперь? И где все остальные? — спросил у него принц Догешти, когда А. Ким подошел и остановился рядом.

— Кажется, мы на месте уже, — ответил писатель тихим сдавленным голосом. — Хотите закурить?

— А разве это возможно? — столь же тихо, даже испуганно произнес принц Догешти.

— Теперь все можно, — был ответ. — Дело движется, по-видимому, к концу романа.

— Благодарю, но я никогда не курил, кажется... А по каким признакам вы определяете приближение конца?

— Я это чувствую по некоторой усталости и обтертости слов, отпускаемых для его построения... Тот, кто замыслил роман, становится все скупее и прижимистее на слова. Чудесный материал, отпущенный на это строительство, видимо, заканчивается. Напор словесного потока заметно ослабел, а это, я знаю по опыту, означает предупреждение о скором сворачивании дела.

— О, я хорошо понимаю, о чем вы тревожитесь. Вот наступит конец романа, да, словно конец света, и наше совместное путешествие прекратится. Куда же тогда нам всем деваться, его участникам? В особенности в том случае, если роман не будет опубликован?

— А что, вы полагаете...

— О, ничего я особенного не предполагаю, уж вы меня извините, потому что ничего не знаю... Этими делами я никогда не занимался, романов не писал. Сказано было, что мне хотелось строить прекрасные дворцы с помощью обычных строительных материалов, а не с помощью слов. Но и этого не получилось. Не появилось на свете городов, возведенных мной, стало быть, и не было, и не будет на свете такого румынского царя — Догешти-Строитель... Что же я могу предполагать? Вот меня недавно просветили, что многие известные на весь мир люди возникли не от рождения, а от слов, так же, как и я. Но дело в том, что книги, в которых они появились, были все же напечатаны, а наша книга еще даже и не написана... Поэтому я и обеспокоен, естественно, а что с нами станется в том случае, если роман не будет завершен или его никогда не напечатают...

— Но ведь к вам подходил, я видел, некий бомж с подобной же кармической проблемой...

— Кто? Бо... бомж?

— Ну да. Из не опубликованного нигде русского романа «Бомжи», автор неизвестен.

— Ах, этот господин... с голой грудью! Какое у него звучное аристократическое имя... или фамилия?.. Ну да, подходил. Так что же?

— Вот будем и мы шататься по разным непроявленным мирам, подобно этому господину. Что тут страшного?

— Пожалуй... О, вы так же меня убедили, как и другие господа из литературного клуба. Доводы одного были особенно убедительны и сильны. Он мне внушал: «Не старайся заглядывать в бездну, иначе она будет заглядывать в тебя. Вы оба сможете убедиться, что ничего особенного из себя не представляете, что с обеих сторон вы равным образом пусты. И скучнее этого знания ничего нет во всех бесконечных мирах. Так что не заглядывайте в бездну, Ваше Высочество, ибо она есть всего лишь зеркало, в котором вы увидите свою унылую физиономию».

— Вот кто-то и мне внушает сейчас... звучит внутри моего уха: *Бог создал мир, чтобы рассматривать Самого Себя. Бог создал человеческие игры, чтобы играть с Самим Собой.* Наверное, где-то близко находится пророк Иона. Это его строптивые мысли. Значит, мы скоро его встретим, и конец романа действительно приближается. И я хочу просить у вас прощения, Ваше Высочество, что явился невольным виновником вашей командировки в этот мир русских слов. Но я честно признаюсь вам, что никакого в том не было умысла с моей стороны, ни хорошего, ни плохого, буквально за миг до первого вашего появления в романе я ничего не знал о вас, Ваше Высочество, и такого имени — Догешти — никогда раньше не слышал. В добавление ко всему этому — я никогда и в Румынии-то не бывал, ничего о ней не знаю. Но простите меня, ваш покорный слуга получал

именно такие слова от Того, Кто правит моей жизнью, а распорядился я ими по своему усмотрению. Я решил вас включить в состав экспедиции на остров Ионы — и вот цель, кажется, наконец достигнута.

Он, конечно, очень опытный писатель, великолепный мастер в определенном смысле — в сочинении новых необычных читательских ощущений. Поэтому А. Ким и почувствовал, стремительно жонглируя подбрасываемыми ему словами, что в последнее время состав их становится все обыденнее и затрапезнее. По мгновенно определяемой им весомости каждого брошенного ему слова он угадывал в нем тяжесть обычных бытовых предметов, предназначенных как-то скрасить тот небольшой срок пребывания человека на земле, что называется жизнью. И он правильно понял значение бытовой утяжеленности посылаемых ему слов, — только таким образом Я мог обратить внимание человека на то, что Тот, Кто командировал его на землю работать писателем, не особенно доволен им, в особенности тем, что в последние годы он позволяет себе заглядывать туда, где ему ничего не светит. И если жизнь, куда его отослали, — на этот раз великолепно оснащенным для творческой деятельности, — перестает ему нравиться, то его ведь могут и отозвать назад. Нет, Я не угрожал ему и не предупреждал уставшего писателя, Я только хотел, чтобы в голове у него наступила ясность: раз ты чувствуешь утомление от жизни, значит, и она несколько утомилась тобой. Если ушла из нее любовь, то зачем тебе, друг мой, дальше коптить небо?

Творчество, призвание, кармическое задание? Но ведь все это игра, и не твоя, и меньше всего значишь в этой игре ты сам, творец, и порой прекрасная фигура нагой лежащей на шелках женщины, изображенная мужественной рукой, или букет желтых подсолнухов в глиняном кувшине, пастозно, неистовыми мазками написанный рыжебородым мастером, становятся вдруг в миллион раз дороже этого рыжего смешного творца! О, Я не призываю тебя делать глупости, Я просто хочу открыть тебе глаза на самого себя. Творец, говоришь? Да ведь творчество — это слон, который живет в Африке, кушает с деревьев листочки, потом наваливает на землю дымящиеся кучи, — а ты живешь в каком-то провинциальном русском городишке, в деревянном доме самого унылого вида и, того и гляди, помрешь в нем от звериной тоски бытия. Творец, какая связь между тобой и твоим творчеством? Ну чего ты идеализируешь засранца африканского слона, пусть даже он огромный и очень симпатичный? И не стоило тебе в своих романах, на которые ты потратил почти все переданные мною слова, прямым текстом с неслыханной наглостью писать о несовершенстве человеческого мира, о его злодействах, лицемерии, чудовишной сексуальной озабоченности. Что это? Как это? Да кто ты такой? Зачем? Как смеешь ты, наглец? Тебе больше всех надо? Ты соображаешь, парень? Куда прешься? По шее захотелось? Или мало показалось? Отдохнуть на нары потянуло? В Могилевскую губернию просишься? Опупел? Шизанулся? Чокнулся? Какого рожна лезешь не в свои сани? Ты, что ли, строил этот дом? Тебя впустили, обогрели, накормили — а ты изобличать, видишь ли! Тебе порядки в доме не н-дравятся... Ах ты, метла с-с-с...драная!

— Я не метла с-с-с...драная, я писатель, — с достоинством вслух ответил А. Ким, обернувшись в мою сторону.

— С кем это вы? — удивленно и обеспокоенно спросил принц Догешти, во все глаза глядя на писателя.

— Ты меня извини, братец, — тотчас же опомнившись, молвил Я. — Не знаю, что на меня нашло. Должно быть, незаметно съехал на уровень бомжа. Но мне на моем уровне не пристало, разумеется, ругаться как последнему бродяге. Однако я не выдержал. Я очень тревожусь за тебя. Тебе грозит опасность.

— Кто это? Чей это голос слышится? — уже сильно встревожился принц, вращая головой из стороны в сторону.

— Успокойтесь, Ваше Высочество, — отвечал А. Ким, понурившись. — Это всего лишь голос Того, Кто опекает меня. Я его сам никогда не видел. Он всегда был добр ко мне, а теперь вот ругается. Видно, что-то я в своей жизни сделал не так.

Ну, этого Я также не мог спустить ему! И довольно сдержанно, сухо высказался:

— Ты всегда нравился мне редкой внутренней честностью. Я ценил тебя за это. А теперь ты лицемеришь... И это не нравится мне.

— В чем мое лицемерие?

— Ты ведь прекрасно знаешь, *что* в своей жизни *сделал не так*.

— Ну, допустим... Если так — тогда мне можно приступить к покаюнию?

— Если хочешь. Никто тебя не принуждает. Ты действительно СВОБОДЕН.

— Так я покаюсь? Начинаю. Я всю жизнь боялся смерти. В детстве я сильно болел поэтому, наверное.

— Все человеки боятся смерти. Ее и надо бояться. Так что грех невелик.

— Но я ее так боялся, до потери пульса, что невольно стал искать бессмертие.

— И каковы успехи? Нашел его?

— Только в слове *бессмертие*, в нарушение правил новой русской орфографии.

— Это не страшно. Что еще?

— Я в детстве был слабым и болезненным, поэтому сильные дети колотили меня. Но я был умным, а в прошлых своих инкарнациях был высокогородным, из королевских отпрысков. Поэтому я возненавидел грубых и сильных, которые, как правило, глупы и из самого подлого рода.

— Вообще-то ненавидеть кого бы то ни было — это нехорошо. Но, мой друг, ты же знаешь, что ненависть умных — это оборотная сторона их любви. Вот ненависть глупых — она односторонняя, это сплошняк ненависти. А ты был умненьким, значит, ненависть твоя имеет скидку наполовину.

— А еще я имел смелость написать кучу книг, в которых эта любовь и ненависть так и бурлили, кипели, переливаясь через край. Я их замешивал поровну, считая это самым умным принципом, потому что меня научили: *две близняшки правят человеческим миром — любовь и ненависть*.

— Кто тебя научил?

— Проклятые книги, которые я читал.

— И ты, значит, им поверил?

— Каюсь, да.

— И все слова, которые Я посылал тебе...

— Пощадите! Дорогой мэтр Ким, с кем же все-таки вы разговариваете? — вскричал принц Догешти. — Или вы сами с собою?..

— Ваше Высочество, не волнуйтесь. Я не сошел с ума. Здесь, в астральном мире, люди не сходят с ума. Я разговариваю с невидимым своим покровителем. Может быть, это мой ангел-хранитель.

— Нет, дорогой, вовсе Я не твой Ангел...

— Это я его ангел-хранитель, — прозвучал торопливо еще один голос. — Я привел его сюда из Москвы по эфирному тракту. Мое имя *Сергий*.

На какую-то долю секунды над еле заметным в темноте ночи черным силуэтом писателя показался некто в светлом длинном балахоне, традиционно осеняя крылом уныло ссутулившуюся фигуру писателя. Фигура эта сделала рукой довольно вялый жест приветствия своему хранителю, после чего белое видение исчезло. Но голос его продолжал звучать:

— Видели? Это был я, ангел Сергей, а кто этот господин, который звучит чуть выше меня?.. пусть представится сам.

— Я не ангел-хранитель, было уже сказано... Я другой. И Я храню не брэнное тело и его здоровье, как господин Сергей, который звучит чуть ниже меня и даже высветился на миг... Я храню души, перетаскиваю их из мира в мир, чтобы они не заскучали.

— Ах, это Вам я должен передавать в руки душу, то бишь эфирное тело человека, сразу после того, как он умрет?

— Всенепременно, Сергей. И в течение девяти дней!

— Так это Ты — мой Хранитель души? Это Тебе я обязан тем, что она у меня здесь на земле вся переполнилась словами и они излились в книги?

— Да, это Я посылал тебе слова. Добротные русские слова. Ты недоволен?

— Доволен. Счастлив. Я ими, кажется, неплохо распорядился. У меня есть красивые книги, право...

— А некрасивые?

— Таких нет.

— Ты уверен? Как же те книги, в которых все кипит, бурлит, обжигает?

— Они тоже красивые. Они самые красивые у меня.

— И ты полагаешь, что Я могу их предъявить там, на самом верху, где их тщательно проверяют?

— Можешь. И если Ты несешь за меня ответственность там, наверху, Тебе неприятностей по службе не будет за мои книги.

— И все это Я слышу именно от тебя?

— Ты спрашиваешь, я отвечаю.

— Но ты на самом-то деле знаешь, кто Я? — О, не было предела моему возмущению! Я хочу предупредить его о великой опасности, а он все больше усугубляет свою вину.

— Знаю. Ты мой вечный душевный Цензор. Ты строго читаешь мою душу, и если она производит что-то не в интересах Престольного Ангелитета, то Ты все это не пропускаешь, а меня при новой отправке в жизнь швыряешь куда-нибудь пониже.

— При новом рождении, дорогой мой А. Ким, у тебя уже будет другой ангел-хранитель, не я, — со вздохом молвил тут Сергей. — А мне препоручат еще какого-нибудь младенца, и кто знает, какую душу привьют к нему, что за человек окажется...

— Пошадите! — вскричал тут принц Догешти. — Мне больно! Мне одиноко! А я-то чей? Где мое пресловутое царство? Кто меня-то хранит, блюдет и лелеет в мирах? Мэтр А. Ким, вы приходили за мной в окрестности Казимировбани, где вдруг я оказался неведомо как, неизвестно откуда. Извольте хоть вы ответить на заданные мной вопросы.

— Ваше Высочество, вам лучше Он ответит, Хранитель душ, Он же и дистрибьютор словесного товара. От Него нисходили ко мне все таинственные информации и все употребленные мной в работе слова.

А. Ким, бедняга, видимо, закусил удила, словно возбужденная норовистая лошадь. Но ничего, мы эту непослушную лошадку живо обрачем и окоротим, пройдет совсем немного времени, и на земном уровне бытия уже мало кто будет способен отличить его от принца Догешти, как постепенно перестали отличать принца Гамлета от Шекспира, Сервантеса от Дон Кихота, Гаргантюа от Пантагрюэля, Льва Толстого от «Войны и мира», Тартарена от Тараскона, Оноре от Бальзака. Все они будут в словесных рядах, составленных впритирку, мало отличимы друг от друга, как китайцы в огромной толпе, разглядываемой сверху. Мы в эту многомиллионную толпу «китайцев» ссыпем и все те слова, которые с фанатическим трудолюбием сверстал в свои романы писатель А. Ким. И тогда посмотрим, как будут выглядеть в подобной мешанине слова, что выражали его писательское самонение и гордыню, а также повернемся и посмотрим на самого писателя, который всю свою жизнь просидел за различными письменными столами по разным углам и приставлял слова к словам, которые Я только и успевал ему подбрасывать... Посмотрим ему в его растерянное азиатское лицо.

Но Я не сказал ему всего этого, а ограничился лишь тем, что довольно сухо и спокойно ответил на его язвительную реплику:

— Да, Я непременно отвечу принцу Догешти на все его вопросы. А тебе откроюсь, что не все мое благорасположение истощилось, и в оставшееся время жизни ты будешь волен распоряжаться теми немногими словами, которые сможешь еще получить от меня. Стоит только тебе захотеть вновь... И ты будешь сам заканчивать роман этими словами. И мне желательно услышать от тебя, каким образом ты желаешь ими распорядиться? На что ты их потратишь?

— Не знаю, мой господин. Как и всегда, я сделаю то, что ты пожелаешь. Я освободился от иллюзии, что книги пишут авторы.

— А кто же их пишет, уважаемый мэтр Ким? — спросил принц Догешти.

— Их пишут писаря из разных небесных канцелярий, Ваше Высочество. Это дело тонко чиновничье.

— Тогда для чего им писатель нужен? — опять принц Догешти.

— Ему спускают протокол текста с того уровня, откуда он сам явился на землю. Это для того, чтобы бедняга начинил и пропитал книги своими живыми быстротечными чувствами. Моя вина и преступление заключаются в том, что во все книги, спущенные сверху и доверенные мне переписать на русском языке, я от себя добавил чувство *болезненной любви* к миру, который я узрел вокруг себя. И вот мой духовный Цензор сердится на меня, что я оказался таким несостоятельным и, в сущности, подвел Его и самого себя. Я не преумножил сам-десять врученного мне таланта, но, может быть, лишь удвоил его, потому и сильно раздосадовал своего вышнего покровителя... *Ты считаешь, что Я сердит на тебя, А. Ким? Ты дерзок и самонадеян, у тебя дурной характер, причем самолюбив и коварен, готов укусить руку, протянутую погладить тебя по голове, к тому же неблагодарен — получив в жизни все, о чем только люди мечтают, ты все еще чем-то недоволен, и наедине с самим собою, когда тебе кажется, что никто тебя не видит, ты строишь скорбную мину на своей физиономии и шепотом жалуешься Богу, что Его мир человеческий устроен жестоко и страшно! — и за все это Я должен только рассердиться на тебя?! — да знаешь ли ты, что Я могу тебя шандарахнуть так, что ты сразу полетишь в окошке и окажешься там, где никогда Макар телят не пас?..* О, я хорошо знаю это, мой высочайший Покровитель, Зиждитель Слов, знаю ранжир Твой в табели о рангах Небесного Правительства, я замираю от счастья, когда думаю о добром твоём покровительстве, и, признаюсь, я счастлив даже от грозного гнева Твоего, направленного именно на меня, — ведь это Твоя рука отвела ту страшную, лохматую, огромную собаку, чья оскаленная морда была на уровне моей головы, желтые глаза люто светились, нацеливаясь на меня, когда я, шестилетний мальчик, однажды вошел в чей-то двор, с трудом открыв расшатанную, лежавшую нижним краем на земле дощатую калитку? — разве не Ты оградил мою душу от смрада нижних миров, жильцы бездонных провалов которого питаются испарениями наших страданий, их зловонием, криками страха и дымком последнего ужаса? Громкий пес с разбегу не смог сразу остановиться и жестко ткнулся носом мне в плечо, затем мотнул головой в сторону и слегка задел влажной сопливой ноздрей мою щеку — и я мгновенно ощутил, как эту щеку отерла добрая, добрая рука, собаку отодвинула, и это ведь была Твоя рука, мой Господин! — а косматый пес, ничего не понимая, не успев даже погасить лютых огней своих желтых глаз, с растерянным видом повернулся и потрусил восвояси, поскуливая на ходу... — неужели Ты откажешь мне в Своей защите и не дашь мне спасения? только за то, что я не смог стать безгрешным писателем, а стал грешным писателем?

*На все твои вопросы Я отвечу тебе:*

*всякий задающий вопросы уже знает на них ответы, потому он и задает вопросы;*

*всякий, кто желает спасения, обязательно спасется, ибо, пожелав спасения, он уже спасся;*

*тот, кто погиб на войне, или утонул в открытом море, или сгорел в огне ядерного взрыва в Хиросиме, тот погиб смертью, но не умер, ибо умирают только виноватые перед Богом, а они ни в чем не виноваты;*

*не умершие после смерти продолжают жить и живут очень долго, потому что в Онлирии или в других тонких мирах, где они окажутся, нельзя набрать вины, за которые наказываются умиранием, уходом из всех миров Бога;*

*вину можно набрать только в земном мире, где все так красиво и сладко, и хочется всего этого побольше и никогда не хочется терять обретенное;*

*а потому именно все приобретенное на земле непременно теряется, и многим, вновь и вновь возвращавшимся на землю к усладе жизни, вдруг однажды захочется умереть, то есть уйти из всех миров;*

*эта болезнь и причина бунта ангелов, а также причина всех тяжких грехов человека перед Богом таится в чувстве усталости и скуки;*

*твоя болезненная любовь к миру, в коей ты признался мне, есть начальный признак этой болезни, поэтому Я и хотел предупредить о великой опасности, подстерегающей тебя.*

— Что делать, Престольный Ангел? Как преодолеть мне самого себя?

— Ничего особенного не надо делать. Не жалея яростного земного мира, он прекрасно устроен; жалость к миру — смертный грех.

— Что мне делать, если я много лет своей жизни прожил в этом грехе?

— Я уже говорил тебе: всякий спрашивающий уже заранее знает ответ.

— И я могу исцелиться от своей болезни?

— Ты уже исцелился. Иди по новой дороге.

— Где она, эта дорога, начинается?

— Сразу же за покосившейся дощатой калиткой.

— Куда она ведет?

— Дорога эта бесконечна.

Пока шел этот ночной разговор на темном морском берегу, под шадящий шум невидимых человеческому глазу волн, размахивающих белыми венцами пенных роз, две человеческие фигуры медленно продвигались вдоль плеска и шелеста прибоя, и один из путников шел впереди, задумчиво склонив голову, а второй взволнованно следовал за ним, то и дело вскидывая над плечами руки, кружась на месте, словно в танце, а иногда и невысоко взлетая в темно-синий, местами чернильный, воздух и тут же порывисто возвращаясь на землю, вытягивая навстречу ей свои длинные ноги, как садящаяся после полета большая птица.

Этот мечущийся и взлетающий пешеход был принц Догешти, это он так динамично разговаривал со мной, то есть увлеченно задавал мне вопросы и выслушивал, как Я на них отвечаю. Идущий впереди был писатель А. Ким, он также задавал мне вопросы, и Я на них отвечал, что и было изложено выше. Не буду из того делать тайны, что Я могу одновременно вести беседы со множеством своих подопечных...

Между тем начинало уже рассветать. Темно-синее, прозрачно-каменное небо сменяло окрас ночной эфирной ауры Земли, полной интуитивной невнятности побледневших звезд, на тончайшие радужные оттенки астрального утра. Незаметные для нас подвижки всех шести аур планеты явили к утру совершенно чистое безоблачное небо над морем. У восходящего дня было замечательно веселое настроение. Желтокаменная двузубая вершина острова, первой принявшая на себя многозначительный взгляд далекого Солнца, еще скрытого за ровным океанским горизонтом, заблестала густым и тусклым отсветом старой бронзы.

И в это мгновение словно по команде над темными утесами прибрежных скал молча взвились тысячи и тысячи белых птиц. Проснулся птичий базар, и первыми воспрянули к небу самые ранние чайки-моевки, они,

как снежная метель, бесшумно и безветренно родившаяся на глазах, подбросились и понеслись в сторону открытого моря — стремительной рыхлой метелицей. Тут же вслед за этим со всполошенными криками поднялись на крыло черные чистики и кайры, словно взвились в воздух клубы пепла над старым кострищем, по которому промчался вихрь. И вся эта неисчислимая бело-черная карусель двинулась на синие морские поля утреннего кормления, и не успели еще одни, запоздавшие, сорвавшись со скал, перелететь через границу пенных бурунов, как навстречу им уже летели другие, замыкая карусельный круг, — деловитые и самодовольные моевки с добытой рыбкой в клюве.

А у подножий отвесных утесов, грубовато обложенных бордюром из плоских каменистых глыб, на их длинных неровных столах, словно на продавленных диванах, валялись тысячи и тысячи еще неподвижных тюленей, и отдельно от них, занимая более выгодные господствующие высоты, грудилось лежбище массивных моржей. Могучая густая вонь стояла куполом над звериным лагерем, эту вонь резали на куски и уносили для своего пропитания летучие скользкие духи черных провалов, что разверзались в неприглядных и суровых ущельях между прибрежными скалами. И хотя над птичьим базаром тоже поднимался купол острой вони, вечно голодные жильцы провалов предпочитали более жирную и питательную вонь моржей, сивучей и тюленей. Темные духи отхватывали большие толстые пласти ароматного зоологического субстрата и, сверкая глазами от возбуждения, утаскивали богатую добычу в ущелья. Навстречу духам из этих же глубоких ущелий, безобразных, как рваные когтевые раны, летели длиннокрылые мрачные бургомистры, оголодавшие за ночь, готовые наброситься на первую попавшуюся кайру или чайку и разорвать ее на куски. Духи и бургомистры, одинаково нелюдимые по характеру, отчужденно и равнодушно обменивались взглядами и разлетались в воздухе, сейчас не заинтересованные в нанесении друг другу каких-либо урона или оскорблений.

А внизу под ними еще текли последние сладкие минуты утреннего сна в мозгах толстых тюленей, моржей и сивучей, повывлезавших в ночь на берег, и этим мелким мозгам, в которые еще не проник свет солнца нового дня, представлялись неопишуемые радости от их животного состояния жизни, и некоторые моржи всхрюкивали глухо и, приподняв грубо сморщенную голову с закрытыми глазами, с торчащими вниз белыми клыками, поматывали ею из стороны в сторону, затем, так и не проснувшись, даже глаз не открыв, вновь укладывали эту голову на землю, утыкая в нее массивные клыки. Серебристые же каланы и пятнистые лахтаки смотрели свои сны более спокойно, уютно вытянувшись на камнях, некоторые из них запрокинулись на спины, брюхом вверх, и, сложив ласты на груди, блаженно улыбались. На нижнем этаже островной жизни все еще стояла тишина спальни, вот-вот готовая нарушиться утренними трубными звуками.

И в эту чужую незваную тишину я вступил, уйдя невероятно далеко от теплого мира своего счастливого существования на земле, — ушел так далеко, что уже дороги назад, пожалуй, мне не отыскать. А где он затаился все-таки, теплый мир моего счастливого существования?

Я повернулся лицом к востоку солнца — Америка с ее долларовым раем? О нет, нет, там и без меня было по-американски хорошо... Стоят на Уолл-стрит высокие небоскребы, недоступные, как утесы, и на самых верхних этажах живут натуральные черти-полицейские с хвостами, самого грубого низкопробного астрала, чтобы таскать за шиворот всякую человеческую шушери, беспомощно барахтающуюся в погоне за райскими долларами и никак не способную достичь вожделенного успеха. И мне тоже никогда не достичь бы там успеха. Ибо я, бывая в Америке, больше всего боялся высотных билдингов о сто и больше этажей, где на самой верхотуре шебуршились натуральные черти — они приводили меня в дикий ужас.



Тогда я обернулся назад. К западу от острова была Россия, где я жил и исполнил свою работу на русском языке. И там я стал СВОБОДЕН. Мне дали пенсию по старости, но потребовали, чтобы я дал расписку в том, что обязуюсь не заниматься больше творческой деятельностью. И я дал такую расписку. Она хранится в Пенсионном отделе Центрального муниципального округа Москвы. Так юридически была оформлена моя СВОБОДА.

Теперь я повернусь к югу. В той стороне где-то располагалась маленькая Корея, на земле которой, несомненно, был для меня теплый дом моего счастливого существования, но это случилось в другой раз, в более раннее мое появление на земле, и об этом я ничего не помню, только смутно догадываюсь. Какая-то близкая мне женщина была, которой я однажды подарил свой рисунок с изображением плывущего под водой большеглазого пятнистого тюленя... В «другой раз», стало быть, на корейской земле мне пришлось быть художником-анималистом.

Но взор мой улетает дальше, чуть правее, летит со стремительностью бесшумной молнии — и в юго-западном от острова Ионы направлении вдруг обретает утешительную теплоту. Это на юге Казахии, когда-то глубочайшей провинции Российской империи, в небольшом селении русских староверов меня взял под сень крыла своего мой добрый ангел *Сергей*, вживил меня в тело новорожденного корейского младенца и назвал *Анатолием*.

После Казахстана, промелькнувшего мгновенно, как утренний сон, я вижу, уже в юго-западном направлении, еще какие-то золотистые сполохи своих прежних существований, вспыхивавших друг за другом с такой быстротой, что уже ничего в подробностях увидеть и запомнить душевно было невозможно.

Одно лишь запомнилось явственно — то, как стоял перед могильными пещерами, в красных скалах, прямой и стройный Иисус Христос, что-то говорил в сторону разверстых гробовых пещер. И оттуда вылезли, униженно кланяясь и жутко гримасничая, два свирепого вида бомжа, грязные оборванцы с опухшими немывтыми физиономиями, — продолжая кланяться и гримасничать, они боком, боком прошмыгнули мимо Спасителя и затем стремительно понеслись, обгоняя друг друга, по желтому ровному верху обрыва в сторону светившегося невдалеке большого озера. Это было так называемое тогда море Киннерефское. Там, над самым краем отвесного и высокого обрыва, шевелилось, как клубки живой шерстяной пряжи, черно-серое свиное стадо. Бомжи с разбега врзались в свиней, раздался душераздирающий визг, — и черти, весьма похожие на людей, или два несчастных человека, обуреваемых чертями, что-то там делали с визжавшими животными, размахивая руками, а потом исчезли с глаз. И тогда бестолковое свиное стадо, вмиг прекратив визги, вдруг круто и опасно сплотилось, повернулось в сторону моря и стремительно рванулось к краю обрыва. Черные и серые свиньи с шумом ссыпались вниз в воду, но этого я уже не видел — я стоял в стороне метрах в ста от красных скал, где находились гробовые пещеры.

А дальше полет моего пристального астрального взгляда еще не раз менял свое направление и запечатлел несколько всплесков жизни, содержание которых было для меня уже совсем невразумительным. Какая-то страна орлов, по-моему, даже не на нашей земле, и я дрался там за власть. Далее что-то еще полетное, но уже совсем свободно-полетное, без крыльев и приспособлений, и там я погиб, упав с огромной высоты на землю, потому что меня вдруг покинула левитационная сила вознесения. Потом запомнилось следующее — какая-то песчаная пустыня, чьи-то белые крупные кости, кости животного, — может быть, осла или верблюда, но мне было известно, что это мои косточки... И многое другое, веселое, жемчужное, сине-белых тонов — и более глухое, монохромное по колориту, безо всякого блеску.

И наконец, вдруг совершенно внезапно я оказался Ионой, погружающимся в воду кверху задом, потому что его только что сбросили корабельщики в бушующее море, раскачали и швырнули ногами вперед, и он перекувырнулся в воде, быстро пошел ко дну. С этого и начался данный роман. Но дело в том — и это мне запало в вечную память, — что я ведь не захотел быть Ионой, которого проглотит кит, нет, я пулей выскочил из тонущего Ионы, и мой свободный полет продолжился дальше.

Чего же хотелось мне во все времена, на всех этажах и уровнях *Иллюзорного Мира Пустоты*, самым нижним из которых является уровень звездно-галактической туманной Вселенной, дитяти загадочного *Большого Взрыва*? Я задал такой вопрос, значит, мне известен ответ. Ну и достаточно этого. Тут Слова не надо. Оно не мое. Оно было в начале, Оно было в Нем, и Он — первое и последнее Слово... А само жуткое, смешное, щекотливое, потливое, похотливое, неприличное, циничное, спекулятивное, релятивное, на испуг берущее, неэтичное, поэтичное, соблазнительное, блазнительное, безответное, безответственное, паранойяльное, парапустяковое, пустодырное, высоколобое, недостижимое, непостижимое понятие *бесконечности пространства* запирает мне путь к цели моего желания. И если отдалили меня от желанной цели на такое далекое расстояние и снова и снова выпускают в разные миры погулять, значит, так тому и быть — буду гулять, стараясь получить максимум удовольствия от этого.

Почему мне все так знакомо в древней Палестине? Ее палевые спокойные горы, по весне лессированные зеленоватыми мазками акварели... Когда в детстве я впервые прочел стихотворение «Скажи мне, ветка Палестины...», что-то сладкое, теплое встрепенулось в моем сердце, как большая птица, хотя я не имел никакого представления, что означает это слово — *палестина*... Впоследствии, когда я в глубине Рязанской Мещеры охотился в сосновых лесах за белыми грибами, то находил их на борových райских полянках, покрытых серебристым мхом, которые на местном наречии назывались *палестинками*. Моим Господом на земле стал палестинский еврей из Назарета, в Которого с небес спустился и вошел Дух Божий в виде белого голубя, что было засвидетельствовано многими, принимавшими в тот день от Предтечи Иоанна крещение на реке Иордан. А моим крестным отцом был еврейский потомок, родом из Сибири, Иннокентий Смоктуновский, который повел меня, корейского потомка, родом из Казахстана, креститься в православной церкви вместе со своим сыном Филиппом. И мой последний роман велено было мне написать о неудачном палестинском пророке Ионе, которого и кит не смог проглотить, и еврейский Бог не обошел — ввиду явной жестоковывности и хитромыслия адепта — изрядной долей *Своей Божественной Иронии*, уложенной в подтекст всей дальнейшей Иониной судьбы.

Но вернемся к первому. Свободный взор мой, следящий за моими пестрыми инкарнациями в различных мирах, возвращается на Землю, пролетает дальше и несется над необозримыми океаническими просторами. Это поднебесная чаша Индийского океана, вогнутая, как синяя линза; затем промелькнула внизу желто-бурая, как львиная грива, летняя Африка в засухе. И в то время как астральные взоры мои скользили над плоским африканским бушем, словно телеобъективы, нацеленные с пролетающего искусственного спутника Земли, в кадр внимания попал некий голый темно-коричневый туземец, который ловко и бесстрашно дрался, словно мангуста, с серой ядовитой змеей, пожевав съест ее. Другой туземец, уныло сморщив лобик, отдыхал неподалеку среди глин, сидя на своем выдающемся приплюсненном заду; и вдруг первый ошибся, рука его пролетела мимо змеиной головы, и ядовитая змея, извернувшись, сумела цапнуть его за палец. Через несколько секунд незадачливый змеелов уже умирал, корчась на земле, лицо его побледнело и стало желтым, язык был прикушен,

глаза закатились под лоб. А его товарищ даже подняться не успел с земли — приподняв локти и плечи, вытянув шею, он лишь испуганно смотрел на умирающего. И тот второй, еще не умирающий бушмен и был носителем нашей общей с ним души в африканском варианте. Я проводил своего укушенного ядовитым гадом соплеменника в мир иной горестным недоуменным взглядом.

Далее пропускаю многое и многое — над морскими, земными — степными и горными — просторами происходившие события, в которых неизменно присутствовало, от начала и до конца, мое какое-то неизбежное, горьковато-тревожное томление. Словно во всех моих предыдущих существованиях мне всегда было обещано исполнение лучших упований, но я словно знал изначально, что самого главного, самого желанного я не получу и на этот раз.

И вот вижу себя десятилетним мальчиком уже на земле камчатской, в крошечном поселке, всего о трех домиках, с названием Первые Ключи, — я лежу на широком, плоском гранитном камне, теплом от близко подступающих к поверхности земли термальных источников, из-за которых местность и получила свое название. Я еще не задумываюсь, кто я, — дельфийское *познай себя* еще не заботит меня, но уже что-то сильно и сладко тревожит мое маленькое сердце. Я смотрю в синее небо с белыми облаками — и вдруг оно расплывается в глазах, которые наполнились слезами. Они вытекли из уголков глаз, оставив на висках влажные следы прохлады. Никого не было вокруг, только высокие камчатские травы да теплый гранитный камень, на который я взобрался. К нему пришлось пробиваться силой, вырубая деревянным мечом просеку в высоких, больше меня наполовину, густых зарослях гигантской крапивы вперемешку с кислицей. В маленьком доме отдыха на Первых Ключах были какие-то взрослые чужие люди, но они меня не интересовали, мое внимание привлек одинокий камень в джунглях трав, и я охотно приходил и играл с ним, вернее, забирался к нему на его теплую грудь и тоже лежал, как и он, глядя в небо.

Тогда и произошла, может быть, наша с Тобой первая спокойная встреча, о великий Хранитель Слова, — *не совсем верно твое предположение, А. Ким, ангел-хранитель которого зовется именем Сергей, ведь Я заметил тебя гораздо раньше, еще в Южном Казахстане, в селе Сергиевка, годовалым ребенком, когда ты и ходить не умел.* О, и у меня что-то забрезжило в памяти, Великий Хранитель! я сидел на каком-то высокоом месте и очень боялся свалиться с него, ибо в одном из предыдущих существований я уже погибал, сорвавшись с огромной высоты на землю... — *на этот раз, дорогой Анатолий, высота была совсем небольшой, твоя старшая сестра, обязанная нянчить братика, посадила тебя на дощатую завалинку, а сама закрутилась в шумной детской игре, происходившей в тесном дворике; пересекая Казахстан через этот дворик в другое, нужное мне, пространство, Я обратил на тебя внимание, услышав отчаянный рев, но этот крик исторгался не из розового, крепко сжатого младенческого ротика, а напрямую из твоей объятной ужасом души,* — да, да, я теперь вспомнил, сестра скакала на одной ноге, ногой же этой подвигая круглую вещичку по земле, косички подлетали над ее плечами, а я кричал страшным голосом, объятый предсмертным ужасом, однако мне кажется все же, что тот первобытный вопль был не исторжением моей души, похожим на рев динозавра, а самым натуральным криком испуганного младенца.

И что же, это и была наша первая встреча? а на Камчатке, возле теплого камня, стало быть, произошла вторая встреча, Хранитель мой? — *Нет, нет, не вторая и даже не третья, но о них ты, видимо, помнить не можешь, потому что они происходили во время твоего сна или как было однажды, когда ты в припадке малярии лежал беспмятным прямо на пыльной тропинке, проходившей по тополиной аллее, приткнувшись головой к шершавому*

комлю дерева. А на Камчатке у камня, на котором ты лежал и смотрел в небо, да, была одна из важнейших наших встреч, досточтимый А. Ким. Тогда Я впервые открыл тебе, кем на этот раз ты будешь в жизни, разгяснил, к чему тебя призываю, а также откровенно объявил, что ты проживешь эту жизнь, получив от нее все, чего пожелаешь, но так и не получив самого главного и самого желанного.

И поэтому я, десятилетний мальчик, плакал на том камне, глядя в небо? — Да, поэтому; и Я ничем не мог тебя утешить, на это не хватило бы всего моего духа — о, немало по человеческим меркам и представлениям, — ибо жить на земле, увидев и полюбив ее красоту, — это значило снова и снова, и без счета, и без конца желать возвращения к ней. Таким ты создан Тем, Кто создал и меня, а Промысл Его непостижим. Теперь ты понимаешь, чего Я тебе не могу дать, хотя все остальное ты можешь получить от меня? — Ты открыл мне, что спрашивающий уже знает ответ на свой вопрос... — Ты сказал... И ничто не может измениться. А то главное, чего желаешь ты, есть и мое неисполнимое упование.

— Как же так? Но ведь сказал же Иисус: Я иду к Отцу Моему? Разве и Он не увидел Отца?

— Ты задал вопрос. Ты имеешь ответ.

— Увидел! Значит, не все и не всякий обречены на вечную детскую печаль по Отцу.

— Значит, не все и не всякий...

— А почему же мы с Тобой...

— Не искушай Меня, не задавай больше вопросов, Я прошу тебя.

Пролетевший далее взгляд моего бессмертия облетел земной шар по кругу и уперся с затылка в меня же самого, сидящего на сером песке береговой кромки. Я сидел в виду огромного звериного лежбища на плоских валунах, у подножия темных отвесных утесов, на вершинах которых уже шумел-гремел медными кастрюлями многотысячный птичий базар. Я сидел на сухом песке, одну ногу вытянув вперед, другую согнув в колене, обхватив его руками, — и с волнением наблюдал за пробуждением животного и птичьего царств, за первой охотой угрюмых бургомистров и за последними пролетами в сторону рваных ущелий демонов низшего разряда, питающихся исключительно звериным зловонием. Видимо, этой пищи им хватало, и скользкие на вид жильцы темных провалов выглядели сытыми и безобидными.

Может быть, я умер уже давно, не заметив своего прохождения через смертный порог, но все равно — жить так хотелось, жить так хотелось по-прежнему! Это видно было и со стороны — по чуткому повороту головы на склоненной вперед шее, по жадно сцепленным на колене рукам, пальцы которых от волнения и напряжения слегка побелели на концах.

Я одиноко сидел на песке береговой кромки острова, изумленно взирая на птичий базар и лежбище моржей, котиков, сивучей и тюленей, а между тем ко мне с разных сторон приближались те, которых я привел сюда. Те, которые явились неизвестно откуда. У которых я никогда не спрашивал, почему в моем сердце такая неизменная благосклонность к ним, хотя ничего, ничего о них я не знаю. Чтобы обозначить их внешне в том мире, в котором и сам теперь обитал, я отдал им лучшие слова, которые только отсылались мне Хранителем Слова. И большего, увы, я не мог сделать для них.

Первыми я увидел вдали, на повороте лукоморья, точно повторявшем изгиб моей левой руки, охватывавшей колено, бегущую черную собаку и смутно проявленную в розовом воздухе утра высокую фигуру румынского принца. Он был в своей голубой венгерке со сверкающими серебряными галунами, без шапки. Принц и черная собака двигались навстречу друг другу, собака — побыстрее, в беге ее ощущалась безмерная радость бытия.

Черной собачкой являлась Наталья Мстиславская, царица румынская, супруга принца Догешти, — но об этом знал сейчас во всем мире только я один... Стремительно сблизившись со своим царственным хозяином, черный кокер-спаниель прыгнул ему на грудь, вытянув передние лапы, — и пролетел сквозь принца, который даже не пошатнулся. Но приземлившаяся собака ничуть не обескуражилась этим, радостного веселья движений не утратила и, припадая грудью к земле, резко затормозила — тут же развернулась в высоком прыжке, взметнув длинными ушами, и со звонким лаем понеслась назад, но на сей раз не стала прыгать на человека, а принялась галопом скакать вокруг него... Скоро она успокоилась — и вот два любящих, преданных друг другу существа шли рядышком, собачка чуть впереди — на полкорпуса, — а оба они проходили по той береговой кромке лукоморья, которая ясно читалась поверх моей согнутой руки, лежащей на моем приподнятом-подогнутом колене. Хоть на таком условном и зыбком пространстве, хотя и в таком странном, умаленном из-за расстояния виде — но встретились две любящие души, и это было хорошо!

Я любовался на них издали, постигая в тот миг смысл появления в жизни — в каком бы то ни было обличье: одушевленного существа или в виртуальном художественном образе — каждого из нас. Каждый из нас приходит сюда, чтобы встретить кого-нибудь. Того самого конкретного и видимого, которого можно полюбить, как и *Отца Невидимого*. И Он не будет сердиться, если такая встреча произойдет и любовь получится. И уже никогда не разлучит вон тех двоих, что идут рядом друг с другом по берегу, направляясь к дальнему краю лукоморья — в сторону Вечности.

Потом из морской глубины, прозрачно-рдеюще-красной, как сок граната, насквозь просвещенной лучами всплывающего солнца, чей огненный зрак только-только показался над океанским горизонтом, — по алой дорожке света стали выходить на берег еще две человеческие фигурки. И я сначала никак не смог различить в них Ревекку и американца Стивена, ибо отраженное на воде алое утреннее солнце слепило мне глаза... Но по мере того, как они, идущие рядом, выходили из моря, явившись сначала по плечи, затем по пояс, — и вышли наконец прямо против меня на берег, темнея контражурными силуэтами, охваченными огненной аурой, — я в них признал еще двоих, что пришли со мной на остров Ионы. Да, это были Ревекка и Стивен Крейслер, и они вышли из моря вместе, держась за руки.

Что-то случилось там, в глубине подводного дворца, где все мы разошлись по разным астральным сообществам, исходя из своих пристрастий. И я не знаю, что произошло, из-за чего Ревекка и Стивен стали вместе, а поручик Цветов почему-то отдалился. Неужели тема любовного треугольника остается актуальной и в параллельных мирах, друзья мои? И возникают в трехгранном туннеле бытийного калейдоскопа — где бы он ни крутился — рассыпчатые волшебные узоры, цветы и фейерверки любовных историй, кстати, никогда не повторяющихся хотя бы два раза подряд.

Мы знаем, как устроена эта чарующая игрушка. Она представляет собой картонную трубку, внутрь которой вмонтированы три ровные одинаковые стеклянные пластинки таким образом, что образуется равносторонний треугольник, вписанный в окружность, — если смотреть в трубку с какого-нибудь ее конца. Один из этих концов в калейдоскопе закрыт кружочком матового стекла, а в другой, противоположный, конец, в котором устроен круглый глазок, как раз и надо смотреть. Внутри же стеклянного треугольника, вписанного в картонную окружность, свободно бегают, побрякивают, группируются и вновь рассыпаются сколочки разноцветных стекол, симметрично отражаясь в трех гранях зеркал. Стоит только крутнуть в пальцах трубку, тем самым и поменять в треугольнике местами углы, как прежний любовный узор рассыплется и возникнет другой — а мы, невольно затаив дыхание, следим за все новыми возникающими ил-

люзорными узорами и находим их не менее очаровательными, чем прежние.

Таков треугольник любовного калейдоскопа. От перемены мест его углов рождается, стало быть, новый феерический цветок. И это происходит, наверное, в каждом из миров, где только и заводится странная эта вещь — любовный завораживающий треугольник.

Итак, поручик Цветов почему-то разошелся с Ревеккой, с которой встретился однажды в Сибирской Онлирии и, по ее настоянию, вместе с нею вернулся с того света на землю ради испытания земной любви с чувственной, пылкой еврейкой. И они вместе путешествовали одну целую эпоху России по лесным дебрям Сибирской, Чукотской, Камчатской Онлирии, бродили по земле пешком, вдали от всей человеческой суеты, и насыщались взаимной любовью впрок, на века. Но что-то произошло в том подводном дворце, наполненном сказочными коралловыми цветниками и актиниевыми куртинами, — и вот из моря на берег острова Ионы вышли рука об руку американец Стивен Крейслер с Ревеккой, а не Андрей-Октавий с ней. Они подошли ко мне, сидящему на песке, и оба одинаковыми веселыми глазами посмотрели на меня.

— Мы пришли попрощаться, — молвил мистер Крейслер, неузнаваемо помолодевший, но в прежнем твидовом пиджаке и при галстукке. — Мы хотим, чтобы вы отпустили нас обоих, а мы улетучимся, куда пожелаем.

— Но ведь не по моей прихоти вы явились сюда! — воскликнул я. — И не моя воля отпускать вас или нет. Ведь я так же, как и вы, оказался здесь вовсе не по своей воле. Однако полагаю, что цель нашей экспедиции достигнута, мы на острове, и теперь все, наверное, СВОБОДНЫ.

— Я тоже так думаю, — сказала Ревекка, — и мы со Стивом решили следовать в Америку.

— Да, снова в Америку, — подтвердил Стивен Крейслер, — где я однажды был адвокатом, квакером, домовладельцем в городе Олбани. Только я беспокоюсь, а сможем ли по возвращении мы узнать друг друга и не пройдет ли еще одна жизнь в Америке впустую, без нашей встречи?

— Чего гадать, — ответил я. — Надо попробовать. Действуйте, коли решили. Давайте лучше посмотрим, какие слова остались для вас двоих в этом романе.

— Добро, — согласилась Ревекка.

— О'кей, — подтвердил Стивен.

— Значит, так. Вот остатки слов о вас двоих.

*СТИВЕН: Прожил жизнь, буквально истолковав смысл речи, однажды прозвучавшей внутри его уха во время молчаливого квакерского собрания. Голос, повелевший Стивену заработать пятьсот тысяч долларов и затем жить на банковские проценты, не мог принадлежать Богу, он принадлежал, очевидно, какому-то озорному циничному демону. Засим Стивену Крейслеру надлежит — уже под другим именем — снова появиться в той же Америке и постараться жить вместе с этой страной, не пугая голос демона с голосом Бога. Заработать сколько-то денег, какую бы привлекательной и кругленькой ни была сумма, не может быть целью жизни человека, который отправлен жить на землю. Его попросту дурачат — с этими суммами, с американской мечтой, с американским же образом жизни. На остров Ионы Стивен Крейслер направлялся, чтобы он познакомился с Ревеккой и договорился с нею о встрече в будущем новом существовании. Предполагается, что в новой жизни Ревекка будет неслыханно богата. И это все.*

Последние слова, предназначенные для Стивена в романе, таковы: исчез, словно растаял в воздухе.

*РЕВЕККА: Самые последние, предназначенные для Ревекки, связанные с ее образом слова: он отошел навсегда, хромая.*

И вот, сообразно тому, каковы были последние слова для американца Стивена Крейслера, он вдруг зашепел и, очевидно, уверившись в том, что обязательно найдет в следующей жизни свое счастье с Ревеккой, а также сумеет отличить на этот раз голос истинного Бога от коварных внушений демонов, рациональный и в астрале американец торопливо поцеловал Ревекку и, сказав ей короткое «бай!», исчез, словно растаял в воздухе.

Ревекка осталась рядом со мной — но после исчезновения Стивена она мгновенно изменилась, на моих глазах за минуту постарела и вновь превратилась в женщину с грузным телом, с ковыляющей походкой, но с красивым юным лицом без единой морщины.

— Что же мне делать-то теперь? — с растерянным видом спросила она.

— Не знаю, — также растерянно ответил я, поднявшись с земли и стоя перед старой дамой, — посмотрим, как дальше дело обернется. Ведь вы, Ревекка, должны были здесь встретиться со своим библейским пращуром Ионой. Так было предсказано еще в самом начале романа. И последние слова, связанные с вами, мне также сообщены, — однако сию минуту они никак не уместны и не могут быть использованы.

— Для чего мне встречаться с пращуром Ионой? — был задан мне вопрос скучающим голосом. — Ведь мне от него ничего не нужно.

— Не знаю, — ответил я. — Мне неизвестно, для чего я и сам-то должен с ним встретиться... Надо его искать по острову. Пойдемте искать вместе.

— Но я не могу... Вы же видите, во что я превратилась.

— Однако и на самом деле... — призадумался я. — Но вы знаете, Ревекка, мне также было предсказано, что когда я окажусь на острове, то за пазухой у меня будет сидеть почтовый голубь.

— И что?

— Так вот он, голубчик, сидит себе тихонько, — сказал я, хлопнув ладонью правой руки по джинсовой куртке на груди. — И у меня есть предложение.

— Какое?

— Не хотите ли вы стать этим голубем? То есть водвориться в его сердце? Хотя бы на время? Пока я буду бегать по острову и искать пророка Иону?

— Предложение принимается, — был ответ, и в тот же миг этот новый эзотерический сигнал, поступивший ко мне, словно неожиданная новость из ниоткуда — как и *всё* в моем так называемом творчестве, — обрел свое художественное воплощение. Старая дама пропала из виду, а у меня за пазухой под рубахой ворохнулся голубь и зацарапал коготками по животу.

А со стороны моря продолжали поступать ко мне еще и последующие эзотерические сигналы: сначала какой-то странный неморской шум вроде лязга оттягиваемого винтовочного затвора, потом вода вздулась бугром, сначала в одном месте, затем еще в двух местах, — и показались из нее три огромных мокрых каменных идола. Вода низвергалась с их плеч и с шумом стекала обратно в море. Впереди двигался *он*, и я сразу же узнал его. Это был колоссальный, сверкающий на солнце великан, мой внебрачный сын от случайной связи с *Мать — сырой землей*... А приземистые каменные бабы, следовавшие за каменным гигантом, были те самые две восхитительные толстухи, которых я встретил в день своей языческой свадьбы. Теперь вместе с моим земляным сыном они отыскали меня — считай, уже на другом краю света... Да что там — на другом свете! Со сложным чувством мистического страха и сладкого восторга я смотрел на них, вылезавших из моей непутевой юности на берег моря. В груди моей далеким набатным звоном тихо застонала тоска по всему земному. Ведь все это земное, языческое, было теперь для меня *глухой майей*. То есть ничего, ничего подлинного для меня *там* не было. Потому что я пришелец, оказыва-  
ется, с другой звезды.

И словно услышав мои набатные стоны сердца, а также инопланетное признание, три каменных великана остановились, не дойдя до берега метров пятьдесят. Водяные следы, бурлившие за ними, разгладились, и от каждой скалы разошлись маленькие круговые волны. Великаны застыли, словно на месте убитые моим неприятием, и навечно остались стоять в этом заливчике, выстроившись напротив берега. Три высоких скалистых монолита. А я стоял в серых песках и печально обозревал свое фатальное планетарное неродство с *глухой майей* земных тшет. Я пришел с другой звезды, я хотел вернуться назад, но не знал, с которой из них соскользнул на Землю. А звезд в небе, за голубым куполом земной ауры, громоздилось несчетно, бесконечно, тьма-тьмуще, неисчислимо, как песчинок со всех пляжей мира, как секунд в часах вечности, как снежинок, как дождинок, как росинок на травах за все время существования круговорота воды на Земле, как всех снов, виденных всеми людьми, когда-либо появлявшимися на свете... Так на которую из этих неисчислимых световых пылинок должен был вернуться я?

И тут перед собой я увидел своего ангела-хранителя *Сергия*. Однажды мне пришлось мельком видеть его, и тогда облик ангельский был весьма тривиальным: в белой хламиде, с белыми декоративными крыльями. А теперь он возник в виде громадного белохвостого морского орлана, который плавно, замедленно, словно во сне, опускался сверху на землю, широко раскинув по сторонам могучие крыла. Коснувшись вытянутыми лапами земли, гигантский орлан долго простоял на месте, не складывая крыльев, повернув голову в сторону и застыв неподвижно, величественно, как орлы на египетских каменных изваяниях, словно хотел дать достаточно времени полюбоваться на себя. Затем уставился мне в глаза своими пронизывающими яркими глазами.

— Я твой ангел-хранитель Сергей, — молвил орлан мужественным чистым голосом.

— Очень рад видеть тебя, — сказал я в ответ. — Очень рад. Признаться, всю жизнь хотел увидеть тебя, поговорить с тобой. Ведь я так благодарен тебе, люблю тебя, Сергей. Моя душа всегда жаждала общения с тобой. А тебе — неужели никогда не хотелось поближе сойтись с теми, кого ты охраняешь?

— Признаться, нам этого нельзя, — был ответ. — Нарушение службы. Ни показываться, ни вступать в словесные сношения с душой, заключенной в живородящее тело, нам не положено. За это сразу полетишь в окошке и попадешь в компанию к этим голодным пачкунам.

Явное презрение прозвучало в последних словах моего доброго Ангела, вновь повернувшего голову профилем в мою сторону и орлиным взором уставившегося на пролетающих мимо *инкубов*, духов темных провалов, которые с видом алчной деловитости тащили по воздуху пласти вонючей субстанции, добытые ими над моржовым лежбищем.

— А как же сейчас, дорогой Сергей? Вот ведь ты показался мне, правда, в виде морского орлана размером с военный самолет-истребитель. И вот разговариваешь со мной...

— Да ведь я... Да ведь мы с тобой теперь имеем на это право...

— Право?

— Да ведь ты же помер, как тебе и было положено, а теперь я прилетел за тобой, чтобы отнести твою душу в высоту и передать Тому, другому, Который всегда следил за тем, как ты пишешь свои книжки.

— Как это — помер? — удивился я. — Что же это я сам-то ничего не заметил?

— Во сне это произошло, наверное, вот и ничего не заметил.

— А где произошло? Неужели в Москве, на *Конюшковской, 26*?

— Так точно. В виду заснеженных крыш, утыканных телевизионными антеннами.



— Ну и ну, — только и нашелся я что сказать. — Дела... А это... что же все-таки все это значит?

И я повел рукой вокруг, показал на резко рубленные высокие скалы, на гомонящий, словно увертюра к симфонии Малера, птичий базар, занявший их вершины, на возвышающуюся вдали двузубую, сверкающую медью вершину острова, на пылающее огненное море, о край которого самой нижней неуловимой точкой еще касалось взошедшее над морским горизонтом багровое солнце. Птицы неистовствовали в небе, звери проснулись и огласили залив утробным ревом медных духовых, летающие рыбы стайками выпрыгивали из воды, словно быстрые серебристые аккорды, — и никак не верилось, что меня уже нет на этом свете. Все говорило против этого и ничего — в подтверждение моей смерти. Нет, ее все же не было. Было лишь мое личное *безсмертие*. И я вступил в препирательства со своим добрым ангелом-хранителем.

— Что все это значит, Сергей? Все, что кругом?

— Для тебя ничего не значит. Се, мир Божий. Не твое имущество, Анатолий...

— Да я не об имуществе! Я о другом. Как же так: я умер и все это вокруг вижу? Не рано ли ты пришел за мной, чтобы эвакуировать наверх? Может быть, там я еще не очень нужен?

— Там, на самом верху, вообще-то никто из нас не нужен. У них хватает своих дел. Там не человеческими, а звездными мирами заправляют.

— Тогда почему ты собираешься тащить меня вверх?

— Служба есть служба. Не спрашивай. Подойди-ка, я обниму тебя, и мы полетим, сынок.

— Сынок... Что это значит в твоих устах, Сергей?

— Я ведь защищал тебя как отец, силой своей духовной мышцы пользовался. Со всякими пачкунами вроде этих, которые летают вокруг и тычутся, вынужден был драться, чтобы ты не стал для них коровкой. Вот потому и — сынок...

— Коровкой?!

— Это я так, для сравнения. Корову доят, чтобы пить молоко, так ведь? А эти духи выдаивают у человека страдания, стоны, проклятия, злобу, наркоту и всякие там сексуальные безобразия, понимаешь теперь?

— Кажется, понимаю. Это касается темных. А вы, светлые духи, каким молоком питаетесь?

— Вашими радостями. Вашим счастьем. Вашими молитвами. Чем больше такого молока, тем вы для нас дороже. Вот отнесу тебя наверх и передам Тому, Кто уже, наверное, ждет нас. А Тот оттащит тебя еще выше и сдаст в протокольное ведомство Престола. Там рассмотрят твоё дело, а потом решат, как с тобой поступить. Могут сразу же швырнуть обратно на землю. Могут и загнать под землю, духом зловонным сделать. А могут повесить, вот как и меня когда-то, и ты, может быть, тоже попадешь в ряд ангелов-хранителей, начнешь работать с людьми.

— А что будет, Сергей... если окажется, что я с другой звезды?

— Инопланетянин? Этим занимается отдельное Инопланетное ведомство там, наверху. Но я об этом ничего не знаю, Анатолий. Образованьице подкачал. Ты был добрый малый, неплохо питал меня от своих радостей, поэтому я и рассказываю тебе обо всем... А теперь пришел твой час, ты уж извини, я должен исполнить свою работу.

— Час мой, говоришь, все-таки пробил... Ну что ж, действуй, Сергей.

Огромный белогрудый и белохвостый морской орел нес меня в своих когтистых лапах, я висел глазами вниз и видел прямо под собою остров, который становился все меньше и меньше по мере того, как круживший над островом орлан по стремительной спирали набирал все большую высоту. И наконец земляной пятачок острова стал выглядеть совсем малень-

ким, сиротливым, словно оброненный кем-то в океан кожаный полукруглый кошелечек для мелких монет.

При восхождении наверх мы прошли многие этажи облаков, и невысокое над морским горизонтом утреннее солнце было еще под ними и алым своим светом поджигало края туч снизу. На одном из этажей, совершая круги вознесения внутри просторного воздушного вестибюля в кучевых облаках, я увидел многотысячное стадо лохматых красных медведей, которое гнали куда-то на восток медвежьи пастыри в широчайших плащах, раздуваемых поднебесным мощным ветром. Это были те камчатские медведи из *Расхерасперистуума, Долины Гейзеров*, которые однажды, в день полного солнечного затмения, собирались на свою мистическую сходку и лохматыми коричневыми телами, сверху столь похожими на распластанных клопов, покрыли почти всю обширную долину, разрезанную дымящимися речками на множество кусков. По этим речкам текли *расхерасперистуумские* терминальные воды. Теперь, очевидно, долину гейзеров освоили люди для своих техногенных бесчинств, и медведей решено было перегнать на другое место — что и делали пастыри, их собственные медвежь ангелы, одетые в длинные, широко развевающиеся плащи-ветровки оранжевого цвета.

Уйдя еще выше, я проводил прощальным взглядом удалявшееся стадо красных облачных медведей, на ходу вразнобой колыхавших тесно сближенными лохматыми спинами. Прощайте, медведи! Как мне повезло, что я снова увидел вас! Уходя на небеса и готовясь предстать перед судом, я еще раз с восторгом и умилением всматриваюсь в то, чего ни одна душа, кроме моей, во всей Вселенной никогда не видела.

Подняв взор и посмотрев на покидаемый — может быть, навсегда — мир планеты снизу вверх, в направлении *ионосферы*, я заметил вдали над нами, надо мной и морским орланом, который нес в своих когтях меня, деликатно и крепко обхватив со спины, — увидел одиноко застывшего в вышине небес гигантского серого орла. Это был морской беркут, намного превосходящий моего *Сергия*, что можно было определить даже издалека. А подлетая к нему, мы с моим ангелом-хранителем как бы представляли собой маленький советский истребитель, который приближался к многомоторному громадному супербомбардировщику «*Максим Горький*», чтобы протаранить его в крыло, которое, кстати, было в ширину больше, чем истребитель в длину... О, *глухая майя* этого странного российского времени, носившая звучное название СССР, — куда ты сгнула? Словно никогда всего этого и не было. Впрочем, так же, как и меня, Господи! Прости всех виновных, если только была на них вина.

Ясно мне теперь, когда я только что узнал о своей смерти и, стало быть, СВОБОДЕН, что бунт строптивых ангелов, случившийся однажды на небесах, повторился на земле. Полководцы демонов, разбитые в открытом бою, увели свои войска в глубину народов, и это они, провозглашая горделивые лозунги, подняли русский народ на вооруженный мятеж против Бога. И грозным было Его наказание — народ советский поразила роковая проказа, и у всякого, кто заболел ею, на лицо легла угрюмая маска льва...

Видно мне теперь, что Россия была выбрана для восстания с дальновидной политикой мятежного Демонария. Ведь среди российского народонаселения больше всего было посеяно душ, из которых впоследствии, при благоприятных условиях, могли бы вырасти достойные кандидаты для пополнения небесного Ангелитета. *Темным* надо было испачкать *Светлых*, и первым показало, что это довольно легко сделать. Но торжество *Темных* длилось какое-то мгновение — примерно семьдесят лет. И вот я вижу теперь, оглядываясь вниз и назад, что земля вновь обретает цвета здоровой природной кожи, и следы широких ран, нанесенных вырубленным лесам и грубо распаханым степным-луговым землям, затягиваются пленочкой робкой полупрозрачной акварельной зелени.

Мой белогрудый орлан подлетел к голове парящего гиганта и с трудом выровнял свой полет в одинаковую скорость с полетом камчатского беркута, который и крылами не шевелил, и, казалось, стоял в воздухе на месте, но на самом деле продвигался вперед с огромной скоростью, в гуле и грохоте бури, что исходили от опрокидываемого и завихряемого полетом орла встречного ветра. Мой же маленький орлан поднялся чуть выше головы беркута и с тихим взгласом «прощай» выпустил меня из своих лап, но я не упал вниз, а был подхвачен упругой воздушной волной, бежавшей впереди величественного крейсирования беркута, и полетел на этой волне, словно играющий дельфин перед форштевнем стремительно мчащегося корабля. И, возлежа на упругой воздушной подушке, я разговаривал с великим *Морским Беркутом*, каковым решил предстать передо мной при встрече Тот, Кто хранил меня смолоду в моей духовной жизни и в свое время весьма круто обошелся со мной, повелев мне оставить холсты, кисти, масляные краски и писать на бумаге слова.

Я скользил по переднему склону стремительной воздушной волны, что бежала прямо напротив острого изогнутого клюва *Морского Беркута*, а он огромными, светящимися, как двойное солнце, чуть скошенными к переносью глазами внимательно разглядывал меня. И деваться мне было некуда. Но я был рад всему происшедшему — потому что СВОБОДНО отвечать на все вопросы и говорить всю правду о себе, без малейшей утайки, — это очень сладко для души и облегчительно: радость чистой исповеди есть невероятная радость.

— Ты доволен своей работой? Я только о работе. Предупреждаю: до всего другого мне дела нет.

— Очень доволен. Можно уверенно сказать, что если я уже умер, то я умер, насыщенный работой. Благодарю тебя, Господи.

— Но я не Господь твой. Я всего лишь Хранитель Слова. Все слова, предназначенные для твоей работы, я лишь собирал и передавал тебе. Так что не благодарю меня как Господа.

— Великий Хранитель Слова, я догадался о тебе давно, еще при жизни. А сейчас я произнес слова благодарности не тебе, а действительно самому Господу нашему. Тебя я тоже молитвенно поблагодарил бы, но не знаю, как это сделать. Не представляю, как мне называть тебя в молитвах.

— Для простоты и краткости можешь называть меня *Гением*.

— Вообще-то мы оба от скромности не умрем, правда ведь? Но все равно — благодарю тебя, мой *Гений*. Словечко, правда, несколько пообтерлось за тысячелетия употребления... Не знаю, как мне самому расценивать свою работу, но я был счастлив в жизни совершить ее. Уже одним только этим и был счастлив. А что касается всего остального...

— Повторяю, что мне нет дела ни до чего другого, кроме работы.

— Знаю, что это не жестокость твоя, мой добрый *Гений*. Это твоя железная воля. Ты отбрасывал от меня все, что мешало моей работе.

— Ну и что скажешь обо всем этом? Ты доволен тем, что у тебя получилось?

— Далеко не все получилось так, как грезилось мне во сне и наяву.

— Отчего же?

— Не знаю. Может быть, таковое и вовсе недостижимо. Может быть, это никому не нужно. А может быть, я и достиг в работе уровня своих грез, однако не заметил этого или не понял сам.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что грезы у художника так же одиноки, как *Промысл Божий*. Каждая отдельная невнятная *мечта* его ни в чем окружающем не узнает себя. И существует сама в себе, в единственном экземпляре, как неразделимая мысль Господа. Так что *ее*, собственно, осуществить невозможно.

— Тогда за что ты можешь быть благодарен *Промыслу*? Как можешь считать себя счастливым работником?

— Я благодарен *Божьему Промыслу* за то, что Его не постигаю и никогда не постигну. Но Он прекрасен и летит мне в самые зрачки ослепительным снопом света, идущим неизвестно откуда. И считаю себя счастливым только потому, что за работой, которую ты поручил мне, я и не заметил, как прошла моя жизнь на земле.

— Значит ли это, что моя награда тебе не подошла для тебя?

— Отчего же? Наверняка подошла. По-другому и быть не должно. Но спроси об этом мое сердце. Оно лучше знает.

— Ты неблагодарен. Ты грешен. Ты явился сюда, так и не закончив последнего романа. Ты коварен. Ты что-то недоговариваешь. Ты не чувствуешь себя счастливым, но говоришь, что счастлив. Ты знаешь, что умер и сердце твое таким образом мертво, — и предлагаешь спросить у сердца твоего, довольно ли оно тем, что Я избрал именно тебя и сделал писателем. Ты недооцениваешь, по-моему, и сам дар жизни, оттого и не скорбишь вовсе о ее потере. Нет, ты не готов к встрече со мной, отправляйся назад, Я не принимаю тебя и наказываю тем, что возвращаю тебя в ту же писательскую жизнь в той же стране — ты не прошел испытания Моего суда! Иди обратно на *досуществование*, помучайся еще, довершай свой урок.

Все это громовым голосом выкрикнул мне в самое лицо мой *Гений, Великий Морской Беркут*, воин с грозными очами, мечущими гневные молнии, уставя эти устрашающие очи прямо в мою маленькую легковесную душу, которая, как шарик пинг-понга, неслась перед самым его гигантским блестящим изогнутым клювом, припрыгивая на бегущей воздушной волне. И огненный взор, и серый каменный кривой нос, и желтый обвод на концах губ, презрительно опущенных книзу, — все это мгновенно, вслед за тяжким грохотом прорыва звукового барьера, промелькнуло мимо меня и мгновенно исчезло с глаз. Мою душу кинули.

Я остался в совершенном одиночестве между космосом и Землей и уже летел назад к ней в режиме свободного падения. Эфирное мое тело, то бишь душа, хотя и весило всего три грамма, однако набирало ускорение точно по 9,8 метра в секунду. И снова мне смутно вспомнилось, что в каком-то из прошлых своих существований я погиб таким же образом, упав с невероятной высоты вниз. Прямо подо мною снова появился остров Ионы на бескрайнем синем фоне моря, и я заметил островок, когда он стал уже размером с русскую копейку. О, с такой высоты трудно было предположить, что я попаду именно на этот кусочек суши в необъятном океане, и я заранее готовился к холодной водяной купели северного моря.

Но по мере приближения к поверхности земли, пройдя стратосферу и войдя в более плотные воздушные слои небесной Онлирии, мое падение понемногу стало замедляться. А когда остров внизу снова стал размером с кошелек для мелочи, падения, собственно говоря, уже не было, и я спустился в плотном воздухе со скоростью обычного парашютиста, над которым благополучно раскрылся, хлопнув, спасительный шелковый купол.

Все стало вновь обыденно, понятно и логически объяснимо. Только с одной разницей — логика всего происходящего была такая, какая бывает в сновидениях. Побывав в посмертии и возвращаясь назад в жизнь, я должен был бить в какой-то барабан и дудеть в какую-то дудку. Однако этих предметов под рукою не было. Объемные картины земного мира, в который я плавно спускался сверху, были по-прежнему настолько прекрасны и совершенны, что хотелось умереть. И это также было по закономерности новой логики. И роман этот, в который я вновь погружался, чтобы наконец завершить его по строгому повелению Того, Кто правил всей моей *этой* жизнью, тоже выстроен, оказывается, в логической системе сновидений.

Я стоял посреди огромного стада рыжих морских котиков. Звери теснились вокруг, шарахаясь от меня, старались отбежать на некоторое рас-

стояние, поматывая из стороны в сторону высоко задранными гибкими шеями, беспокойно оглядываясь, налезая друг на друга. Не очень далеко в стороне, на огромных плоских гранитных валунах, похожих на старые продавленные диваны, по-домашнему расположилось лежбище сивучей, весьма напоминавших рассыпанные бобовые стручки. И между этими серыми бобовыми сивучами разгуливал какой-то человек, вызывавший во мне чувство острого беспокойства за его судьбу. Значит, не все во мне умерло, не все потеряно? Я могу еще о ком-то тревожиться на этом свете?

Но мне ведь известно то, что известно только мне одному: я с другой звезды. Какое отношение ко мне может иметь судьба этого человека, бесстрашно разгуливающего среди опасных диких животных? Он вдруг остановился, замер на месте и стал всматриваться в мою сторону, явно в меня. Затем что-то поднял над головою — сверкнул неимоверно длинный, на высоту вдвое выше человека, огонь выстрела; не сразу донесся звук, слабый, словно стреляли очень далеко. На самом деле до сивучевого лежбища было всего метров триста. Звери на выстрел повели себя необычно. Дальние сивучи и ближние котики — все, как один, повернули головы мордами в сторону раздавшегося звука, затем вразнобой одобрительно загалдели, затетекали, и мне ясно слышался кашляющий звук дружного звериного смеха.

Между тем человек, произведший выстрел, стал призывно махать рукой, чтобы я шел к нему. Я уже догадался, кто он, — это был поручик Цветов, участник экспедиции, потерявшийся после нашей общей остановки в подводном дворце. Видимо, он нелегко переживал разрыв с Ревеккой и решил удалиться от всех... Теперь он звал меня, но я встречаться с ним тоже не хотел. К самому концу романа, когда осталось совсем мало слов от тех, что были отпущены мне для написания этой книги, я не мог позволить себе тратить их на человека, который был мне непонятен, не близок, — пусть и военный, и «ваше благородие», и дисциплина у него железная и так далее... В романе — в связи со мной — он понадобился главным образом для того, чтобы рассказать, как его вели на расстрел и он увидел стоявшего на холме пастуха в выгоревшем добела брезентовом плаще, опиравшегося на высокий посох. Но об этом уже было достаточно сказано, и я решил теперь распрощаться с поручиком. Однако он, словно догадавшись об этом, сам направился в мою сторону, на ходу поудобнее вскидывая длинную винтовку на плечо.

Но по мере приближения ко мне он начал разительно меняться на глазах. Вначале принялся сутулиться, клонить голову на грудь, словно пингвин на ходу, винтовка, торчавшая над ним стволом вверх, мгновенно испарилась. Он стал приземист и широк, словно и впрямь императорский пингвин, но только не бело-черный, а сплошного темно-серого окраса. Вскоре стало ясно, что ко мне приближается ковыляющей поступью вовсе не человек, но явно и не пингвин. Тут в голове у меня мелькнула виноватая, грустная мысль, что в романе нет ни одного живого человека, все призраки. Так уж случилось, я не знаю почему. Человеческие истории перестали меня посещать. И приближающийся еще один призрак ничуть не мог удивить меня. Правда, я устал от их долгого присутствия рядом, но и привык к ним. Без них теперь мне было бы совсем уж одиноко на земле. Я пришел сюда с другой звезды и, удастся ли мне вернуться с чужбины домой, того не знал. И если одиночество мое — это сплошная безграничная безвременная тьма, то роман мой — последняя спичка, которую я зажег в этой тьме. И вот она уже догорает.

Ко мне подошло дивное, несуразное, громоздкое, неуклюжее существо, двигавшееся на куцых задних конечностях, с короткими руками-ластами, с толстым туловищем, напрямую, без шеи, переходящим в маленькую голову с блестящей серой лысиной на заостренной макушке. Подо-

шедшее пузатое чудо-юдо было совершенно без одежды, зато сплошь покрыто грубой моржовой шкурой в рытвинах, морщинах, в бугорках, рубцах, наростах и проплешинах тысячелетнего достоинства. Это была шкура, выделанная могучими руками кожевенника веков, вымоченная в дубильном чане тысячелетий. Такова же морщиниста и бугриста была кожа на морде существа, где точно посередине между щелью рта и лысой макушкой светились два детски невинных голубеньких прозрачных озерца-глаза. И ни одного волоса не было на зверовидном теле, и никаких признаков пола — все это стерлось под воздействием трения времен. О, весьма странный вид был у этого живого существа!

Но я уже понял, что передо мной сам долгожданный Иона — *да, я Иона, таким я незаметно для себя стал за три тысячи лет существования на этом необитаемом острове, живя среди морских животных и птиц, устраняясь от человеческих игр и вымолив у Господа вечную жизнь без смерти*, — речь доходила до меня не из уст его, но по взгляду выцветших бледно-голубеньких глаз Ионы, которыми он рассматривал меня без всякого выражения какого-либо чувства: беспокойства, любопытства, неприятия, печали, — *это я, Иона, который сначала пытался притвориться, что не слышал голоса Бога своего и хотел скрыться от Него, бежать на корабле через Иопнию на Фарсис, однако не удалось, и потом яростно стал пророчествовать о гибели народа Ниневиц, как велел мне голос; но гибели не случилось, и тогда я возроптал на Бога, что Он подставил меня, обрек на посмешище в веках, — и был наказан Им и сослан сюда на постоянное вечное жительство.*

*Прошло три тысячи лет как одно мгновение, я сильно изменился и теперь сам даже не знаю, кто я. Но за это время, наверное, Господь мой тоже сильно изменился, и стал совсем другим, и забыл обо мне — не знаешь ли ты, Иона, зачем я-то направлен был сюда и вместе со мной целая астральная команда? и что явилось причиной создания такого большого и совершенно бесполезного для людей романа под названием острова, на котором ты обитаешь уже три тысячи лет? — Нет, не знаю, никакого голоса насчет тебя не было мне до сего дня, да и насчет кого-либо другого тоже не было, я же говорю, что обо мне забыли; однако я полагаю, что вы все такие же, как и я, строптивые и жестоковыйные, вы не слушались Его Голоса, звучавшего внутри вас, или, наоборот, слепо слушались и подчинялись голосам лукавых демонов, принимая это за повеление Господа. — Может быть, и так, достойный пророк Иона, ведь в нашей экспедиции действительно были представители двух колоссальнейших империй земного мира, где каждый человек и все человеки вместе слышали внутри себя голоса, которые они воспринимали как живой глас Божий, но отнюдь не как искусственные звуки синтезатора демонарских хакеров. И в этих двух сверхдержавках, сросшихся плечами в точке Берингова пролива, как сиамские близнецы, за последние века не появилось ни одного человека, ни одного, который после того, как умрет, сразу попал бы в рай и там постепенно мог стать ангелом.*

Откуда я знаю об этом? да мне только что сообщил про то внутренний голос, прозвучавший в правом ухе, — *но ты не находишь, бедный человек, что это мог быть голос какого-нибудь дерзкого и коварного демона, предателя Господа?* — могу предположить и такое, Иона; но чтобы сразу распознать за всем этим коварство демонического хакера-заушника — чем, какой защитой должна обладать душа человека, не сама пришедшая в этот мир? — *я не знаю, ибо я сам такой же, не сам пришедший в этот мир; а ты, наверное, тоже не от мира сего?* — да, Иона, мне кажется, что я соскользнул на Землю с какой-то другой звезды; поэтому, наверное, ничего и не понимаю в этом мире, и меня мало кто понимает, — *но ты давно на Земле?* — не меньше твоего, наверное, Иона, только у тебя была сплошная одна жизнь, которая продолжается и сейчас, среди этих морских котиков и моржей, на этом необитаемом острове, а я уже прожил сотни жизней, коротких и длинных, славных и ничтожных, богатых и нищих, городских

и сельских, американских, российских, прусских, марокканских, бушменских, корейских, румынских, лапландских, а также бродяжьих, королевских, австралийских аборигенов, мещанских, цыганских, преступных, гаремных, мужских и женских, индейских в пампасах Южной Америки и так далее... — да, воистину Бог сотворил мир, чтобы видеть Самого Себя; Он создал человеческую Игру, чтобы играть с Самим Собой; только при чем тут мы с тобой, бедный человечек? — тише, Иона, ничего больше не говори, тише! Не то опять загремишь еще на три тысячи лет куда-нибудь на Северный полюс или в Антарктиду к пингвинам.

Вот и скажи мне, Иона, что ты приобрел для себя за три тысячи лет жизни, что получил от Господа своего, удалившись от всего человеческого мира? — а что приобрел этот весь человеческий мир за это же самое время, чем мир занимался? — в основном тем же, чем и всегда, он хотел разбогатеть и прежде всего любыми способами стремился как можно больше добыть золота; и он ни перед чем не останавливался, чтобы взять это золото, ни перед какими злодеяниями... — и много ли золота добыл твой мир этими своими стараниями? — того я не знаю точно, но полагаю, что очень много, — сколько же? будет ли всего мирового золота столько, сколько утесов в этих больших скалах, на которых живут птицы кричащие? — затрудняюсь сказать, Иона, но думаю, что все же меньше. Однако зачем тебе это знать? — затем, бедный человек, что мне хотелось определиться, сколько я потерял из-за своего удаления от человеческого мира, — и сколько же ты потерял, Иона? — да ничуть не потерял я, а, наоборот, стал гораздо богаче всего твоего человечества в тысячи раз.

Посмотри туда, на ту вершину острова, похожую на два неровных лошадиных зуба, — вижу; ну, так что же? — а то, бедняжка ты мой... видишь, как они сверкают в лучах солнца? — ну да, сверкают, как начищенная старинная бронза, — не бронза это, милый человек, а чистое золото; вся вершина горы, венчающая остров, состоит из чистого самородного золота в едином монолите, без малейших примесей других металлов и вкраплений горных пород; это самой высокой пробы золото; только сверху покрылось оно коркой соли от морских туманов и поэтому немного потускнело; как ты полагаешь, много ли там золота? — очень много, Иона! — больше, чем все добытое твоим человечеством золото мира? — думаю, что несравнимо больше, — так вот, человеке, я один владею всем этим золотом уже три тысячи лет, Бог даровал мне это в награду за мою верную службу.

Иона! Иона! За что же тебя так?.. Быть самым богатым человеком на земле — богаче всего человечества, вместе взятого за три тысячи лет, стать истинно бессмертным наконец — и превратиться в такое животное... — А тебя-то за что? — Меня?.. — Ну да, тебя. Через тысячу лет после того, как я был унесен от ворот грешного города Ниневиш, мне в затылок впился какой-то червь. С тех пор он грызет меня, спасу нет, а я ничего не могу с этим поделать, потому что руки за тысячу лет моего морского кормления рыбами и ракушками постепенно укоротились, превратившись в тюленьи лапы, и мне уже было не достать с затылка мучителя-червячка.

Что я только не делал, чтобы снять его: ложился на камни и терся затылком о булыжник, совался под клювы птичек, тех самых, что прыгают по моржам и тюленям, склевывая с них всяких личинок, но ничто не помогало. Камни не могли раздавить мягкого червя, птицы его почему-то не замечали. И тогда мне стало ясно, что только человек может помочь мне. И я ждал такого человека и пообещал Господу моему, что первому, кто явится и принесет мне облегчение, я отдам половину своего золота на вершине острова — одну из этих похожих на лошадиные зубы гор, высотой во двести поставленных друг на друга верблюдов каждая... — Ну и что дальше? — А дальше пришел ты — первый человек через три тысячи лет... но если бы ты сам видел, как выглядишь... ты сел бы на землю и заплакал. — Неужели я так плохо выгляжу, Иона? — Да не в этом дело, что плохо выглядишь... — А в чем же

еще? — Ты ничего уже не можешь сделать, вот в чем дело. Ты взял да и умер. Ты не можешь своими руками ни к чему прикоснуться. Ни червяка с моего затылка снять, ни золота ухватить, которое я готов был тебе отдать. Твои руки не прилежат ни к чему в этом мире, ничего не смогут удержать. И напрасно ты явился ко мне. Спал бы ты дальше.

Иона, Иона! Неужели я был послан к тебе, на этот необитаемый остров, чтобы только услышать от тебя подобные слова? Мне ведь безразлично твое богатство, сколько бы его ни было у тебя, мне смешно подумать о том, что я тоже мог бы достигнуть *безсмертия*, как и ты, и три тысячи лет взирать на эту дурацкую вершину горы, состоящую из чистого золота. На свете все люди были затянuty в такую Игру — сладострастно шупать этот металл дрожащими пальцами рук своих... гибнуть за него. За что Бог так потешно наказал человеков? Или это не Его Игра? Иона, ты самый знаменитый из всех тех строптивых людей, которые только и делали, что бурчали, ворчали, и гундели, и перечили Господу, недовольные Его распоряжениями насчет себя... Скажи, ты действительно слышал Его голос? А то ведь американец один, которого уже здесь нет, который снова отправился возрождаться в США, принял голос лукавого и циничного демона за повеление Духа Святого и прожил одну из своих жизней совершенно не так, как надо было ее прожить. А как надо проживать жизнь, Иона? скажи хоть ты, единственный из людей, наиболее убедительно ставший *безсмертным* — и самым богатым человеком за все время существования этого горячечного бреда, называемого *зеленой майей* всемирного человечества.

Ничего не ответив, пророк Иона повернулся и заковылял прочь от меня, направился обратно в сторону сивучового лежбища. Теперь осталось всего несколько сот слов от тех примерно восьмидесяти шести тысяч, которые я получил от своего *Гения* для создания этого романа. С ними я сел за Игру, в которой были очень высокие ставки, и, кажется, проиграл ее. Осталось всего сотни четыре слов, и они меня не спасут. Высоко в небе я заметил маленькую точку парящего орла. Неужели мой *Сергий*? У меня был все же замечательный ангел-хранитель. Дай Бог ему повышения по службе в грядущих веках.

Пророк Иона уходил не оглядываясь. Вдруг он на ходу споткнулся о камень, чуть не упал и заковылял дальше, хромая на одну ногу. За пазухой у меня ворохнулась птица, и я вспомнил о голубе, которого должен был выпустить, когда встречусь с пророком Ионой на его острове.

Я вытащил голубя из-за пазухи и подбросил над собой. В то же мгновение вспомнил, что в этом голубе содержались три души сразу: Ревекки, сербской принцессы Розмари и сизого почтового голубя по имени Кусиреску. Все они любили кого-то, переходя из мира в мир, их так же любили существа противоположного пола, избирая мужьями или женами. И только принцессе Розмари, отвергнутой ее женихом, принцем Догешти, любила одна лишь голубица Тинка, потому что она не знала о том, что в сердце ее супруга тайно, самовольно влетела и пристроилась к его пламенной супружеской страсти никому не нужная на свете женская душа сербской принцессы. И каждый раз, вкушая всем сердцем сладостную любовь нежной супруги, великий Кусиреску делился этой любовью и с неимущей душой Розмари. Теперь к этой летучей стае из трех любящих душ добавилась душа алчной до земных страстей Ревекки. Как отныне поведет себя мой голубь?

Сначала он полетел низко, вслед за уходящим прочь Ионой, догнал его и, приостановившись в воздухе, завис над ним, трепыхая крыльями. Потом опустился ему на голову, нагнулся и что-то склонул у него с правой стороны затылка, за ухом, куда Иона две тысячи лет не смог дотянуться своими короткими руками-ластами. Он остановился, растопырил эти руки по сторонам и, пригнув голову, так выразительно затряс ею, что даже



издали можно было понять, какое великое облегчение испытал бедный страдалец... После этого короткого прикосновения к голове Ионы голубь вспорхнул и, энергично хлопая крыльями, стал широкими кругами набирать высоту.

Там вдали, у самого солнца, парил белогрудый морской орлан. *Сергей...* И по виду его неторопливого парения можно было понять, что он серьезно раздумывает над тем, что дальше ему делать со мной. И пытается вспомнить, как же это и откуда в 1939 году он заполучил мою душу, переброшенную — в незапятнанную пору грохотания еще не остывшей пылкой Земли — с какой-то небесной звезды на эту небольшую планету. А я и сам ничего не мог бы сказать по этому поводу. Во-первых, мне не дано было знать, в каком это состоянии я нахожусь, если из меня вынули смерть и я умер. А во-вторых, я настолько замотался на этой земле, что перестал понимать, что такое «я» и для чего существуют во мне слова русского языка, старательно посылаемые мне Хранителем. И мне кажется, что последнюю свою жизнь я прожил, как тот чердачный сизый голубок, с описания которого и начался этот роман, — ни хрена ничего не понимая, но тихо радуясь тому, что настала новая весна и что я снова встретил ее живым-здоровым.

Между тем голубь вдруг решительно свернул в сторону и полетел в глубину острова. Видимо, склонув с затылка Ионы давно мучившего беднягу паразита, сизый почтарь посчитал свою миссию по отношению к Ионе законченной и решил лететь к принцу Догешти, который гулял с черной собакой где-то по другую сторону зеленой сопки. А это принцесса Розмари, наверное, захотела еще раз, хоть издали, взглянуть на своего бывшего жениха. Таким образом, треугольный калейдоскоп любви опять повернулся, и в нем образовался новый цветистый узор. Но я уже не смогу рассмотреть его. Осталось совсем мало слов. Пятьдесят ровно. Вот они.

*Тихое спасибо  
аз воздам  
всем падающим  
звездам.  
И каждая тащит  
целый ящик тем  
для поисков.  
Ищите  
да обрящете.  
Но ведь у звезды  
страшная температура.  
В глаза лез дым,  
когда горела  
душа твоя дура.  
Так сгубило тебя  
звездное любопытство  
в мильён градусов.  
А ведь живое несет само себя  
под звездным парусом.*

12 апреля 2001.



---

---

МАРИНА ТАРАСОВА



## СВЕЧА В СУГРОБЕ

\* \*  
\*

Я одинок абсолютно,  
одинок в белом свете.

*Отец П. Флоренский.*

Зажглось под снегом одиночество,  
когда погасло электричество,  
о, мое белое высочество,  
переходящее в величество.

О, белизна моя сугробная  
и тишина моя дремучая.  
Быть может, это жизнь загробная,  
неизъяснимая, но лучшая.

\* \*  
\*

Три старца молятся в скиту,  
всю ночь свеча горит в сугробе,  
зима, подобная киту,  
качает их в своей утробе.

Не сдвинется земная ось,  
и мы не пропадем в тумане,  
мы все, плывущие поврозь, —  
снежинки в белом океане.

\* \*  
\*

Подымается пар над морозной ковригой болот,  
это солнце закрыл серый волк-самоглот,  
туча-волк с черно-белым искристым хвостом.  
То не волк, а Перун пригрозил леденящим перстом.  
Зря пороги кропят в Божий праздник старушки,  
как ромашки из снега, облетят их опрятные души.

Что мне делать, зима? Не сердись, объясни.  
 Постарею, как ты, доживу до весны,  
 и очнусь во мне, я и вспомнить боюсь,  
 те слова о любви, те слова наизусть...

\* \*  
 \*

Не стану я искать приспособленья,  
 как мне уйти из сумрачного сада;  
 я дух и плоть, я Божее творенье  
 и не нарушу Божьего расклада.

Свою судьбу у роковой границы  
 я не скручу услужливой удавкой.  
 Я не хочу исчезнуть, расщепиться  
 и прорасти дурной дурманной травкой.

В ее пыльце, струящейся над полем,  
 в ее цветках, невзрачных, бледнолицых,  
 кто знает, может быть, орет от боли,  
 живет вторая жизнь самоубийцы.

### Виртуальное кладбище

— На наших сайтах открыто  
 (как вы могли подумать о живодерне!)  
 кладбище для ваших любимцев.  
 Принимаем соболезнования квадратные сутки.  
 Ведь никто не забыт и ничто не забыто.  
 Вот кошка Мария-Луиза в белой манишке,  
 похожая на училку  
 из снежной глубинки.  
 Вот пара пуделей с шекспировскими именами.  
 Ромео ищет блох у Джульетты.  
 А это вот... Крысик Изя<sup>1</sup>.  
 Так и видишь, как он сидел за  
 швейной машинкой,  
 как за шарманкой,  
 а вечерами играл на  
 неслыханном инструменте —  
 гибриде души и скрипки:  
 — Конечно, я не Менухин,  
 зато не обидел и мухи.

Никто не забыт и ничто не забыто.  
 В новом веке с нами непременно случится  
 что-нибудь небывалое.  
 Фауст уже не будет продаваться за ящик пива.  
 И на далекой планете  
 нас встретят братки по разуму.

<sup>1</sup> Крысик Изя взят из Интернета.

\* \*  
\*

Я родилась в августе,  
где мой Августин?  
Тот причастник радости,  
Божий арлекин,

что из ножен вылушен  
острого стручка,  
августейший выдумщик,  
певчий друг сверчка.

Все пестрит заплатами,  
и росой с кустов  
повисают атомы  
птичьих голосов.

Над лесами лысыми  
дождь сошел с ума.  
Это за кулисами  
прячется зима.

Где святые шалости,  
взгляды на бегу?  
Maine lieben Augustin,  
голова в снегу.



---

---

## РОМАН СЕНЧИН



# В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ

*Рассказ*

**Т**орговля сегодня получилась удачнее, чем во вторник. Погода помогла — не жарило, но и пугающих дождем туч ветерок не нагнал. Серовато-белесая хмарь расстелилась по небу, словно кисейная занавеска. Редкий для июля денек — тут в основном или настоящее пекло, или, наоборот, гроза и обложной дождь на неделю; да к тому же впереди выходные, их хочется провести ни о чем не заботясь, не покидая родных квартир. И люди повалили на рынок с сумками и пакетами — продуктами запастись.

К трем часам у Натальи Сергеевны осталось на прилавке несколько пучков укропа и батуна, лук головками и килограмма два не слишком-то аппетитных, с желтоватыми попками, огурцов. Огурцы поменяла у соседки-конфетницы на пригоршню барбарисок (лучше б шоколадных, конечно, конфет, только съедятся они в минуту, а эти сосательные — ребятишки с ними повозятся, хоть просить будут реже). Упаковав весы, Наталья Сергеевна пробежалась по рядам, купила макарон, чаю, бараньих ребрышек, трусики для Юры за семнадцать рублей. Пора и на автобус.

По городу вместо вместительных желтых «ЛиАЗов» бегают маленькие, шустные «ПАЗы», еще какие-то кособокие, остроносые коротышки; на боковых и лобовых стеклах у них у всех объявление большими буквами: «*Без льгот!*»

Несколько уж лет назад закрылся местный автобусный парк, старые, изломанные «ЛиАЗы» ржавеют на его территории, зато расплодился вот эти, коммерческие, с крепкими парнями-кондукторами у входа. Три рубля проезд для всех категорий — инвалид ты, не инвалид, ветеран не ветеран. Зато причаливают к остановкам, грех жаловаться, один за другим. Прибыльное, видно, дело, и люди, хоть и ворчат, что дорого, пешком не ходят. Да и как тут походишь — город все-таки не в один километр, и весь день можно потратить, чтоб с одного конца до другого добраться, тем более если здоровье худое.

В начале семидесятых, когда автовокзал поставили, город вроде расстраивался рядом с ним, а потом вдруг перевернулся на противоположный край. Закипело там что-то большое, шумное, и вскоре поползли вверх девятиэтажки из белых панелей. Между ними, конечно, нашел себе место и рынок (старый, «колхозный», давно уже захирел, всеми забылся, а недавно вдобавок сгорел почти целиком)... Наталье Сергеевне нужно с рынка на автовокзал, ей без этого коммерческого, за три рубля, не обойтись.

Вон, едет. Народ на остановке заволновался, старики стали подступать ближе к проезжей части, чтоб первыми оказаться в салоне, занять сиденья. Наталья Сергеевна покрепче сжала ручки трех своих сумок, с которыми, туго набитыми, утром приехала торговать.

На пути в салон ледяной глыбищей — не улыбчивый парень. Обилечивает при входе. Это новый метод у них, научены скандалами, когда какой-нибудь пенсионер или молодой наглец, приехав, куда ему надо, вырывался на улицу не заплатив. А вот так, если подумать, даже удобнее: взяли с тебя деньги — и спокойно езжай хоть до конечной.

Слава богу, есть сиденья свободные. Наталья Сергеевна устроилась недалеко от выхода, облегченно вздохнула, расслабилась. Но здесь бы можно и постоять, главное — чтоб с деревенским повезло...

За окном длиннющие, буквами «п» и «г», жилые дома нового микрорайона, пестрой лентой бегут-спешат куда-то «Жигули», «Москвичи», «ауди», веселят взгляд рекламные вывески. А в автобусе тихо и неуютно, люди молчаливые, хмурые, даже мужья с женами ведут себя как чужие. Да и о чем говорить?.. Едут и едут.

Перебрались через мост над широкой, но сонной, словно отдыхающей после долгого путешествия по саянским ущельям, рекой Оей и оказались в старой части города. Вот Соборная площадь, вот сам собор, большой, белый, с пятью золочеными куполами, напротив него — двухэтажное здание бывшей городской управы, а ныне музей... Город некогда был центром большого пограничного уезда, потом, уж в тридцатые годы, территорию уезда разрезали на пять районов и понизили его столицу до простого райцентра. Но город — он город и есть, особенно если один на несколько сот километров... А вот старинный каменный дом с полуосыпавшимися лепными цветами на стенах — собес. Надо зайти бы, опять справиться насчет пенсии, но сегодня уже не успеть, да и заходила две недели назад, сказали — как обрубил: «Ничего в обход закона сделать не можем. Будет живой — получите, нет — так что делать... Не имеем права». Вообще-то так, но если, не дай бог, умрет, на что ж хоронить...

Автовокзал с виду — прямо дворец. Даже две колонны перед центральным входом держат бетонную плиту-козырек, а на козырьке тесной рошцей крепкие стволы полины.

Да, грандиозное здание, а вот оказалось ненужным. Буфет прикрыли сперва на ремонт, но теперь, кажется, навсегда; туалет как сломался, так заколотили дверь гвоздями, вместо него построили деревянный сортир на улице. А прошлой осенью и кассы упразднили, и с тех пор три полукруглых окошечка вечно зашторены. Плату собирают сами водители, набивают автобусы до отказа. Раньше как было строго — только на сиденья продавали билеты, всё контролеров боялись, ссылались на технику безопасности, но зато автобус давали большой — «ЛАЗ» или даже «Икарус» (ох, настоящей автобусной специалисткой с этими поездками стала), теперь же неизменно — крошечный «пазик».

При посадке случаются ссоры, крик, бывают и потасовки среди мужиков; едут, как кильки в томате, обязательно кому-то плохо становится, детишек от тесноты и тряски тошнит... Писали, говорят, жалобы, к главе администрации даже пытались сходить. Везде вместо помощи дают понять, что, наоборот, благодарить должны, что вообще рейс этот не упразднен, как другие многие. «Убыточно», — говорят. А что значит убыточно? Билет до Большой Кой двадцать три рубля, а ехать пятьдесят с небольшим километром. Десять пассажиров — вот и окупается и бензин, и остальное. Но с начальниками особенно ведь не поспоришь: дадут от ворот поворот — и гуляй...

С городского рысцой к деревенскому. «Пазик» уже на положенном месте — под указателем «Большая Коя». Шофер у двери собирает плату, запуская по одному. У Натальи Сергеевны деньги наготове — восемнадцать рублей в кулаке. Ей до села Малая Коя, оно к городу ближе.

Пока бежала, все вглядывалась в окна автобуса — есть ли просвет, есть ли места свободные. Дал бы бог... Как раз бывшая соседка по улице с шофером рассчитывается, попросить ее, чтоб заняла место. Но за соседкой две старушки, еле на ногах держатся, еще сзади — парень лет тридцати

пяти, крепкий и ладный на вид, только вот вместо рук слишком розовые и гладкие для живой кожи протезы. Как тут попросишь... Наталья Сергеевна пристроилась за инвалидом, вынула из кармана кофты часики с порванным ремешком. Три двадцать. До отхода еще почти полчаса. И эти полчаса придется провести в тесном и душном салоне. Сходить куда-нибудь время-то есть — по магазинам бы пробежаться, обязательно попадетсся, что необходимо купить, — но потом и вообще не втиснешься. Бывает так «пазик» забит, что и дверца не может закрыться.

— Здесь деньги, возьми, — слегка приподнимает парень своими протезами висящую на шее сумку. — До Большой Кои...

Шофер заглянул в сумку, достал скрученные в трубку купюры, пересчитал, разрешил:

— Заходи. — И потянулся к деньгам Натальи Сергеевны: — Куда едем?

На эти рейсы тоже никаких льгот, кроме двух бесплатных поездок в месяц инвалидам первой и второй групп. Но талончики достать — целая проблема, их почему-то вечно не хватает, а ведь должны носить вместе с пенсией... Наталья Сергеевна инвалидности не удостоилась, хотя астма у нее, бывают страшные приступы; несколько раз пыталась пройти комиссию, но безрезультатно. Мужу талоны положены, только какой ездки из него... Год почти лежит без движения, от мертвого не отличишь... Тоже ходила, просила, чтоб самой по его талончикам ездить: «Лекарства купить, с врачами посоветоваться». — «Нельзя, — в ответ каждый раз, — так не положено. И удостоверение инвалида к талону необходимо. Без удостоверения на лицо, предъявляющее талон, он недействителен». И точка.

Сиденья не хватило. Придется стоять. Пробралась, здороваясь по пути со знакомыми, в конец салона, где давка всегда несколько меньше. Положила сумки к гудящим, отяжелевшим ногам. Полчаса до отъезда, потом минут сорок трястись. О дальнейшем лучше пока что не думать — там-то, дальше, самое будет тяжелое.

— Что, Сергеевна, с базара? — встретившись с ней глазами, спрашивает малознакомая женщина с другого края села, имя-отчества которой Наталья Сергеевна не знает.

— Да, съездила вот, — без особого желания отвечает она.

— И как — расторгвались?

Наталье Сергеевне не хочется говорить об этом, тем более когда вокруг столько людей, и она лишь отмахивается: неважно, мол.

Женщина как-то одновременно и сочувствующе, и укоризненно кивает, покачивая колечками завитых рыжих волос, и достает из пакета красочный журнальчик «Сторожевая башня».

Постепенно «пазик» забивается все плотней. Впереди выходные, многие едут к родне в деревню, все с сумками, рюкзаками, ведрами. А один вот, будто не знает, что тут и людям не уместиться, притащил на горбу обернутый мешковиной рулон толя.

— Живым бы уехать, а он еще толь этот вонючий! — заворчала немолодая полная женщина с лицом начальницы; Наталья Сергеевна определила ее бухгалтершей или завучем в школе.

— И не пускать! Еще чего!.. Пускай машину нанимает, барон! — поддержали другие. — И так вон впритык, задыхаемся!..

Выступали в основном пожилые, молодежь же, особенно те, кому повеселилось урвать место на сиденьях, даже не интересовалась, отчего шум. Одни доедали мороженое, другие щелкали семечки или шептались между собой; щуплый темноволосый паренек, сын бывших учителей Сазоновых, увлеченно — или деляя вид, что увлеченно, чтоб не поднимать глаз, не видеть стоящих стариков, — читал книгу.

Возмущение пассажиров не помогло — водитель все-таки пустил мужичка. Сам и помог уложить рулон в проходе. Люди все еще поругивались, но теперь без азарта, поняв, что бесполезно.

Водитель, примирительно лыбясь, прогудел:

— Хорош ворчать. Надо человеку срочно, до циклона, зачинить избу. Должны ж соображать...

— Всем надо чинить, так не лезут же с досками, с шифером, совесть имеют, — плеснула последняя волна недовольства, и снова тяжелое молчание; все ждут одного — когда поедут.

— Шофер, да поехали! — не выдержав, вскричал старик с орденом. — Чего еще ждать?

Тут же многоголосая поддержка с разных сторон:

— Действительно! Кому надо — давно здесь! Заводи!

— Аха, — в ответ ухмылка водителя, — чтоб мне влетело потом.

— Да от кого...

— От кого... У меня, что ль, начальства нет?

— А-а, какое начальство! Набил автобус, деньги собрал, потом отдал хозяевам, сколько надо. И все.

— Ух ты. — Водитель снова ухмыльнулся, но на этот раз совсем уж недобродушно. — Эт кто там такой образованный? Покажись-ка! — Никто не показался. — То-то, ждите тогда. — И подчеркнуто не спеша стал разминать сигарету.

Люки в потолке подняты, окна открыты, а духота все равно страшная. Наталья Сергеевна кое-как сняла шерстяную кофту, свернула, положила в сумку, из сумки же достала ингалятор-пшикалку астмопена, предчувствуя скорый приступ... Старается не касаться соседей: тела их горячие, одежда пропитана потом. Как в парилке все...

Наконец-то долгожданный хлопок водительской дверцы. Завелся мотор, с шипением стала распрямляться гармошка двери салона, по пути придавливая стоящего на ступеньках парня в бейсболке. Закрылась, парень тут же навалился на нее спиной, облегченно крикнул.

Тронулись. Лица людей посветлели, будто в самом деле какое-то чудо свершилось; свежий ветерок потек в окна и люки, вымывая спертый, выдышанный воздух... Да, сначала ветерок приятен, но вот «ПАЗ» набрал скорость, ветер окреп и похолодал. Наталья Сергеевна чувствует, что поспешила снять кофту, — простыть после такой парилки можно запросто. А просить, чтоб окна прикрыли, бесполезно — молодежь взбунтуется. Стала вынимать кофту обратно.

— Чего не стоит-то? — в ответ на случайный толчок пихнул ее стоящий сзади мужчина, еще, конечно, поворчал: — И возьтятся, и возьтятся...

Миновали двухэтажные, обшитые почерневшей вагонкой бараки, какие-то безлюдные, давно умолкшие заводики, и начался загородный пустырь. По пустырю, меж курганчиков мусора, бродят скучные, серенькие коровенки, выискивая подходящую траву. Следом за ними тащится пацаненок-пастух лет двенадцати, помахивает скакалкой... «Не много же молока они здесь нагуляют», — подумала Наталья Сергеевна, и вспомнилась ее Доча, гладкая и всегда спокойная, степенно радостная; с выпаса возвращалась царицей, нет, какой царицей... матерью скорее, кормилицей. Пройшей осенью пришлось продать за полторы тысячи, когда муж слег. Деньги испарились в мгновение ока: ушли на еду, на лекарства, на поездки в город за лекарствами...

Скучный пейзаж пустыря сменяет дачный городок — строящиеся коттеджи из красного кирпича. Сперва они, помнится, раздражали народ, обязательно кто-нибудь цедил презрительно и угрожающе: «У-у, буржуины, лепят замки себе. Ничего, их и здесь достанут! Как раз все в одном месте — легче будет...» Но щелкает год за годом, а коттеджи все никак не достроятся, некоторые, наоборот, разрушаться начали — видно, и буржуйам не очень-то сыто живется. Да к тому же участки у них соток по десять — двенадцать, один дом половину земли занимает. Пародия какая-то, а не дачи.



...Почти вся жизнь Натальи Сергеевны прошла в небольшом, но столичном городе, в четырехстах километрах отсюда, по ту сторону Саянских гор... Еще в середине девятнадцатого века пробрались туда, за границу Российской империи, русские и основали поселения, распахали утоптанную овечьими отарами землю, засеяли хлебом. Худо-бедно уживались с местным народцем — тувинцами, перенимая друг у друга полезное в быту, культуре. В сорок четвертом году Тува присоединилась к Союзу — стала последним приростом СССР; через горы, по извилистому Усинскому тракту, поползли караваны грузовиков; вместо кочевых юрт поднялись благоустроенные дома-многоэтажки, Дома культуры, кинотеатры, задымили заводские трубы. А в девяносто первом обожгла терпимую вроде жизнь цепь погромов и убийств. Из сел в столицу республики и самый русский по населению город стали съезжаться дети и внуки тех, кто эту республику «поднимал и окультуривал». А из города вскоре поехали дальше, за Саяны, «в Россию». Были дни, что по мосту через Енисей проходило по десятку «КамАЗов» с контейнерами. Наталья Сергеевна провожала их, глядя из окон своей трехкомнатной квартиры с видом на реку, на далекие горы, за которыми Красноярский край — русская земля...

По семейному преданию, их род, Шаталовых, появился в Туве — тогда еще Урянхае — чуть ли не одновременно с первопроходцами-казаками. И бабушка, и мать Натальи Сергеевны лежали в этой земле, уцелела и избенка, где Наталья Сергеевна родилась. Но вот пришло время уехать... Дети, а их было трое тогда, выросли, старшие — дочь и сын — давно уже устроились от Тувы подальше, муж, электромеханик, родом из-под Новосибирска, тоже все уговаривал переехать, да и возраст подходил к пенсионному — потянуло в сельскую местность, к земле, к животине... «Чего тут ждать? — спрашивали друг друга, а скорей самих себя „некоренные” и отвечали-предполагали: — Вот протянем, может, придется и пешкодралом через Саяны чесать. Даже староверы обратно в Россию стекаются, а у них-то нюх — о-го-го!..»

Покружив по югу Красноярского края, муж Натальи Сергеевны выбрал для переезда Малую Кою — село довольно большое, места вокруг живописные: рядом сосновый бор, пруд рыбный, километрах в двадцати Енисей, и от райцентра не слишком-то далеко... Продали квартиру, ухоженный садовый участок с домиком и тепличками, гараж бетонный, в селе же купили трехкомнатную избу, огород при ней в пятнадцать соток. Перевезли вещи, стали обустраиваться на новом месте.

Многие переехавшие, кого встречает теперь Наталья Сергеевна, жалуются, что не могут прижиться, что преследуют их напасти и неудачи. То одно, то другое, словно бы какие-то силы за что-то мстят. И природа, и люди, и земля — все не то, все не так...

Не обошли беды и ее семью. Во-первых, обворовали в первые же дни, как переехали, — ночью, прямо в ограде, вытащили из «Москвича» аккумулятор, запасное колесо, детали, какие в багажнике были, домкрат, еще по мелочам... Собаку тогда завести не успели, да и не думали, что так воруют. А оказалось — постоянно начеку нужно быть, спать вполглаза, курятник, летнюю кухню, сарай запирать надежными замками... Конечно, вызвали тогда участкового, в милицию городскую звонили, но те ошарашили ответом: «А, это каждую неделю бывает. Сторожить надо лучше. Сами разбирайтесь».

Потом выяснилось, что огородом здесь заниматься — дело сложное. С водой проблемы, напорная башня не действует, и пришлось забивать скважину; полмесяца муж с сыном Юрой каждый день с утра до ночи кувалдой по трубе стучали, по сантиметру сквозь скальный пласт ее двигали. К тому же накрывают село выбросы алюминиевого завода (он километрах в семидесяти от Малой Кой, но все равно достает, да и направление ветров способствует). После этих выбросов — черными туманами их здесь назы-

вают — даже картофельная ботва словно бы обугливается, не говоря уже о помидорах, огурцах, перце — они только под целлофаном... А на огород в смысле зарабатывания денег очень рассчитывали. Три теплицы поставили, но выращивать столько, чтобы всерьез торговать, все равно не получилось. И спрос на овощи в этих краях не такой, как в Туве, — здесь каждый в общем-то имеет свой клочок земли, еще со времен декабристов земледелием занимаются...

Много, да, много проблем, неприятностей, бед было за последние годы, но все они тускнеют, все отступают перед одной... Смерть Юры застигает остальное... Начал учиться в педагогическом училище в городе, двадцать три было ему, как раз за год до переезда вернулся из армии. И вот однажды во время сильного ветра возвращался он в общежитие... а перед тем перестилали шифер на крыше и не закрепили несколько листов... Сорвались, и один ребром прямо на Юру... Говорят, наказали кого-то за халатность, похороны-то РСУ на себя взяло, которое ремонт крыши осуществляло... Теперь лежит сынок на новом кладбище, что растет за северным концом города в бесплодной каменистой степи. Добраться туда без машины — эпопея целая: от ближайшей автобусной остановки километра три пешком, петляя меж предприятий, складов, очистных сооружений...

На похороны приезжали старшие — сын Андрей из Новосибирска и Ольга, дочь, из Кемерово. Нехорошо они себя повели, не напрямую, но дали понять, что родители виноваты — переехали, мол, в какую-то глухомань, деньги профукали (а за квартиру, дачу, гараж удалось выручить копейки — многие тогда продавали), и Юре пришлось в общаге ютиться... Пять лет с тех пор прошло, и вот только этой весной кое-как отношения с Ольгой стали налаживаться, но благодаря тоже печальным обстоятельствам. Разводится она с супругом, делят двухкомнатку, судятся, и пока что Ольга привезла сыновей — шестилетнего Вадика и двухлетнего Юру — родителям. В апреле привезла, второпях, как сказала, на пару недель, почти без сменной одежки, а уже июль кончается, до холодов недалеко... Конечно, радость, что рядом внучата, а с другой стороны... Как вот их оставлять без пригляда, когда торговать уезжаешь? Муж-то лежит.

Много лет она была воспитателем в детском саду, в Доме пионеров кружки вела, а в деревне пришлось последние три года до пенсии работать уборщицей в школе, и это было везением — работы почти нет, совхоз, в который входила Малая Коя, развалился; люди кормятся, как кто может, — одни огородом и животинной, другие воровством. Муж Натальи Сергеевны, электромеханик, так места и не нашел, да и заболел после Юриной смерти: два инфаркта, потом отнялись ноги; оформили первую группу инвалидности...

Как-то страшно быстро и неожиданно постарели они, обессилели. Сюда переезжали еще бодрыми, крепкими, планы новой жизни строили, а тут словно в мышеловку попали. Прищелкнуло — и не освободиться, не дернуться, кости переломаны. Узнали деревню, поняли, что совсем это не садово-огородный кооператив, а страшный, жестокий мирок, что не найти им здесь друзей; каждое семейство живет особняком, и чем работающей семьей, тем сильнее враждует с окружающими, никого не подпускает к себе, — может, напуганы жуликами, ворами, алкашами, в каждом их подозревают... Да, кто что-то имеет, постоянно живет с чувством страха, что в любой момент (только слабинку дай) запросто лишится этого немногого; дошло до такого: гусей и уток перестали на пруд выпускать — вечером и половины из стада можно не досчитаться. Отправляя корову на выпас, дрожишь — вернется она или нет. Пастух на самом деле никакой ответственности не несет, может и отмахнуться запросто: «Забрела куда-нибудь. Что я, стоглазый, что ли?!» И бегай всю ночь по бору, по заброшенным, заросшим колючим осотом полям, зови свою Дочу, а от нее — бывали в Малой Кое такие случаи — лишь кишки да окровавленная шкура тебе остались...

В позапрошлом году, словно вдобавок к прочему, пришла новость: скоро село вполне может ухнуть под землю.

Давно всем было известно, что километрах в пятнадцати от Малой Койи еще с дореволюционных времен остались угольные шахты. Почти без всяких наземных сооружений, просто ямы и вокруг кучи незарастающей кустарником и травой глубинной почвы... Старики пугали детишек историями про призраков, что бродят ночами вокруг шахт, а на головах у них горят свечи, и кого поймают живого, утаскивают в холодные, бездонные норы... Но в действительности происходит куда страшнее: подземная река нашла шахты и затопила их, стала размывать породу, пробиваясь к реке наземной, Енисею, кратчайшим путем. И на пути у нее оказалась Малая Коя. И уже в трех-четыре километрах от села появились провалы.

Приезжали геологи, топографы и в конце концов объявили официально, что провалы рано или поздно дойдут до села и утянут в бездну, сожрут дома, речку Кою, пруд, все остальное. Скальный пласт, что лежит под селом, не спасет — вода сильнее...

Началось переселение. Раскатывали срубы, метили каждое бревно и везли подальше от страшного места. За два года село в триста почти дворов уменьшилось наполовину. Закрыли клуб, фельдшерский пункт, магазин; из средней школы сделали начальную (почти все учителя разъехались, а другие, как вот родители этого паренька Сазонова, спиваются потихоньку); почта еще работает, электричество, кажется, до первого урагана или аварии — ремонтировать, ходят слухи, не станут. А как без света? — вот и еще причина покинуть дичающую Малую Кую... Продукты и хлеб привозят в автолавке, да и то время от времени.

В общем, на новых картах добавится к названию «Малая Коя» сокращенное слово в скобочках — (нежил.).

Остались лишь старики, совсем уж бедные, кому переезжать не на что и некуда, ну и алкашня. Наверно, как-нибудь эвакуировать будут, когда совсем прижмет. А может быть, и не будут...

Когда муж Натальи Сергеевны выбирал место, Малая Коя вроде бы возрождалась после разрухи перестроечных лет. Акционерное общество организовали, стали коровники ремонтировать, дорогу начинали асфальтовую строить — завезли камень, завалили старую грунтовку, да так и бросили. Теперь ездят рядом по ухабистому проселку, и автобус отказался в Малую Кую заруливать: «Тут в полмесяца любой вездеход расхряпаешь. Ходите пешком». А пешком с трассы до села — без малого пять километров. Напрямик короче, но там другие сложности...

Проблемы, сложности, беды и ожидание новых бед. Вот так и встретила Наталья Сергеевна свою старость, неизлечимую немощь мужа. Действительно, как в мышеловку попали...

Загородный сосновый бор резко, будто по линейке обрезанный, кончился, и — поля, поля с уже пожелтевшей, созревающей пшеницей. Если смотреть вдаль, очень красиво: желтые прямоугольники чередуются с зелеными, уходят к самому горизонту. Точно лоскутное одеяло набросили на неряшливо заправленную постель — бугры, морщины, складки... Слегка наклонившись к окну, Наталья Сергеевна засмотрелась, забылась, даже невеселые мысли пропали, растворившись в бездумном, очищающем каком-то созерцании...

— Насеять-то дело нехитрое, — проскрипел над ухом ворчливый голос, — а как убирать... Наш глава опять по радио плакался: горячего нет, техника вся на приколе...

— Да-да, я слышала, буквально позавчера, кажется, — еще не опомнившись, по привычке поддержала Наталья Сергеевна, и тут же ее взгляд потускнел, краски стали бледнеть, превращаясь в серое одноцветие, короткий, свободный полет кончился.

А ворчливый сосед, получив поддержку, закрипел уверенней:

— Дождемся, ох дождемся, что скоро обратно косами и серпами придется. Как при царе Горохе...

— Ага, как же! — ввязался старик с юбилейным орденом на затасканном пиджаке. — Косами и серпами — это адский труд, понимаете? А народ-то разучился трудиться. Не к царям Горохам, а сразу в первобытность провалимся, чего уж там! Собьемся в стаю, дубин наломаем — и на соседнюю стаю. Вот так!..

Автобус трянуло, и все как-то дружно умолкли, будто поприкусывали языки. А потом интерес пассажиров переключился с глобальных проблем на другое: «пазик» приближается к первой остановке — селу Знаменское.

Наталья Сергеевна гадает, сколько выйдет народу. Сесть бы не сесть — много здесь никогда не выходит (через Знаменское следуют еще с десятком автобусов), но хоть встать поудобнее, никого не касаться...

Село большое и богатое; это их поля проезжали только что, самые плодородные и ухоженные по всему району. Да тут и грех чахнуть — Знаменское находится на Усинском тракте (участок трассы федерального значения Красноярск — Госграница), и в селе большая дорожная мастерская, рабочие места, техника. К тому же функционируют пеньковый и спиртовой заводы, а это тоже рабочие места, деньги, жизнь... Вот сюда бы, частенько мечтает Наталья Сергеевна, перебраться, какую-нибудь работенку найти. В детском саду или где еще... Но поселиться в Знаменском трудно: власти села, как всякого благополучного региончика, не приветствуют увеличение населения со стороны. Места под строительство дороги, а чтоб кто-то дом в Знаменском продавал — настоящее чудо. Дураков нет из рая бежать.

«Пазик» остановился возле теремка-столовой, где обычно обедают перед многочасовым путешествием через Саяны дальнбойщики. Дверца с шипеньем стала сжиматься; парень в бейсболке вновь скорчил страдальческую гримасу, подался вглубь салона, влип лицом в чью-то спину.

— Ну-ну, господа, сокращаемся! — весело крикнул водитель.

Потихоньку, кое-как дверца открылась, и парень вывалился на улицу. За ним еще человек десять. Но почти все тут же заспешили обратно — просто выпускали других, из глубины салона. Вдобавок подсело и несколько знаменских...

Снова бор за окном, прямые, золотистые стволы сосен, пестрое разнотравье у обочины... Год обещают нынче грибным, да и ягоды, говорят, бери не хочу. На рынке завались клубники, ведро — пятьдесят рублей всего-навсего, желающих купить нет почти. Многие сами за город едут, собирают. Конечно, если время есть — чего не ездить... Наталья Сергеевна за весь июль только раз сбегала к ближайшим кустам жимолости, нацарапала по оборкам литров пять. С сахаром перетерла, да ребятишки почти все сразу съели. Был бы Вадик чуть повзрослее, его бы можно отправлять, но шесть лет ему — страшновато... Да и вряд ли согласился бы он по косограм лазать, собирать клубнику по ягодке — не то воспитание, городской мальчик... Сложно Наталье Сергеевне с внуками, внутренне сложно. Вот почти всю жизнь вроде с детьми, и они к ней тянутся, а внуки наоборот. Бывает, начнет рассказывать им что-нибудь интересное или книжку вечером возьмется читать и вдруг поймает взгляд Вадика: смотрит он как-то по-взрослому, заостенело так, как на дурочку смотрит. Играть не любит, с Юрой держится холодно, не по-братски, может и оттолкнуть, если тот слишком к нему пристает с каким-нибудь своим детским вопросом; если тот есть просит, сунет хлеб или печенючку, а суп из кастрюли ни в какую налить не заставишь. Чаще всего сидит перед телевизором, смотрит без разбора все передачи, смотрит тупо, без всяких эмоций, не двигаясь по полчаса. И младший, Юра, на него глядя, похожим становится...

Свернули с тракта на узкую, давно не подновляемую, но тоже асфальтовую дорогу. Автобусик затрясся, запрыгал — увилить от выбоин бесполезно, они тут на каждом метре.

— В Малой выходит кто? — окликают со стороны водителя.

— А как же! Выходят, ясно! — В ответ дружные восклицания. — У оврага остановите, у оврага!..

Если считать по недостроенной дороге — до села пять километров, а напрямую, через овраг, чуть больше двух. Конечно, через овраг удобнее, только вот... Дело в том, что за оврагом есть полоса хорошей земли, и Макеев, знаменский предприниматель (некоторые из зависти, наверное, называют его кулаком) засаживает ее картошкой. Не сам, конечно, людей нанимает, чтобы сажали, отяпывали, сторожили. И перейти эту двухсотметровую — по ширине — деляну получается не всегда...

Сегодня у оврага сошло четверо. Сама Наталья Сергеевна, тот паренек Сазонов, что всю дорогу просидел, уткнувшись в книгу, рыжеволосая неприятная женщина, заведшая было расспросы о торговле, и намятый автобусной дверцей парень в бейсболке.

Гуськом, словно стародавние пилигримы, побрели вверх по склону холма. Места вокруг безлесые, открытые; вот сейчас поднимется на вершушку — и слева вдалеке можно увидеть Большую Кою, а за ней совсем узенькую отсюда ленточку Енисея. За Енисеем крутые и синие хребты Саян, несколько гряд, одна за другой, все выше и светлее, и наконец уже не поймешь, горы это или облака. Если же смотреть с холма вперед, через овраг, видна окраина Малой Кой, дальше пруд и еще дальше — сосновый бор.

Молча, лишь побряхтывая да шурша комками засохшей в камень глины, стали спускаться на дно оврага, хранящее следы промчавшегося здесь в апреле потока снеговой воды. Спустились, постояли с минуту, передохнули и так же молча, не помогая друг другу, потянулись наверх.

Наталья Сергеевна позади. Она тут самая больная и пожилая, дотелепается в хвосте как-нибудь... А паренек Сазонов вообще-то мог бы помочь, хоть сумки взять, видит же... Ох, свалится, и никто ведь внимания не обратит, молча уйдут — и все... Теряя равновесие, ухватилась за куст карагатника, уколола пальцы, но с радостью поняла в тот же момент, что не свалится обратно на дно, чуть-чуть еще — и выберется...

Выбралась, света не видя, бросила сумки, хватанула ртом черный воздух, но не продыхнулось. Из кармана кофты вытащила баллончик, судорожно сняла крышку, сунула пластмассовый хоботок ингалятора меж зубов. Прыснула в глубину горла горьковато-леденящую струйку, долгую секунду ждала, пока та доберется до груди, до забитых душащей мокротой бронхов. И, почувствовав еле уловимую лазейку для воздуха, стала расширять ее кашлем. Сплюнула вязкий комок, кое-как продыхалась.

И вот снова заблестело летнее солнце, уши наполнил энергичный стрекот кузнечиков, жалобные, протяжные зовы кружащего в небе коршуна... Наталья Сергеевна подняла сумки, пошла догонять остальных.

Да, спору нет, картошка у Макеева точно на опытном поле. Даже черные туманы ботву не берут. То ли сорт какой-то особенный, то ли действительно возятся с ней, как с ребеночком, удобрений на нее не жалеют, или Макеев из той породы, кому всегда, при любых обстоятельствах, везет, все у таких получается, все идет как по маслу... В деревне на огородах картошка уж давно чахлая, поцвести как следует не смогла, а на этой ягоды что виноградины. Дело понятное: хочешь урожай получить — силы вложи. Если не свои, так вот как Макеев: найми работников, пригоняй раз в две недели водовозку на поле... Осенью сплавит в Дудинку и Норильск эту картошечку — и сытая жизнь у кулака. А тут бьешься, бьешься за ко-

пейку несчастную — и ни здоровья, ни мозгов, ни средств, чтоб из нищеты выбраться.

— Ну и куда?! — издали резкий, воинственный окрик.

Наталья Сергеевна вздрогнула, уставилась на остановившихся попутчиков, а от них перевела взгляд дальше.

Навстречу торопливо и в то же время старательно переступая через картофельные гнезда шагают двое мужиков. В руках вилы.

— Всё не научитесь. А? — Голос ближе. — Сколько ведь раз!..

Оба они знакомы Наталье Сергеевне. Братья Тишины, здоровые, крепкие ребята, немолодые уже. Раньше работали трактористами, а теперь вот у Макеева. Следят за картошкой.

Забредшие на картошку мнутя в нерешительности. И обратно поворачивать, ясное дело, не хочется, и вперед, напролом, шагать опасно. Пырнуть вилами Тишины вряд ли пырнут, но бока намять могут. Хозяин им, народ говорит, щедро платит, а они стараются отработать на совесть.

— Заворачивай давай, — велит старший Тишин, Борька. — Чего ждете-то?

Парень в бейсболке — первый раз, что ли, идет здесь — решил поспотивляться:

— А в чем дело? Что по картошке? Так ведь аккуратно же...

— Да уж ты аккуратно! — перебивает Борька. — Гля, в самом гнезде стоишь, умник!

— Ты бы поосторожней, — подсобрался, набычился парень.

— Ты, хе-хе, тоже... Давай, короче, заворачивай. Все равно не пропустим.

— Ребята, Боря, Саша! — тоненько, жалобно заговорила та рыжеволосая, неприятная Наталья Сергеевне женщина. — Зачем вы так? Зачем же мучить друг друга? Ради чего, ребятки? Все ведь это ничтожно, все наши кусанья, грызня эта. О другом нам думать нужно, не о прахе, ребятки, заботиться!..

— Ай, тетя Шур, хорош! — отмахнулся, сморщившись, Борька. — Не агитируй. У меня спиногрызы каждый день жрать просят, а кормлю я их вот этим, — обвел рукой деляну, — этим прахом вот денежку добываю. Ступай в обход лучше и думай там о вечном своем.

— Е-ех, ребятки, ребятки, — жалобный тон сменился на скрыто-угрожающий, — пожалете ведь, когда великая битва начнется. Ведь кто в стадо Господне не вольтется, тому мучиться страшными муками во веки веков...

Тут вступил паренек Сазонов — выпалил нервно, срывающимся голосом:

— Сами ведь ходите, а нам осталось каких-то сто метров!..

— Нам, уважаемый, положено здесь ходить, — хмыкнул Борька, — таких вот гонять. Чужая это территория, ясно, нет?

— Так огородите ее и псов притащите! Кретины!..

Паренек развернулся, зашагал назад, специально давя, ломая картофельную ботву.

— Э-э! — зарычал вслед Борька Тишин. — Догоню ведь, мордой натыкаю! — И, взяв наперевес вилы, двинулся на остальных. — Заворачивайте, не доводите!..

По заросшей пыреем и колючим осотом пахоте потащились вдоль картофельной полосы. Все так же гуськом, так же молча. Лишь парень в бейсболке что-то злобно бурчал, оглядываясь на Тишиных. А те шагали метрах в двадцати, следя, чтоб кто не ринулся опять через поле...

У села вид такой теперь, будто по нему ураган свирепый промчался или, точнее сказать, будто обстреляли его из тяжелых пушек. Добрая половина дворов разрушена, вместо домов — лишь кучи досок с висящими на них кусками штукатурки, битые кирпичи, ржавая, никуда не годная жесь. Заборы полуповалены, более-менее добрые доски или увезли хозяева на новое место, или же растащены соседями.

Всегда, как идет по улице Наталья Сергеевна, одна мысль приходит в голову: «А когда мы?.. Ведь надо куда-нибудь, надо,ждемся...» А куда?! Как? Где деньги? Где силы?..

Дом Натальи Сергеевны на другом краю села от того, где они вышли, огибая картофельную деляну. А это еще с километр топать на очугуневших ногах, вдобавок вот любоваться разрухой...

Возле бывшего сельмага (от него, собственно, за полгода бесхозности сохранился лишь сруб — вагонку со стен, оконные рамы, шифер забрали какие-то приезжие люди, увезли на грузовике), возле остатков магазина — хлебовозка. Из кабины далеко вокруг разносится оптимистическая магнитофонная хрипотца: «Я-а замерзаю, вшей кормлю, на голых нарах сплю! Но-о не желаю поменять профессию свою!..» Снова сегодня поздно приехал — раньше строго привозили хлеб в час дня, а теперь могут и в три, в четыре или, например, как сейчас — почти что в пять.

Орудует в забитой лотками будке Геннадий, мясистый, кучерявый мужчина, добродушный и нагловатый. Его знают все в Малой Кое, он одновременно и шофер, и продавец, три раза в неделю привозящий в село необходимый каждому хлебушек... Если уж такое дело — машина на пути, — Наталья Сергеевна решила прикупить буханку-другую. Есть вообще-то дома, но запас, как говорится, лишним не бывает...

Перед дверцей будки людской ручеек. Все усталились на Геннадия, в руках давно готовые деньги, пакеты, сумки. И каждый, дождавшись очереди, обязательно пожалуется:

— Вот весь день просидели здесь, прождали... Приезжал бы пораньше... ведь дома тоже дела...

В ответ Геннадий то ли шутя, то ли всерьез басит:

— Спасибо сказали б, что еще езжу! Задарма, считай, трястись к чертям на кулички... Машина вон, мля, рассыпается. А чего мне без нее? Новую-то хрен дадут. В скотники, что ль, наниматься?

— Ох, Гена, езди, езди, ради Христа. Как нам без хлеба?..

Поблизости от машины крутятся ребятня, мечтающая о булочке с повидлом, что имеются у дядь Гены в ассортименте товаров. Взрослые редко их покупают — «тут бы где на хлеб наскрести!» — а дядь Гена, бывает, выдаст на всю ораву пару штучек и веселится, глядя, как их делят, рвут из рук в руки, ругаясь и чуть не дерясь.

Да, надо подкупить хлебушка — можно сухарей засушить. Действительно — все на волоске висит, может, больше и не появится здесь Геннадий, и как тогда... Муки есть у Натальи Сергеевны килограммов десять, но разве это надолго?

Протянула четырнадцать рублей Геннадию:

— Две белого, пожалуйста, и две черного.

Пока тот возился с лотками, пересчитала деньги в кошельке. После всех покупок, платы за автобусы от торговли осталось всего-то тридцать восемь рублей. А до пенсии — больше недели. Если к воскресенью огурцы нарastут, надо будет опять ехать в город; к тому же цветная капуста подходит, и она как раз сейчас на рынке в цене. Что ж делать, поедет. Опять весь день на ногах ради сотни рублей, которые тут же испарятся, потратятся на незаметные, но необходимые мелочи... А если в воскресенье дождь проливной, или жарыща, или у мужа ухудшение (о самом плохом думать нельзя), или что с внуками... В общем, лучше уж не загадывать — как бог даст...

Сложила буханки в сумку, где утром был белокожий, длинный, натертый растительным маслом, чтоб блестел и выглядел соблазнительней, кабачок (продать его, двухкилограммового, удалось за десяточку), пошла дальше. Навстречу — Татьяна Дмитриевна.

— Здравствуйте, моя дорогая!

— Добрый день, добрый день, Сергеевна!

Сразу как-то легче стало, потеплело и отмякло в груди... С этой женщиной у Натальи Сергеевны по-настоящему хорошие отношения. С одной, пожалуй, из всех жителей Малой Кои. Беды их подружили... До гибели Юры в основном здоровались только, фразами о погоде перебрасывались, о чем-то еще, что сразу же вылетало из памяти. Но вот когда с Юрой случилось... неожиданно совсем, и единственной, кто помог тогда, оказалась Татьяна Дмитриевна. И словом душевным, и делом — поддержала. Моталась по разным конторам с бумагами, поселила Наталью Сергеевну и ее мужа в городе у своей сестры, на похоронах что-то делала, поминки были на ее плечах. Мало что видела и соображала, конечно, в те дни Наталья Сергеевна, но все-таки заботу всегда почувствуешь.

Старая и такая верная истина: кто сам несладко живет, тот к чужому горю отзывчивей... У Татьяны Дмитриевны вся жизнь несладкая. Единственная дочь — дочери уже под сорок — с рождения очень больна психически. Почти все время ее держат в пансионате для неизлечимых; мать берет ее иногда — долго перед тем просит медицинских начальников, — но после какой-нибудь выходки (уровень развития у нее, как у ребенка трех лет) приходится сдавать ее обратно врачам...

За чашкой чая посидеть, не спеша побеседовать подругам удается редко — все дела, суета, заботы. Обычно встречаются вот так, посреди улицы, делятся новостями, жалуются, горюют, а потом, спохватившись, бегут дальше, куда кому надо.

— Как у вас? — осторожно спрашивает Татьяна Дмитриевна. — Как супруг?

— Все лежит, все лежит. — Наталья Сергеевна покачивает головой. — Уж, наверно, теперь к одному концу...

— Не надо так, ведь бывали случаи...

— Надеюсь, на это только и стоит надеяться. Что ж... Вот с рынка еду, — говорит Наталья Сергеевна более живым голосом. — Вроде расторговалась, а денег снова тридцать рублей. И не купила особенно ничего.

Татьяна Дмитриевна соглашается:

— Да, деньги летят сумасшедше. Тоже пенсии жду не дождусь. Настюшу взять хочу хоть на неделю. Лето кончается, а она там, в четырех стенах, бедняжка. Тут съездила к ней... Ох, худая, желтая вся, плачет, домой просится...

— Конечно, родной дом есть родной дом. Все легче. — Но против воли вспоминается Наталье Сергеевне случай из прошлого лета: Насте вдруг разонравилось ее платье, и она при чужих людях — а это у магазина произошло — стала его снимать; Татьяна Дмитриевна бросилась к ней, но отлетела, получив от дочери локтем в грудь, какие-то парни заготовали; с трудом удалось завести ненормальную за калитку, успокоить.

— Вам-то дочь пишет? — спрашивает Татьяна Дмитриевна.

— Телеграммы шлет, писать не любит. Да и что писать... Телеграммой легче... Просит, чтоб ребята еще побыли здесь, пока разводится, работу ищет. Все собираюсь ей написать — у них ведь и одежки нет почти, обуви самое главное... Да чем она... тоже сама без денег.

— Ну а муж ее? — напоминает Татьяна Дмитриевна. — Отец их? Должен же помогать.

Наталья Сергеевна снова вздыхает и совсем по-старушечьи — сама это чувствует — поджимает губы:

— Ох, не знаю, не знаю... Пускай сами решают. Что мне ввязываться... только лишний повод для ссор. — И переводит разговор на другую, менее болезненную тему: — Вы с переездом-то как, не надумали?

— Да куда мне? — отмахнулась подруга. — Если им надо, перевезут, а у меня ни сил, ничего... И ради кого трепыхаться? Настюша там, в больнице, больше у меня нет никого. Ради кого?.. Плохо вот, если свет отклю-



чат, продукты совсем перестанут возить. А так... Доскриплю и здесь как-нибудь. Господь не оставит, не допустит, чтоб провалилась под землю...

— Я тоже надеюсь, — согласилась Наталья Сергеевна. — Странно только, что никак спасти нельзя. Вот по телевизору показывают — чего-чего только не изобретают, каких чудес уже нет. Как в сказке какой-то, а мы, глядишь, при лучине доживать будем...

— Чудеса, Сергеевна, для тех, кто заплатить может. А мы... зачем им нас-то спасать? Одно только, что Господь не оставит...

И тут как толкнул кто Наталью Сергеевну — надо же скорее домой! Всю поездку прятала, гасила страх, старалась не думать о груде дел, какие необходимо сделать до ночи, а теперь вот прорвалось, потянуло...

— Побегу я, Дмитриевна, извините! Ведь целый день ребятишки одни, Павел лежит, может, некормленный... Старшего-то, Вадо, не допросишься, а сам уж подавно не сообразит стакан воды принести. Побегу!

— Да-да, дорогая, бегите, и мне надо тут... — Татьяна Дмитриевна запнулась, кашлянула, а потом закончила как бы стыдящимся голосом: — Шура Громова должна сегодня новый журнал привезти... новый номер. Не видали, была она в автобусе? Рыженькая такая?

А, рыженькая, да... Это та неприятная...

— Была, — ответила Наталья Сергеевна и увидела, как вспыхнул какой-то новый, жадный огонечек в глазах подруги. Неужели и она подалась к этим свидетелям Иеговы? Спрашивать неудобно и боязно. Да и что? Каждый свободен выбирать, хуже, наверное, вот так, как сама она, Наталья Сергеевна, ни в какие силы такие не верить. Может, потому так и идет жизнь, точно под откос, и — никаких зацепок...

Прощаются, как всегда, тепло, ободряя друг друга:

— Все хорошо будет, Сергеевна, не отчаивайтесь!

— Надеюсь, увидим еще светлые дни. Еще порадуемся, Татьяна Дмитриевна! Заходите к нам, не забывайте.

С центральной улицы сворачивает в малоприметный переулочек, идет меж двух рядов высоченной, сочной крапивы, лучше любого забора защищающей огорода от пакостников. Сейчас переулок кончится, будет Садовая улица, пыльная, кривая, короткая, совсем непохожая на свое название. Наталья Сергеевна повернет направо, и третий дом по левую руку будет ее. Изломанная, полусухая черемуха в палисаднике, окрашенные зеленой краской ворота, скамейка возле калитки. Перед калиткой, конечно, гуляют выбравшиеся из ограды курицы. Их пятнадцать вместе с петухом быть должно, если какую уже алкаши не утащили или собака не задавила... Наталья Сергеевна загонит кур, переложит, подмоет, оботрет мужа, накормит ребятишек, потом надо огурцы полить (остальное уж завтра), запарит дробленки свинье, может, помидоры подвяжет, какие совсем повалились; уложит ребятишек спать, приготовит еды на завтра (бараньи ребрышки с картошкой потушит), заштопает Ваде футболку — обязательно! — другой чистой нет. И надо бы пораньше спать лечь сегодня. Устала.

Что-то заставило поднять голову. По светло-синему, чистому небу серебристой капсулкой ползет самолет. Медленно, но упорно. За ним остается густая белая полоса; постепенно она расплывается, и небо теряет свою чистоту, становится затуманенным, низким каким-то...

Но, может быть, сложится вечер совсем не так. Может — тьфу, тьфу, тьфу — случилось страшное. Или с мужем, или с ребятишками, или... Нет, не надо гадать, а то... не надо. Сейчас дойдет и сама все увидит. Дойти бы только...



---

---

СВЕТЛАНА ЛЬВОВА



## ЗЕРНО ВИНОГРАДА

### Вечеринка

В нашем интерьере  
голуби летели, караваны шли.  
Собирались звери  
месить метели,  
кувшины несли.

Тонкие узоры, гордые взоры,  
губы в вине.  
Мы с подружкой  
крошили горбушку,  
кололи друг дружку  
лучом на дне.

Всем досталось — а я смеялась,  
юбка металась над каблуком,  
на ушко шептала, песчинки считала  
да львенка питала  
своим молоком.

\* \*  
\*

Я постараюсь быть практичной:  
я запишу рецепт салата,  
забуду имя на конверте  
и посажу вишневый сад.  
Все выйдет очень симпатично.  
Жизнь станет внутренне богатой,  
а музой и сестрой Эрато  
мне будет муж — мой друг и брат.

И будет дом наш полной клетью  
веселья, воздуха и звона,  
и над его тесовой крышей  
взметнется радуга, как бровь.  
Не оборвут нам вишню дети,  
не возвратятся почтальоны,  
а в медном тазике задышит  
варенье вязкое, как кровь.

И будут чашки наши чисты,  
промытые рекламным «Фери»,  
а муж мой станет знаменитым,  
вступив в писательский Союз.  
Нас пожалеют журналисты,  
деревья, птицы, рыбы, звери.  
Нас даже назовут *элитой*,  
но денег не дадут, боюсь.

\* \*  
\*

Одни свои сокровища прячут,  
другие напоказ выставляют.  
А я своих сокровищ не помню:  
быть может, я их все раздарила,  
а может, их не было вовсе.

Но только если их не бывало,  
о чем сундук тоскует старинный,  
покрытый лоскутным одеялом,  
и на ветру стучит незапертой крышкой,  
как будто в дверь мою стучат гости?

Но только если в дверь постучали,  
то почему никто к дверям не подходит,  
никто гостей за стол не сажает  
и не звенят веселые чарки?

И почему у дома нет двери  
и нет ни трубы, ни крыши,  
ни стен, ни мышей, ни окон...

А вместо тепла и света,  
а вместо подковы на счастье —  
острозубый узорчатый гребень,  
похожий на китайскую стену,  
из панциря мудрой черепахи.

\* \*  
\*

Приходите в наше королевство,  
мы заварим вам зеленого чаю,  
будем лить его в прозрачную чашку —  
насладитесь терпким ароматом.

Ничего, что вы зайдете случайно,  
заблудившись на ветвистой дороге,  
испугавшись незнакомого шума,  
от внезапного дождя укрываясь.

Ничего, что мы не бросимся на шею,  
а не глядя крикнем: входите  
в этот дом, похожий на фонарик  
из давно перегоревшей гирлянды.

Ничего, что мы друг друга не узнаем,  
испугаемся простого вопроса —  
и, как ящерица хвост теряет,  
сбросим с губ своих тень улыбки.

Ничего, что мы так одиноки,  
что так долго ждали друг друга —  
даже наши взоры потускнели,  
как на полке медные кувшины.

Ничего, что мы друг другу не поверим,  
и что так нелепо устали,  
и что чай зеленый пахнет рыбой —  
приходите в наше королевство...

### Память о жертве

Я — блудная дочь отгороженных мне времен,  
любимая наспех и накрест — всегда чужими,  
бредущая мимо, не помнящая имен,  
свое, как клеймо, навсегда выжигаю имя  
на лбу твоём, ветер, стремящийся прочь — туда,  
где кончились звезды и падают города.

Там внук Авраама на хижину ладит дверь.  
Он ходит, как время, а мне говорит: не лги —  
и смотрит печально, как будто дитя иль зверь,  
и пахнут зерном винограда его шаги.

Мы схожи друг с другом ненужностью: *ер* и *ять*.  
Мы крестиком медным звеним в виноградном сне,  
гадаем о звуке, который нельзя раззять,  
и легкое небо синице сулим по весне —  
так бредят хвоинки в предутреннем костерке.  
Но слово простое немеет в чужом языке.

Зерно прорастает, собой замыкая круг.  
Мы — дети зерна. — тянем руки и светим кожей.  
Детеньшиа скорбного времени кормим с рук,  
а кровных детей оставляем земле прохожей.

Мой брат, мой ребенок, похожий на старика,  
раскосой слезинкой коснись моего языка,  
прости мне колючие звуки, что пьешь с молоком,  
и голые руки, и горечь под языком.

Очаг разгорается, пыжится дух пирога,  
а звук оставляет на время ржавую мету.  
Не все еще голуби выплеснуты с чердака,  
и краешек утра звенит золотой монетой.  
Но в медные трубы трубит на холсте огонь  
и медленной медью просвечивает ладонь.

Я песню чужого огня назову на *вы*,  
скрипучую узкую дверь распахну чужим.  
Я хлеб замешу из колючей сухой травы,  
чтоб агнец, тобой убиенный, остался жив.

\* \*  
\*

Веселиться на чужих пирах,  
в ночь идти, преодолая страх,  
по земле скитаться без жилья,  
зная, что песчинка — жизнь твоя.

В суете ее не уронить,  
никого в несчастьях не винить,  
песню петь, коль есть, с чего начать,  
если в горле ком, тогда молчать.

Смысла не искать среди причин,  
опасаться малых величин  
и не ждать взаимности, любя  
ближнего чуть больше, чем себя.

Сна наутро не припоминать,  
истину не черпать до конца —  
лишь о том, чего не можешь знать,  
говорить от первого лица...



---

---

ВЛ. НОВИКОВ

\*

## ВЫСОЦКИЙ

*Главы из книги*

### ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

**М**есяц май начался с веселеньких пророчеств. Золотухин рассказывает услышанную им где-то такую сплетню-версию: Высоцкий спел в последний раз все свои песни, вышел из КГБ и застрелился. Сколько слухов... И главное — верят люди, некоторые даже с готовностью такую весть воспринимают: тридцать лет — возраст, вполне подходящий для самоубийства. Есенину ровно столько было, когда он в «Англетере» в петлю полез. Гостиница нам знакомая, теперь она «Асторией» называется, и номер соответствующий посмотреть однажды довелось.

А одна неутомимая поклонница недавно дозвонилась на служебный вход:

— Вы еще живы? А я слышала, вы повесились.

— Нет, я вскрыл себе вены.

— Какой у вас красивый голос... Спойте что-нибудь, пожалуйста.

Сказал три заветных слова — понятно, каких — и положил трубку. Какова наглость! Это Фурцева, рассказывают, утром с похмелья может звонить Магомаеву: «Муслим, пой мне!» Но, во-первых, тут вам не Магомаев, а во-вторых, дамочка явно не министр культуры — голос молодой, звонкий. Ну и народ! К нашему брату как к игрушкам, как к хламу относятся! Слушать слушают, на спектакли и концерты ломятся, а признать за тобой право быть человеком, таким же, как они, — с нервами, с кровью — не могут.

Прочитал «Последний парад» в родном театре, хотя и без толку — все равно Любимову ставить не разрешили. И в Сатире все негладко с этой вещью. С одной высокой трибуны большой культурный начальник по фамилии Сапетов кричал, что Высоцкий «антисоветчик» и «подонок», выговаривал Штейну за то, что он такому несоветскому человеку предоставил слово в своей пьесе.

На что-то это очень похоже. Зошенко Михаила Михайловича в сорок шестом году товарищ Жданов обозвал именно «подонком», и тот потом вынужден был доказывать, что он не верблюд и никогда не был «антисоветским» писателем. Кстати, совсем недавно в одном нью-йоркском издании Высоцкого сравнили с Зошенко — в лестном, положительном смысле. А вот теперь и на родине готовы удостоить соответствующего венца... Не лаврового — тернового.

Энергетические ресурсы — на нуле. Одному оставаться уже просто небезопасно. Вместе с Люсей он отправляется в Киев, с песнями для филь-

ма «Карантин». Одну из них, с настойчивым вопросом-рефреном «Ты бы пошел с ним в разведку?», дописывает уже в поезде, настраивая себя на боевой лад:

Покой только снится, я знаю, —  
Готовься, держись и дерись!

После записи на Киностудии Довженко долго сидели в гостях у Лубенца, крупного руководителя здешней печати, который только что был в Праге и много чего порассказал. Наутро не было сил подняться, и Люся улетела одна. Высоцкий уже другим самолетом добрался до Москвы и все-таки успел на вечернее «Послушайте!».

Тут же поехал в Ленинград, на этот раз вдвоем с Таней. Увидел, как порезали «Интервенцию» — остались от Бродского рожки да ножки... И в картине «Служили два товарища» Брусенцова свели к минимуму. По возвращении угодил прямо в Люблинскую больницу. Там тридцать первого мая открывает он газету «Советская Россия» и видит выразительный заголовок: «Если друг оказался вдруг...». На полсекунды, даже на четверть мелькнуло предположение, что слова из песни попали в заголовок просто как цитата — в газетах любят ведь пользоваться такими «крылатыми словами»...

Но куда там! Сообщается, что Высоцкий в Куйбышеве вместо того, чтобы исполнять хорошие песни из фильма «Вертикаль», пел то, что крутят на магнитофоне во время пьянок и вечеринок... И всякие обвинения клубу, пригласившему столь сомнительную фигуру...

Кто авторы? Потапенко и Черняев — фамилии ничего не говорящие. Но неспроста все это кем-то организовано.

Пятого июня в Госкино показали «Интервенцию». Ездил туда с Люсей. На этот раз впечатление не такое безнадежное. Но выпустят ли эту картину к людям? Не протащат ли каким-нибудь третьим-четвертым экраном, как «Короткие встречи»?

А девятого ему в палату приносят очередной номер «Советской России» со статьей «О чем поет Высоцкий». Первый раз его фамилия печатается таким крупным шрифтом. Но что дальше... *«Быстрее вируса гриппа распространяется эпидемия блатных и пошлых песен, переписываемых с магнитофонных пленок... Мы очень внимательно прослушали, например, многочисленные записи таких песен московского артиста В. Высоцкого в авторском исполнении (спасибо за внимание!), старались быть беспристрастными».* (Ну, это невозможно, у каждого нормального человека пристрастия есть!)

Спокойно, читаем дальше: *«Скажем прямо, те песни, которые он поет с эстрады, у нас сомнения не вызывают, и не о них мы хотим говорить. Есть у этого актера песни другие, которые он исполняет только для „избранных“. В них под видом искусства преподносится обывательщина, пошлость, безнравственность. Высоцкий поет от имени и во имя алкоголиков, штрафников, преступников, людей порочных и неполноценных».*

Что значит: «во имя алкоголиков»? Это на каком же языке они пишут?..

*«Это распоясавшиеся хулиганы, похваляющиеся своей безнаказанностью („Ну, ничего, я им создам уют, живо он квартиру обменяет“»).*

Товарищи дорогие, но это же называется сатира! Этот персонаж-завистник в песне высмеивается! И вовсе не «избранным» я это пел, а в больших аудиториях вроде какого-нибудь «Гидропроекта», наверняка записать они слушали — со смехом и аплодисментами в конце. Совсем, что ли, юмора не понимают?

Достается Высоцкому и за друга, который едет в Магадан, и за «штрафников», которых он якобы считает главной силой в войне (а что же, «Братские могилы» они не слышали?). «Песню-сказку про джинна» оригинально переименовали в «Сказку о русском духе» — ну нет же там

слова «русский» ни разу! Но все это пустяки по сравнению со следующим заявлением:

*«В программной песне „Я старый сказочник“ Высоцкий сообщает:*

*Но не несу ни зла я и ни ласки...  
Я сам себе рассказываю сказки.*

*Ласки он, безусловно, не несет, но зло сеет. Это несомненно».*

Люди добрые! Это что же делается на страницах центральной прессы! Про сказочника же совсем другой автор написал! Это хорошая песня Кукина, но при чем тут Высоцкий?

*«И в погоне за этой сомнительной славой он не останавливается перед издевкой над советскими людьми, их патриотической гордостью. Как иначе расценить то, что поется от имени „технолога Петухова“, смакующего наши недостатки и издевающегося над тем, чем по праву гордится советский народ:*

*Зато мы делаем ракеты,  
Перекрываем Енисей,  
А также в области балета  
Мы впереди планеты всей».*

Визбор сочинил про технолога и про балет, Юрий Визбор! Они просто с ума посходили, эти Мушта и Бондарюк из города Саратова... И кто они такие? Непонятно даже, какого они пола.

*«Мы слышали, что Высоцкий хороший драматический артист, и очень жаль, что его товарищи по искусству вовремя не остановили его, не помогли ему понять, что запел он свои песни с чужого голоса».*

Нет, этого так оставлять нельзя! Тут мы еще поборемся! Приехал Кохановский — говорит, что они крупно прокололись, приписав Высоцкому чужие песни. В газетах все-таки явные фактические искажения не поощряются. У Гарика в «Советской России» оказался знакомый по Магадану. Пришли к нему, он разузнал «в верхах», что было указание Высоцкого «приструнить». Но страшных последствий не будет, можно спать спокойно...

Однако не дают спать. В «Комсомольской правде» через неделю очень гаденькая статейка «Что за песней?». Рассказывается про каких-то спекулянтов, торгующих в Тюмени записями песен про Нинку-наводчицу, про «халяву рыжую» (не «халяву», а «шалаву» — грамотеи! — слово-то вполне народное и даже «партийное», его, например, у Шолохова в «Поднятой целине» коммунист Давыдов употребляет). Если в прошлый раз Высоцкому чужие песни приписали, то теперь наоборот: «...Одни барды взывают: „Спасите наши души!“ Другие считают, что лучше „...лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать“». И «те» и «другие» барды — это все один Высоцкий. Нет, не совсем дураки этим делом занимаются, и автор Р. Лынев с толком цитатки подбирает: «...Рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую...» Что написано пером — хотя и не напечатано, а только спето, — остается навсегда, и не отвертишься от сказанного...

Вышел из больницы, сыграл Галилея. Все-таки она вертится, и отречься от себя нас никто не заставит! Опять тормозят «Последний парад», хотят оставить две-три песни, а остальные пустить под сурдинку, без указания авторства. Но в то же время Золотухин и Высоцкий утверждены на главные роли в фильме Назарова «Хозяин тайги» (это уже четвертый режиссер, трое по разным причинам снимать отказывались). Утверждение состоялось несмотря на то, что в райкоме товарищ Шабанов говорил режиссеру: «Высоцкий — это морально опустившийся человек, разложившийся до самого дна... Не рекомендую его брать». Положительного милиционера играть предстоит Золотухину, а Высоцкому достался отрицательный бригадир сплавщиков — ворюга Иван Рябой. Но роль все равно нра-



вится: нам не привыкать из дерьма конфетку делать, у нас любой рябой будет неотразим. Есть заготовка песни с веселыми рифмами, которую он хотел Гарику посвятить:

На реке ль, на о-зе-ре —  
Работал на бульдо-зе-ре,  
Весь в комбинезоне и в пыли, —  
Вкалывал я до! — за-ри,  
Считал, что черви ко! — зы-ри,  
Из грунта выколачивал рубли...

Ничего, что она про старателей, допишем про сплавщиков... По сюжету Рябой должен добиваться любви местной красавицы Нюрки, а она его изо всех сил будет отвергать и только под конец с отчаяния согласится с ним уехать, а его поймают на краже — ну и прочий социалистический реализм. Насчет отвергнутой любви у нас опыта, конечно, не хватает: не могу припомнить за последние тридцать лет подобного случая... Но — зря, что ли, учили нас мхатовскому перевоплощению!

И Таганка еще выплывет, пробьется сквозь штормы. В последнее время появилось хорошее выражение — «еще не вечер», захотелось его в песню вставить. Песня получилась пиратская, записал ее для фильма под названием типа «Мой папа — капитан», но на самом деле она о театре, о корабле, преследуемом целой эскадрой:

За нами гонится эскадра по пятам, —  
На море штиль — и не избежать встречи!  
Но нам сказал спокойно капитан:  
«Еще не вечер, еще не вечер!»

Он садится за письмо Владимиру Ильичу. Не Ленину, а Степакову, есть такой деятель в отделе агитации и пропаганды. Сказали, что нужно адресовать именно ему. Трудно писать, когда не видишь перед собой человека. Что-то натужное выходит из-под пера. Стал объяснять про приписанные ему чужие песни, но не назовешь же истинных авторов — получится, что на них доносишь. Потом начал за «штрафников» оправдываться: «Мною написано много песен о войне, о павших бойцах, о подводниках и летчиках». И о блатных песнях приходится какими-то обиняками говорить: «Сам я записей не распространяю, не имею магнитофона, а следить за тем, чтобы они не расходились, у меня нет возможности». Но главное, чтобы результат был. Постарался закончить твердо: «Убедительно прошу не оставить без ответа это письмо и дать мне возможность выступить на страницах печати».

Центральный Комитет КПСС находится совсем недалеко от театра: таксист сначала не хотел даже везти, но потом узнал, заулыбался, газанул — и через пять минут уже развернулся у Политехнического музея. Вот она, Старая площадь, вот подъезд с тяжелыми дверями.

— Вы с письмом? Вот к тому окошечку, пожалуйста.

Письмо зарегистрировали, выдали квитанцию, записали адрес.

— Ответ будет в течение месяца. Такой порядок.

Настроение сникло. Да за месяц его уже успеют опозорить во всех газетах, включая «Советский спорт»! Растерянно вышел, стал стучаться в окошечки черных «Волг» — мордатые водители смотрят как на сумасшедшего. И личность в штатском какая-то уже приближается. А, ладно, пройдушь пешком — полчаса еще до конца перерыва.

После репетиции он выходит в обнимку с Таней — и вдруг Люся навстречу. Заплакала и убежала. Куда-то ведь обещал вместе с ней сходить сегодня — и забыл, как назло! Надо наводить порядок в своей жизни. Помочь Люсе с детьми, заработать на квартиру для себя. Пока для себя одного, а там посмотрим.

«Тартюф» у Любимова получается неинтересный. Не тот материал. Шеф хочет прикрыться плащом мировой классики и провести намек на лицемерие советской власти: мол, тартюфы сидят в Кремле и на Старой площади. Но у Мольера нет ничего для выставления наружу, для таганской броскости. Его можно только внутрь разворачивать, в том числе в самого себя. Кто из нас не бывал Тартюфом, кто не обвинял других за то, в чем сам повинен? А уж люди нашей профессии... Лицедей не может не быть лицемером. Ну и режиссер, извиняюсь, тоже.

Уже не получается уйти в работу, как в запой. В начале июля у Высоцкого пропадает голос. Почему? И не такие ведь перегрузки случались. Голос — он как человек, не любит бессмысленного напряжения. Наконец шестнадцатого числа сыгран последний Керенский в «Десяти днях» — и ждет нас Сибирь.

А Марина собирается в Москву. Сообщила по телефону, что записалась во Французскую компартию, чтобы легче взаимодействовать с советскими конторами. У них все перевернуто: «левыми» называют коммунистов, они там считаются борцами за свободу. Студенческая революция там бушует сейчас. А у нас здесь «левые» — это, наоборот, диссиденты, а «правые» сидят в райкомах. Абсурд какой-то... Ладно, выясним сначала личные отношения, а потом уже с политикой разберемся.

Рейс отложили часиков так на пять, а потом шесть часов лету до Красноярска (а там еще поездом километров триста, да еще автотранспортом до Выезжего Лога). В группе — Золотухин, Пырьева, Кокшенов, Кмит, Шпрингфельд... Приступили к застолью уже в аэропорту «Домодедово», продолжили на борту серебристого лайнера. Все, кроме Высоцкого. «Сегодня пьянка мне до лампочки», — кто-то весело цитирует от имени присутствующего здесь автора, за которого поступает предложение выпить.

А он тем временем думает о том, что через несколько дней предстоит как-то вырваться в Москву. Есть целых два дела — и оба главные.

С корабля — на бал, в ЦК КПСС. В отделе пропаганды его ласково встречает товарищ Яковлев. Симпатично окая, успокаивает:

— Конечно, допущена ошибка. Они просто спутали критику с проработкой. Мы поправим, поправим. Готовится материал в «Советской России»... Но и от вас, Владимир Семенович, мы будем ждать ответного шага. Вы человек одаренный, много еще можете сделать для советского искусства. Нужны хорошие песни, искренние, патриотические. Я не специалист, не берусь советовать, может быть, вам стоило бы поработать с нашими ведущими композиторами. Музыка все-таки не должна быть слишком груба, да и язык надо бы подчистить. Я понимаю, у вас просто нет опыта работы с редактором, вот и проскакивают порой слова-сорняки. Сделайте что-то, чтобы мы могли не кривя душой сказать: Высоцкий пишет советские песни! Вот ваша задача! И, как говорится, за работу!

Послушал, покивал... Ох, трудно будет такой наказ выполнить. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Какой выбор у нас имеется? Сочинить парутройку советских «ля-ля», чтобы повисить свою проходимость? Как бы для смеху, да? Не-а, не получится! Физически не получится. Нету выбора на самом деле.

## НА ЛИЧНОМ ФРОНТЕ

Может, с французскими коммунистами полегче договориться будет? «Гостиница „Советская“? Еду!»

Марина с порога знакомит его с матерью, та смотрит на него с деликатным, но явным интересом: слышала, значит, про «Владимира, который поет». В номере уже есть какие-то посторонние, хочется от них отделать-

ся, отделиться. Он властно обнимает ее, демонстративно не глядя на публику. «„Мое!“ — сказал Владимир грозно...» Пусть попробует еще кто-то предъявить претензии! Кончен бал, гостям пора разъезжаться.

На следующий день они отправляются в подмосковный пионерлагерь, куда Марина поместила своих сыновей с целью погрузить их в «абсолютно советскую среду». Знала бы она, где такая среда располагается! Это лагерь, да только не пионерский. Мальчики нормальные, не противные, раскованные, в хорошем смысле, не по-советски. Выучили слова песни «Бал-маскарад» и довольно грамотно поют: «Глядь — две жены, — ну две Марины Влади!» (Напророчил себе, между прочим! Все время получается не меньше двух...)

Удалось наконец поговорить с глазу на глаз. Прочитал ей, не спел — еще нет мелодии, а именно прочитал начало новой вещи:

Рвусь из сил, изо всех сухожилий.  
Я из логова выгнан вчера,  
Обложили меня, обложили,  
Гонят весело на номера.

Жду — ударит свинец из двухстволки,  
Зря на ноги свои уповал,  
На снегу кувыркаются волки:  
Тот — подранок, а тот — наповал...

Нет, это совсем еще не готово. Волка убивают, потому что он не может выйти за развешанные красные флажки... Это только полмысли и полпесни... Не хватает поворота...

А Марина, кажется, понимает его — в смысле поэзии. Что это не просто песенки. И вообще она его *заметила*, чего раньше не было. Она все-таки еще чего-то хочет от этой жизни, да и он не меньшего желает. Вместе с ней есть шанс прорваться, выйти из замкнутого круга.

Снова Выезжий Лог и съемки «Хозяина тайги». Времени свободного достаточно для основательных раздумий. По телефону из Москвы ему рассказывают, что в «Литературной газете» напечатана небольшая заметка за подписью какого-то электрика, где есть буквально пара фраз о том, что, мол, Высоцкого тогда в «Советской России» чересчур закритиковали. И это все, на что способно оказалось могучее учреждение! И почему это у нас электрики высказываются по вопросам искусства и критики? Эх, зря писал это письмо униженное, зря выслушивал задушевные партийные советы. Они своих же правил не соблюдают, не на равных с нами играют... Поверишь им — и окажешься в дураках, как те большевики, что перед расстрелом кричали: «Да здравствует Сталин!» Это же всю жизнь свою перечеркнуть, да и смерть такая бессмысленна...

А волк — он умным оказался. Посмотрел желтыми глазами на охотников с ружьями, на флажки — да и сиганул мимо них в лесную чашу:

Я из повиновения вышел —  
За флажки, — жажда жизни сильней!  
Только сзади я радостно слышал  
Удивленные крики людей.

Сочинилось в одно мгновенье, когда он сидел за столом под светом гигантской лампочки. Золотухин был выпивши, уже спал. Вдруг поднялся: «Не сиди под светом, тебя застрелят!» — «С чего ты взял?» — «Мне Паустовский сказал, что в Лермонтова стрелял пьяный прапорщик». И снова заснул.

А что утром выяснилось? Оказывается, Валера вчера за бутыль медовухи разрешил местным ребятишкам залечь неподалеку от дома и разглядыв-

вать в окне живого Высоцкого! Что-то чувствовалось такое, когда писал под дулами этих глаз... Может быть, и всегда так? Вроде пишешь в одиночестве, а за тобой все время следят — кто по-доброму, а кто и по-злему.

Хорошая вещь — припев, помогает вернуть сюжет к началу, к исходной точке. Пока что во всем животном мире лишь один волк чудом смог прорваться, а теперь опять, везде и всегда:

Идет охота на волков, идет охота —  
 На серых хищников, матерых и щенков!  
 Кричат охотники, и лают псы до рвоты,  
 Кровь на снегу — и пятна красные флажков.

Подведена большая красная черта под прожитым и сделанным на сегодняшний день. Параллельно с «Охотой» вынашивалась «Банька по-белому», которая вслед за ней и родилась — как песня-близнец. С Золотухиным начали ее на два голоса петь:

Протопи ты мне баньку, хозяйюшка, —  
 Раскалю я себя, распалю,  
 На полке, у самого краюшка,  
 Я сомненья в себе истреблю.

Потом Золотухин слегка огорошил, сказав, что «полк», на котором парятся, склоняется иначе и должно там быть: «на полкѣ». Мол, у нас на Алтае только так и говорят. А может быть, в Москве говорят иначе? Если бы это было просто стихотворение, предназначенное для печати, то можно было бы без труда поправить: «На полкѣ, возле самого краешка...» А из песни слова не выкинешь, оно звучать должно протяжно, в три слога. И Геннадию Полоке, творцу нашей многострадальной «Интервенции», невольный привет получился: вот уж он не любит склоняться и ни единой буквы из себя не отдаст.

«Баньку» принимают теплее, чем «Охоту», но так, наверное, и должно быть. Выход «за флажки» не каждому знаком по собственному опыту.

Двадцать восьмого августа Высоцкий с Золотухиным срываются в Красноярск, где полдня проводят в компании художников, а потом летчик Виталий Кононенко берет их в кабину своего самолета. Оплата — натурой: Высоцкий начинает петь на старте, а заканчивает в Домодедове.

На следующий день в Сатире незапланированный «Последний парад», после которого на банкете впервые в Москве звучит «Охота на волков».

У Марины закончились съемки «Сюжета для небольшого рассказа». Ее очередной отъезд в Париж оказывается, мягко говоря, омраченным. Решили на прощание посидеть у Макса Леона. Приходят они туда с Мариной и видят следующую мизансцену: в комнате куча гостей, среди них — Золотухин с Шацкой и... Таня. Ну вот и доигрался. «Обе вместе» — так, кажется, называлось это у Достоевского.

Нехорошее молчание зависает в воздухе, его слегка разряжает Говорухин, не теряющий юмора и присутствия духа. Режиссеру такие ситуации — полный кайф, пригодится в дальнейшей работе. А все остальные с ролями не очень справляются. Спели с Золотухиным «Баньку», но это не разрядило обстановку. Яблочный сок, верность которому Высоцкий хранил так долго, жажду не утоляет. Он потихоньку начинает в него водку добавлять. Марина пытается удержать, и он мягко ее успокаивает: «Ничего, немного можно...»

...Разговоры он слышит уже неотчетливо, и вот до него долетает фраза: — Он будет мой, он завтра же придет ко мне!

Эти слова Таня адресует Марине, а та пытается сохранить хладнокровие, чтобы перед Максом все-таки выдержать марку. Потом почему-то у Марины рвется кольцо, и жемчуг раскатывается по полу, приходится его со-

бирать вместе. Таню кто-то берется доставить домой, а они с Мариной доезжают до гостиницы в кабине роскошной машины с надписью «Молоко».

Что происходит наутро — угадать нетрудно. Из кафе «Артистическое» его забирает и увозит к себе Кохановский. Отоспавшись, он слышит, как вокруг озабоченно говорят о сегодняшнем спектакле. А за столом сидит Марина и ест гречневую кашу. Значит, выдержала, смогла пережить...

Спектакль сыгран, Марина улетела, у него два дня проб в Одессе — и полное бессилие. Люся увозит его на неделю в деревню. Врачи сказали, что это рецидив неопасный, но отдохнуть и переключиться необходимо.

Люся теперь с детьми на Беговой у своей матери, он сам живет у Тани, а Марине при следующей встрече надо будет показать вот эту вещь:

Я больше не избавлюсь от покоя:  
 Ведь все, что было на душе, на год вперед,  
 Не ведая, она взяла с собою —  
 Сначала в порт, а после — в самолет.  
 .....  
 В душе моей — всё цели без дороги, —  
 Поройтесь в ней — и вы найдете лишь  
 Две полуфразы, полудиалоги, —  
 А остальное — Франция, Париж...

В песне пока все красивее, чем в жизни. Но это не обман, не вранье. Просто у людей актерской профессии уже нет другого языка, кроме игрового: все наружу, публично. Надо доиграться до своей глубины, пробиться к одной правде на двоих... А там — либо разбиться, как два красивых автомобиля, — либо жить долго и интересно.

## ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРЕНИЯ

Любимов при встрече уже не здоровается, не замечает как будто. Потом на репетиции смотрит как на постороннего. Самое дурное и жестокое говорит за глаза — Золотухину, Смехову. Причем несет черт знает что: мол, Высоцкий исхалтурился, вступил в сделку со Штейном (при чем тут «сделка»? нормальное сотрудничество!), занимается всякими «Стряпухами» (далась ему «Стряпуха» эта — забыли ее все уже давно, проехали!). В общем, как актер он потерпел полное банкротство. Галилея лучше бы сыграл Губенко, надо всерьез думать о замене. А главное — Высоцкий хорош только в «завязке», а когда он пьет, то расшатывает весь театр. Надо или закрывать заведение, или с Высоцким прощаться навсегда.

Как просто у них получается: пьет — не пьет. А ведь это дело тоже от каких-то причин зависит. Зеленый змий свою жертву подстерегает не в радостные минуты, а в момент слабости и отчаяния. В театре сейчас отнюдь не праздник: хреноватый получается «Тартюф», играть в нем Оргона абсолютно неинтересно. Может, все-таки отойдет шеф, сменит, как обычно, кнут на пряник?

Но дальше только хуже. Девятого ноября оставшийся без голоса Высоцкий звонит днем в театр. Любимов не разрешает отменять «Галилея» и требует, чтобы артист явился. Он является, предъясняет себя и свое безголосье. Что делать? Находчивый Золотухин предлагает пустить готового к премьере «Тартюфа». Рискованно, конечно, однако Дупак успевает куда-то позвонить, после чего принимает смелое решение: «Семь бед — один ответ, даем „Тартюфа“!»

Сначала идет маленький и крайне неприятный спектакль. Дупак выходит на сцену, ведя за собою Высоцкого. Изумленная публика слышит следующий монолог директора:

— Дорогие наши гости, дорогие друзья Театра на Таганке! Мы должны перед вами глубоко извиниться. Исполнитель роли Галилея — артист Высоцкий — болен. Он совершенно без голоса, и все наши усилия, все попытки врачей восстановить голос актера, к сожалению, не дали результата. Спектакль «Жизнь Галилея» сегодня не пойдет...

Сказал бы: спектакль заменяется на другой, а так... Неодобрительный гул прошел по залу, кто-то из последних рядов выкрикнул:

— Пить надо меньше!

И тут же еще один голос:

— Петь надо больше!

Хороший народ у нас, на советы щедрый... Не дожидаясь новых глупостей, Дупак взвещает:

— Вместо «Галилея» мы покажем вам нашу новую работу, которой еще никто не видел. Пьесу господина Мольера «Тартюф». Просим зрителей покинуть зал на двадцать минут для того, чтобы мы смогли разобрать декорации и заменить их на другие.

Раздаются аплодисменты: еще бы, повезло публике — свеженькое зрелище дают, а ведь в мирное время на таганскую премьеру попасть практически невозможно. Все двинулись в сторону буфета, уже не обращая внимания на человека, который со сцены пытается остатками своего голоса что-то произнести:

— Вы меня слышите?..

Не слышат, конечно. Да, выставили на позор. И куда теперь в таком виде и таком настроении?

Для театра сказался больным, надо заниматься озвучкой «Хозяина тайги». Но с Любимовым разговора не удалось избежать. Тот беспощаден: «Если не будешь нормально работать, я добьюсь наверху, что тебе вообще запретят сниматься, и выгоню из театра по статье». Ну, министр по кино Романов и так в Высоцкого не влюблен, но с театром все действительно на тоненькой ниточке повисло. Может, плюнуть на все это дело, писать себе песни, и не только песни? Много же еще возможностей — за сценарий взяться, за пьесу, да хоть и за роман...

Но нет: не будет тогда никакой почвы под ногами. Надо все-таки, чтобы было человеку куда пойти... Где это написано? И потом, не кончился он как актер, что бы там ни говорили... Наоборот: есть большая — идея не идея, а какая-то тяжесть, требующая выхода. Где она — в голове, в душе, в печенке — неизвестно. Но нужен — как там в легендах и мифах Древней Греции — мужик этот, чтобы кувалдой по голове заехал — и вышла наружу какая-нибудь Афина или Артемида... Уточню имена и, может быть, песню напишу о том, как всемогущему Зевсу все стесняются по голове вдарить и как самый главный бессмертный бог умирает от избытка накопившихся у него в черепке гениальных замыслов...

Весной шестьдесят восьмого сочинились «Песня летчика» и «Песня самолета-истребителя», которые потом будут условно объединены в дилогию «Две песни об одном воздушном бое». Когда писал, ни о каких намеках не думал, рисовались в сознании жесткие наглядные картины — как в кино:

Их восемь — нас двое, — расклад перед боем  
 Не наш, но мы будем играть!  
 Сережа, держись! Нам не светит с тобою,  
 Но козыри надо равнять.  
 .....

Я — «Як», истребитель, — мотор мой звенит,  
 Небо — моя обитель, —  
 А тот, который во мне сидит,  
 Считает, что — он истребитель.

Недавно кто-то спросил: «Ну ладно, „тот, который во мне сидит“, — это Любимов. А кто же твой друг Сережа из первой песни?» Вот как можно понять и истолковать... Сам даже задумался. Нету никакого Сережи, ребята! На войне как на войне, а на театре как на театре. Сцена всех разводит в разные стороны. Даже с Золотухиным и Смеховым нет уже прежнего взаимопонимания.

А летчик-ас, которого «приходится слушаться мне»... В песне-то он погибает: «ткнулся лицом в стекло». Но в жизни, похоже, он меня отправит «гореть на песке», а сам катапультируется и уцелеет. Все пока к этому идет. Галилея уже начали репетировать Шестаков и Хмельницкий...

Любимов говорит, что Высоцкий обалдел от славы. Мол, сочинил пять хороших песен, а ведет себя, как Есенин. С чего это он пьет? Ведь затопчут под забор, пройдут мимо и забудут эти пять песен.

Лучше бы не передавали такие речи. «Пять песен» — это, конечно, под горячую руку сказано. Но вот хоронить зачем раньше времени? Тут шеф прозвучал прямо в один голос со зловешей старухой, которая недавно около ресторана «Кама» откуда-то взялась. Было это после «Десяти дней», когда Высоцкий, обращаясь непонятно к кому, пообещал разрезать вены и все покончить разом. Эта сердобольная особа убежденно так поучала: «Есенин умер, но его помнят все, а вас помнить никто не будет». Откуда они берут эти сведения? Знакомые архангелы у них на небесах, что ли?

Десятого декабря в Одессе должны начаться съемки «Опасных гастролей», а за неделю до того Высоцкий опять госпитализирован. И психическое расстройство, и перебои с сердцем. Врачи грозят запереть на два месяца и пугают самыми страшными последствиями. Любимов после разговора с ними вдруг уразумел всю степень опасности. Входит в палату сдержанный, осторожный. После нескольких дежурно-ритуальных вопросов о самочувствии что-то говорит об «эсперали» — торпедо, которую вшиваю, чтобы исключить возможность запоя.

— Да что вы, Юрий Петрович, я здоровый человек!

— Ну, если здоровый...

Снова кромешный стыд. Выдавил из себя покаянное письмо, которое зачитали на заседании худсовета. Кроме проблемы Высоцкого обсуждалась еще проблема Губенко, уже не раз подававшего заявление об уходе. Любимов неожиданно соединил эти два совершенно разные вопроса, причем весьма своеобразно:

— Есть принципиальная разница между Губенко и Высоцким. Губенко — гангстер, Высоцкий — несчастный человек, любящий, при всех отклонениях, театр и желающий в нем работать.

После такого парадоксального поворота предложение Дупака перевести Высоцкого на время в рабочие сцены прозвучало уже как шутка. А что скажут рабочие? Если вы к ним своих пьяниц будете отправлять, то куда же им своих алкоголиков девать?

Смехов попробовал говорить о гарантиях, о надежных заменах во всех спектаклях, но эти аргументы оказались уже излишними. Взяли Высоцкого обратно в артисты, правда на договор, с зарплатой, урезанной до ста целковых в месяц.

Вроде установился хрупкий мир на Таганке, но объявился новый, внешний, агрессор. С трибуны съезда композиторов Кабалевский обрушился на «Песню о друге», обвиняя радиовещание в распространении такой низкопробной продукции. Про Кабалевского говорят, что он бездарь и гнусь, вершина его творчества — противная песенка «То березка, то рябина», которой детишек на уроках пения терзают. Но месяц тому назад и Соловьев-

Седой неодобрительно о Высоцком отзывался, все в той же любимой газете «Советская Россия». Этот-то все-таки мелодист, сочинивший «Споемте, друзья...», «В путь, в путь, в путь...», наконец — «Подмосковные вечера». Говорят, правда, он мужик совсем без тормозов. Вышел однажды на сцену под мухой и со словами: «Сейчас я вас всех обо...» — действительно растегнул ширинку и кое-что достал... Но все это разговорчики, ничего не проясняющие. И пьяницы и трезвенники, и бездари и таланты одинаково могут оказаться подонками.

Да, уже и композиторы за Высоцкого взялись. Кто-то говорит: зависть. Но неужели они боятся, что по «Маяку» вместо «Подмосковных вечеров» будут каждые полчаса отбивать «Если друг оказался вдруг...»? Кстати, это было бы совсем неплохо... А, ладно, встретим Марину, потом Новый год, а там, глядишь, пойдет все по-новому...

На Беговой случается бывать не часто. Люсе его видеть тяжело, а дети без него уже растут как чужие. Навестил Аркашу, когда тот заболел свинкой, играли вместе в оловянных солдатиков. Разделили их на две армии, и мальчик все никак не мог решить, какой половине отдать предпочтение. Встреча отпечаталась в песне, не совсем детской, но что-то вроде того:

Нервничает полководец маленький,  
Непосильной ношей отягчен,  
Вышедший в громадные начальники  
Шестилетний мой Наполеон.

Песни все больше начинают жить своей самостоятельной жизнью, отрываясь от автора. Ему не вмоготу, а они все веселей и замысловатее складываются. Золотухин как-то рассказал про своего папашу, который в первый раз приехал в Москву из Сибири и отправился за покупками. В душном, набитом людьми ГУМе ему не понравилось, так он сунулся в «Березку». Народу мало, товаров много, он уже тележку взял, а охранник на входе у него спрашивает: «Гражданин, у вас какая валюта?» Прямо как у Булгакова в «Мастере и Маргарите», когда Коровьев с Бегемотом в Торгсин заваливаются.

И вот этот Валеркин рассказ вдруг вспомнился и начал подробностями обрывать. Мужичок приезжает в столицу со списком покупок, и этот список постепенно превращается в гоголевскую, булгаковскую фантазмагорию:

Чтобы я привез снохе  
с ейным мужем по дохе,  
Чтобы брату с бабой — кофе растворимый,  
Двум невесткам — по ковру,  
зятю — черную икру,  
Тестю — что-нибудь армянского разлива.

Рефрен все время варьируется, доходя до полного безумия в валютном магазине:

Растворимой мне махры,  
зять — подохнет без икры,  
Тестю, мол, даешь духи для опохмелки!  
Двум невесткам — все равно,  
мужу сестрину — вино,  
Ну а мне — вот это желтое в тарелке!

Почему-то именно в этом месте все давятся со смеху и даже спрашивают не раз, что это такое — «желтое в тарелке». А он и сам объяснить не может. Были когда-то консервы такие, на банке нарисовано нечто желтого цвета, в тарелке лежащее... Что характерно, самые простые вещи оказываются самыми таинственными. Ведь не просят объяснений по поводу



«растворимой махры»... В фантастической картине хорошо работает реальный штришок. Шаг от простого к сложному сделать, как ни странно, легче, чем от сложного к простому.

Скажем, сколько мудреных разговоров об индурах и их религии. Он уже шутил по этому поводу в «Песенке про йогов», но, видимо, не дошутил. Теперь вот сложилась «Песенка о переселении душ»:

Кто верит в Магомета, кто — в Аллаха, кто — в Исуа,  
Кто ни во что не верит — даже в черта назло всем, —  
Хорошую религию придумали индусы:  
Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Все религии в конечном счете сводятся к выяснению отношений со смертью, а суть этих отношений — сумма прижизненных поступков:

Стремилась ввысь душа твоя —  
Родишься вновь с мечтою,  
Но если жил ты как свинья —  
Останешься свиньей.

Кое-кто говорит, что, мол, примитивно это: метемпсихоз — сложное учение, но песня — не диссертация, а драматическое столкновение идеи с жизнью. Твоей жизнью. А она, жизнь эта, так несуразна, порой безобразна до ужаса. Всегда у нас найдется философское оправдание: дескать, я сложная творческая личность, Бог и дьявол в моей душе борются, оттого моя раздвоенность, которую еще Достоевский описал. Захотелось эту дешевую демагогию передразнить и вывести на чистую воду:

Во мне два Я — два полюса планеты,  
Два разных человека, два врага:  
Когда один стремится на балеты —  
Другой стремится прямо на бега.

«Высоким штилем» на эту тему говорить невозможно: все сказано и многократно повторено. И лишь поворот в сторону грубого простонародного языка позволяет на это дело со стороны посмотреть:

Я больше не намерен бить витрины  
И лица граждан — так и запиши!  
Я воссоединю две половины  
Моей больной, раздвоенной души!

Искореню, похороню, зарю, —  
Очищу, ничего не скрою я!  
Мне чуждо это ё мое второе, —  
Нет, это не мое второе Я!

«Ё-мое» — это, конечно, смешно звучит, но песня имеет кое-какое отношение и к моральному состоянию самого автора. Куда ни глянь — раздвоение. По половинке себя разделил между двумя женщинами, между актерством и песнями, между работой и горьким забытьем...

Как ни крути, есть два Высоцких. Одного знают и слушают тысячи, даже миллионы незнакомых людей. Второй мучается, терзает себя и других, все время ходит по краю и когда-нибудь сорвется окончательно. Останется ли тогда первый — вот вопрос. Зря или не зря все это?

В театре все нормально — пока. В Одессе начали сниматься «Опасные гастроли», для которых уже давно сочинены куплеты «Дамы, господа...». («Это оказалось довольно трудно, чтобы и стилизация, и современность, и юмор, и лесть, и шик, и элегантность, и одесское чванство», — как писал

он Юнгвальд-Хилькевичу.) Будут и еще песни, причем музыку опереточного типа сочиняет композитор Билаш. Как эксперимент это интересно.

Марина отбыла в Париж, а потом на съемки в Венгрию. Телефонные разговоры становятся все взволнованнее и романтичнее. Девушки-телефонистки уже не ограничивают их по времени, замороженно слушая, как «звезда» со «звездой» говорит — и все ведь о любви! Ничего придумывать не надо — песня слагается сама собой. И какая!

«Девушка, здравствуйте! Как вас звать?» — «Тома».  
 «Семьдесят вторая! Жду дыханье затая...  
 Быть не может, повторите, я уверен — дома!..  
 Вот уже ответили.

Ну здравствуй, это я!»

В феврале шестьдесят девятого пару раз попадал в больницу — сначала в Институт Сербского, потом — в Люблино. Сложился уже определенный цикл с почти предсказуемой периодичностью. Но возвращение в строй отнюдь не означает настоящего возвращения к жизни. Запас прочности все убывает.

И Таганке нанесен очередной удар — не смертельный, но чувствительный: Фурцева со свитой посмотрела «Живого» и окончательно поставила на нем крест. От отчаяния Любимов взялся готовить к премьере спектакль «Мать» по Горькому. Но в целом — корабль плывет. Назревает пятилетний юбилей, а в марте два спектакля прошли по трехсотому разу. Сначала — «Антимиры», в которых участвует Вознесенский, читая старые и новые вещи. Потом в ресторане ВТО Высоцкий с Золотухиным затягивают «Баньку по-белому», Валерка что-то приотстал, он продолжает один — с такой силой, что Вознесенский восклицает: «Володя, ты гений!» Слова вроде не шибко редкие, а звучат убедительно, поддержанные общим настроением. Этот театр его все еще любит несмотря ни на что...

Он поет для всей труппы, и после трехсотых «Десяти дней» целый концерт получился. Ничто не предвещает грозы, но через два дня старое начинается сызнова. Высоцкого нет на «Галилее», Дупак в очередной раз объясняется перед публикой, предлагает прийти первого апреля, что воспринимается как неуместная шутка.

Уволить! По статье 47 «г», то есть с самой беспощадной формулировкой! И больше в этих стенах ни слова о Высоцком!

Недавно он сочинил «Песенку о слухах», которая уже понемногу тиражируется на магнитофонных лентах. Но про самый главный слух в ней не говорится. А он заключается в том, что Высоцкий женится на Марине Влади. Не по всей пока стране, но по Москве эта версия гуляет и, кажется, не лишена оснований. Во всяком случае, в начале апреля они вместе смотрят смонтированную копию «Сюжета для небольшого рассказа». При всей интеллигентности режиссера Юткевича фильм получился не выдающийся: Антона Павловича Чехова там довольно скучно играет Гринько — этот артист хорош бывает только в руках Андрея Тарковского. Да и Марине неплохо было бы с Тарковским поработать... Ладно, главное — почин сделан, и легендарная колдунья предстанет перед советским зрителем как Лика Мизинова, говорящая на русском языке, — уже немало!

Шестнадцатого апреля надо идти в больницу: Смехов организовал лечение у Бадаляна — мол, этот корифей тебя приведет в порядок. Сколько заботы со всех сторон! За день до того он все-таки звонит вечером в театр, просит позвать Золотухина. Узнает, что «Галилей» идет с Хмельницким.

Валера говорит, что надо в театр возвращаться. Что тут ответишь? Не знаю, может быть, вообще больше не буду работать... Финита ля комедия!

Свой пятый день рождения Таганка празднует без Высоцкого. Правда, сочинил он кой-какие поздравительные репризы, их среди прочих приветствий огласили. Через пять дней решил пойти к шефу.

Ситуация, конечно, дурацкая. Сколько длится уже эта лицемерная игра, этот *театр* в худшем смысле слова... Любимову нужен Высоцкий, не нравится ему Хмель в «Галилее»: рисунок роли копирует правильно, покричать тоже умеет, а вот насчет глубины...

Неправду говорят, что для Любимова все актеры — марионетки, а труппа — кордебалет. Он умеет использовать солистов, знает цену личности. Когда актер правильно работает телом — это хорошо, но если к тому же душа и ум включены, то это уже отлично. Любимов не «хорошист», он — «отличник», перфекционист по натуре, а потому дорожит отличным материалом. Все у него идет в дело — и резкая, доходящая до животности естественность Зинки Славиной, и нервная пластичность Демидовой, и русская придурковатая открытость Золотухина, и даже показная, высокомерная интеллигентность Смехова... Высоцкий — тоже краска в этой палитре, не важно какая — черная, белая или там красная...

За три дня до прихода Высоцкого Любимов устроил разнос всей труппе по поводу безобразного спектакля «Десять дней». Играли-то после юбилея, кое-кто не совсем проспался — дело житейское. Из-за этого учинять такой ор и кулаками по столу стучать? Говорят, даже петуха пустил два раза, что отнюдь не случайно: все это был спектакль не без задней мысли. Мол, и в отсутствие Высоцкого порядка нет все равно, не он один нарушитель дисциплины и возмутитель спокойствия.

И вот акт второй. Любимов произносит долгое педагогическое нравоучение, ставит Высоцкому в пример Золотухина, который не гнушается никакой работой, приходит на первый зов, прислушивается к замечаниям. Кто же с этим спорит? Приятно слышать такое про товарища. Но вот пошла сказка про белого бычка: «Если мы вернем вас в театр, какие мы будем иметь гарантии?» А какие могут быть гарантии, кроме слова?

— Ладно, вынесем вопрос на труппу пятого мая.

И оба понимают: еще не раз повторится то же самое, один будет то играть, то срываться, другой — то выгонять его, то прощать. И так — до самой смерти. Одного из двух.

Уже тринадцатого мая Высоцкий опять в «Галилее». Репетирует в «Часе пик» (польская повесть, автор Ежи Ставиньский), разок выходит на сцену как отец Павла Власова в горьковской «Матери» — не гнушается и скромными ролями, это ли не свидетельство исправления? Совершает восхождение в «Добром человеке» — после Второго Бога и Мужа дорастает до Янг Суна, которого прежде Губенко играл. Роль безработного летчика дает возможность развернуться. Особенно в сцене, когда Янг Сун теряет надежду раздобыть двести серебряных долларов и снова получить место пилота. Он разгоняет всех гостей, собравшихся на свадьбе, доводя напряжение до предела, а потом в полном отчаянии поет: «В этот день берут за глотку зло, в этот день всем добрым повезло, и хозяин и батрак — все вместе шествуют в кабак в день святого Никогда...» Это зонг Брехта в переводе Слуцкого, но многие принимают за натурального Высоцкого.

Но, положила руку на сердце, его больше всего сейчас интересует роль поэта. Не другого поэта — этого уже достаточно наигрался и не очень переживал, когда у него забрали «одного из Маяковских», — а роль себя самого. Роль, которую он не играет, а исполняет — как свое призвание, может быть, более важное, чем актерское.

Вправе ли он считать себя поэтом — теперь, когда столько всего написано? Именно написано, а не просто спето под чьи-то магнитофоны. Не все понимают, какая это работа, сколько сил вложено в простые эти строки...

Что характерно — песни все чаще теперь стали сочиняться как пьесы. Вот история про солдата, который, стоя на посту, взял да и выстрелил в своего товарища, якобы приняв его за постороннего. Здесь в диалоге вся мизансцена построена, две роли — два голоса:

«Рядовой Борисов!» — «Я!» — «Давай, как было дело!»  
 «Я держался из последних сил:  
 Дождь хлестал, потом устал, потом уже стемнело...  
 Только я его предупредил!...»

Потом этот Борисов продолжает рассказ, уже не к следователю обращаясь, а к залу:

«...На первый окрик „Кто идет?“ он стал шутить,  
 На выстрел в воздух закричал: „Кончай дурить!“  
 Я чуть замешкался и, не вступая в спор,  
 Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор».

Правда слегка приоткрылась, но Борисов еще продолжает врать следователю:

«Был туман — узнать не мог — темно, на небе тучи, —  
 Кто-то шел — я крикнул в темноту».

Теперь как бы поворот сценического круга — следователь со своим кабинетом отъезжает назад, а Борисов, переменяя интонацию с жалостливой на решительную, признается зрителям, что год назад, работая в шахте, он с приятелем крепко повздорил из-за девушки, и вот теперь, когда они оказались вместе и на военной службе, нашел способ рассчитаться с соперником. Тот же рефрен звучит теперь по-новому: «Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор». Выстрел. Занавес. Вот такой спектакль. Сам придумал, сам поставил, сам сыграл три роли — и Борисова, и его соперника, и следователя.

А премьера «Хозяина тайги» большой радости не принесла, хотя после показа картины в Доме кино съемочную группу торжественно награждали представители МВД. Золотухин как персонаж положительный получил именные часы, Высоцкому — почетная грамота за активную пропаганду работы милиции. С такой формулировкой по крайней мере можно смело людям в глаза глядеть. Но, откровенно говоря, Рябой не получился: нет характера и песня веселая сбоку торчит. Говорят, режиссер специально Высоцкого *тушил*, уводил в тень. Да нет, самому не надо было за эту роль браться. Бог не фраер, и всегда так получается: чем мельче цель — тем труднее ее достигнуть.

Вообще после «Вертикали» дела киношные пошли явно под гору: Брусенцова порезали, Бродского посадили под арест, что еще там будет с «Опасными гастролями» — не ясно. Как штурмовать кинематографический Олимп, если даже к подножью его тебя не подпускает охрана! Каждые два года об этом болезненно напоминает Московский кинофестиваль, на котором мировые звезды радостно общаются с советскими конъюнктурщиками и чиновниками. Марина туда, конечно, приглашена, и даже с сестрами, которые по этому поводу в Москву прилетели. Вечером у Абдуловых предстоит дружески-семейный ужин.

Днем же Марина должна быть на большом официальном приеме. Сбор участников у гостиницы «Москва». Они приходят туда вместе. Марина представляет его разным французам, итальянцам и японцам, сообщая, что он тоже артист кино. Все улыбаются, полная идиллия. Сели в автобус — и вдруг: «Где ваше приглашение?» Безликий человечек в сером костюме просит его пройти к выходу. Марина пытается ему что-то объяснить, но,

право же, лучше не надо. В России жить — по-волчьи выть, и мы тут при-выкли к любому хамству, но когда тебя в присутствии любимой женщины так сортируют, отделяют от импортной «белой кости» — это уж чересчур. Махнул рукой растерянной Марине, не догадавшейся с ним вместе выйти, проводил автобус взглядом... И куда теперь? Нет, на этот раз удержимся... Неужели из-за такого пустяка...

Выпил-то всего ничего и даже смог добраться до Абдуловых, хотя и поздно. Присоединился к общему веселью, но вскоре пришлось выскочить в коридор. В ванной наклонился над раковиной, которая вдруг стала покрываться чем-то красным. Кровь... Откуда она взялась?

Приезд «скорой помощи» и дорога в Институт Склифософского запомнились неотчетливо. Говорят, в горле сосуд лопнул, оттого он крови много потерял, но все-таки удалось задержать его на этом свете. Еще бы несколько минут — и получил бы пропуск на ту сторону. Только пропуск-то этот не врачи подписывают, они лишь подтверждают решение того, с кем художник играет в «русскую рулетку». Сколько раз уже поставлено на «красное-черное», точнее, на «жизнь-смерть». И каждая ставка делит прожитую жизнь пополам, оставляя надрез на душе. Нет у него другого способа обновиться, отбросить сделанное и сыгранное, выйти к новым темам. Может быть, Марина сумеет вступить в эту игру на его стороне. А то слишком легко с ним прощаются некоторые. Говорят, два красивых артиста академических театров, практически с Высоцким незнакомые, этак солидно излагали кому-то из наших таганских две версии. Одна — что Высоцкий принял французское гражданство, другая — что у него рак крови. Причем с явной завистью: как, мол, на это смотрит таганский коллектив, да и зачем Марине этот Высоцкий... Да берите себе вы это гражданство и рак крови в придачу! Марину, извините, не предлагаю: вы ей не подойдете, потому что людишки мелкие, хоть и артисты народно-заслуженные...

Все же наградил Бог августом. Рассказывал Марине о том, как снимался у Турова в фильме «Я родом из детства», а она вдруг сообщает, что у ее отца белорусские корни. Он сразу за телефон:

— Витя, я хотел бы к тебе приехать вместе с Мариной Влади, показать ей твою Беларусь.

От станции Барановичи — прямо к Турову, к съемочной площадке. Оттуда вдвоем отправились погулять вокруг озера Свитязь, только не удалось даже здесь укрыться от широких народных масс. Марина, укутанная в русский народный платок, выглядит неброско и не похожа ни на какую Влади. (Кстати, такая гибкость, способность к метаморфозам — вернейший признак таланта. Все эти банкетные красавицы типа Ларионовой и Скобцевой в перевоплощении не сильны.) Ну и сам он совершенно демократично смотрится в своей кепочке и в простой куртке (роскошный кожаный подарок из Парижа, естественно, дома остался). И вот приближается группа товарищей, но не автографов просят, а почему-то поднимают базар: как, мол, не стыдно вам выдавать себя за знаменитых артистов!

Это даже не смешно. Потом выяснилось: кто-то из группы успел разболтать про приезд Влади с Высоцким, и эта весть разнеслась среди жителей Барановичей и Новогрудка, проводящих тут часы свои воскресные. Ну и люди, мать их... От такого идолопоклонства ни проку, ни удовольствия. Прав был Александр Сергеевич: «Поэт, не дорожи любовью народной...»

Провели ночь на сеновале, но потом все-таки в гостиницу перебрались. Катались в лодке по Неману и по маленькой речке Березе... Песни сочинились, хоть гитары и не было под рукой. Первая мгновенно выросла из самого названия фильма «Сыновья уходят в бой». Потом у костра Туров между делом заговорил, что хороша была бы тут еще песня о потере боевого друга. Через несколько часов она уже готова:

Почему все не так? Вроде — все как всегда:  
 То же небо — опять голубое,  
 Тот же лес, тот же воздух и та же вода...  
 Только — он не вернулся из боя.

А для «Песни о Земле» фильм лишь поводом, трамплином послужил. Вот масштаб! В кого только не приходилось перевоплощаться, а в целую планету, всю ее боль через себя пропустив, — это в первый раз:

Как разрезы, траншеи легли,  
 И воронки — как раны зияют.  
 Обнаженные нервы Земли  
 Неземное страдание знают.

Она вынесет все, переждет, —  
 Не записывай Землю в калеки!  
 Кто сказал, что Земля не поет,  
 Что она замолчала навеки?!

Есть еще порох в пороховницах — только бы поменьше записывали в калеки и в покойники...

### В ОЖИДАНИИ ГЛАВНОЙ РОЛИ

Одиночество — хорошая вещь. Вроде Бальзак это сказал, а потом добавил: но нужно, чтобы был кто-то, кому можно сказать, что одиночество — хорошая вещь. Иначе говоря, надо то уходить в себя, то снова возвращаться к людям. Это переключение дается все труднее. Раз усилие над собой, два — а на третий или там тринадцатый раз нервы рвутся и душа отключается. На грубом житейском языке это называется запоем.

Поэт и актер — животные разной породы. Актер задыхается в одиночестве, а поэту без уединения — крышка. И это еще большой вопрос, нужен ли ему кто-то рядом постоянно. С Мариной уже были два крупных разрыва. Один раз — когда в бреду назвал ее не тем именем, другой раз — когда заперся в ванной, чтобы бутылку не отняла. Настоящее сражение было: дверь сорвали с петель, стекла в окнах побили. В состоянии отключки чуть не задушил ее. Оба раза уезжала она — да так, что неизвестно было, вернется ли. Сложны любовные отношения между Россией и Францией: еще у Бальзака с Эвелиной Ганской это ничем хорошим не кончилось. Сейчас, правда, роли поменялись: Францию представляет женщина, Россию — мужчина. Любовь в эпоху не очень мирного сосуществования двух систем...

В самом начале семидесятого года вышли «Опасные гастроли». У народа — вторая после «Вертикали» нормальная встреча с Высоцким. В газетах картину уже покусывают за легкомысленный подход к революционной теме, а приличная публика морщится: дескать, много вульгарности. Мол, что это там врут, будто Пушкин про чудное мгновенье в Одессе написал, когда он это сделал в Михайловском. Но это же шутка: в одесской песне так поется: «А Саня Пушкин тем и знаменит, что здесь он вспомнил чудного мгновенья...» И вообще картина легкомысленная, для отдыха, это оперетка, а не «Оптимистическая трагедия». И песни соответствующие — от «Куплетов Бенгальского» до пародийного «Романса»: «Мне не служить рабом у призрачных надежд, не поклоняться больше идолам обмана!» Ну почему бы иной раз не подурочиться — вместе с миллионом-другим наших зрителей, не лишенных несмотря ни на что чувства юмора?

В театре вовсю идут репетиции нового спектакля по стихам Вознесенского. Сначала он назывался «Человек», теперь — «Берегите ваши лица». Делается это без жесткой драматургии, импровизационно, как открытая

репетиция: Любимов прямо на глазах зрителей будет вмешиваться, делать замечания актерам. Высоцкому досталось исполнять довольно любопытные стихи:

Я — в кризисе. Душа нема.  
«Ни дня без строчки», — друг мой точит.  
А у меня —  
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши.  
Погашены мои заводы.  
И безработица души  
зияет страшную зевотой.

Значит, и у Вознесенского тоже бывают психологические провалы, хотя вредных привычек у него вроде бы нет. Нервное дело — поэзия, в любом случае. Финал стихотворения очень эффектен:

Но верю я, моя родня —  
две тысячи семьсот семнадцать  
поэтов нашей федерации —  
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

Вот, оказывается, сколько их, поэтов так называемых. А ведь любой нормальный человек вспомнит тридцать, ну сорок имен — в лучшем случае. Не говоря уже о стихах, о строчках. Почему же человек, накропавший сотню или две никому не известных, только на бумаге существующих опусов, называется поэтом, а автор стихов живых, звучащих и поющих, таковым не является?

Сам он привык о себе как о поэте говорить с шутливой интонацией — даже песня уже почти сочинилась самопародийная. Поводом послужил скандальный эпизод, когда Василий Журавлев опубликовал под своим именем стихотворение Анны Ахматовой — в последний год ее жизни это было. Принял, говорит, по ошибке за свое. Вот опять аукнулся Остап Бендер как «автор» пушкинских строк...

Захотелось из этого сделать историю, сюжет. И сразу осенило: тут нужна Муза — у всех приличных поэтов в стихах фигурирует эта дама. К Ахматовой она даже ночью приходила... Вот и с моим поэтом такое произошло: «Меня вчера, сегодня Муза посетила — посетила, так немного посидела и ушла». Но все-таки мы с персонажем не просто Пушкина перепишем, а немножко переделаем, хоть размер поменяем:

...Ушли года, как люди в черном списке, —  
Все в прошлом, я зеваю от тоски.  
Она ушла безмолвно, по-английски,  
Но от нее остались две строки.

Вот две строки — я гений, прочь сомненья,  
Даешь восторги, лавры и цветы:  
*«Я помню это чудное мгновенье,  
Когда передо мной явилась ты».*

И эта песня тоже будет в «Лицах», которые и откроются «Песней о нотах» Высоцкого. В стихотворном уровне Вознесенского никто не сомневается, а ведь он даже обрадовался, когда зашла речь, чтобы и «Охоту на волков» ввести в представление. И прямо скажем, песня спектакль не ослабляет, а даже наоборот. Причем за счет текста. «Охоту», правда, пришлось слегка замаскировать американским сюжетом: это как бы Кеннеди «из повиновения вышел».

Месяц напряженных репетиций. Как всегда, накидали на приемке замечаний дурацких, а тут еще и «Мокинпотта» сняли с репертуара — за то, что автор пьесы Петер Вайс где-то выступил с осуждением политики советских властей. Любимов решил, что клин клином вышибают. Ах, Вайс — антисоветчик? Мы покажем вам вместо него седьмого февраля вполне советские «Лица». Управление культуры еще не утвердило, так сделаем это под видом репетиции.

Еще дважды «Лица» играютя десятого. «Охоту на волков» зал принимает с восторгом, просят повторить. И в ту же минуту становится ясно: самые главные зрители распорядятся, чтобы спектакль никогда не повторился. Вознесенский позвал бывшего министра культуры Мелентьева в расчете на его поддержку. А тот совершенно озверел и стал буквально ко всему придираться. Над сценой была надпись: «А ЛУНА КАНУЛА» — палиндром такой, читается в обе стороны одинаково, невинная шуточка Андрея. И надо же: этот деятель вычислил тут намек на неудачи нашей страны в освоении космоса, поскольку на Луну в прошлом году первыми высадились американцы.

Все это неспроста: власть закручивает гайки. Твардовского убрали из «Нового мира», и говорят, что теперь журналу конец. В «Правде» критик Капралов пишет об «опасном скольжении», прикладывая, естественно, фильм Юнгвальд-Хилькевича. И скользит страна вниз — к холодному прошлому.

Оформил развод с Люсей, еще более отдалив себя от детей. Привел Аркашу с Никитой на спектакль «Пугачев», так сыновья расплакались, а Люся устроила сцену прямо в кабинете Любимова. Получилось хуже некуда. Опять жизнь затрещала по всем швам. Покатились колеса, мосты... Еще одна песня родилась на дорожно-транспортную тему:

Вот вам авария: в Замоскворечье  
Трое везли хоронить одного, —  
Все, и шофер, получили увечья,  
Только который в гробу — ничего.

Такова объективная картина жизни, без всякой клеветы и очернительства, с показом положительных сторон:

А ничего тебе не угрожает,  
Только когда ты в дубовом гробу.

Досочинил это в больнице на Каширке и назвал «Веселая покойницкая». Лежа — пока не в гробу, а на койке, — вспоминал недавнюю поездку к опальному Хрущеву.

Деятель этот давно занимал его воображение. В юные годы над Никитой потешались, анекдоты травили. Но не боялись его — вот что главное. Все-таки попер он против Сталина — хоть и покойного, из Мавзолея его выкинул и коммунизм через двадцать лет пообещал. А мы тогда не то чтобы верили, но немножко все-таки допускали эту фантастическую возможность: чем черт не шутит — вдруг действительно на Марсе будут яблони цвести, а трамвай станет бесплатным. Это теперь все такие умные стали, а тогда, прямо скажем, не много было убежденных антикоммунистов. Для народа слово «коммунизм» до сих пор хорошее: «у них прямо полный коммунизм» — говорят про счастливую, обеспеченную жизнь. Многие по-прежнему мечтают все получить по щучьему веленью.

Пару лет назад для «Последнего парада», куда Штейн заказал песню на тему «кресла», сочинил он сюжет про такого простонародного дурачину-простофилю, который влез на «стул для королей» и захотел издать Указ про избылье... Сразу стали спрашивать: «Это ты про Хрущева?» Вроде да,



но необязательно столь буквально понимать. Захотелось проверить, действительно ли Хрущев такой простак — или же... В общем, познакомившись с его внучкой Юлей, сразу начал ей намекать насчет встречи с прославленным ее дедушкой. А в начале марта взял с собой Давида Карапетяна, и нагрянули к Юле.

Та сдалась под его напором и спросила у деда разрешения приехать с двумя актерами театра «Современник». Про Таганку он пока не слышал, а вот в «Современнике» недавно побывал на спектакле «Большевики». Дед на удивление быстро согласился.

Приехали на дачу в Петрово-Дальнее. Юля их тем же способом представила — пришлось обоим до конца играть роли «современников». Вышли с Никитой Сергеевичем погулять перед обедом, немного поговорили о трудностях: песни ругают, выступать не дают, а люди их хотят слушать — к кому же обратиться из руководителей? Хрущев посоветовал Демичева, но не очень уверенно. Да, собственно, не за этим приехали.

Сели за стол. Хрущев спокойно отнесся к вопросу «насчет выпить» и достал початую бутылку «Московской», хотя сам к водке не прикоснулся. Пospрашивали его о Сталине, о Берии. Нового услышали не много, но кое-что подтвердилось или уточнилось. Оказывается, после смерти Сталина пошли письма от западных компартий, из соцстран с вопросами о репрессированных и расстрелянных в СССР зарубежных коммунистах — вот какой был первый толчок (да, и сейчас кое-какие вопросы приходится решать с помощью западных товарищей!). Признал Хрущев, что десталинизацию он и Берия начали одновременно и независимо друг от друга. В остальном — более или менее известные вещи — о том, как Сталин изображал неведение по поводу ареста одного из хрущевских приближенных, как Берия провоцировал всю верхушку, призывая в доверительных беседах свергнуть «тирана», а они боялись, что он после этого Сталину и донесет. Берия Хрущев неожиданно сравнил с Макбетом, поразив собеседников своей литературной эрудицией. На вопрос Высоцкого, почему Хрущев не упредил предательство Брежнева с Сусловым, не убрал их вовремя, ответ был предельно прост: «Потому что дураком был».

Да нет, не совсем дураком. Все они начинают умнеть, только когда их самих жизнь загонит в угол. И Брежнева если сейчас скинут — он тоже будет сидеть на даче, слушать по японскому приемнику «вражеские голоса» и рассуждать о коварстве соратников. Людьями они бывают *до* и *после*, а когда сидят на троне, все человеческое им чуждо.

Но не зря съездили — было потом что рассказать людям. Многие, конечно, спрашивали: а ты ему пел? «Ну да, конечно...» Хотя на самом деле гитары на правительственной даче не оказалось, и при прощании неопределенно договорились на «другой раз». Но главное — ясность пришла в вопросе о «светлом будущем». Не только у нас — на хитрых обещаниях любая власть держится. В России это особенно кровавый результат имело, но механизм, в сущности, один и тот же везде. Попробовал обобщить это песней:

Переворот в мозгах из края в край,  
В пространстве — масса трещин и сомнений:  
В аду решили черти строить рай  
Для собственных грядущих поколений.

А в раю своя пошла борьба, и в итоге:

Давно уже в раю не рай, а ад, —  
Но рай чертей в аду зато построен.

В конце мая Марина опять в Москве. Давид на своей машине привозил ее сюда и потом рассказал ему, что по дороге Марина постоянно по-

вторяла: «Зачем мне все это нужно?!» Значит, все-таки нужно... Нить нашей жизни истончается, но не рвется, пока ее держит в руках женщина.

А целью жизни Высоцкого на данный момент становится «Гамлет». Позвонил Золотухину, попросил переговорить с Любимовым, Дупаком. Шеф, конечно, Золотухину вывалил все, что мог: какой, мол, ему Гамлет, когда он Галилея срывает! Наивный, дескать, человек... Но все-таки на чем закончил? «Пусть звонит». Собрать надо остаток сил и убедить его, что смогу. А что никто другой не сможет, это Любимов и так знает. Все варианты, которые сейчас обсуждаются (Игорь Кваша и прочее), — это для разговора, для прикрытия, хотя иные слухи бьют по душе очень больно.

Хорошей жизни не будет никогда. Но бывают в этом жутком и невыносимом потоке отдельные осмысленные куски, когда повседневная рутина уходит на второй план и высвечивается драматический сюжет. Так было — более или менее — с ролью Галилея. В кино, к сожалению, себя сыграть пока не удалось. Теперь же все скрестилось в Гамлете. Каждый день что-нибудь придумывается для этой роли. Уж это будет не мягонький Смоктуновский, все силенки собрать в кулак придется.

Быть Гамлетом — или совсем не быть. Такая пошла драма. Любимов в ней — и Отец, и Клавдий в одном лице. Полониев и Гильденстернов всяких навалом — и в театре, и за его пределами. Офелия же нужна здесь не такая, как у Шекспира, а умная и с ума не сходящая, всю игру Гамлета понимающая и поддерживающая. Похоже, Марина в этой роли утвердилась. Сама.

По выходе из больницы встретился с Золотухиным, толковали обо всем и о самом-самом. Бывают у человека один-два друга, которым можно рассказать даже, например, о том, что ты заболел сифилисом (тьфу-тьфу!). Валерию подошла бы роль Горацио, но еще больше — Лаэрта, этот персонаж ведь, по сути дела, — второй Гамлет, только у Гамлета на первом месте мысль, а у того — эмоции.

«Ладно, я буду покорным...» Весь июнь Высоцкий — сама добродетель. Девятнадцать спектаклей беспорочно отыграл, никаких нарушений спортивного режима. Очень положительным героем получился он и в анкетке Толи Меньшикова, которую заполнял в конце июня, вечером, в интервале после «Павших» и до «Антимиров». Человеку, для которого юмор и парадокс — профессия, иной раз ни того, ни другого не остается для личных целей. Сидел, раздумывал, а получилось почти по принципу: «Фрукт — яблоко, поэт — Пушкин». Скульптор, скульптура — «Мыслитель» Родена. Художник, картина — Куинджи, «Лунный свет»... А тут еще «замечательная историческая личность». Следуя той же модели, написал: «Ленин», потом для приличия еще добавил: «Гарибальди».

Интересные ответы получились только на интересные вопросы, то есть на такие, какие бы и сам себе задать хотел. «Каким человеком считаешь себя?» — «Разным». «Только для тебя характерное выражение». — «Разберемся». «Какое событие стало бы для тебя самым радостным?» — «Премьера „Гамлета“». Это главное, а остальное — сегодня так, а завтра эдак.

В конце июля Высоцкий в очередной раз появляется на Кавказе, выступает в альплагерях «Баксан», «Эльбрус», «Шхельда». В прошлом году он сочинил еще две горные песни. В фильм «Белый взрыв» они не попали, но ничего, выжили и сами по себе. Одну он посвятил памяти альпиниста Михаила Хергиани:

Ты идешь по кромке ледника,  
Взгляд не отрывая от вершины.  
Горы спят, вдыхая облака,  
Вдыхая снежные лавины...

Интересно при этом смотреть на лица настоящих «лавинщиков», для которых это не просто «описание природы». А вторая песня — почти философия альпинистская и может в этом качестве составить конкуренцию «Прощанию с горами»:

Ну вот, исчезла дрожь в руках,  
Теперь — наверх!  
Ну вот, сорвался в пропасть страх  
Навек, навек, —  
Для остановки нет причин —  
Иду, скользя...  
И в мире нет таких вершин,  
Что взять нельзя!

Возьмем и пик Гамлета!..

С Давидом Карапетяном, оказывается, они долго думали об одном, а именно — о Несторе Махно, кое-что почитывали и вот разговорились. Давид задумал сценарий, чтобы батьку играл Высоцкий и пел при этом «Охоту на волков». А что, «Охота» — это еще и гимн анархии. Слово за слово — и родилась идея проехать по махновским местам Малороссии, тем более что в Донецк один деятель приглашал на свою студию звукозаписи, а Гуляйполе — почти рядом.

Не обошлось без эксцессов. Донецкий предприниматель куда-то испарился, один молодой волгоградский актер, назвавшись знакомым, затащил их к себе переночевать на частной квартире, за что пришлось прослушать десяток песен его сочинения — нудноватых, без юмора. А когда уже к Гуляйполю приближались, Высоцкий упросил Давида дать порулить — ну и через пять минут на повороте машина перевернулась. Сами уцелели, а вот «Москвич» помялся.

Как выправляли кузов с помощью случайных людей — долгая история. Трое парней возникли невесте откуда, запросили трояк. Потом один из них обезумел, вынул из зажигания ключи и убежал домой. Почему, зачем — так никто и не понял. Кончилось все миром, исполнением двух песен из «Вертикали» и распитием самогонки (тут уж Давиду пришлось отдуваться за обоих). На малой скорости направились к Донецку. Две женщины попросили до Макеевки подвезти, а потом пригласили их в этот шахтерский город. Не сразу они поверили, что перед ними Высоцкий, но, убедившись в подлинности, тут же взяли под свое гостеприимное крыло. Наутро шахтоуправление и профком были потрясены явлением знаменитого артиста и его друга. Начальник профкома все-таки попросил показать таганское удостоверение, и Давид потом очень точно сравнил эту сцену с эпизодом про «детей лейтенанта Шмидта» в известном романе.

Шахта «Бутовская глубокая». Спускались в касках на километровую глубину, потом устроили в «нарядной» (так помещение называется) концерт, где было исполнено, в частности, недавно сочиненное «Черное золото», но добытчики угля прослушали эту вещь довольно вяло: то ли песня в цель не попала, то ли усталым труженикам не до песен. Потом был концерт во Дворце металлургов, позволивший заработать на ремонт и на бензин.

Про Махно наслушались разного от разных людей, добрались и до его племянницы, которая к дяде относится без восторга: очень уж пострадали все родственники, да и сподвижники легендарного анархиста. Первым делом рассказала, как батька одного своего человека лично расстрелял из маузера за кражу буханки хлеба у местного жителя. Да, и этот романтик, Есениным воспетый, тоже оказался палачом. Неужели вся история наша замешена на жестокости и, погружаясь в прошлое, ничего не откроешь, кроме крови сплошной?

В самом конце августа в казахском городе Чимкенте и где-то с ним поблизости дал за трое суток двенадцать концертов. Получилось: Чимкент — город хлебный, хотя в детской книжке так назывался Ташкент, через который он возвращался в Москву. И дело даже не в заработках, точнее — не только в них. От такой напряженной профессиональной работы особое удовольствие получаешь. Выложишься до доньшка — и тут же к тебе все возвращается: давай сначала! Открывается второе дыхание, за ним — третье, четвертое...

«Здравствуй! Кажется, я уже Гамлет». Такими словами он встретил Марину в Бресте тринадцатого сентября. Но чертова дюжина все же дала о себе знать: в Смоленске, пока они ужинали в ресторане гостиницы «Россия», из машины украли Маринино демисезонное пальто, шубу медвежью, кучу пластинок. Сумка с документами у нее оставалась при себе, так что можно было и пуститься в путь. Но на всякий случай заглянули в милицию. А там следователь Стукальский и его коллеги восприняли столь наглую кражу как личное оскорбление. И сотворили чудо: буквально через час все вещи были предьявлены владельце для опознания. На память пострадавшие подарили виртуозам сыска фотографию Марины, и оба на ней расписались. Ну что, продолжить теперь криминальную тему и сочинить песню от имени незадачливого жулика, обокравшего «звезду» и попавшего таким образом в историю? Нет, это было бы нескромно с нашей стороны, да и воришку, испортившего настроение, возвеличивать незначем.

А в Москве именно тринадцатого сентября умер Лева Кочарян. Трудно даже вспомнить, когда они встречались с ним в последний раз. Слышал от ребят, как жутко выглядел Лева во время предсмертной болезни, но не мог себя преодолеть, не хотелось видеть его полумертвого... Сразу по приезде, четырнадцатого, Высоцкий узнает, что похороны — завтра, и понимает, что прийти надо непременно. Но пятнадцатого с ним приключается то, чего никогда прежде не бывало, — приступ абсолютной некоммуникабельности, неспособности с кем-либо говорить и сделать хотя бы шаг из дому. Неправильно все, непоправимо... Пожалеть об этом придется еще много-много раз, но ничего с собой он поделать не в состоянии.

Может быть, призрак смерти сковал в тот день его волю. Может быть, кто-то свыше предписал ему таким уединенным и молчаливым способом проститься с другом. Скорбный ритуал мы исполняем не для умершего, а для самих себя. Ведь сказал же Иисус ученику, собиравшемуся похоронить отца: «Иди за мною, и предоставь мертвым хоронить своих мертвецов». А герой чеховской «Скучной истории» почему-то ставил себе в заслугу, что никогда не произносил речей на похоронах своих товарищей...

Поселились с Мариной пока у Нины Максимовны на улице Телевидения. Тесновато, конечно, да и добираться отсюда в центр крайне затруднительно. Но это все проблемы разрешимые. Впервые в жизни у него появляется вкус к обустройству быта. Пора уже иметь «все свое — и белье, и жильё». Купим кооперативную квартиру, в театре обещали написать ходатайство к московским властям. И машина тоже нужна, и права к ней. Нескольких уроков настоящего вождения дал ему знакомый таксист Толя Савич, консультирует по этой части его и Ваня Дыховичный, новый товарищ по Таганке. Если к этому добавить немного спокойствия — можно будет колесить по улицам столицы.

В театре снова установили оклад сто двадцать в месяц. Высоко все-таки ценится в нашей стране актерский труд! За шесть лет можно накопить на самые дешевые «Жигули» — если, конечно, при этом не есть и не пить даже чай с кофеинем. А за десять лет при таком же самоограничении, глядишь, и подсоберешь на двухкомнатное жилище. Скупое нас кормит

драма и комедия! Но послал Господь удачу — концертная деятельность раскручивается все шире: может быть, забыты уже подметные статьи про нехорошего Высоцкого? В октябре — двадцать выступлений в восточном Казахстане, а потом и в хорошо знакомом Чимкенте. А Москва пока не спешит принимать эстафету...

«Гамлет» движется маленькими шажками, до сцены еще не добрались. Шеф торопится со спектаклем «А зори здесь тихие» по Борису Васильеву. Повесть отличная — о девушках на войне: пять разных женских типажей плюс один старшина, настоящий мужик. Не отказался бы от такой роли, да и песни нашлись бы подходящие. Но ростом не вышел: тут нужен, по словам Любимова, «большой кирпич». Потому берет он Шаповалова — что ж, пожелаем удачи Шапену...

Перебрались с Мариной из Черемушек в центр — нашлась на время квартира в Каретном ряду, все тот же «первый дом от угла», густо населенный театральными и киношными знаменитостями. Соседом по лестничной площадке оказался не кто иной, как Леонид Осипович Утесов. Весь его репертуар наше поколение знало наизусть, чего только не придумывали на его мелодии! Вспомнил и рассказал Марине о том, как в школе они сочиняли сатирические куплеты, каждый из которых заканчивался строчкой «У Черного моря». И надо было еще выдержать паузу, чтобы с утесовской интонацией, его слегка царапнутым тембром эту строчку пропеть...

Марина предлагает позвать Утесова в гости. А что? Давай! И вот он вечером сидит у них, расспрашивает о делах в театре, слушает «Охоту на волков» и «Про любовь в каменном веке». Реагирует живо и естественно, не банальными комплиментами, а чисто профессиональным пониманием работы:

— Володя, когда вы разговариваете, у вас ведь нет такого тембра, такого хрипа, как при пении. Да?

— Но иначе, Леонид Осипович, будет неинтересно...

Почему он такой вопрос задал? Да потому, что и сам в свое время голос свой строил, вырабатывал — с той разницей, что он свой легкий хрип, даже сип, и в обыденной речи сохраняет. В общем, важная встреча. Не для амбиции, не для тщеславия — нет, существуют какие-то импульсы, которые передаются только при добровольном, неофициальном контакте. Проявится особая информация, несловесная, которая потом в работе непременно скажется.

Пришло время им с Мариной оформить свои отношения — со всех точек зрения, и небесной, и земной. Место для регистрации нашлось неподалеку от Каретного, но это не простая контора, а Дворец бракосочетаний. По торжественным дням там порхают юные черно-белые пары, выслушивают ритуальные наставления и по идиотской команде: «Молодые, поздравьте друг друга» — целуются. А для тех, кто не слишком уж молод, вроде и нет отдельного сценария. Все же он договорился, чтобы их приняли не в большом зале, а в кабинете. Ну, не хватало только в хороводе малолеток шествовать!

Оделись по-будничному: он в голубой водолазке, Марина — в бежевой. Кроме свидетелей — Макса Леона и Севы Абдулова — еще буквально два-три человека пришли. Однако прежде, чем расписаться, приходится выслушивать наставление регистраторши. Как это, мол, вы по стольку раз в брак вступаете, да еще при таком количестве детей... Надеюсь, на этот раз хорошо подумали. Ни на минуту не сомневается в своем праве лезть в чужую интимную жизнь. Ладно, получено свидетельство о браке и плюс к нему особая бумага о соединении граждан СССР и Франции. Пригодится.

Коротко отметили событие со свидетелями и с Туровым — и в Одессу. Вот эта, прославленная Эйзенштейном, лестница из фильма «Броненосец

„Потемкин”». А вот тот самый утесовский «одесский порт в ночи простерт», где ждет уже молодоженов теплоход «Грузия» под командованием славного капитана Гарагули. Старинное судно немецкого происхождения, роскошная каюта со множеством зеркал и со стенами, обтянутыми голубым бархатом... Нет рая на земле, как там на небе — еще неизвестно, но на море он точно встречается...

В Сухуми простились с Гарагулей и с «Грузией», впереди — Тбилиси. Там множество встреч и друзей — один Сергей Параджанов чего стоит! Скульптор Зураб Церетели принимает их со всем кавказским размахом, знакомит с Ладом Гудиашвили — художником, который в двадцатые годы жил в Париже, дружил с Модильяни и с отцом Марины был знаком. Как святыня хранится в его доме, за стеклом в буфете, недопитый бокал с коньяком: Пастернак последним пил из этого бокала. Есть от чего вздрогнуть! Ведь по пастернаковскому переводу «Гамлета» уже выучена роль, а начать спектакль Любимов хочет со стихотворения «Гамлет» из «Доктора Живаго». В Советском Союзе и роман и стихотворение пока под цензурным запретом. Молчание и ложь мы прорвем этими могучими стихами, в которых выходящий на сцену мира-театра актер предстает одновременно Гамлетом и Христом:

Гул затих. Я вышел на подмостки.  
Прислонясь к дверному косяку,  
Я ловлю в далеком отголоске,  
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи  
Тысячью биноклей на оси.  
Если только можно, Авва Отче,  
Чашу эту мимо пронеси...

И как символический намек на эту чашу — недопитый, бережно прикрытый блюдечком грузинский коньяк... А если премьеры в обозримом времени состоится, исполнителю главной роли будет как раз тридцать три года.

### ТРИДЦАТЬ ТРИ

По поводу этой фатальной даты много говорилось и сочинялось — и в шутку, и всерьез. В легкомысленных стишках, адресованных Марине, уже прошелся он на этот счет: «Мне тридцать три — висят на шее... Тата-тата-тата-тата... Хочу в тебе, в бою, в траншее погибнуть в возрасте Христа».

С Христом у его поколения и его круга отношения непросто складывались. Это сейчас все стали шибко грамотные, а раньше откуда черпали знания? «Мне тридцать три года — возраст Христа» — именно из этой фразы Остапа Бендера абсолютное большинство советских полуинтеллигентных людей узнавало заветную цифру. Темны ведь были до ужаса, если что и читали, то какую-нибудь атеистическую дрянь вроде Лео Таксиля. Иисуса держали за бесхарактерного хлюпика. Как сам Высоцкий мог совсем недавно написать: «Я не люблю насилье и бессилье, и мне не жаль распятого Христа»? Ведь к этому времени прочел он уже «Мастера и Маргариту», а выступил прямо в жанре Ивана Бездомного. Слава богу, не много раз успел это спеть, а потом без особенного труда поменял строку: «Вот только жаль распятого Христа».

Не стыдно так легко менять позиции? Да нет, все не столь элементарно. Поначалу песня «Я не люблю» сочинялась как бы от имени некоего могучего супермена, которому сам черт не брат. Было еще: «Я не люблю, когда стреляют в спину, но если надо — выстрелю в упор», — а потом стало: «Я также против выстрелов в упор». Песня носила игровой, ролевой оттенок, который затем сделался не нужен, даже вступил в противоречие с

главным смыслом. И что, кстати, получается? Вопрос о вере — он не отвлеченный, не теоретический. Если ты выбрал Христа, то тут же должен отказаться от «выстрелов в упор» — все, «не убий!» Этот шаг, этот переход можно совершить в любом возрасте, никогда не поздно. Ну конечно, культурным людям неудобно сознаваться в атеистических грехах, и они делают вид, что с молоком матери веру впитали, что Ленину-Сталину вместо Христа не молились никогда...

«Я не люблю» вместе еще с тремя песнями Галина Волчек берет в «Современнике» в спектакль «Свой остров» по пьесе эстонца Каугвера. Про «свой остров», кстати, написал специально, но не как иллюстрацию к сюжету, а по-своему, исходя из самого сочетания слов — как символ чего-то сугубо личного и отдельного. Ищем целый материк, а находим — только остров. А может быть, и не бывает «личного материка», лишь остров соразмерен личности?

Хотят они включить в спектакль и про Жирафа, поскольку в пьесе молодой человек жениться собирается, хотя и не на антилопе. Но могут не пропустить, ведь уже нашлись глубокие истолкователи, утверждающие, что «антилопа» — это Марина Влади, а «жираф» — Высоцкий и что песня призывает советских зверей жениться на иностранных животных. Идея выпустить Высоцкого с пением на современниковскую сцену была сразу забодана, да и тексты проходят со скрипом. Начальство даже сказала Гале Волчек: «Ну зачем вам этот Высоцкий? Берите любого другого — ну хоть Северянина». Даже Северянина готовы реабилитировать, того гляди — Гумилева пропустят, лишь бы не... А Кваша очень неплохо поет «Я не люблю» — сдержанно так, без аффектации. И чувствуешь вдруг, что не так уж песня к авторскому голосу привязана, что может она жить сама по себе.

Год семьдесят первый начался как бы с повторной свадьбы Высоцкого и Марины. Были Любимов и Целиковская, Вознесенский и Богуславская, Митта с женой. После этого предстояло пребывание в элитной «здравнице» — сочинском санатории Совета Министров СССР. Путевки добыл один большой начальник, поклонник прославленного барда и его не менее уважаемой супруги. Однако к моменту отъезда удержаться в рамках режима не удалось, и Марина от отдыха отказалась. После непродолжительных дебатов на темы принудительной госпитализации (ох уж эти доброты из престижных психиатров, готовые потом хвастать, как выводили знаменитость из запоя!) Высоцкий летит в Сочи без жены, позвав в компаньоны Давида Карапетяна. В самолет их пробуют не пустить, ссылаясь на поступивший телефонный сигнал о двух психах, сбежавших из лечебницы. Это удастся уладить. Дальнейшее — в тумане, может быть, Давид помнит подробности. Итог же — возвращение в Москву дня через три...

Одиннадцатого января — первая репетиция «Гамлета» на сцене. Лучше всех сыграл Занавес — да, так, с большой буквы, стоит именовать причудливое детище Любимова и Давида Боровского. Это изготовленная на лучшем вертолетном заводе огромная сетчатая конструкция,двигающаяся по сцене во всех направлениях. Может обозначать все, что угодно: и Время, и Вселенную, и Судьбу, и Смерть. Если надо, он делит сцену пополам и дает возможность двух параллельных действий. А когда Гамлет с актерами ставит «Мышеловку», эта конструкция делается простым театральным занавесом. И никакого не нужно реквизита, мебели и прочего хлама. На авансцене — могильщики роют могилу, выбрасывая лопатами настоящую землю, и теми же лопатами занавес поднимают.

Актеры пока на фоне такой сценографии проигрывают. Любимов учит беспощадный разнос, Высоцкого просто с землей ровняет. Гамлет раздавлен, пытается оправдаться:

— Я не могу повторить то, что вы показывали, потому что вы сами не знаете, что хотите. Я напридумывал для этой роли не меньше, чем вы, поймите, как мне трудно отказаться от этого...

В ночь под старый Новый год происходит уже настоящий срыв — теперь это называется по-новому: «Принц Гамлет в Скифосовском». Марина в отчаянии звонит в театр четырнадцатого января, а там Любимов уже обдумывает замену.словно входя в роль Клавдия, режиссер советуется с высокопоставленным психиатром Снежневским, желая убедиться, что принц действительно безумен. Над Гамлетом предложено поработать Филатову и Щербакову. С Золотухиным такой же разговор.

Марина улетает в Париж с формулировкой «навсегда». Высоцкий встречает тридцатитрехлетие в психиатрической больнице имени Кашенко, в отделении для буйных шизофреников. По выходе его в очередной раз прорабатывает Большой Таганский Синедрион (местком, партбюро и комитет комсомола) — по сравнению с кашенковским адом это весьма умеренное чистилище, и грешник снова приступает к репетициям. Разговоры о втором составе его, конечно, нервируют, но Золотухин успокоил: мол, чтение роли Филатовым выглядело детским лепетом, никто в Гамлеты не сунется, если ты сам регулярно репетировать будешь. Советовал нынешнее мучительное состояние использовать для работы над ролью. Он прав, конечно, но шефу, к сожалению, нужно другое...

Любимов — мастер, может быть — гений. Но не философ он. Он не возвращается по сто раз к одним и тем же вопросам, не признает возможности сосуществования двух правд. Он всегда идет от практики, от ремесла: получилось — хорошо, не вышло — переделаем. Главное — достигнуть эффективного результата — а там уже осмыслять будем.

Правда, есть один пункт сходства, и очень важный: и Любимов и Высоцкий видят в Гамлете прежде всего — Поэта.

Шеф вообще не любит драму как литературный род, всякие завязки и развязки не по его части. Ему подавай единую поэтическую линию — всегда бунтарскую, вольнодумную, немножко скрашенную шутовством, но опять-таки вызывающе-непокорным. Начальники все время рекомендовали ему оставить в покое игры с современной смелой поэзией и крамольной прозой и поставить «нормальную пьесу». С пьесами как-то спокойнее. Вон булгаковских «Дней Турбиных» Сталин не только не запрещал, но и лично посетил раз пятнадцать. Потому что конфликт можно по-разному понять: Булгаков писал «за белых», а МХАТ ставил «за красных». Петрович же, когда до Булгакова доберется, конечно, не «Турбиных» возьмет, а «Мастера и Маргариту», и уж советским Понтиям Пилатам никакой пощады не будет. И решил Любимов: хотите нормальную пьесу — вот вам «Гамлет». А сам втайне думает: только не надейтесь, что у меня насчет советской действительности будут философские антимонии: с одной стороны, с другой стороны... Мой Гамлет вопрос «ту би ор нот ту би» давно для себя решил. Только быть — и быть от вашей подлой государственной системы абсолютно независимым. И таким Гамлетом может быть только Высоцкий, только он выжмет волевую концепцию до конца.

А сам Высоцкий именно к такому Гамлету шел с того момента, когда начал писать песни. Не грамотей, набравшийся в Витенберге передовых идей и брезгующий реальной политикой, не безвольный мудрец, а творческая личность, живущая по законам своего таланта.

Так что есть у режиссера и актера общий стратегический интерес, однако — до определенных пределов. Для Любимова поэзия — это однопольная прямая. Для Высоцкого поэзия — это столкновение двух точек зрения, с полным пониманием обеих, а в итоге выход к единой истине.

Совсем не случайно Любимов подсократил вынесенное в эпиграф к спектаклю стихотворение Пастернака, исключив третью строфу:



Я люблю твой замысел упрямый  
И играть согласен эту роль.  
Но сейчас идет другая драма,  
И на этот раз меня уволь.

Это как раз о том, что происходит за пределами сцены. Подчиняясь упрямому замыслу Любимова, Высоцкий должен забыть свою «другую драму». Спектаклю нужен только его темперамент, зашкаливающий все градусники, нужна его духовная вертикаль. А то, что он еще столько всего видит и чувствует по житейской горизонтали, — это остается не востребовавшимся.

Вознесенский хочет вставить в «Антимиры» одно новое стихотворение (спектакль все время обновляется, из запрещенных «Лиц» кое-что туда перешло). Вещь показалась удивительно близкой, только дочитал — мелодия мгновенно возникла. Называется «Песня акына», но, конечно, для отвода глаз. Стихи об одиночестве художника:

Не славы и не коровы,  
не шаткой короны земной —  
пошли мне, Господь, второго, —  
чтоб вытянул петь со мной!  
.....  
Чтоб было с кем пасоваться,  
аукаться через степь,  
для сердца, не для оваций,  
на два голоса спеть!

Ну, это все понятно, а потом вдруг такой страшный поворот:

И пусть мой напарник певчий,  
забыв, что мы сила вдвоем,  
меня, побледнев от соперничества,  
прирежет за общим столом.

Прости ему. Он до гроба  
одиночеством окружен.  
Пошли ему, Бог, второго —  
такого, как я и он.

Что ж получается, дружба — химера? Бабская ревность и зависть в творческих людях непреодолима, как врожденный недуг? Об этом, наверное, надо спрашивать не Вознесенского и не Высоцкого, а Того, к Кому эта песня обращена.

Поэты, как и актеры, всегда друг к другу относятся с внутренней настороженностью. Радует ли Вознесенского, что на таганской сцене скоро появится «второй» — Евтушенко с его американскими стихами? А еще большая неприязнь окружает поэтов снаружи. Власть их обзывает антисоветчиками, а интеллигентная публика обвиняет в том, что они этой власти продались. Некоторые совершенно серьезно заявляют, что порядочный поэт должен погибнуть — и чем раньше, тем лучше. Хороший тон — в двадцать шесть лет, как Лермонтов, а уж крайний срок — в тридцать семь, как Пушкин. Вознесенскому и Евтушенке скоро стукнет по тридцать восемь, а они до сих пор живы — просто неприлично!

Наслушавшись таких разговоров и подсобрав кое-какую занимательную хронологию, Высоцкий пишет песню «О фатальных датах и цифрах», посвящая ее своим друзьям-поэтам. Не уточняя, кого именно имеет в виду, — может быть, и себя в том числе. Начинается песня многозначительно и проникновенно: «Кто кончил жизнь трагически, тот — истинный поэт...» Вроде бы и возражений тут быть не может, да еще статистика убедительная: лермонтовские двадцать шесть лет, двадцать шестое декабря — самоубийство Есенина, Христос с его числом 33 к поэтам подключается, ну и высшая точка:

С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, —  
 Вот и сейчас — как холодом подуло:  
 Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль  
 И Маяковский лег виском на дуло.

А что же нынешние?

Дуэль не состоялась или — перенесена,  
 А в 33 распяли, но — не сильно,  
 А в 37 — не кровь, да что там кровь! — и седина  
 Испачкала виски не так обильно.

И после всего этого — финал совершенно неожиданный:

Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, —  
 Томитесь, как наложницы в гареме!  
 Срок жизни увеличился — и, может быть, концы  
 Поэтов отодвинулись на время!

Да, правда, шея длинная — приманка для петли,  
 А грудь — мишень для стрел, — но не спешите:  
 Ушедшие не датами бессмертье обрели —  
 Так что живых не слишком торопите!

Без трагедии нет большого поэта, но не надо эту трагедию ему старательно организовывать, не надо злорадствовать и каркать. Неприятностей у нас и так хватает, и смерть всегда где-то рядышком и наготове.

Двадцать второго мая во время репетиции «Гамлета» падает полуторатонная конструкция диаметром в двенадцать метров. Двадцать человек было на сцене — всех накрывает занавесом — как саваном. «Кого убило?» — спрашивает Любимов в микрофон. Ушибло Семенова, ранения получили Насонов и Иванов, играющий Лаэрта. Репетировались похороны Офелии, и ее гроб спас ситуацию — принял на себя удар балки и переломился. Да, всех нас когда-нибудь кто-то задавит — как в песне поется. Намеченная на июнь премьера в очередной раз откладывается, как запуск космического корабля, — «в связи с доработкой конструкции».

А в июле Высоцкий попадает в серьезную аварию. Недолго довелось поездить на «Жигулях», купленных для него в марте отцом. Живым все же остался, а Вознесенский потом откликается на это событие эффектным стихотворением — «Реквием оптимистический»:

Гремите, оркестры,  
 Козыри — крести.  
 Высоцкий воскресе,  
 Воистину воскрес!

Собирается напечатать это в своей новой книжке, а перед этим — в журнале «Дружба народов», заменив, правда, имя героя на «Владимира Семенова», но читатель, дескать, поймет, о ком речь. Поймет-то поймет, но сколько же еще слово «Высоцкий» будет оставаться непечатным?

Присоветовал художник Боря Диодоров попробовать силы в детской литературе: у тебя есть юмор, разговорная интонация — давай! И хоть это не был заказ в строгом официальном смысле — Высоцкий загорелся. Сюжет сочинялся на ходу, между делами разными, а как сел за стол — так и понеслась поэма. Заголовок заводной придумал: «Вступительное слово про Витьку Кораблева и друга закадычного Ваню Дыховичного». Второго персонажа назвал в честь своего коллеги по театру и сделал его интеллигентным книголюбом-гуманитарием, а первого — технарем и спортсменом. В общем, они положительно влияют друг на друга, мастерят космический корабль и отправляются в межпланетное путешествие. В издательстве «Детская литература» взяли посмотреть, а через некоторое время сообщают, что рукопись не одобрил один очень крупный детский классик: не хватает, сказал, художе-

ственности. Есть еще и такое неофициальное мнение, что детские книжки — это кормушка для определенного писательского круга, своего рода мафия, которая всех чужаков с порога отвергает.

Так и не поймешь — получилось у тебя что-то или нет. А потеря энергии колоссальная — как будто бандитским жестом вырвали с мясом проводок, соединяющий с жизнью. Бьют, суки, не по голове — башка уже тренированная у нас, и даже не по душе — она тоже вся в рубцах, — нет, бьют аккуратно в тот орган, которым все сочиняется, придумывается. Вот это место и есть самое незащищенное: несколько таких ударов — и нокаут.

А помогать ему подняться после нокаута — дело исключительно тяжелое. Даже для женщины. Потому так уж вышло, что есть одна — и есть другая. И у каждой свое амплуа.

Некая раскованная богемная особа в доверительном разговоре сильно его развеселила, сказав: «Порядочный мужчина может любить только одну... Ну двух... Ну максимум трех женщин одновременно!» Прозвучало смешно, потому что редко кто вслух говорит такое, да и редко кто так думает. А вот действуют так в своей собственной жизни многие, только при этом они очень любят контролировать чужую нравственность. Я, мол, особая статья, а вот ты должен быть примерным семьянином и дисциплинированным однолюбом. Хотя в реальности так называемый однолюб — это человек, который любит одного себя. А кто равнодушен к другим, кто по-настоящему нуждается в спасительной женской энергии и готов при этом сам что-то отдавать — тот всегда рискует оказаться в ситуации раздвоения.

Нельзя сказать, что его брак с Мариной вызвал такой уж всеобщий восторг — недобрых и завистливых взглядов хватало. Все же этот факт по-прежнему перешел из разряда сенсаций в обыденную колею. Но еще одну жизнь иметь — этого никому не положено. А она существует без разрешений. И это о ней песня «Здесь лапы у елей дрожат на весу...», тоже попавшая в «Свой остров»:

В какой день недели, в котором часу  
Ты выйдешь ко мне осторожно,  
Когда я тебя на руках унесу  
Туда, где найти невозможно?

Та, тайная — это полюс покоя и тишины, возможность отвлечься, починить порванные нервы. С Мариной — совсем другое. Она нужна ему, чтобы взлетать, концентрируя последние силы, чтобы не сдаваться после очередного поражения. Она — его партнер в борьбе со смертью, с окружающей людской злобой. Она в эту роль вошла, сжилась с нею. В Париже Марина приходит в себя, отдыхает от эмоциональных перегрузок, а жить приезжает сюда, с ним.

Она очень хотела, чтобы он сыграл Гамлета, и это желание кому-то куда-то передалось. Без такого соучастия никакие большие дела не делаются. Его «Гамлет» — как тот роман Мастера, который не был бы написан, не будь рядом Маргариты.

Весной Марина приехала со своим младшим сыном, его тезкой, Владимиром. У того была сломана рука, которую в Париже неправильно починили, — врачи, они везде бывают разного качества. Устроили мальчика к хирургу Долецкому в Русаковку, навещая его, Высоцкий дал маленький концерт для больных и медперсонала.

В августе — у них с Мариной черноморский круиз, на этот раз на теплоходе «Шота Руставели». Капитану Александру Назаренко и всему экипажу посвящена написанная в этом плаванье песня «Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты...». Корабли и кони — вот два его вечных «пунктика», все время открываются новые повороты этих неисчерпаемых тем.

Осенью Таганку наконец выпускают на большие гастроли — в Киев. Эти сентябрьские три недели — просто болдинская осень. Помимо участия в спектаклях и репетициях «Гамлета» (они и здесь не прерывались) он дал около тридцати концертов — в Институтах физики, ботаники, кибернетики, электросварки и бог знает чего еще, на заводах и в строительных комбинатах и т. д. и т. п.

Прежде чем перейти к песням, рассказывал о театре — с увлечением и с удовольствием, не впадая в пафос и сочетая серьезность с шуткой. Сор из избы, естественно, не выносятся в таких случаях: не станешь же вспоминать, как Любимов доводит его на репетициях своими сарказмами, или рассказывать, как однажды, не выдержав, швырнул он в Любимова гамлетовскую рапиру, а тот, кстати, даже не вздрогнул. Да и забываются все эти закулисные страсти-страдания, когда говоришь о большом общем деле, без которого жить невозможно и которое в тебе самом так нуждается. У Таганки за каких-то семь лет уже сложилась довольно красивая история, а самое главное у них с театром еще впереди, и притом совсем близко.

И даже новые песни успевал сочинять Высоцкий в Киеве. После многочисленных встреч с научной интеллигенцией возник замысел песни «Товарищи ученые...». А чтобы не потерять связь с народом, автором составлен «Милицейский протокол»: «Считай по-нашему, мы выпили не много...» Гамлетовский год вообще выдался урожайный, причем преобладают тут песни непростые, со вторым дном, с вопросами, на которые нет однозначного ответа: о масках, про первые ряды, про мангустов, про золотую середину...

Осенью, в преддверии судьбоносной премьеры, родились две песни настолько разные, что даже непонятно, как мог их сочинить один человек, да еще в столь коротком временном промежутке. Впрочем, человек этот сам написал в анкетном опросе, что считает себя *разным*. Одна — «Песня конченого человека», где подробно развернуто состояние абсолютной душевной опустошенности:

Ни философский камень больше не ищу,  
Ни корень жизни, — ведь уже нашли женьшень.  
Не вдохновляюсь, не стремлюсь, не трепещу  
И не надеюсь поразить мишень.

Устал бороться с притяжением земли —  
Лежу, — так больше расстоянье до петли,  
И сердце дергается словно не во мне, —  
Пора туда, где только *ни* и только *не*.

А вторая — песня о беспределности возможностей человека, о личности, преодолевающей все свои внутренние слабости, а также все мыслимые и немыслимые преграды. Со школьных лет в сознании засела идея *горизонта* — линии, ограничивающей видимую нами поверхность. Кому не знакома эта детская идея — вот возьму и дойду, дошагаю до этой черты! А некоторые могут зажечься столь невероятным намерением и после того, как достигают совершеннолетия и получают водительские права:

Чтоб не было следов, повсюду подмели...  
Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте:  
Мой финиш — горизонт, а лента — край земли,  
Я должен первым быть на горизонте!

И как часто бывает, замысел перестраивается по ходу. Не только по ходу мысли, но и по ходу всей жизни, которая в данный момент сжимается до пространства песни. Борьба, соревнование — не главное. Кто первый, кто не первый — это чисто игровая условность. Смысл сумасшедшей гонки в другом:

Меня ведь не рубли на гонку завели, —  
 Меня просили: «Миг не проворонь ты —  
 Узнай, а есть предел — там, на краю земли,  
 И — можно ли раздвинуть горизонты?»

И Шекспир с Гамлетом хотели эти горизонты раздвинуть, снова и снова спрашивая: можно ли остаться человеком в бесчеловечной жизни? Не для себя такое выясняется — для всех. И спортивного финиша с пьедесталом почета тут быть не может. Достигнуть этой недосыгаемой линии можно, только перескочив ее:

Но тормоза отказывают, — кода! —  
 Я горизонт промахиваю с хода!

Что это конкретно значит — самому не совсем ясно. Может быть, смерть: «откажут тормоза» — такое выражение не первый раз у него встречается, уже почти как навязчивая идея. А может быть, и совсем-совсем новая жизнь... Успеть бы доделать свое дело — и там ничего не страшно...

Вечер двадцать девятого ноября. Взволнованная толпа заполнила все пространство между станцией «Таганская-кольцевая» и театральным зданием. Шансов попасть внутрь — никаких, но они все равно хотят быть поближе к тому месту, где сейчас происходит самое главное.

Высоцкий в черном свитере сидит в глубине сцены с гитарой, негромко наигрывая разные свои песни. Он там был еще за двадцать минут до начала — такой придуман ввод. Почти каждый зритель, входящий в зал, испытывает оторопь: это Высоцкий или нет? Удостоверившись в подлинности, занимают свои места... Но что это? Большая группа студентов штурмом взяла зал. Кого-то из них по-быстрому загоняют на балкон, менее удачливых передают в объятия милиционеров. Минут пятьдесят уходит на наведение порядка.

Ну вот, остальные актеры выходят на сцену, все — в траурных повязках. Могильщики закапывают в яму черепа. Кричит петух. Наступает время Высоцкого. Время встать, подойти к стоящему на авансцене мечу, коснуться струн и пропеть эти давно ставшие своими слова:

Гул затих. Я вышел на подмостки...

Линия горизонта осталась позади...

## НЕУТОЛИМАЯ ЖАЖДА

Что происходит с человеком, когда он добился почти всего, что хотел? Если этот человек — Высоцкий, то с ним все очень просто: он хочет еще большего.

Казалось, «Гамлет» — полная и окончательная профессиональная победа «на театре». Двух таких полноценных ролей, как Галилей и Гамлет, нет ни у кого больше. И это при том, что Любимов упорно и последовательно стесняет в своих спектаклях индивидуальное актерское начало. Он думает прежде всего о том, чтобы зрителю «вставить шомпол в задницу», как Золотухин говорит. Всеми этими плахами с топорами, занавесами ходячими он на прямую связь с публикой выходит, а от актеров отгораживается. Вон в спектакле по Евушенке весь первый ряд — это американские полицейские с дубинками, они время от времени выскакивают на сцену, чтобы тюкнуть по голове очередного борца за свободу. И на зрителей порой оглядываются сурово: мол, и вас тоже можем обслужить. В общем, одна толпа на сцене, другая толпа в зале, а командует парадом царь и бог, который там сзади с фонариком сидит.

И вот Высоцкий прорвался за флажки, через все эти цепи, плахи и занавесы. Теперь он говорит о себе, о своем Гамлете, для которого «быть — не быть» — неразрешимая пожизненная дилемма. И в спектакле, по существу, как бы два слоя — любимовский и «высоцкий». Режиссерский слой, конечно, потолще, зато слой Высоцкого — утонченнее, он не для всех, а для таких же, как он, мыслящих одиночек. Примерно вот в таком духе можно истолковать двукратное звучание в спектакле знаменитого монолога. Первый раз Высоцкий читает его холодно, расчетливо, как бы взвешивая все «за» и «против». А потом тот же текст — на едином всплеске, заводясь до предела: «Быть! Быть!» Раздумчивое «или» проваливается в бездну жизненной страсти...

Каждый спектакль отбирает у него два килограмма веса. Но — плоть убывает, а душа растет. И требует новых больших дел. Родная советская кинематография после «Опасных гастролей» давно вниманием своим не баловала, а тут еще учинила редкую подлость. Все уже было замечано с фильмом «Земля Санникова». Картина о полярниках дореволюционных, роль серьезная, мужественно-романтическая. Под нее сложилась песня «Белое безмолвие», где он уже наглядно намечтал себе встречу с вечным полярным днем:

Север, воля, надежда — страна без границ,  
Снег без грязи — как долгая жизнь без вранья.  
Воронье нам не выключает глаз из глазниц —  
Потому что не водится здесь воронья.

Пробили ему нормальную денежную ставку, заключили договор. Освобождение от театра у Дупака и Любимова выпрошено с кровью. Виза для Марины получена, билеты на руках — и на тебе! — в последний момент отбой. Директор «Мосфильма» Сизов объявляет: «Его не надо». Режиссерам Мкртчяну и Попову популярно объясняет, что Высоцкий — фигура слишком современная, что все зрители будут смотреть на скандальную знаменитость, а не на фильм. И прославленный борец с культом личности Григорий Чухрай, руководитель экспериментального творческого объединения, обещавший Высоцкому, что без него картины не будет, тут же отрекается, не дождавшись и первого петушиного крика: мол, он у нас еще и не утвержден.

Все чаще фильм служит только трамплином для поэзии. И куда мы с этого трамплина прыгнем — одному богу известно. А именно — богу Аполлону, который к священной жертве призывает таким вот сложным способом. Действует через режиссеров, придумывает какие-то роли, пробы. Подбивает песни сочинять — для фильмов как бы. А потом, когда на роль не утверждают или песни вырезают, — в сторонку уходит и умывает руки: дескать, кино — не моя компетенция. Это уже десятая муза, а я, товарищ, курирую только девять первых...

От «Земли Санникова» взлетели «Кони привередливые». Ночью это было. Тишина... Крепкий чай из английской синей банки... «Пропадаю!» — пришло ключевое слово с необходимым звуковым раскатом. Может быть, всплыло в памяти нервное место из Бабеля («Пропадаем! — вскрикнул я, охваченный гибельным восторгом, — пропадаем, отец!»). Помножилось оно на пушкинское «мрачной бездны на краю» — и получилась явственная, и притом отчаянная, картина:

Вдоль обрыва, по-над берегом, по самому по краю  
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю...  
Что-то воздуху мне мало — ветер пью, туман глотаю,  
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!

В самом деле: куда ты несешься? Ведь можно жить помедленнее, шаг за шагом, аккуратно распределив все свои дела во времени. По одной песне в квартал, по одной роли в год — смотришь, так к семидесятилетию и наберется лавров на целый венок. Да и с женщинами толковые, деловитые донжуаны встречаются по продуманному графику, избегая нежелательных скоплений ихнего брата в одном времени и пространстве. Что за дурь такая — хотеть всего сразу?

Вот и запустил в небеса это слово-просьбу, почти молитву: «Чуть поме-е-дленнее кони, чуть поме-е-дленнее-е...» А оттуда возвращается, как будто эхом, словцо такое тяжеловесное, царапающее, само по себе целая песня надсадная: при-ве-ред-ли-вы-е... Слово-автопортрет, такой он — и ничего со своей натурой поделать не может.

А «Земля Санникова» потом вышла с бодренькой, не лишенной мелодии песенкой в исполнении Олега Анофриева — кто-то даже говорил, что автор слов ее под «Коней» немного подделывался, по-своему переиначив фразу «Хоть мгновенье еще постою на краю...». Но похожего мало: «Призрачно все в этом мире бушующем...» Почему призрачно-то? Пустые слова. А главное — какая мысль там выражена? «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Нет, ребята, «мигом одним» живут только недалекие жлобы, а у кого душа имеется, тому предстоит еще свое дожить, допеть при встрече со Всевышним. Туда и торопятся поэты — самоубийцы, самосожженцы...

Но все-таки попробуем еще пожить. Захотелось надежной крыши над головой. Ездили на подаренном Мариной «рено» смотреть с Золотухиным его новую резиденцию на Рогожском валу. Метраж, комфорт, простор для души и творчества! У самого же Высоцкого пока снятая на три года квартира в Матвеевском да очередь на кооператив, за который недавно очередные полторы тыщи заплатил. Появилась перспектива, к тому же Союз кинематографистов в конце принял этого артиста в свои прославленные ряды. Ролей не дают, зато членский билет на месте. Марина к этому относится довольно серьезно, уж она в таких делах разбирается. Имя именем, а всякие значки, ленточки и титулы в той же Франции очень уважают. Сошлись на том, что нужно как-то легализоваться, пользоваться своими правами и не чувствовать себя изгоем в родной стране.

Высоцким заинтересовалась Эстония — почти что заграница. Уговорили Любимова отпустить Гамлета в Таллин, куда он в середине мая летит с Мариной. Сняли в их лучшей гостинице выступление для тамошнего телевидения — все четко, по-деловому, а на следующий день он опять выходит на таганские подмостки в черном свитере.

«Гамлет» идет как надо. Смехов посмотрел из зала — говорит: «Великолепно». В это же время приключаются четырехсотые «Антимиры», и рядом с фамилией Смехова на афише цифра 400 — ни разу не пропустил он спектакля. На трехсотый, помнится, Вознесенский выдавал ему экспромт: «Венька Смехов — ух, горазд: / Смог, без смены — триста раз». А что теперь? Высоцкий отпускает такой каламбур: «Только Венька — нету слов! — / Четыре-Старожил Антимиров!»

Светлая полоса продолжается в Ленинграде, где Таганка гастролирует три недели с «Гамлетом» в качестве козырного спектакля. А в «Павших и живых» Высоцкий именно здесь впервые читает стихотворение Семена Гудзенко «Перед атакой» — просто удивительно, насколько оно сомкнулось с его собственными военными песнями:

Бой был коротким. А потом  
Глушили водку ледяную.

И выковыривал ножом  
Из-под ногтей я кровь чужую.

Кажется, и в кино лед тронулся, запрет если не сняли, то ослабили. Возникают две новые роли. Хейфиц будет делать фильм по «Дуэли» Чехова, назвал его выражением Томаса Манна «Плохой хороший человек». Это Лаевский, на роль которого неожиданно выбран Олег Даль. А для Высоцкого роль найдена еще парадоксальнее — фон Корен, немец, трезвейший зануда, человек невыносимо правильный. По Чехову, кстати, мужчина могучей стати, и, как выяснилось, режиссер купился на голос с магнитофонной ленты — решил, что это поет двухметровый гигант. Что ж, если утвердят, придется подрасти. Потом — вроде бы Даль и Высоцкий не антиподы, а скорее одного поля ягода — оба гамлетичны, байроничны, далеки от рутинного бытовизма. Но тем и интереснее будет работать.

Другая роль — главная, в фильме «Четвертый», по пьесе Симонова. Ставит Столпер, съемки уже начались в Риге и в Юрмале. Материал несколько схематичен. Герой-американец многозначительно называется Он, действия мало. Он выясняет отношения с товарищами, Женщиной (тоже с большой буквы) и с собственной совестью. Но все же это, как и фон Корен, — выход из устоявшегося амплуа, поворот к серьезности и философичности.

Пока он с Мариной в Прибалтике, по Москве, изнемогающей от рекордной жары, начинают гулять его новые веселые песни, осенью они еще глубже внедряются в народные массы. Причем что характерно — их иногда даже пересказывают в качестве анекдота или устной новеллы. Типа: ты не слышал песню про Мишку Шифмана? Там два друга — один русский, другой еврей — сильно поддали, и тот, который еврей, уговорил русского пойти и вместе подать документы на выезд в Израиль. Так что ты думаешь: русскому разрешили, а еврея — «за графу не пустили пятаю». Сейчас ведь для многих вопрос «быть или не быть?» превратился в «ехать — не ехать». Возможность эмиграции, вроде бы навсегда закрытая после бегства Врангеля из Крыма, замаячила вновь. Посмотреть на мир — дело, конечно, хорошее, но поездка туда без обратного билета — нам не подходит. А как другие — это уж личное, интимное дело каждого.

Другая ударная песня текущего квартала — «Жертва телевиденья». Тема касается буквально всех и каждого, поскольку «ящик» в нашей жизни занимает все большее и большее место. А народ у нас такой доверчивый, всему верит, все понимает буквально:

Есть телевизор — мне дом не квартира, —  
Я всю скорбью скорблю мировую,  
Грудью дышу я всем воздухом мира,  
Никсона вижу с его госпожою.

Даже не скажешь, от бога этот прибор — или от дьявола. Вроде бы столько информации разом, причем иногда в глаза бросится такое, что тебе и не хотели показывать. Наш корреспондент за рубежом перед микрофоном долдонит про безработицу, а тротуар под ним чистенький, за спиной — магазинчики с обилием продуктов. Если бы, скажем, Пушкин оказался в нашем времени — точно бы прилип к голубому экрану. Правда, потом бы тут же отлип, чтобы всю эту путаницу привести в порядок, расставить по строчкам и строфам. В общем, телевизор — как водка: кто ее умеренно употребляет, живет нормально, а кто попадает в зависимость — у того и голова постепенно приобретает четырехугольную форму экрана.

Приятно, конечно, что люди смеются, но хотелось, чтобы замечали в песне второе дно, а оно всегда серьезное. Песня — не басня, к ней не



припишешь в конце однозначную мораль. Рассчитываешь все-таки на наличие у слушателей хотя бы небольшой головы на плечах. Вот цикл «Честь шахматной короны» многие восприняли как репортаж с матча Спасский — Фишер. Но бесславный для нашего гроссмейстера поединок начался где-то в середине июля, да? А эти две песни сочинены еще в январе, в Болшеве, Слава Говорухин свидетель и первый слушатель. И потом — Спасский-то интеллигентный, симпатичный человек, проиграл он по чисто шахматным причинам, пусть об этом специалисты судят. А песни — о том, что у нас все решается коллективно, что в ферзи выдвигают пешек — повсюду, до самого верха. Что во все дела примешивается политика, причем всегда права одна, здешняя сторона:

...Он мою защиту разрушает —  
Старую индийскую — в момент, —  
Это смутно мне напоминает  
Индо-пакистанский инцидент.

Только зря он шутит с нашим братом —  
У меня есть мера, даже две:  
Если он меня прикончит матом,  
Я его — через бедро с захватом  
Или — ход конем — по голове!

Может быть, что-то недотянул, не довел до прозрачной ясности? Хотя нет, те, кому надо, улавливают подтекст, а от них эта волна понимания постепенно до всех докатится. Вон у Булгакова тоже видят сначала первый слой: кота с шуточками, примус, мол, починая... И он старался насмешить для начала, а потом уже читателя в серьезность тянуть.

Кто-то приехавший в Юрмалу из Москвы сообщает, что несколько дней назад умер единственный в своем роде, ни на кого не похожий клоун-мим Леонид Енгибаров. Упал прямо на улице Горького, его даже за пьяного приняли. Когда это случилось? Двадцать пятого июля...

С Енгибаровым они встречались не так чтобы часто, но было у них молчаливое взаимопонимание. Как раз по части смешного и серьезного. Енгибаров, работая в своем бессловесном жанре, тоже совершал немислимые повороты от веселья к пронзительной грусти. Все ли его понимали? Будут ли его помнить те, кто видели его выступления?

Стало что-то сочиняться на ритм «Гул затих. Я вышел на подмости». Записал на клочке бумаги: «Шут был вор... Он вышел. Зал взбесился...» Потом это вышло иначе:

Шут был вор: он воровал минуты —  
Грустные минуты, тут и там, —  
Грим, парик, другие атрибуты  
Этот шут дарил другим шутам.

Одна строфа получилась почти о себе самом — это не «одеяло на себя», это то общее, что было, есть у Высоцкого с Енгибаровым:

Только — балагурия, тараторя —  
Все грустнее становился мим:  
Потому что груз чужого горя  
По привычке он считал своим.

А дальше — уже только о нем. От слова «груз» память сделала скачок в сторону Достоевского. Свидригайлов там говорит о Раскольнике: «Сколько же он на себе перетаскал...» И еще одна пастернаковская строчка: «Слишком многим руки для объятья...» — пролегла неподалеку:

В сотнях тысяч ламп погасли свечи.  
 Барабана дробь — и тишина..  
 Слишком много он взвалил на плечи  
 Нашего — и сломана спина.

.....

Он застыл — не где-то, не за морем —  
 Возле нас, как бы прилег, устав, —  
 Первый клоун захлебнулся горем,  
 Просто сил своих не рассчитав.

Может быть, слишком просто получилось? Без театральности, без игры... Но надо же когда-то высказаться прямым текстом, хотя бы для себя обозначить то, что думаешь и чувствуешь наедине с ночной тишиной. Нужно ли все выносить на публику, на продажу? А может быть, настоящие поэты — это те, кто беседуют сами с собой? И потом читатель присоединяется к этому разговору, иногда через много лет, через несколько жизней.

К этому стихотворению энгибаровскому что-то еще можно добавить, дописать. Пусть отлежится — куда спешить? И вообще — иметь бы кабинет, стол письменный с бюстиком какого-нибудь Наполеона в качестве пресс-папье. Рукописи вынимать из папок, перебеливать их, как в старину говорили. Магнитофон не дает такого чувства авторской собственности. Вот в этом году Костя Мустафиди привел в порядок многочисленные записи, спасибо ему, насел, заставил поработать для грядущих слушателей, но... На концертах Высоцкий привык уже говорить: это современный вид литературы своего рода, если бы магнитофоны существовали сто пятьдесят лет назад, то какие-нибудь из стихов Пушкина тоже остались бы только в звуковой записи. Но это немножко самоутешение: все-таки есть волшебство в этих комбинациях букв, которые таинственным образом воспаряют над страницей и сто, и двести лет после написания.

И хорошо бы за роман взяться. Когда Пушкина года к суровой прозе начали клонить? Не поздно еще в тридцать четыре года начинать? Повести, рассказы — это не совсем то. Небольшой сюжет, эпизод, житейскую историю можно и в песню вместить. И небольшие вещи имеет смысл выносить на публику немедленно, сегодня. Но нас Комитет по печати пока заказами не беспокоит, так что остается только на вечность нацеливаться. Нащупать, закрутить большой сюжет, который сам по себе начнет развиваться и удивлять...

С Золотухиным об этом не раз заговаривал, но тот роман начинать боится, надеется из повестушек составить к концу жизни большую книгу. Ну, дай ему бог. А вообще-то в нашем отечестве литература прежде всего романом измеряется. Один остряк в компании у Митты недавно даже развивал теорию, что в России журналисты и критики, поэты, многие ученые и артисты — словом, все, кто умеет держать перо в руках, — потенциальные романисты. И всех людей с литературными амбициями он разделил на пять сортов. Пятый, низший сорт — это те, кто роман писать еще только собираются. Четвертый — те, кто пишут. Третий — те, кто написали. Второй — те, кто роман свой напечатали. Ну а кто же к первому сорту относится? — его спрашивают. А это те, отвечает, кто получили уведомление: «Ваш роман прочитали».

На этих мистических словах все тогда приумолкли, припомнив в момент, что у Булгакова такими словами Воланд встречает Мастера. А доморощенный теоретик еще пояснил, что в первый сорт можно выйти прямо из третьего, минуя стадию напечатания, — как с «Мастером и Маргаритой» и получилось. Самые отважные писатели — не те, кто обличают американскую Статую свободы, намекая при помощи кукиша в кармане на советскую власть. Самые смелые и настоящие — те, кто пишут «в стол», намекая сразу на все на свете и выясняя свои отношения с целым челове-

чеством. Так что главное теперь — хороший письменный стол приобрести. И сидеть за ним столько, сколько захочется.

Но и в песнях есть свой роман, свой сюжет. Все же они писались из себя, собой. Сколько еще их родится? Финиш пока не виден: полпути пройдено, может, три четверти. Посмотрел на себя со стороны, с дистанции, назвал местоимением «он» (может быть, стихи о Енгибарове наложили некоторый отпечаток). Возникла картинка цирка: яркий свет, барабанная дробь, натянутый канат и маленький человек, по нему идущий:

Посмотрите — вот он  
 без страховки идет.  
 Чуть правее наклон —  
 упадет, пропадет!  
 Чуть левее наклон —  
 все равно не спасти...  
 Но, должно быть, ему очень нужно пройти  
 четыре четверти пути.

Да, если писать о другом как о себе и о себе как о другом — особый эффект возникает, изображение как бы удваивается, становится стереоскопическим. Ведь на «я» многое просто невозможно сказать. «Он смеялся над славою брэнной, но хотел быть только первым» — тут «я» просто немислимо, просто пошлым было бы оно. Или: «Лилипуты, лилипуты — казалось ему с высоты» — то же самое... Для романа нужен такой «он», в которого авторское «я» может вместиться — пусть не полностью, но большей частью. Кто он будет? Бандит? Артист? Увидим. Пусть бывшее уходит, уходит, уходит... Пусть придет, что придет!

Но после Прибалтики и Евпатории, после всех морей — прощай, свободная стихия! — приходит неизбежная театральная осень. Тут еще у Марины старший сын в дурь ударился и убежал из дома с компанией хиппи. Марина — в Париж, Высоцкий — в больницу имени Соловьева. Зашивают ему там в очередной раз «бомбу»: выпьешь — взорвешься. Знали бы эти чуткие врачи, сколько раз его в этой жизни уже разносило на кусочки и сколько раз он сам себя без посторонней помощи собирал и склеивал!

На этот раз ремонт удалось осуществить в кратчайшие сроки, потому что в Евпатории ждут его на «Плохом хорошем человеке» такие хорошие люди, что плохо с ними поступить просто невозможно. Съемки идут в татарском квартале, возле рыбзавода, и со всех этажей этого предприятия смотрят на фон Корена из окон парни и девушки в белых халатах. А как кончилась съемка — подносят к ногам Высоцкого три ящика с рыбой: «Это вам». И тут же отходят, даже автографа не просят за эти «шаланды, полные кефали». Прimitивной телячьей радости он уже в такие моменты не испытывает, но одна из ранок на душе заживает. Прямой кровоток — из душ в душу. Смотришь, еще на день больше проживем и на полпесни больше напишем.

А с рыбой что делать? Под такую закуску не меньше ста бутылок нужно, а мы с выпивкой покончили давно. Ребята, вы берите все это с собой в Гагры. Пусть Папанов с Далем поработают — им вроде можно, да и весь коллектив должен прийти на помощь. А я в октябре к вам непременно присоединюсь.

Атмосфера в театре все напряженнее. Любимову явно не по душе киношная активность Высоцкого с Золотухиным, да и другие актеры начали грешить тем же самым. Аскетическая стройность зрелища нарушается, здесь ведь у нас не Сатира какая-нибудь, куда народ ходит «на Миронова», «на Папанова», «на пани Монику». В спектакле «Товарищ, верь» главная

роль опять поделена на пятерых: каждый может быть равен Пушкину (и режиссеру) не более чем на одну пядю.

Высоцкий чувствует себя явно не в своей тарелке. Тяжеловато после «Гамлета» снова становиться «винтиком». Шеф все давит и давит: мало, мол, вкладываете в спектакль. А что вкладывать-то? Душу? Так она не нужна в этой схеме. Внешне все опять броско и смело. Под песню Окуджавы выходят артисты в две шеренги на светящуюся дорогу. Пушкинские письма падают, как осенние листья, и звучат всякие фразы из них. Потом возникают на сцене два возка: на одном Пушкин разрезает, во втором, золоченом, царь сидит и прочая номенклатура. Как Пушкину было тяжело, это видно. А где его свобода внутренняя, которую никакая власть стеснить не могла, — с этим как-то не очень... Все-таки это не тот случай, что с Маяковским. Пушкин умел быть разным, умел перевоплощаться, но равен он сам себе, не делится ни на пять, ни на другие числа.

На одной из репетиций Высоцкий засыпает, сидя в возке. Нет, это не демонстративно, а просто от усталости нечеловеческой. После «Гамлета» и «Галилея» он ночами не спит. И не пишет даже, как полагает режиссер, а просто трясется весь, не в силах успокоиться. Кончается тем, что Любимов его от пушкинского спектакля «освобождает». В данном случае формула «по собственному желанию» была бы очень на месте.

Актер, не желающий играть... Это абсурд какой-то. Все равно что... ну, скажем, наследник трона, не желающий править.

Не думал я над тем, что говорю,  
И с легкостью слова бросал на ветер, —  
Мне верили и так как главарию  
Все высокопоставленные дети.

.....

Но отказался я от дележа  
Наград, добычи, славы, привилегий...

Стихотворение это он сразу назвал «Мой Гамлет» — еще до того, как сложились первые строфы. «Мой» — значит, не любимовский, не таганский, а исключительно «высоцкий». Нет, это не измена *этому* театру. Это спор с театром как таковым, с лицедейством как способом существования:

Я видел — наши игры с каждым днем  
Все больше походили на бесчинства, —  
В проточных водах по ночам, тайком  
Я отмывался от дневного свинства.

Есть игра-правда и игра-ложь. Театр вынужден питаться обеими. Это искусство требует жертв в самом банальном смысле. Актер — жертвенное животное, этакий козел отпущения. Ежедневные нервы, кровь, пот — все закладывается в театральную мясорубку, чтобы получить готовый продукт спектакля. А зрительская любовь, восторги и аплодисменты — вроде сена, которым кормят играющее животное перед тем, как в конце концов увести на бойню. Любые самые бурные и продолжительные аплодисменты, даже переходящие в овацию, — это только шум. Ничего толкового и осмысленного в шуме слышать невозможно.

Таганка — лучший из театров, только она могла вместить Высоцкого. Но и здесь ему стало тесно.

(Окончание следует.)



---

---

# ИЗ НАСЛЕДИЯ

ИЛЬЯ ТЮРИН



## МНОГОТОЧИЕ В КОНЦЕ ЧЕЛОВЕКА

*Из записных книжек*

*Жизнь Ильи Николаевича Тюрина оборвалась, когда ему едва исполнилось девятнадцать: он утонул в Москве-реке в Строгино вечером 24 августа 1999 года. Менее чем через год в издательстве «Художественная литература» вышел томик его литературного наследия, собранного родителями Ильи, неутешными Ириной Медведевой и Николаем Тюриным: стихи, песни, эссе, статьи и рецензии — верные свидетельства неординарного дара их столь много обещавшего сына...*

*Илья обладал не только гуманитарными и музыкальными способностями, но и тягой к естественным дисциплинам. А также — силой характера. Например, у него, выпускника лица при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), была прямая возможность поступить на какой-либо его факультет. Перед ним открывалась верная перспектива успешно жить журналистско-литературным трудом. А он круто меняет колею жизни и, предварительно год проработав санитаром в знаменитом Склифе, идет в медицинский университет. Но при этом остается человеком общественно открытым, болеющим за судьбу отечества. Последнее им написанное — убийственная заметка о новейших политиках, у которых «полное отсутствие чувствительности к тому, что думает о них страна, той обратной связи, которая в просторечии зовется совестью». Большая для его лет редкость: девятнадцатилетний Илья ценил мораль и совесть выше политического эгоцентризма.*

*Не все, однако, написанное Ильей вошло в вышеупомянутый сборник «Письмо». Предлагаем читателям фрагменты из его записных книжек, предоставляя им самим оценить глубину и прозрачность мысли этого незаурядного юноши<sup>1</sup>.*

*Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.*

1996

**28** января. Я только что узнал: сегодня умер Бродский, ночью, в Нью-Йорке, во сне... Теперь, произнося это имя, я каждый раз буду внутренне содрогаться, как будто вызывая его обратно — <заставляя> совершить нечеловеческий путь. В некрологах напишут, что он вдруг стал всем нам необычайно близок. Это не так: он стал чужим и непреодолимо далеким — дей-

---

Публикация *ИРИНЫ МЕДВЕДЕВОЙ*.

<sup>1</sup> Друзья и близкие поэта учредили ежегодную Премию памяти Ильи Тюрина в области литературы (стихи, эссе) — Илья-Премия. Целью этой благотворительной акции является помощь молодому человеку с ярко проявившимся литературным даром на старте творческой деятельности. По результатам конкурса издается книга победителя.

Первая торжественная церемония вручения Илья-Премии состоялась в Москве 10 мая 2001 года. Из более чем пятисот рукописей, присланных на конкурс из всех регионов России, тридцать вышли в финал, двадцать финалистов получили дипломы и специальные призы конкурса. Гран-при (издание двухтомника) завоевали шесть участников конкурса от 15 до 34 лет — из Иркутской области, Красноярска, Москвы, Перми и Чебоксар. Конкурс памяти Ильи Тюрина продолжается. С его условиями и работами первых лауреатов можно познакомиться на сайте «Дом Ильи Тюрина»: <http://ilyadom.russ.ru>

стает проклятая человеческая природа. Он жил в наших сердцах, пока в нем жило его собственное сердце; а сегодня, в одну из нью-йоркских ночей, он незаметно ушел, даже не хлопнув и не скрипнув дверью, — так, что мы и не заметили. Он ушел исхоженной дорогой, просторной и удобной, без ухабов и ям, — в иные сердца. А нью-йоркская ночь — последовала за ним.

*31 января.* Иосиф Бродский завершил этот январь и одновременно начал его в виде «Части речи» на моем столе. Он — везде, и каждый атом теперь (подобно «Черному квадрату» на выставке) наполнен им. Стараюсь использовать эту «атомную энергию Бродского», потому что подобные моменты быстро проходят...

Третий Рим, гениальный юродивый,  
Расправляет лохмотья окрестностей...

Солнечное затмение — негатив ночи...

День начался задолго до себя...

Кирпичный дом — множество вавилонских книг.

Благовест стаканов.

...Расстрелян будильником по статье восемь ноль-ноль.

Кабель в метро — нить Ариадны.

Игрушечный ад бетономешалки.

*29 февраля.* Это — месяц нас с Бродским. Я впервые ощутил себя поэтом через десять лет после первого стихотворения. Это — вне меня; это — вне четырех четвертей, в которые я больше не могу себя заталкивать, это — вне!

Возможно, это самовнушение, но скорее — симптом. Я чувствую зависимость от собственного шестого чувства, я *должен* писать. В противном случае — я навсегда в квадрате, в «кирпиче», в «проезд воспрещен»...

От первой «Римской элегии» я получаю физическое наслаждение. Это — тоже симптом...

*3 марта.* Никогда не было такого. Я написал за день два стихотворения, абсолютно различных даже по размеру. Днем, гуляя с собакой, завершил свою вчерашнюю (кажется?) задумку. А ночью, уже, кстати, 4 марта, меня посетили еще два четверостишия, вскоре принявшие и третье. Ядро — мысль о том, что кладбище есть «перевернутый город» (нам видны лишь «корни») и клаустрофобия на нем — естественна...

*На «Стансы городу» Иосифа Бродского.*

...Все умолкнет вокруг.  
Только черный буксир закричит  
посредине реки,  
исступленно борясь с темнотою,  
и летящая ночь  
эту бедную жизнь обручит  
с красотой твоей  
и с посмертной моей правотою.

2 июня 1962.

Я просто не могу, не имею права спокойно и беспощадно (по пунктам) растерзать эти строки: они писались не для того. Они — перенесенный на бу-

магу крик, которого никто никогда не слышал, только видел — на этой самой бумаге. Крик неизреченный, но достойный того, чтобы его часть проникла в любого читающего эти стихи, а тем более пишущего о них, — пусть бумага не разделит, а объединит нас.

Поэзия изгнания со времен Овидия всегда и неизбежно противоречива. Несовместимы ночь (излюбленное время изгоняющих) — всеобщий покой и кричащие строки-осколки. Ночь, пропущенная, как сквозь мясорубку, через все пять потрясенных чувств изгнанника, несовместима с той молчащей темнотой, которую мы наблюдаем ежедневно в окнах. Все это непонятно и неестественно для нас, созерцателей, да, собственно говоря, не для нас и сказано, ни для кого вообще. Перед нами — попытка найти выход для чувства абсолютного одиночества, только подчеркивающая огромность этого чувства. И в любом случае эти стихи только для одного человека во всей Вселенной были и останутся близкими: его одиночество в ту ночь передалось и им тоже.

«В ту ночь» — это «внешний» признак, на самом деле пронизывающий все стихотворение насквозь и из каждой строки зычно напоминающий о себе. Да, Иосиф Бродский был выброшен из России, чтобы никогда не вернуться, чтобы гнать от себя всю жизнь даже и мысль о возвращении. Это — и тема, и проблема, и сюжет, и даже композиция. Это — везде и во всем. Темы как «фрагмента действительности» практически нет, действительность сплющена, подавлена авторским ее восприятием, и только в конце, собрав последние силы, она проявляется в образе буксира, кричащего, как и все той ночью. Если воспринимать сюжет как цепь событий, то именно цепи здесь мы и не находим: ничего не происходит, а только готовится произойти — нечто огромное, великое и единое...

Подходя к системе персонажей, я не могу молчать и о «хронотопе»: пространство у Бродского стало вторым, и последним, персонажем «стансов», не менее важным, чем трагическое «я». Кстати, именно так поэт и решает проблему своего изгнаннического одиночества, для него оно — долгожданный выход... Когда все живые уже отреклись, остается последнее — Петербург, Ленинград, как угодно, — и оно оживает. Оно поднимается: колоссальное, даже священное — способное «осенять» и «отпевать», единственное, готовое остаться с изгоем навечно...

Трон коммунизма — табуретка у ног повешенного.

Выбор мертвецов — коммунизм.

Гуляющие в парке — «заблудшие души», чистилище.

Лица стариков — бенгальские огни.

Километры в час — километры в жизнь.

Струны — нити Мойр — судьба звука.

Звезды — точки в непрочитанных строках.

Вырезать горло молочному пакету: молоко — его последний вопль.

Дерево — сплетенье игреков и иксов. Провода — знак равенства, далее — небо...

Повторяю слова, выполняя работу эха.

Грязная посуда — Парфенон, развалины; мыльная пена — словно предисловие к рождению Венеры; моющий блюда — почти дискобол.

Трамвайные рельсы <порезы>, согревшие переулок.

Лунный свет — кровь белоковья...

Снег — будто некто внезапно нажал на «пробел».

Для очищения ночи — седьмое чувство. Ночь незаметна вокруг, но подсознательно ощутима, словно подслушивающее устройство.

Мы начались с воды.

Зевающий репетирует удушье (смерть).

Пальцы — многоточие в конце человека.

Нечто проклевывается из-под скорлупы штукатурки (дома).

В противоположность быку реагирую на красное (светофор) онемением.

Оглядываю себя, будто ищу финальную подпись автора в углу. Только где угол?

Ртуть в термометре тяготеет более к побегу, нежели к предсказанию погоды.

И на лицо отбрасывает тень грядущий череп.

...Со скоростью перехода рукоятки в лезвие (наоборот?).

Красные телефонные будки. Красное — цвет убийства; впрочем, и убийство — форма телефона, срочной связи с собой и с точкой, куда в последний раз посмотрел...

Дожди возвращают мир к наброску...

- 1) Чрево вещание самолета;
- 2) мимика туч...

Небо наполовину создано из ребра стены.

Мысля, обращаю на себя Его внимание.

Проходя через сеть веток, звук становится колокольным звоном.

«Вызвать огонь на себя» может полено — или взгляд, устремленный на полено. Его преимущество в перевоплощении.

Новорожденная стружка тотчас скручивается в подобие *мозга*, в мысль: что дальше?!

Свет наполняет сосуд снаружи.

Часы вырабатывают иммунитет от времени...

Все крупное — *неустойчиво*, ибо уже способно конкурировать с целым. Целое подавляет свои отдельные части.

Ночью слух перестает воспринимать вопросительные фразы ветра. Ибо он сам — вопрос.



1) Борьба воздуха со стеклом: только здравый смысл удерживает последнее от *тарана*;

2) колокола — звон ключей Петра, пришедшего к воротам слишком рано.

Ночь — набросок дня углем.

Смерть — превращение мимики в графику.

Аплодисменты — <в какой-то мере> форма зависти к пианисту (к его рукам).

Окна: игра в *крестики-нолики* с воздухом.

Скобки — могильщики, несущие слово.

Окно — Око (пропущенная буква).

Лужи — остракизм неба.

Лифты ссорятся, как супруги, — хлопая дверьми.

Движение во все стороны сразу («на все четыре...») есть комната.

Комната создает эффект согласия с вами.

*Человечество* — чаша, для которой осколки — нормальное состояние.

...Трагедия человека, при условии, что он поэт, в его судьбе уже состоялась: вторжение поэзии в любую жизнь и есть трагедия человека. Поэт говорит не так, как говорит человек, — и со временем это начинает определенным образом направлять его мысли. В конце концов, поэт находится там, где человека нет. Трагедия человека состоит в недостижимости этого *там*. Трагедия же поэта заключается в невозвратимости *оттуда*. Но при всем видимом равенстве антагонистов истинным горем для биологической единицы является не приобретение качеств поэта, а утрата качеств человека — как всякая утрата печальнее всякого приобретения.

Всю эту классификацию трагедий почти неприлично применять к Есенину, потому что в конечном счете мы таким образом выясняем: что именно привело его в «Англетер». Думаю, смутное (на уровне сочетания звуков в строке) ощущение драматизма ситуации — и есть наш предел в этой теме, хотя опасная близость петли к любой из мелодий есенинской жизни и не настораживает ее исследователей. С другой стороны, трагедия, приведшая к смерти, — смертью направляется, и, говоря о трагедиях Есенина, мы имеем в виду прежде всего некий раритет, к судьбе поэта впрямую не относящийся, а потому — могущий быть предметом постороннего изучения.

Если же изучение состоится и перед окулярами встанет триада: эпатаж — Айседора — пьянство, — трагедия (как нечто просто более легкое, невещественное — как озон), я уверен, уступит им место.

Мне кажется, подразделение на трагедию человека и трагедию поэта — не только показатель (вполне объяснимого) бессилия, но и — в смысле постепенного отхода от истины — первая ступень разложения.

Известный писатель — это не только поэт или прозаик, но и действующее лицо нашей биографии.

Книги думают за меня.

Ум — не гениальность, а глупость — не идиотичность, то есть ум — не особый дар, а глупость — не явление ущерба.

*Для 24 мая.* Только умерший овладевает языком в совершенстве, ибо ему удается добиться взаимности. Он сам становится частью языка.

Гениальная картина (не только портрет) — встреча взглядов.

Страшнее всего — когда Парка не обрывает вашу нить, а просто выпускает из рук...

Конверт — *рукопись*, наложившая на себя *руки* (покаяние рукописи?).

*Пережив две смерти* — становишься триединым.

Пустота между строками — подстрочный перевод Бога.

1. Когда находишься в <чьей-то> тени — отбрасываешь *свет*.

2. Стихи — попытка избавиться от того, что некогда вдохнули в глину.

3. Все мы *гениальны* в свою последнюю секунду — о *случайности* любой смерти.

4. Аплодисменты — ладони отвешивают друг другу пощечины, предотвращая обморок <от слов>.

5. Выпуская белый сигаретный дым, некто расстается с сединою. Или — добавляет к голове завитков...

(1 — 5: 24 мая 96, на вечере памяти И. Б.)

Что бы *там* ни было, нам остается только догадываться о том, что впереди...

Слезы всегда неподвижны. Наоборот — лицо поднимается вверх.

Под конец ваше лицо напоминает отпечаток пальца — знак, что *следствие* наконец подходит к <концу>.

Комната входит в дверь...

Алиби ночи — в том, что она везде.

Если мысль верна, то, вне зависимости от своей *глубины*, — она всегда достигает *дна* (т. е. искомого).

(Утро?): значения слов <являются> раньше самих слов...

*Иуда* — звук <навек> вытянутых губ: *чтобы* предотвратить? запечатлеть? напомнить?

Видимо, *душа* и состоит только в одном эффекте своего присутствия. Т. е. когда <она> есть — того, во что она облекается, мы можем и не замечать.

*Ночь 13.07.96:*

Я нес перед собою свет —  
Фонарь ли? Нимб? Фитиль?  
Он был один, скрепляя две  
Моих руки, но был.  
И был лишь потому, что знал:  
Пока нас двое — ртуть  
Еще в дороге; не финал

И не пролог, но путь.  
 Но путь <исход> знаком лишь нам,  
 И на испуг чету  
 Не взять: каков ни есть — он там,  
 Без грима на свету.  
 ...Он будет первым: им нельзя  
 Не быть. Свеча? Киот?  
 Кто б ни был он. Кто б ни был я.  
 Кто б ни был Тот, Кто ждет.

Стихи не выбирают *времени*. Возможно — благодаря нашим несостоятельным представлениям о нем.

Для моих шестнадцати.

Не память — пророчество: страсть перелистывать главы;  
 И змеи кусают не хвост, а неузнанный тыл.  
 ...Не случай забыть остальное, но повод и право  
 Оставить на совести времени все, что забыл.  
 23.07.96.

Вера, надежда, любовь — скорее *логическая цепь*, вектор, нежели просто ряд.

У дней только сутки на то, чтоб исчезнуть, передавая  
 Даты и годы — как сверток в ладони да «прощай» в уста.  
 Ночью в постели даешь круги — типографский валик,  
 Только и смогший всосать, что жизнь с молоком листа.  
 29.07.96.

Горизонт — как вечное тире перед монологом.

Великому трудно не подражать, в этом — земной вариант его бессмертия.

На часах проходит несколько минут — так подводят бровь.

Для начала о [Венедикте] Ерофееве:

Его текст напоминает привычную суету вокруг работающего художника — подмастерья, «зрители», сам пейзаж...

«Поэма» — совершенно напрасно. Ерофеев — прежде всего живописец. Вот почему он старательно создает толпу вокруг себя («ангелы», alter ego, обращение к читателю etc.). Ему необходимы постоянные пейзажи, виды, натурщи (-цы) — не зря он и едет в электричке — она одновременно все это обеспечивает.

Конкуренция между поэтами и бардами (рок-поэтами etc.) вряд ли возможна. Почти смысл и бесспорно отличие поэзии — в том, что она обладает правом задать вопрос, не предлагая ответ. Слова же спетые — в принципе *утвердительно*. Одна из причин: уже с момента написания они принуждены к произнесению <себя> вслух, а устная речь едва ли не насильственно освобождает от пунктуации (в том числе и незримой)...

Лейб-журналист.

Потолок обуревают полосы:  
 Тени и желанье источать  
 Свет. Я был бы тих, но нету голоса,  
 Чтобы петь, а значит — чтоб молчать.  
 9.10.96.

1997

Потеря есть материя. Она  
 Сама предмет — поскольку вызывает  
 Из памяти предметы, высыпая  
 Шкатулку существительных до дна.

Белинский: банальность без примесей, самородок.

У Гомера (Гнедича): обладаемый; passive voice по-русски.

Ничто не затемняет для нас человека более двух вещей: его (гласных) страсти и его поведения в обществе, потому что и в том и в другом случае перед нами — смесь, не человек.

Для сочинения песен нужно быть примитивом.

Думаю, что поэзия, и вообще мелкое необязательное сочинительство, привлекли меня тем, что давали возможность выдать мысли, которые у меня были, за мысли, которых у меня никогда не было. Кроме того, стихотворная машина за счет размера и рифмы большей частью работала сама, и я чувствовал себя спокойно...

Благоговение дикаря перед черепахой: с обеих сторон необъяснимое.

Что случилось? Что сделалось в мире  
 Между фразой одной и другой?  
 Почему не становится шире  
 Поле зренья под бровной дугой?

Свобода — всегда итог длительной неволи. Не странно ли? Не одна ли это цепь?

Подобно нищим на заглохшем пире,  
 Мы радуемся тесноте явлений.  
 Но разве пошлость подбирает в мире  
 Не только то, что ей оставил гений?

Смерть — защитная реакция организма, такая же, как образование тромбов, кашель etc. Необратимость смерти сводится не к невозможности возратить умершему жизнь, а к невозможности вернуть тот *момент времени*, в который смерть наступила. Точно такая же необратимость сопутствует и образованию тромба, и кашлю. Не может быть, чтобы после кашля (или свертывания крови в ране) в организме не произошло изменений. Изменения в организме после смерти — только грубее и ярче выражены. Смерть, безусловно, принадлежит общему ряду «защитных» реакций организма — но выделяется из этого ряда потому, что мы не знаем следующего за нею процесса. Думаю, что процесс, естественно наблюдаемый после смерти, то есть разложение тела на химические элементы, — и есть «последующий». Всякий элемент подразумевает атомы и электроны, среди которых нет «живых» и «мертвых», а есть только более или менее сложные комбинации. Элементы разложившегося (погибшего) организма могут участвовать в создании новых организмов с таким же успехом, как и все остальные элементы мироздания. Если представлять себе это мироздание как бесконечное уравнение реакции, то символы «смерти» в таком уравнении приобретут смысл, совершенно равный смыслу символов «жизни».

«Блядь» по-славянски значит «болтун» — в том же ряду, что и «тать», «зять». Сейчас «блядь» соседствует со «швалью», «мразью», «дрянью». Истинно оскорбительный смысл русское слово получает вместе с женским родом.

Такты музыки разделяют время на непривычные ему единицы, и это одна из причин бессмертия музыки, а лучше сказать — ее отверженности.

Даже самые лучшие стихи Окуджавы ничего не могут изменить в его поэзии:

Поэту настоящему спасибо,  
 Руке его, безумию его  
 И голосу, когда, взлетев до хрипа,  
 Он неба достигает своего.

Есть разница в интонациях. Можно сказать «небо» или «Бог» — и это будет вычурно; можно сказать то же самое — и это вызовет ответное чувство, но можно не сказать ничего особенного — а все увидят и Бога, и небо. Как Мандельштам:

Нам остается только имя:  
 Чудесный звук, на долгий срок.  
 Прими ж ладонями моими  
 Пересыпаемый песок.

Государство основывается не на определенном складе ума, а на большинстве. Если бы шизофреников или слабоумных было большинство — у них определенно было бы и государство.

Мир не без подлых людей.

## 1998

Энергия, необходимая для разрыва связи, равна энергии, необходимой для ее образования: логически — чушь, о которой не стоит и говорить; химически — выдающееся открытие.

«Хомоцентрическая» иерархия наук: химия — биология — история. Последние разделы органической химии подводят к понятию о живой материи, биология развивает это понятие до разумной деятельности человека, история уже рассматривает последнюю как аксиому.

Философский шум.

Постулированием того, что человек сделан Богом «по своему образу и подобию», «снимаются» сразу два вопроса: 1) почему человек выглядит именно так; 2) как выглядит Бог.

Здесь мы, по-видимому, сталкиваемся с прообразом метода посредника, используемого гуманитарной мыслью. Обращает на себя внимание абсолютная бессодержательность (неинформативность) постулата.

Признание — это когда твое имя набирается более крупным шрифтом, чем название твоей книги.

*Глагол:* благоприпятствовать.

1999

**Рождение крестьянина**

Рождается один из тех, кто позже  
Согнет главу под рост дверной щели,  
Чьи руки как влитые примут вожжи,  
А голос, подчинившись, станет проще,  
Чем пенье трав, жужжание пчелы.  
Он будет знать без слов и выражений  
Значенье каждой части бытия,  
Усиленной десятком отражений  
В воде и небе, в стеклышках жилья.  
И слово «Русь», услышанное где-то,  
Не выделится для него среди  
Шуршанья поджигаемой газеты,  
Нытья машин, увязнувших в грязи,  
Раскатов приближающейся бури,  
Нелепых и беспечных матюгов,  
Дорожной пыли и манящей дури  
Цветов и знаков с голубых лугов.

Коленцы, август.



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ИГОРЬ ДЕДКОВ

\*

## НОВЫЙ ЦИКЛ РОССИЙСКИХ ИЛЛЮЗИЙ

*Из дневниковых записей 1985 — 1986 годов*

1986 год. Третье января.

**В**зял в поликлинике справку, что ехать в Индию можно<sup>1</sup>. А можно и не ехать, но тут словно ты заведенный и запущенный: заполняешь, пишешь, ходишь, просишь, носишь, но что-то я медлил, оттягивал удовольствие и лишь теперь, чтоб не стало совсем поздно, зашевелился. А в чем дело? — спросить бы себя. А легкости нет, вот в чем! Легкости, чтоб побросать все мигом, накануне, в чемодан и двинуться! А тут надумаешься, *что* бросать, в чем там ходить, и все несчастье, что не найдешь, не забежишь в магазин платья, чтоб сразу взять все нужное, а — набегаешься, нахлопочешься, а то и накланяешься, если сильно прижмет, чтоб костюмчик какой подходящий, плащик, туфли такие-сякие устроили! — вот где тоска, вот где выворотень какой-то жизни, нелепость ее и глупство, как сказали бы сябры, если не путаю.

Да новость ли это?

Вот новость доподлинная и чаемая: завтра пленум обкома партии, ожидается смещение Баландина и Горячева<sup>2</sup>. То-то народ будет дивиться: две недели назад лучшие люди партийной организации области на своей отчетно-выборной конференции всех местных вождей *оставили* на местах, и вдруг такой фокус: вместо них — новые или полуновые лица! И никто — вот долгожданная гласность! — не удосужится через газету хотя бы объяснить: почему так? что произошло за эти две недели? какие новые факты обнаружались? и почему не там, где было бы самое-самое *место*, не на конференции?

Все, как всегда, в тумане, но все равно хорошо. Наш всеобъясняющий, почтительнейший к партийным чинам Владимир Григорьевич, лауреат новый, только что обнародованный<sup>3</sup>, как-то выйдет из щекотливого положения? — хотел бы я знать? Но все одно: объяснит, и мы поймем, что все идет как надо и Баландин пятнадцать, что ли, лет правил с нарастающим хамством, потому что так нужно было стране, социализму и всем нам купно и порознь, и все его прихвостни были с ним и вокруг тоже по высшей государственной необходимости, которая, будучи познанной, и есть синоним свободы!

Сидит, должно быть, дома, дожидается с нетерпением завтрашнего дня, уже сейчас готовится объяснять нам, грешным, как оно все хорошо и правильно было вчера и как еще правильнее стало сегодня: то есть живем при разных стадиях правильности, при ленинской, сталинской и так далее. Таков, скажут нам, закон развития!

---

Окончание. Начало см. «Новый мир», № 11 с. г.

Публикация и примечания Т. Ф. ДЕДКОВОЙ.

<sup>1</sup> Планировалась поездка Дедкова в Индию в составе группы писателей для чтения лекций по советской литературе.

<sup>2</sup> Баландин Ю. Н. — первый секретарь Костромского обкома КПСС; Горячев Г. А. — председатель Костромского облисполкома в те годы.

<sup>3</sup> В. Г. Корнилов был удостоен Государственной премии им. М. Горького.

Это не важно, граждане, что жизнь у вас одна, жизнь ваша — бесконечно малая величина, едва узримая, если смотреть с высоты упомянутой необходимости, и это, граждане, нормально!

Эка раскипятился Михаил Лазаревич Нольман<sup>4</sup>, прочтя мою книжку о Зальгине: нет-нет, он не согласен насчет «вариантов», это все *утопии* и продолжение утопий, а торжествовала «равнодействующая» исторических сил, то есть нечто единственно возможное. Мне показалось, что он несколько испугался самой мысли о возможности другого варианта исторического пути, самого *допущения* этой, по-моему, освобождающей наше сознание мысли. Весь смысл — не в «переигровке» же исторических эндшпилей, а в этом «допущении», обращенном в сегодняшний день: не отдавайте, не вручайте право на историческое творчество кому-то, согласно чинам, амбициям и присвоенной государственной силе, помните, что не за тем разгорелась революция, чтобы жизнь шла под старую дудку властвующих, что социализм под нее не пляшет. Одежды можно пошить какие хочешь, и звезды чтоб, и красные банты, и кожанки, и «духом окрепнем в борьбе», и буденовки, и красные косынки, и слезами зальемся от умиления и разученных наизусть воспоминаний, но это будет всего лишь карнавал, и Маркес, с отрадой наблюдающий кубинский вариант социализма (с «карнавалом!»), просто не подозревает, насколько изощреннее наш собственный карнавал!

Боже, куда ускользают наши дни, да ведь точно-точнехонько, ускользают — песок сквозь пальцы, и ведь не спиной к будущему стоишь, а непременно в будущее смотришь, и чем больше о нем думаешь, тем быстрее оно приближается, тобой же невзначай поторапливаемое. Вот в чем мне эта Индия — помеха, в делах моих, в лучшей жизни моей — в работе, спокойной, каждодневной, неперебиваемой, когда мучаешься, себя проклинаешь, но действительно движешься, живешь, потому что хоть что-нибудь да придумаешь свое, и оттого лучшее вспыхивает самоощущение: не зазря, не напрасно, прорвалось ведь словечко, явилось, выговорилось.

Исполнилось шесть лет ввода наших войск в Афганистан (Афган — так говорят в народе); для подтверждения лозунга «гласности» надо было бы назвать число наших потерь (убитых и раненых) и объяснить, благодаря чьим ошибкам, неверным прогнозам, неточным сведениям, недалёковидным расчетам мы оказались втянутыми в эту — оплачиваемую молодыми жизнями — авантюру? После такого объяснения продолжение этой траты народной крови стало бы невозможным.

На съезде писателей на эту тему — ни слова, ни вздоха, ни намека<sup>5</sup>. Самые смелые речи против проекта о повороте северных рек, но в сравнении с афганской проблемой это не смелость, это абсолютно лишённое риска занятие! Люди, которым можно рискнуть (обеспечены, имена их «изъять» из обращения, из литературы трудно и так далее), допущенные к трибуне, мнящие себя «народными заступниками», все-таки боятся, и сильно, и невосстановимо!

12 января.

Мне сказали, что звонили из обкома (Ермаков), просили к понедельнику представить обязательства костромских писателей на какой-то срок. Придется завтра, в понедельник, объяснить, что этого не было и не будет. Не новый ли секретарь по идеологии начал действовать?

На наше собрание, посвященное итогам писательского съезда, Корнилов зачем-то (для поддержки?) пригласил полковника в отставке Лаврова. Что-то о нем я записывал прежде; он ныне председатель совета ветеранов и возглавля-

<sup>4</sup> Нольман М. Л. — писатель, профессор Костромского педагогического института им. Н. А. Некрасова в те годы.

<sup>5</sup> Шестой съезд писателей РСФСР прошел 11 — 14 декабря 1985 года. Дедков был его делегатом.



ет на всех площадных праздниках колонну участников войны, выступая впереди в парадном голубоватом мундире ВВС, грудь в блеске орденов-медалей, сам высок, импозантен, в бороде, взгляд орлиный. Во время войны служил на аэродромах по техническому обеспечению полетов, за аса себя не выдает, но активен, любит говорить речи, обличает особенно (задним, разумеется, числом) брежневские времена и так далее. На наше собрание опоздал, но слово успел вставить: о том, как перечитывал недавно стенограмму 18 съезда партии, как много нашел там поучительного, особенно по кадровому вопросу, и тут-то и напомнил нам, что «кадры решают все» и что «писатели — инженеры человеческих душ», а начал с невнятного рассуждения о песнях, из которых ныне без зазрения совести выбрасывают слова. Это Корнилов позвал сталинского сокола, и сокол прилетел. Представляю, какой разгорелся бы пожар, вспыхни при нем антисталинская спичка. А тут она уж отгорела, потому что речь евтушенковскую про «незавещанного наследника» Ленина<sup>6</sup> я пересказал еще до Лаврова.

Прислал книжку Виктор Петрович Астафьев: получил мои и тотчас откликнулся. Любопытно мне, как отнесется к моему письму и книжке Распутин: что-то существенное тут должно проявиться, прояснится насчет не наших взаимных отношений, а чего-то большего, коренного, касающегося и его личных качеств, и его сегодняшних страстей и настроений; поглядим.

В местных властях — перемена: Баландина взяла в Москву заместителем председателя Агрокомплекса СССР. Я было подумал: повышение, но сведущие люди говорят, что взяли «на кадры», а это явное понижение. Тем не менее — не сняли же! и преемника подбирал себе он сам: изведавшего все лабиринты власти районного и губернского масштаба — Торопова. Откуда быть переменам? Торопов и нынешний «идеолог» Малышев в свое время рука об руку работали в Островском райкоме партии, теперь они поднялись на новую высоту. Миша Пьяных пишет о «тихой революции»; так и выйдем с этими детскими иллюзиями<sup>7</sup>. Выработано столько взаимозаменяемых кадров, что они надолго обеспечат «статус-кво», обновляемый не более чем мебелью — старая комната. Тем не менее — страна в ожидании. Самое острое и стоящее в речи Евтушенко в газеты не попало, зато вдосталь обмусолено по западному радио. Наши идеологи уже давно предпочитают этот вариант более естественному и честному, не понимая, что снова и снова обнаруживают страх перед собственным народом и его мыслью. Кажется, наши идеологи сделали за последние двадцать лет (да и в 30 — 50-е годы тоже потрудились изрядно) все, чтобы социализм как система нравственных и социальных ценностей был лишен привлекательности и опрощен, опроизирован и предстал перед миром в усеченном виде, как «реальный», то есть чуть ли не как единственно возможный, единственно посильный человеку и человечеству, а прежде всего, нашему народу. Одно дело: дом — в проекте и другое: реальный, выстроенный дом; и при этом делаем вид, что *иным* этот дом быть не может, что это единственный вариант и выбора не было, нет и не будет. Слово «реальный», если не обращать внимания на его мужественный оттенок, означает лишь одно: принимайте все как есть, примиряйтесь, другого (это и твои вздорные идеалы, Миша, и ваши попранные, Александр Константинович Воронский) не будет, не дождетесь, и что самое важное: не мешайте нам! не путайтесь под ногами! Иначе — наше могучее великое государство как-нибудь с вами справится! И не вздрогнет наш локомотив, и не зазвенит хрусталь на ваших столах, не качнется лампа, когда пискнет, скрипнет под колесами песчинка чьей-то опрометчивой, неблагоприятной жизни.

<sup>6</sup> Выступление Е. А. Евтушенко на Шестом съезде писателей РСФСР («Литературная газета», 1985, 14 дек.).

<sup>7</sup> Пьяных М. Ф. — кандидат филологических наук, доцент, автор книг и многих статей о русских поэтах XX века, друг Дедкова.

«Комсомолка» (Инна Руденко) опять пишет о судьбе тех, кто вернулся из Афганистана живым. Если верить Руденко, они воевали там за «чистоту» революции, а дома наталкиваются на всякую ложь, несправедливость, и им приходит в голову, что нужно навести порядок, напомнить о «чистоте». Тут все вызывает понимание и сочувствие, кроме исходного пункта, самого исходного: насчет той, их революции.

Вот приходят к вам в дом сильные, вооруженные люди, и на дворе их толпится много, и на улице, и по радио они говорят, и с телеэкрана, и газеты заполонили, и вот приходят на ваш порог, садятся за стол и говорят — через переводчика: неправильно живете, не те обычаи, Бог не тот, не так думаете, не туда смотрите, не те портреты читаете, а надо бы давно понять, что старший сын ваш прав и учит вас верно и надо идти за ним следом, а всем остальным — пора подчиниться и жить — по-новому, иначе добра не ждите. И это — принесенная «правда» — уже правда, и чистота, и революция? Правда, даже если она трижды и четырежды — правда, но ходит рука об руку с силой и оружием, с чужим языком, с чужими богами, — разве она не растворяется в самом способе своего нового существования — до исчезновения? Хотя бы потому, что сила, и особенно сила оружия, сила государства, всегда *виднее* всего остального, даже главного и главнейшего, и разглядеть это главное — а уцелело ли оно, не слилось ли, не подчинились ли? — все труднее и невозможнее!

Медленно, без особого рвения собираю бумажки для Индии; качусь, как шар по наклонному желобу.

Прочел книжку уругвайского писателя Эдуардо Галеано «Дни и ночи любви и войны»: нечто похожее на дневник, хроника убийств, пыток, хищений, политического террора и любовных утех; какая-то выравнивающая то и это натуралистическая откровенность, часто жестокая. Чистый свет оставлен, остается в детстве, с поправкой на все тот же инстинкт, который вроде бы нуждается в проговаривании без пропусков и еще остается — в работе, в издании газеты, журнала, в написании книги, в людях, соединенных такой бесстрашной работой, а она поистине требует мужества и бесстрашия, потому что тот пресс, под который она попала, то изничтожение и на нас, кое-что ведающих, производит несравненное впечатление: это и есть подлинный прием в писатели, в журналисты. Правда, сам тип писателя, проступающий в книге, для нас странен: политический скиталец, человек не одной страны, а целого континента — Латинской Америки, «политический цыган», но не добровольный, гонимый, но тем интереснее как далекий, но понятный человеческий опыт.

24.1.86.

Взгляд на Рихарда Зорге. Преподаватель в радиоклубе, где занимается Никита, рассказывал, что Р. Зорге среди наших разведчиков-радивистов первый по количеству переданных знаков. Он где-то, где учился, видел стенд о наших разведчиках, и там под каждым портретом было указано число знаков.

Зорге передавал больше всех вынужденно — ему не верили, а чем больше передаешь, тем быстрее попадешься. Так и было. Он передавал документы полностью. Больше, дольше всех.

Все не в счет!

24 марта.

Третий день, как вернулся из Москвы. В пятницу, 21-го, в одиннадцать вечера должны были вылететь в Дели, но оказалось, что визы нам не даны. И я благополучно в тот же вечер отбыл поездом домой. Сказано, что улетим не ранее очередной пятницы. Оставив у своих тяжеленный чемодан с рубашками, легкими брюками, тремя бутылками водки и подарочными книгами, я вернулся домой налегке и был даже счастлив, что путешествие за три моря отложено. Возвращаться всегда лучше, чем уезжать. В Москве после бессонной железнодорожной ночи и длинного дня в разговорах и передвижениях я попал в пять

часов на телецентр, где до десяти «записывался» и «снимался» для передачи об Абрамове. Говорил этим девицам: снимите меня завтра с утра, я буду лучше соображать и лучше выглядеть, но они то ли спешили, то ли завтрашняя работа их не устраивала, и, я думаю, у нас мало что или вообще ничего хорошего не получилось. Запись шла со множеством помех и всяческих перерывов: то что-то случилось с электропитанием (или как это у них называется), то кто-то не вовремя заглядывал в студию, то чем-то гремели в коридоре, то кончалась пленка и так далее.

Наиболее важным московским делом стало обсуждение статьи<sup>8</sup> с Анастасьевым, Лазаревым, а потом, в присутствии еще и Осетрова, с Козьминым<sup>9</sup>. В итоге пока статья движется без потерь, даже с усилением за счет включения абзаца из публикации бондаревских ответов на вопросы из газеты «Советская Россия» за 11 октября прошлого года.

В «Вопросах литературы» Кацева<sup>10</sup> продемонстрировала «Нойес дойчланд» с отчетом о похоронах Пальме (полторы полосы в отличие от наших стандартных прокочевавших по всем газетам двухсот строк) и с 36-ю фотографиями с Хонеккером. Оказывается, этот полированный немец очень любит фотографироваться, и газеты, ему подвластные, это учитьвают.

Скоро месяц, как состоялся Двадцать седьмой съезд партии. Наиболее интересными его материалами являются отчетный доклад и речи Лигачева и Ельцина. По масштабности и демократизму съезд уступает Двадцать второму. И по значению — если не наберет в ближайшее время — тоже. Критицизм в докладе и некоторых речах получил какой-то благодушный отклик. Съезд еще шел, а им восхищались сами делегаты по радио и телевидению. Свои достоинства лучше как бы не «осознавать», не называть, здесь же — была невероятная поспешность в осознании. Опыт показывает, что превознесение происходящего на высоком уровне (съездов и тому подобного) — своего рода норма, и в этом смысле новизны никакой нет. Новизну следовало бы замечать в интонациях и акцентах, но и акценты можно расценить как обычное колебание флюгера. Критика в почете — будем славить критику. Отрезвляющее воздействие на всех, кто связывал с этим событием чрезмерные надежды, должен был оказать лигачевский окрик по поводу неназванных выступлений «Правды» и других неназванных органов печати. Волгоградский секретарь обкома процитировал одно из читательских писем, опубликованных в «Правде» (речь там шла о «вязком», «инертном» слое партийно-административном, который ни на что живое не способен), и тем самым обнаружил знакомое раздражение «аппаратчиков», партийной бюрократии, сгубившей в свое время Хрущева. Чрезвычайно неприятным было и выступление от работников театра ленинградского Игоря Горбачева: оно было выдержано в духе 63-го года, когда разжигали пламень идеологической борьбы. Словом, пора от иллюзий избавиться окончательно: чудес не бывает, и школа — та же, и пьеса, в сущности, старая. А главное: попржнему партия, ее руководящий аппарат, именно аппарат, воспринимают себя, осознают, именуют и славят как некий патронат, патронаж, как благодетелей, а от всех прочих, от большинства ждут послушания, подчинения, участия в намеченных работах и мероприятиях; мы все — ведомые и на большее рассчитывать не должны; они знают, а мы следом за ними, они понимают, а мы — за ними, истина принадлежит им, и это необходимо затвердить. Приходит к нам в Союз на собрание новый секретарь по идеологии Малышев, быв-

<sup>8</sup> В журнале «Вопросы литературы» готовилась к публикации рецензия Дедкова «Перед зеркалом, или Страдания немолодого героя» на роман Ю. В. Бондарева «Игра». Рецензия напечатана в № 7 за 1986 год.

<sup>9</sup> Анастасьев Н. А. — член редколлегии, Лазарев Л. И. и Осетров Е. И. — заместители главного редактора, Козьмин М. Б. — главный редактор журнала «Вопросы литературы».

<sup>10</sup> Кацева Е. А. — в 80-е годы член редколлегии журнала «Вопросы литературы».

ший первый секретарь Островского райкома партии, и он — заведомо, непонятно, каким мистическим образом, — лучше нас всех знает и понимает не только хозяйственные дела, но и задачи литературы, и пути ее движения и готов нас поправлять, направлять. Выступая в театре, он вместо «постановок» говорит: «поставок», и это звучит в таком контексте: увеличить число «поставок» спектаклей.

Баландин оставлен в членах Центрального Комитета, и это тоже заставляет задуматься. Якобы, отъезжая, Баландин сказал (шоферу): вот был генерал-губернатором, а ставят — писарем (новая должность Баландина — заместитель председателя Агропрома СССР, вроде бы по кадрам).

Апрель сместился в март, и первые пятнадцать дней вполне можно было спутать. Сейчас похолодало, и ехать мне никуда не хочется.

4 апреля.

Опять уезжал — на день рождения мамы, и вчера вернулся автобусом. Окончательно решилось насчет Индии. Если верить Мариам Львовне Салганик, консультанту иностранной комиссии (по Индии), то повинно в случившейся неразберихе с нашим приглашением советское посольство в Дели. Теперь поедем поздней осенью, если все будет хорошо. Сейчас ехать поздновато: там жарко, и всякое промедление сулит еще большую жару. В сущности, я рад, что так случилось: на душе стало много легче, и снова есть возможность нормально работать. Индийский гость лучше татарина.

Теперь буду заниматься Виталием Семиным.

В рецензии на спектакль в театре Марка Захарова «Диктатура совести» (автор пьесы Михаил Шатров) Свободин в «Литгазете» пишет о том, что «наше общество переживает будоражащее время перемен» (2 апреля). Об этом же самом пишут и говорят (по телевидению) без конца; восхищаться начали делегаты съезда еще в дни заседаний. Не терпелось и не терпится *назвать*, какое замечательное время настало. Так бывает и в плохой литературе: автор без конца поясняет, что герой что-то сказал «с любовью», «искренне», «с глубоким чувством» и тому подобное. Автор не верит, что мы сами без его помощи почувствуем эту искренность и любовь. Говорим ли мы в юности, как хороша наша юность, или в молодости — как она прекрасна? Когда спешат *назвать*, то это знак неблагополучия. В 56 — 62-м годах были ли в ходу подобные восторги? Чуть позднее стали говорить о «великом десятилетии», но до этого — самовосхищения, по-моему, не было. В одном случае — плохая литература, в другом — плохая история и плохая политика. Когда живут в полную силу, то не спешат определять свое время и свои дела. То есть — не до этого. Достаточно самого факта такой, а не иной жизни. В литературе достаточно изображения истинно художественного.

Необычна речь Родиона Щедрина на съезде композиторов: критика комсомольского начальства, заместителя министра культуры, но главное — помпезных многолюдных торжественных концертов.

Звонила московский корреспондент болгарской газеты «Народна култура», предлагая принять участие в «круглом столе» литературных критиков, посвященном «Пожару» Распутина, «Печальному детективу» Астафьева и «Фуку» Евтушенко. Я отказался, тем более что заседание назначено на 10 апреля.

Получил книгу от Крутиковой-Абрамовой<sup>11</sup>. Астафьев прислал «Записки» Басаргина<sup>12</sup>.

Статья о Бондареве перемещена под давлением внередакционных кругов на август. Лишь бы прошла — подождем!

<sup>11</sup> Абрамов Федор. Чем живем-кормимся. Очерки. Статьи. Воспоминания. Литературные портреты. Заметки. Размышления. Беседы. Интервью. Составитель Л. В. Крутикова. Л., 1986.

<sup>12</sup> Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Восточно-Сибирское издательство, 1986.

Наткнулся у Хлебникова на прекрасные строки: «А пока, матери, Унесите своих детей, Если покажется где-нибудь государство. Юноши, скачите и прячьтесь в пещеры И в глубь моря, Если увидите где-нибудь государство» («Воззвание председателей земного шара»).

Сколько же человек бывает свободным? Девять месяцев в чреве матери? Наше государство амбициозно и вездесуще; ему хочется присутствовать в жизни человека как можно больше и неотвратимее, чтобы человек не переставал ощущать, как государство двумя железными пальцами держит его за голову, поворачивая туда-сюда. Отпускает под старость, когда человек сам автоматически повторяет все заученные маневры, твердит все те же правила.

В «Памятниках отечества» (1985, № 2) прочел маленькую статью Распутина о «Слове». Думаю, что Распутин увлекается, преувеличивая роль «Слова». В таком же духе преувеличивают роль Пушкина, не зная, какие бы еще слова произнести в его честь. Нашу «национальную духовность» Распутин возводит к «Слову», Пушкину и Достоевскому. Толстому места не находится. И все это на удивление произносится жестко. Национализм — как умственная болезнь, патриотизм — один из симптомов. И отчего это многие наши писатели ударились в риторику и все ищут и ищут, на что бы растратить побольше прекраснотушных слов?

Лев Толстой для них слишком свободный художник и мыслитель.

#### 11.5.86.

Струение воздуха (над землей, когда безветрие и жарко). Струение человека. Помаши-ка ладонью.

Кто-то помашет ладонью.

Хотел написать, что можно жить на три (пять и т. д.) счета, но подумал, что это грамматически неправильно. Правильно: какое-нибудь гимнастическое упражнение сделать на три счета: раз, два, три. Я же хотел о другом: прихожу в контору и живу по закону конторы (один счет). Но в пределах той же конторы продолжаю жить согласно своей человеческой сущности — иногда по крайней мере (другой счет). И опять же, в тех же служебных границах вспоминаю о своей партийной принадлежности, вернее, о внешних признаках принадлежности и — при надобности — демонстрирую их (третий счет).

Тут пробивается схематизм; к тому же про это же могут сказать, что проще называть такое — ролями. Одна, другая, третья, и — вперевивку, разом, в смеси. И эти три и еще сколько угодно ролей — бывает же, попадают великие лицедеи на безвестных подмостках. Но я — не про актерские способности — про три (и тридцать три) счета в противоположность одному.

Подразумевая под ним — одним — «правильный» счет. Следование ему — оставим пока в стороне саму проблему «правильности» — опирается — должно же на что-то опираться, не иначе, — на неосознанную надежду на какую-то поддержку, — что воздастся где-то в конечном итоге жизни или (за ее пределами?).

В Афганистане Министерство государственной информации = Министерству государственной безопасности.

Как совместить: профессор Минин, руководитель Московского камерного хора, много и красиво говорил по ТВ о музыке, о народных ее истоках, о памяти на прошлое и тому подобном, — и в том же контексте об Александре Матросове как о доказательстве живучести русской души.

Магазин под горой, на волжском откосе: «Мертвые — живым»<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> В Костроме, в торговых рядах, был специальный продуктовый магазин, который обслуживал поминки, что и послужило поводом для горькой шутки.

14 мая.

Я спрашиваю, какое число, а мне хором отвечают: пора бы знать. Сегодня нашему Володе 26 лет, он в командировке в Даугавпилсе. Я отвечаю, что я чту цифру двадцать семь, а двадцать шесть — тусклое, промежуточное число, хотя какой-то час назад я чуть было не расстроился, припомнив, как давно это было и сколько нам самим было тогда лет. Ничего не поделаешь, хоть залейся слезами. Когда поднимаешься, вернее, лезешь по лестнице — какой-нибудь пожарной, — то нельзя смотреть вниз, нужно только вперед и вверх. В какую-то пору, вероятно, есть смысл отводить глаза от прошлого и смотреть вперед, в будущее, хотя там остается все меньше. Нет, это неверно, я думал об этом иначе: думай о той работе, что делаешь, — и печаль отвяжется. Да, да, всего-навсего — об очередной своей статье и еще о той, что будет после, — и этого достаточно... Но, говоря о сосредоточенности на работе, я имел в виду спасение от иных мыслей и от лицемерия бездны.

Сегодня по ТВ выступал Горбачев: речь шла о катастрофе на Чернобыльской АЭС под Киевом. Видимо, то, чего боялись, удалось предотвратить, стало полегче, и Горбачев смог выступить. Впервые (беда случилась 26 апреля) было выражено правительственное соболезнование потерпевшим и семьям погибших. Впервые с 26 числа были названы имена тех двух, что погибли сразу во время взрыва. Молчали долго, твердили: двое, двое, а не тысячи, а обходились без имен: не по-людски. На сегодняшний день умерло еще семеро, и в госпиталях с лучевой болезнью — 299 человек. Произошла, может быть, миллионная часть того, что случилось бы в результате ядерного конфликта, а какова паника, каковы последствия для населения и хозяйства! Речь Горбачева была сдержанной и разумной. Но есть пункты, в которых мы упорствуем: что бы ни делали, все правильно и хорошо. Если что-нибудь и не хорошо, то это можно будет признать как-нибудь потом, много позже. Почему невозможной оказалась фраза о том, что, пожалуй, мы не лучшим образом составили наши первые извещения о катастрофе, скрыв или затушевав серьезность случившегося и объективные данные об опасности. Закон известен всем: чем меньше информации, тем чудовищнее слухи. Но мало ли известных законов, которыми пренебрегают, прекрасно сознавая, что все видят это пренебрежение, и спокойно, не дрогнув, глядя в глаза этим *всем*. Всем этим умникам и детям, дожившим до седых волос. (О детях в 50 хорошо в письмах Семина.)

А рукопись Семина я отослал с неделю назад со своей вступительной статьей. Вышло много (455 страниц), а изд-во хочет ограничиться 16-ю листами.

Отправил заявку в «Советский писатель» на переиздание книжки о Быкове. Все-таки лауреат свежеепеченный Ленинской премии, а формальные основания важнее всех прочих<sup>14</sup>.

Сохраняется чувство, что литература остановилась. И писать — не о чем, не о ком. Хотят ускорять социальный прогресс и совершать другие чудеса, не трогая сферы идей и отрезав себя от прошлого, не понимая, что энергия очищения и нравственного расчета есть одновременно величайшая энергия созидания и инициативы, направленной в будущее.

В «Неве» — документальная повесть Юрия Помпеева о Кирове «Хочется жить и жить» (№ 3, 4). В главе о 1 декабря 1934 года рассказано, что за время отсутствия Кирова (сначала вместе со Сталиным и Ждановым в Сочи работал над замечаниями к конспектам учебников по истории, затем по поручению Сталина ездил в Казахстан) его кабинет в Смольном переменил местоположение, сместившись от главного входа в левое крыло здания. Так и написано: «Пока Сергей Миронович отсутствовал, переменилось местоположение его кабинета в Смольном» (с. 34). Это заставляет предположить, что первый секретарь Ленинградского обкома, хозяин в Смольном, был не волен в выборе ком-

<sup>14</sup> Второе издание, точнее, новый вариант книги о Василе Быкове вышел в 1990 году под названием «Повесть о человеке, который выстоял».

наты для работы. Кабинет переместили, и все, а он подчиняется. Убили Кирова в половине пятого, когда в коридорах Смольного было много людей, но в том коридорчике левого крыла — как раз ни души, хотя там же помимо кабинета второго секретаря был и вход в столовую. Так вот — ни души, и охранник почему-то отстал: вроде бы заговорился с кем-то на втором этаже (а это третий). Когда люди выскочили из кабинета второго секретаря, услышав выстрел, то увидели в коридоре лежащего с папочкой (для бумаг) в руках Кирова и неподалеку бьющегося в истерике человека. Взять пистолет из его «расслабленной руки» было нетрудно; в кармане убийцы нашли записную книжку (подробностей насчет этой книжки у Помпеева нет) и пропуск в Смольный на имя Леонида Васильевича Николаева. Николаев охарактеризован автором как бывший служащий РКИ, «отщепенец», «обыватель и склочник», «исключенный из партии за карьеризм, слякотный, тщедушный человечиска», принадлежащий «к породе шептунов (это слово вразрядку), ненавидевших Кирова и все, что он олицетворял». И далее: «Было видно невооруженным глазом, что он психически болен, страдает манией преследования, на эти свойства недалекого, неудавшегося (!) человека и рассчитывал политический противник, вложивший в руки убийцы заряженный (!) револьвер» (39).

Очень все интересно; концы с концами сходятся плохо, но тем-то и интереснее. Упоминаются «противники-оппозиционеры». Говорится, что у «противников он вызывал прямо-таки животную ненависть: подумаешь, праведник» (39). Животная ненависть у политических противников, у оппозиции? И при чем тут «праведничество»? Праведничество раздражает неправедников, а они вовсе не обязательно в оппозиционерах. У политических оппонентов обычно находятся более веские причины для борьбы. Да и вообще эта дозволенная информация о трагическом событии должна быть хорошо рассчитана, но к какому выводу подталкивает нас этот расчет? Или — к двойному выводу: кому как нравится и кому как ближе?

В Норвегии к власти пришло социал-демократическое правительство во главе с женщиной. По нашему ТВ мелькнуло: стоят веселые, молодые женщины с цветами в окружении фоторепортеров. Комментатор промолчал, что в правительстве — семь женщин. Это я уже услышал по западному радио. Не та, выходит, информация. Информация — не та, когда подталкивает мысль в нежелательном направлении. Вполне можно задуматься над тем, как представлены женщины в наших высших органах власти.

26 мая.

Опять побывал в Москве: отвез в «Советский писатель» рукописи Семина (те, по которым работал), взял там сигнальный экземпляр своей книжки<sup>15</sup>; побывал в «Новом мире», «Вопросах литературы» и у Богомолова. Десятитысячный тираж книжки (по плану 20 тысяч) меня огорчил; никто заранее мне о такой возможности не сказал. «Разбогатеть» мне так и так не удастся, ничего не поделаешь. Зато книжка существует, и этого уже достаточно. А какая она, я пока думать не могу. Пока я надеюсь, что стыдиться мне нечего. Вычитал и отослал верстку антибондаревской статьи (планируется в седьмой номер). Если ее не постигнет судьба статьи о Трифонове, то мне есть чего ждать.

Сложнее обычного впечатления от встречи с Богомоловым. Что-то почти неуловимое было иначе, чем всегда. Не внешне, а в круге, затронутым разговором. Не в первый раз заметил совпадения некоторых выражений и фактов с письмами Бакланова. На этот раз: «сорок первый год» (в связи с катастрофой на АЭС)...

Я и прежде думал, что строго судить Быкова не все имеют право. Бакланов тоже не раз шел на компромиссы, и я помню это.

<sup>15</sup> Дедков Игорь. Живое лицо времени. Очерки прозы семидесятых — восьмидесятых. М., 1986.

Москва полна пестрых толков и слухов о Чернобыльской трагедии. Уже толкуют о диверсии и шпионе <...> Впрочем, наши костромские телевизионщики (то есть собкор по Костроме Женя Житков и его жена), разумеется, повторяя московское, говорят, что это — их ответ на несчастье с «Челленджером». Даже ходит анекдот, что в оперативном освещении драмы «Челленджера» советские газеты опередили американских коллег: объявили за трое суток до того, как это случилось.

2 июля: позавчера вечером, в воскресенье, вернулся автобусом со съезда<sup>16</sup>. Произошли некоторые события: я оказался избранным в правление СП СССР и в секретариат. В список правления я был включен заранее, в секретариат попал по предложению Бакланова. Выборы правления — тайные: против меня — 9 голосов. Женя Сидоров попал в секретариат по предложению Ваншенкина. Что-то во всем этом было приятное и неприятное. Напрасно пошел вслед (вместе) за Быковым и Баклановым на приеме за поперечный стол (для секретариата?). Переживал, что там оказался. Увидел вблизи Верченко — что-то жирное, большое, мясистое.

Все ближе осень и с нею — армия. Попадет сын в университет или не попадет, итог тот же: армейская униформа. До революции студентов брали в солдаты за провинность. В сегодняшнем нашпигованном ядерным оружием мире армию держат огромную, и никому из управляющих нашим государством не приходит в голову, что обществу и народу надо объяснять (и доказывать) и это: почему забирают в армию студентов?

На съезде я чувствовал себя хорошо и выступил на комиссии по критике, кажется, удачно. В первый вечер сидели в номере у Адамовича с Быковым и Распутиным. Еще один вечер у Оскоцкого: Быков и Брыль. Еще вечер у Оскоцкого: корреспондентка софийской «Народной культуры» брала у нас с Валентином интервью. Может быть, я и совершил ошибку, но вечером 28-го не пошел к Богомолу (поздно вернулся от Володи), хотя там должны были быть: Карпов, Поройков и Бакланов. Быков на приеме при мне заговорил с Вороновым (заведующий отделом культуры Цека) о том, что вот, дескать, вам редактор «Нового мира». Воцарилось неловкое молчание, и я, не выдержав, пробормотал с улыбкой, что это «сложный вопрос», и разговор свернул в сторону. Потом я себя ругал: какой тут «сложный вопрос», когда просто «нос не дорос». Но в оправдание себя подумал: а разве Карпов — в уровень Твардовскому? Я по крайней мере сделал бы все, чтобы приблизиться именно к этому уровню. Когда же в присутствии Баруздина, Видрашку, Бакланова и еще кого-то стали обсуждать, что меня нужно поставить на место Озерова<sup>17</sup>, подавшего в отставку по болезни, я гораздо удачнее дал понять, что отношусь ко всем этим разговорам как к чему-то «теоретическому», так как ни о чем подобном речи не шло, да и мне все эти должности — не с руки.

Вроде бы и статья об «Игре» увидит свет, хотя лучше подождать, пока не придет журнал. Статья может вызвать взрыв негодования бондаревских сторонников.

### 3.7.86.

Секретарь Союза — чушь какая-то. Несерьезно все это.

«Чудовищная лотерея поколений», — хотел я написать, думая о судьбе героев «Карьера» (В. Быков).

М. б., это и правомерно — так написать, все-таки исключительные обстоятельства.

<sup>16</sup> 28 июня — 1 июля в Москве состоялся Восьмой съезд Союза писателей СССР.

<sup>17</sup> Озеров В. М. — секретарь правления Союза писателей СССР.



Но, читая рукопись К. Щербакова (много о театре, о постановке классики — Островского, Чехова, Щедрина), я подумал, что он чересчур мрачно изображает (оценивает) ситуацию XIX века (70 — 90-е годы). Я понял, что была нормальная жизнь и так она и воспринималась изнутри.

5 июля.

Меня избрали одним из 62 секретарей Союза писателей СССР. Все это вместе, и мое избрание в частности, какая-то чепуха. С оторопью вспоминаю Верченко. Разворачиваясь, он даже толкнул меня за тем столом. Он занимает место на трех человек.

Шутливый разговор с Черниченко: «Квартира у вас хорошая?» — спрашивает он меня. «Средняя». — «А дача есть?» — «Нет». — «Машина есть?» — «Нет». — «Убеждения есть?» — «А это есть».

Убеждений всегда было вдоволь; вдосталь.

По телевидению показывают торжественное открытие игр Доброй воли. Нечто ослепительное, всеохватывающее, всеотражающее, многотысячное, пестрое и богатое. Это мы можем. Мы это всегда могли. Вспомни парады физкультурников при Сталине. Теперь мы можем это еще лучше. С живыми картинками во всю трибуну стадиона: «Три богатыря», к примеру. Никто не спрашивает, сколько это стоит, и никто не подумает об этом сообщить. Это и есть воля государства.

Наши дни проходят, а все это остается неподвижным.

Октябрьская революция представляется мне столь же фантастическим событием, как и полет американцев на Луну. Все это отодвигается, и начинаешь думать: а было ли?

Особенно трудно себе представить семнадцатый год начиная с февраля, когда ходишь по многолюдным улицам, среди спешащей толпы, снующих автомобилей, в магазинах. И, конечно, особенно летом.

Поистине мы терпеливый и покорный народ, и лишь наше искусство, наша литература выдают наше нетерпение и наше непокорство.

8.7.86.

На Лавровской звонили, было шесть вечера<sup>18</sup>. Что за праздник, он не знал. В звоне не было чистоты, и оборвался он с какой-то небрежностью. Все равно приятно, что звонят. Правда, ему мешало, что походило на то, как бьют в большую консервную банку. Не хватало уверенности, что то, во что били, колокол. Недостаток ощущался то ли металла, то ли удара и раската.

8.7.86.

Так все просто, садись и пиши: «Мы вступаем в жизнь внутренне свободными и раскованными, не признавая никакой слепой веры в авторитеты...» (К. Щербаков).

Ты не вспоминай себя, — сказал он себе и вдруг вспомнил — в рифму — на серой, рыхлой бумаге, — потрепанную, зачитанную Историю Векапече, насквозь прочерканную, продранную цветными карандашами (в четвертой главе). Что-то было манящее в ней, особенно там, где начиналась оппозиция, и хотелось перечитывать и перечитывать: так что же тебя там манило, юный друг?

Проступал захватывающий сюжет, и сердце настигалось каким-то глухим, но волнением...

---

<sup>18</sup> На улице Лавровской в Костроме стоит храм Иоанна Златоуста. В 1986 году в стране разрешили церковные колокольные звоны.

После просмотра «Огонька» 1939 года (тираж 300 000).

Можно было жить и всего этого не знать — не читать (газет и журналов, брошюр и школьных учебников), не слышать (радио, речей на собраниях), даже не видеть (портретов, лозунгов, флагов, военной формы), но все это вторгалось в жизнь каждого или почти каждого человека.

Ну а как они всё это читали?

Представляю себе, как Вл. Ив. Вернадский на досуге перелистывает этот журнал.

Чернобыль — одна из разновидностей полыни, а в Апокалипсисе: взойдет звезда Полынь, и воды рек станут горькими.

«Быть знаменитым некрасиво». Это что!

Быть богатым — вот что отвратительно и бесперспективно.

Наша литература помешалась на геройстве, почестях, чинах и богатстве.

Когда-то Чаплин сказал: я заработаю побольше и стану свободным. Наши художники слова заработали достаточно, но свободы не захотели.

23 июля.

Все вышенаписанное — после пастернаковской строки — пустая риторика: не в тон моему настроению, тому, о чем думаю, — ночная дребедень. Что толку обличать этих людей? Ты живешь по-своему — вот и живи. Тебя будут мерить по тебе, по твоим делам; другие тут ни при чем. Хорошо бы, если бы был Бог: человеку не хватает этой *высокой инстанции*. Этой *надежды*, что и будучи самым малым, самым беззащитным, и он — в счет, и он на что-то нужен, если всерьез ищет достойной и праведной жизни!

К чему я веду, к чему?

Бывают минуты, когда чувствуешь свое бессилие, будто натыкаешься на что-то твердое и неподвижное, и — не своротишь, и не объедешь. <...>

Ездил на первое заседание секретариата. Залыгина назначают редактором «Нового мира», и он предложил стать его первым заместителем. Сидели в кафе ЦДЛ, и Залыгин выяснял мои позиции. В этом выяснении мне понравилось не все: особенно некоторое противопоставление «русской» литературы (Астафьев, Распутин, Белов) всему остальному. После войны, сказал Залыгин, когда были Эренбург, Симонов, Казакевич, мне (ему) казалось, что русской литературы вообще нет, кончилась. Теперь она есть. Было поставлено что-то вроде условия: согласовывать предметы своих критических выступлений. Мелькнуло что-то недоброжелательное по адресу Бакланова как некоего знака, обозначения «противоположных» сил. Примирило меня обещание следовать традициям Твардовского и даже ввести в редколлегию кое-кого из новомировцев (в частности, Лакшина). И был обозначен критерий, также меня устраивающий: превыше всего — художественный уровень произведений.

Бакланова ставят на «Знамя». То ли правду он мне сказал, то ли любезность, что готов взять меня заместителем, но понимает, что мне лучше идти в «Новый мир», и он Залыгину об этом говорит.

Чует мое сердце, что все эти предложения-предположения в высшей степени сомнительны. Сейчас, после публикации в «Вопросах литературы» антибондаревской статьи, против меня поднимется высокая и темная критическая волна, и не дай Бог Бондареву прослышать о намерениях Залыгина! Тем более, что в разговоре со мной Залыгин признал, что питает на Бондарева известные надежды. Что ж, будет видно: хорошая статья дороже хорошей должности. Если Залыгин поддастся, то, значит, есть силы посильнее разных там принципов и добрых намерений.

После секретариата сидели в номере «Москвы» у Быкова и Гилевича, вместе с Лазаревым. Потом все вместе поехали на Белорусский вокзал. Бондарев

успел сказать Быкову, что статью Дедкова подстроил и инспирировал Лазарев. Мы посмеялись: инициатива была моя, и — давняя. Статью заказывал и вел Анастасьев.

На другой день ездил к Богомолу: жаль, но примирения с Быковым нет. Отсюда — повторы в разговорах, уличающих примерах. Богомол читал главу из романа: о том, как вскоре после конца войны бывшая чемпионка страны по толканию ядра, ныне госпитальная медсестра, пытается «соблазнить» двенадцатилетнего, целомудренного юношу, героя романа. Рассказывал также о другом своем герое — сначала сталинском охраннике, а потом генерале госбезопасности — Круподерове. Много интересного. Роман будет больше 40 листов. Приглашал заходить вместе с Тамарой.

25.7.86.

Очередные испытания нашей семьи на выживаемость и пригодность ко времени — подходят к концу.

Поставят ли меня заместителем Залыгина на «Новый мир» — под большим вопросом. <...> Зачем ехать в этот город? Чтобы ввязаться в эту противную, нечистую литературную борьбу, истратить на нее многие силы, втянуться в столичную круговерть — и лишиться нынешней своей свободы, своей независимости? Лишиться сосредоточенности: на работе, на семье?

В литературе считается только то, что ты написал. Все остальное — суета, речи, заседания, борьба за должности — в счет не идет.

Сюжет: где-то перед войной, в 37—38 гг., его обязали (это превосходит безмерно — «уговорили») сотрудничать с НКВД, т. е. сообщать сведения о руководителе организации (учреждения), где он тогда работал. Он хорошо относился к своему начальнику и ничего плохого не сообщал. Однако было давление, неприятные и тревожные минуты на этих тайных встречах: дома, в скверах, на кладбище, на стадионе. Война освободила от этого шпионства. Но на фронте к нему пришли с тем же предложением. На этот раз он отказался, сославшись на то, что и так честно на гражданке работал для них... После войны его вынудили к сотрудничеству снова. Особенно унижительны были для молодого человека эти тайные встречи.

Июль 53 года. Слезы освобождения.

Еще 15 лет, и снова те же сети.

В какой-то пьяной компании он слышит: «сексот», и ужасается: они знают, все знают!

А он никому не принес вреда: посредники, связные менялись, но формалистов было больше, чем ретивых псов.

Самая большая ложь государства —  
наличие привилегий,  
*отчуждение гражданских прав*, т. е. они — за нас решают; это же в ином ракурсе: «разделение труда»,  
*иерархия* не только должностей, но семей, социальных слоев.

*Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи*, — формула на удивление сбывшаяся, формула отчуждения ума, совести и чести, —

т. е. мы *передоверяем* государству, т. е. правящей силе, думать за нас и т. д.

В другой стране люди пикетируют ракетные базы, АЭС. У нас — ничего этого не нужно, т. к. верх всегда и наилучшим образом, т. е. самым разумным образом, выражает потребности низа, т. е. всех, кто ниже, т. е. всех нас.

**Вопросы 86-го года.**

1. Подотчетна ли армия народу?

2. Если да, то каким образом?
3. Если нет, то почему?
4. Если не народу, то кому же?
5. Если государству, то в какой мере государство воплощает народный интерес?

6. Если партии, то в какой мере тот интерес — ее интерес?

1. Каким образом народ контролирует органы КГБ?
2. Или народ не имеет на это права?
3. Или не имеет для этого органа власти или наблюдения?
4. Или сначала надо объяснить, что подразумеваем мы под «народом»?
5. То есть что такое народ?
6. Не определить ли сначала, что такое народ, который собирается «контролировать»?
7. Не превышаются ли (при любом определении) при этом права народа?
8. Повторяю, что такое народ?
9. Существует ли он?

1. Что такое народ?

2. Если вы об этом спрашиваете, значит, вы сомневаетесь, что он существует?

3. Не сомневаюсь, но надо бы уточнить.

4. Народ — это мы все вместе.

5. Но как выявить волю всех нас вместе?

6. Референдум.

7. Но вы говорите о контроле. Значит, народ должен иметь что-то, что способно контролировать.

8. А надо ли контролировать? Нужен ли такой орган? И нет ли уже существующих органов, достаточных для этой задачи?

9. Самый простой ответ, что все давно уже есть и беспокоиться нечего.

10. Не менее прост ответ, что, создав секретную организацию, народ должен держать ее в секрете и защищать ее секретность.

11. Но эта организация не более чем государственный комитет, т. е. министерство? И надо бы знать, во что оно обходится, каков его бюджет?

Надо написать вопросник из самых простых вопросов. Они должны исходить из здравого смысла, и только.

Разросшиеся безмерно права армии и госбезопасности.

Чем больше на их стороне прав, тем меньше прав соответственно — у народа.

Права не могут расти у тех и этих. У одних больше, у других — на столько же меньше.

Государство в существующих формах отвратительно. Оно норовит заполнить все пространство жизни, оно хочет сочиться сквозь поры.

Государство, сочащееся сквозь поры.

«Власть отвратительна, как руки брадобрея».

Государство занимает очень много места; ему не помешало бы потесниться; людям хочется дышать свободнее.

Сколько же мы прощаем нашей Конторе! А прощаем?

27 июля.

Сегодня, играя в футбол, повредил левую ногу. На неделе дважды ходил на корт — опять теннис лет через двадцать: большого же искусства я достигну.

Новостей из Москвы никаких; Кожинов в «Литгазете» ухитрился еще до выхода «Вопросов литературы» обругать мою статью (Стасик говорит, что «ВЛ» послали в «Литгазету» протест<sup>19</sup>).

Много читал в последние дни. Когда за что-то переживаешь, читать легче, чем писать. Хотя и пытаюсь писать (продолжать прошлогоднее) о нашем Левиафане. Смесь воспоминаний, домысла, публицистики.

Смотрел телерепортаж о пребывании Горбачева во Владивостоке; на этот раз беседовал он с людьми (с толпой, размещенной поодаль; и как столбы — высокие, примелькавшиеся телохранители) получше, поестественнее, чем обычно. И вдруг после этих кадров и роскошного военно-морского парада-представления отчетливо подумалось: слишком много места занимает в нашей жизни государство и все норовит еще больше оттеснить людей. Оно хочет быть главным в человеческой жизни, а надо бы ему держаться поскромнее, «позастенчивее», не лезть в душу и судьбу человека с такой безапелляционной убежденностью в своем праве. Оно хочет быть в центре нашего внимания и более всего стремится — подчинять и властвовать. «Умаляться», то есть «отмирать» оно и не думает.

После семнадцатого года сфера жизни, заполненная государством, росла беспрепятственно, не зная преград и удержу. В значительной мере это достигалось благодаря практическому сращиванию государства и партии, то есть подчинения государства партийной власти и превращению партии в первейшую государственную силу.

Прочел книгу о Бехтерева<sup>20</sup>. Автор — врач, преподаватель медицинского института, это слишком заметно, добросовестность (профессиональная) очень заметна, и, по сути, нет попытки понять целостно личность Бехтерева и его философию. Но все равно ощущение масштабности личности сохранено, передано, и многое, говорящее о нашем прошлом (о студенчестве, о достоинстве русской профессуры, об инициативности и независимости ее лучших, крупнейших представителей), волнует до слез. Как же много мы утратили — хотя бы в той же гласности, с какой обсуждались даже до Февраля важнейшие проблемы состояния и здоровья народа, общества, их прав и так далее.

Душа, говорят, кровью обливается. Не знаю, кровью ли, но бывают мгновения, что-то в грудной клетке становится горько и тепло, и все заполняется этой горькой, щемящей теплотой.

8 сентября.

О статье было слышно — звонили еще раз Богомолов, потом Бакланов, Можаяев, писали Адамович, Брыль, Михаил Пархомов из Киева, Тимур Зульфикаров из Москвы и так далее.

26 августа в восемь утра с Томой встречали на пристани Гранина. Они с женой Риммой Михайловной на теплоходе «Александр Ульянов» плыли от Ленинграда до Плеса и назад — через Кижы и т. д. Мне удалось взять в «Молодом ленинце» черную «Волгу», и мы — а шел дождик — проехали по городу, побывали в Ипатии, заехали к нам. Вроде бы приняли мы наших гостей хорошо. Гранин был простужен, да и Римма Михайловна чувствовала себя неважно, — вот машина и выручила. Разговаривали хорошо, Гранину антибондаревская статья понравилась. По поводу недавнего выступления «Правды» по Черкассам<sup>21</sup> Гранин сказал, что «внутренняя борьба», происходящая у нас, его

<sup>19</sup> С. С. Лесневский, литературовед, литературный критик. «Литературная газета» не опубликовала этот протест. Журнал «Вопросы литературы» напечатал «Письмо в редакцию „Литературной газеты“» в девятом номере за 1986 год. Редколлегия писала, что В. Кожинов «судит о том, чего он еще не мог прочитать: июльский номер „Вопросов литературы“ только печатается, а когда В. Кожинов писал свою заметку, сигнальный номер журнала не был подписан в свет».

<sup>20</sup> Н и к и ф о р о в А. Бехтерев. М., «Молодая гвардия», 1986 («ЖЗЛ»).

<sup>21</sup> О д и н е ц М. Заботясь о чести мундира. Как в Черкассах реагировали на критику. — «Правда», 1986, 24 авг.

волнует больше международной политики. Рассказывал подробности, связанные с черкасской историей. В июле Гранины, как всегда, были в Дубултах, там же отдыхал Анатолий Софронов: уже после того, как перестал быть редактором «Огонька». Новое положение Софронова, видимо, смущало; видимо, с ним стали не столь предупредительно здороваться, и вот однажды он при встрече по пути в столовую — из столовой сказал Гранину: «Почему вы, Даниил Александрович, со мной не здороваетесь?» — «А я с вами никогда не здоровался», — ответил Гранин. «Ах так, — сказал Софронов с некоторым облегчением, — а то теперь со мной многие перестают здороваться, вот я и подумал!» На том и расстались. «И что же? — спросил я Гранина. — Вы стали с ним теперь здороваться?» — «Зачем же?! — ответил Гранин. — Все осталось по-старому».

Сожалею, что не расспросил Гранина о его новой повести (о Тимофееве-Ресовском), которая пойдет в «Новом мире»<sup>22</sup> и о которой чуть позже хорошо отозвался по телефону Залыгин. Когда были в Музее изобразительных искусств и смотрели в запасниках Честнякова, я спросил, имел ли Гранин кого-нибудь из художников в виду, когда писал «Картину». «Лентулова», — ответил Гранин. Кострома понравилась, и Гранин сказал, что они с Риммой Михайловной подумывали пожить несколько лет в провинциальном городе, да что-то не вышло. Подходила бы Старая Русса, но после войны из старой застройки почти ничего не уцелело: здания три-четыре, но в том числе — дом Достоевских. Расспрашивал Гранина о Василии Андрееве и Добычине, которых он упоминал в речи на съезде. Оказывается, оба они сгнули в конце тридцатых. По-моему, первый из них, если верно запомнил, был со Сталиным в Туруханской ссылке, и, когда посреди тридцатых обнищал — возможно, и пил, — то обратился к Сталину с письмом о помощи. В каком виде была оказана помощь, неизвестно, так как Андреева больше никто не видел. О «Плахе» Айтматова Гранин отозвался плохо, как о сочинении во многом искусственном. Спрашивал, собираюсь ли я перебираться в Москву. Что мне было ответить? — сказал, что продолжения разговора с Залыгиным, состоявшегося перед секретариатом в июле, не последовало. И ошибся: последовало — Залыгин позвонил 5 сентября и подтвердил свои летние намерения-обещания. Что ж, подумал я, будем ждать, а ждать придется, если вообще суждено чего-либо дожидаться. С Вороновым Залыгин разговаривал, но тут нужно начальство повыше (видимо, Яковлев<sup>23</sup>), а оно в отпуске, — так что переговоры по «кадровым вопросам» продолжатся недели через три, как сказал мне Залыгин сегодня по телефону: я звонил ему, чтобы сказать свое мнение о романе Кондратьева «Красные ворота». Залыгин думал, что Бакланов отклонил роман — вдруг — напрасно, а я подтвердил, что не напрасно, по делу, да и «Дружба народов», вероятно, отклонила еще раньше, хотя кому бы, как не им, печатать продолжение «Встреч на Сретенке». К сожалению, роман написан бегло, даже небрежно и оценка сталинской деятельности неточна и недостаточна. Прекрасное знание цен, московских забегаловок и ресторанов — годы сорок седьмой — сорок восьмой — и крайне приблизительное описание художнических мастерских, институтов и тому подобного, что выходит за пределы быта. Жаль, но дело обстоит именно так: может быть, Кондратьеву писать романы противопоказано.

Телепередача об Абрамове с моим участием выходила в эфир в августе дважды, но оба раза я нарочно не смотрел. Отзывы против ожидания были хорошие: и в «Литгазете» (В. Розов, Е. Сурков, О. Верейский), и в письмах (в частности вдовы Абрамова — Крутиковой Людмилы Владимировны), а также Залыгина и Брыля.

<sup>22</sup> Повесть «Зубр» была опубликована в «Новом мире» (1987, № 1 — 2).

<sup>23</sup> Яковлев А. Н. — в те годы секретарь ЦК КПСС.

Слухи о нашем отъезде распространились по Костроме (это после приезда Грибова на 25-летие нашей писательской организации — и Фролова), кое-как отговариваюсь: темное дело, говорю, ничего конкретного пока нет.

А вернулся я из Москвы третьего сентября (после папиного дня рождения, после начала Никитино учебного года в университете), гулял по Костроме и думал: после Москвы — словно в теплой воде хожу, легко на душе, словно будто воздуха вокруг больше, воли и покоя больше.

Богомолу моя рецензия (в «Известиях») на «Карьер»<sup>24</sup>, конечно, не понравилась, но я к этому был готов: жаль, но пришлось привыкнуть к этой никому не нужной печальной размолвке — состязания на чистоту (принципов, поступков) в наши дни, пожалуй, никому не выиграть... надо бы помнить о главном, соединяющем — о верности себе в творчестве, в книгах, а тут, пожалуй, Быков чист, как редко кто.

22 ноября.

Как-то шел по вечерней улице и, не помню, что толкнуло, стал вспоминать пятьдесят седьмой: как приехал сюда, как глотал паск и фтивазид (так ли называю?) — бумажный мешок паска, — ну, не мешок, конечно, но хороший, плотно набитый пакет, и один, и второй, и еще как по утрам, стоя у стола, опрокидывал в себя два сырых яйца и спешил на службу, а вечерами, если возвращались к ужину хозяев, бывали угощаемы водкой, так как с водкой в этом доме было хорошо; средний сын Павла Михайловича Магнитского работал экспедитором ликеро-водочного вагона, то есть сопровождал вагоны с водкой. Портрет Павла Михайловича с шашкой на боку — Гражданская война! — посматривал со стены на наши пиршества. Сын-экспедитор, как открылось позднее, был героем боев на Малой земле, и в пору ее наступившей славы о нем стали писать костромские газеты.

В эти дни я вспоминаю пятьдесят шестой и пятьдесят седьмой, нашу молодость. История сделала виток в тридцать лет и пусть иначе, но возобновила старые надежды. У нас ли или у тех, кто моложе, еще один шанс. Для нас это несомненно — последний шанс. Только что смотрел вторую возобновленную передачу КВН; она хороша не столько сама по себе, сколько напоминанием и возвращением. Именно этим она снова взволновала меня.

Я подумал, что если все будет хорошо и доживу до мая, то поедем с Томой на факультетский вечер выпускников — впервые за тридцать лет (это я), именно потому, что завершён круг, и если виток к маю не закончится и не начнется реакция, то 30-летие нашего курса можно будет отметить как праздник.

Вчера и позавчера последовали звонки от Залыгина и Богомолу. Залыгин говорит, что дела «наши» обстоят плохо, но небезнадёжно. Богомолу говорит, что Залыгин лукавит и что первым замом он хочет взять Кривицкого из «ЛГ». «Наш современник» под управлением Викулова напечатал против меня статью Федя; многие говорили мне, что статья гнусная<sup>25</sup>. Я еще не читал, а может, обойдусь и без чтения. Владимир Осипович возмущен и собирается что-то предпринимать. Он рассказывал, что чуть ли не пятьдесят сочинителей из так называемых «сорокалетних» под руководством Бондаренко написали куда-то письмо против того, чтобы я вернулся работать в Москву.

Вчера ТВ снимало у нас дома сюжет для передачи о Сергее Маркове. То есть я сидел у своего стола и наговаривал пять-шесть минут. Вечером были у меня Ионас Мисявичюс и его молодой коллега Максим Иванников, студент Литинститута (семинар Евгения Винокурова). Может быть, я был откровеннее, чем следовало, но такое было настроение и доверие.

<sup>24</sup> Дедков Игорь. Во всем дойти до сути. — «Известия», 1986, 10 августа.

<sup>25</sup> Федь Н. Горький вкус истины. Размышления о романе Юрия Бондарева «Игра». — «Наш современник», 1985, № 10.

Настроение у меня этой осенью неважное. Я устал отвечать на вопрос (в том числе в письмах), уезжаем ли мы в Москву. Слух разнесся, без преувеличения, от края и до края. Хочу я или не хочу, но обсуждение этой темы меня задевает. И не потому, что я жажду этого возвращения. Со времени съезда я написал Залыгину единственное письмо, где интересовался, есть ли еще надежда. Да и письмо было, в сущности, вынужденным: Богомолов и Бакланов уговаривали меня, чтобы я «развязал» себе руки и мог бы пойти заместителем в «Огонек» к Коротичу. Для меня, разумеется, вариант с «Новым миром» лучше, но люди хлопочут обо мне, и я попробовал прояснить свое положение. Остался при той же неясности.

Журналы печатают то, что было невозможно напечатать несколько месяцев назад (воспоминания Трифонова о Твардовском, роман Бека, стихи [Вл. Н.] Корнилова, повесть Никольской). Отсюда — тоже возбуждение, и снова — память о 56-м.

23 ноября.

Этой осенью, а точнее с конца августа, я переживаю все сильнее обычного.

Перепишу-ка я записку Гуссаковской, переданную мне в Писательской конторе. Тут же был и Бочарников, и еще кто-то, а она сидела писала, отдала мне. Бочарников заметил, полюбопытствовал, но я вслух не прочитал. Правда, спустя полчаса Корнилов спросил, слышал ли я, что обо мне сообщила Би-би-си? Я удивился: «Это вам Гуссаковская сказала?» Он подтвердил, что «да», а я удивился: так, думаю, она разстрезвонит всем. А записочка ее была такого содержания (дословно): «В пятницу (14 ноября) в 23.30 Би-би-си в последних известиях передала такое сообщение (утром не повторяли): „Последний по счету главный редактор самого престижного в Советском Союзе литературного журнала „Новый мир“ Сергей Залыгин взял (под давлением извне скорее всего) вторым заместителем продажного литературного чиновника поэта Владимира Кострова. Первое место он упорно держит для неподкупного критика Игоря Дедкова, который живет в недоступной для иностранных журналистов Костроме с тех пор, как его исключили из Московского университета как защитника чешского освободительного движения”».

Кстати сказать (вспомнил Корнилова), недели с две назад у нас с Корниловым прошло «выяснение отношений» (он — любитель таких процедур). На партсобрании мы с ним перекинулись — неожиданно для обоих — резкими суждениями (я — в ответ), и вот теперь — «выясняли», отчего такое произошло? Весь этот вздор вспоминать не хочется, но он сказал, что я переменялся (стал резче, категоричнее и еще что-то) после съезда: чит<ай> — избрания секретарем. Я очень удивился, но он стал уверять, что это ему сказали несколько человек. К сожалению, он не знает, что в этом смысле я не способен меняться, хотя иногда думаешь, что не мешало бы. Я думаю, что в его новой реакции на меня замешаны три «фактора»: мое избрание (малоприятное для него), моя статья против его друга — Бондарева и, наконец, новая политика в области литературы и идеологии вообще; в частности, допущение антисталинской литературы.

«Московский литератор» напечатал изложение речи Феликса Кузнецова на пленуме правления Московской писательской организации; заключительная часть речи, где выражена тревога по поводу публикации Набокова и Гумилева, а также в связи с возросшей ролью в нашей литературной памяти таких писателей, как Пастернак, Булгаков, Ахматова, Мандельштам и другие (почему не Горький, не Фадеев? и так далее). Судя по этой речи, Феликсу пора покинуть свой пост, его игры в «либерала» и «демократа» закончились, то, что он сказал, позорно.

В «Москве» — статья Кожина о ленинском понимании «национальной» культуры; <...> рассудительности ему хватило лишь на четверть статьи, дальше же понесло в обычное узкое и поганое русло: передержки, антисемитизм,



ложь. И — аккуратнейшим образом выгораживает Сталина, сваливая все зло на троцкизм и забывая напомнить читателю, что троцкизм кончился к двадцать седьмому году. Продолжавшаяся после революции политическая борьба, затрагивающая все области жизни, в том числе и литературу, — характернейшая для всех революций, — изображена им как травля евреями всего русского, и прежде всего русских «святынь», точнее — уничтожение. Кожинов думает, что у его читателей нет памяти. Как евреи, так и русские, так и все прочие национальности были по обе стороны, если их было две; они были по все стороны, сколько бы их ни было.

26 ноября.

Запишем и это: в Калькутту я сегодня не вылетел; дал телеграмму: «Выехать не могу по состоянию здоровья». Обманул, хотя, может быть, и не так много в этом обмана, как кажется. Сегодня в «ЛГ» нападки на статью Кардина в «Вопросах литературы», а начато с моей статьи: «негативная, тенденциозная». Да, круговую оборону они держат хорошо; дружно и подловато. Приходят письма с выражением поддержки: все меня утешают, а утешать меня незачем: я и так не горюю, я ведь этого ожидал, это же норма. В Союзе писателей в результате бурного съезда ничего не переменялось, и нравы, и политика руководства — прежняя. Пропади они пропадом.

Статья для «Науки и религии» идет туго; есть во мне какая-то растерянность: видимо, треволения из-за московского «варианта» все-таки сказываются. Нет-нет да и задумаешься.

Часто звонит Богомолов. По его просьбе Лазарев звонил Быкову, рассказывал московские новости, то есть о «литературном терроре» (выражение Богомолова) против меня и других.

Землю едва припорошило, неприятные, резкие ветры, что-то вокзальное, непрочное, временное. Вспоминаю пятьдесят шестой год, рассуждаю об историческом витке в тридцать лет, поднимается какая-то подзабытая молодая радость, но остужается то тем, то этим, и главное — откуда во мне взяться прежней молодой вере? И все-таки — чуть-чуть больше надежды, и эта вера, и прежний энтузиазм поднимутся, возродятся.

Иногда на улице, в книжном магазине, на почтамте встречаю Виктора<sup>26</sup>. Когда замечаю его раньше, чем он меня, ловлю себя на желании отвести взгляд, не смотреть, пока совсем не сблизимся, пока он меня не увидит. Виктор болеет, и эта штука, носящая имя Паркинсона, упрямо делает свое дело, и ему все труднее совладать с руками, а скрыть от посторонних взглядов вообще невозможно. «Бедные, бедные мы крестьяне», — как говорил наш Никита в детсадовскую пору.

В ноябрьской книжке «Октября» прошли стихи Набокова с предисловием Вознесенского. На этом возвращение Набокова приостановлено. Этот железный, жестяной псевдомемократ Феликс напрасно думает, что он надолго окажется в победителях...

Об этом обо всем должно быть стыдно думать: не стоит того, это даже не суета, а хуже, ниже суеты.

И меня ведь в нее включают, не оттого ли и скверно на душе?

---

<sup>26</sup> В. Н. Бочков (1937 — 1991), историк, краевед, писатель, друг Дедкова.



---

---

# МИР ИСКУССТВА

ВЛАДИМИР ЮЗБАШЕВ

\*

## О ЯЗЫКЕ НЕЛИНЕЙНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Эпохи аккуратно обтесываются, тщательно шлифуются и ровными блоками укладываются одна поверх другой, создавая иллюзию роста Вавилонской башни. Связующий раствор времени набирает прочность, все сложнее изменить очертания сооружения. Нюансы формы, лелеемые специалистами, окатываются нескончаемым туристским прибором. Все непривычное и неожиданное стирается, остаются чистые исправленные поверхности, и вот путешественник, рисуя в путевом блокноте величественный фасад, проводит все больше прямых линий. Он хочет проникнуть в сущность конструкции, увидеть внутри жесткий каркас, убедить себя в устойчивости здания.

Попытка охватить огромное сооружение неизбежно ведет к выстраиванию обобщенной композиции, — вероятно, в будущем архитектура XX века тоже будет восприниматься как нечто целостное, как единый сюжет. Или же как фаза гигантского цикла — начавшаяся бурным подъемом авангарда на заре века, к середине изменившая свое направление и к концу пришедшая опять к точке отсчета, началу новой фазы. Скоро можно будет чертить плавный фрагмент синусоиды. Но любой график обрывается в точке, соответствующей сегодняшнему дню на временной оси, дальше — бесчисленное количество вариантов, которые невозможно предугадать. Величественное здание современной мировой архитектуры — пожалуй, единственное сооружение, чертежи которого создаются после строительства; пока на вершине не схватился раствор и не определено направление развития, остается лишь интерполировать графики, обрисовывать существующие контуры, продолжать линии в пустоту.

Первооснова любого сооружения — стена, отделение своего от чужого, внутреннего от внешнего, организованного от хаотичного. Эволюция поселения — концентрические окружности ограждений: за стеной дома следует ограда двора, за ней крепостная стена, потом возникает город, города прорастают друг в друга, образуя мегаполис. Картинка принимает гигантские размеры, людей не разглядеть, масштаб слишком велик, человек опять потерян, а мир вокруг него снова хаотичен и враждебен, но только скорость разворачивания этого хаоса тысячекратно увеличилась. Архитектура из стены, границы, отделяющей человека от внешнего неоформленного мира, превратилась в подвижную мембрану, в пространство соприкосновения человека и им же созданной материальной среды.

Впрочем, транспорт, коммуникации, инфраструктура — ведь это все тоже детали пейзажа современного города, технология и архитектура слились в единое целое, этакий алхимический уроборос — змей, кусающий свой собственный хвост. Появление электрического лифта привело к небоскрегам Салливена, город сделался вертикальным. Автомобили — своеобразные «горизонтальные лифты» — потребовали изменения градостроительных принципов, перестроили всю организацию улиц. Стилистика, заданная пионерами современного движения, приняла лаконичность и прямоту машины, потеснив, правда, человечность.

---

Юзбашев Владимир Андреевич (род. в 1980) заканчивает Московский архитектурный институт; в «Новом мире» выступает со статьями на темы современных течений в градостроительстве, а также с рецензиями из области литературы и искусства.

Таким образом, изменения окружающего мира — это прежде всего изменения техники, и архитектура вынуждена, реагируя на них, встраивать человека в его собственный мир. Стремительное развитие телекоммуникаций и информационных технологий в последние два десятилетия вынуждают архитектуру трансформироваться, заставляют ее быть адекватной измененной реальности, в которой потоки данных вытесняют материальный обмен, появляются сложные цифровые инфраструктуры, растающие в городскую среду. Распространенная аналогия с промышленным подъемом начала двадцатого века не отражает всей радикальности изменений. Если частный автомобиль позволил быстрее передвигаться, то персональный компьютер практически довел это ускорение до предела — позволил соединять две удаленные точки воедино и в реальном времени. Это уже не иллюзия сокращения расстояний — само понятие расстояния становится иллюзорным. Модель города и мира оказывается переопределенной: ее каркас — не сеть транспортных магистралей, а паутина кабелей и спутниковых связей. Возможность передачи информации в любую точку пространства трансформирует его описание. Что видит наблюдатель, находящийся внутри сферы, каждая точка которой является одновременно любой другой точкой этой поверхности? Кажется, он может разрешить древний коан и «вынуть четыре района Токио из своего рукава». Способный дотянуться до сколь угодно удаленного объекта и рассмотреть его со всех сторон, он не нуждается в линейной перспективе Альберти, которая упорядочивает восприятие объемов только при непосредственном созерцании — зритель же находится в ситуации, когда образы людей, построек и ландшафтов несутся ему навстречу по каналам трансляции. Часто человек видит (и проектирует) здание через посредство множества устройств (фото-, видео-, кинокамер) и в непривычных ракурсах. Множественность точек зрения меняет подход к форме — она должна восприниматься как нечто целостное отовсюду. При этом положение самого зрителя становится все более статичным, люди способны часами сидеть на одном месте, принимая мир как проекцию на плоскость монитора или телевизора, для них дом есть часть инфраструктуры — прибор и оборудование, проводник информации. Где они находятся большую часть своего времени, они и сами не могли бы сказать, — одновременно здесь и там, подвижны и неподвижны, существуют и не существуют, привычной средой обитания стало пресловутое киберпространство. Предложенное литератором, понятие это по сути своей ближе архитектуре как попытка придать зрительную форму и объем данным.

Важно также, что оно уже прочно вошло в обиход, обросло штампами, появилась целая отрасль научной фантастики, снято множество фантастических фильмов. И несмотря на то что термин — не научный и не точный, он сразу вызывает огромное количество ассоциаций, сюжетных и образных, предполагает определенную, вполне конкретную стилистику.

Искусство строить — массивно и тяжеломерно, будучи глубоко укорененным в реальности, оно не так быстро реагирует на внешние изменения. Только этой неповоротливостью можно объяснить, что лишь через двадцать лет после появления термина «киберпространство» архитекторы и теоретики архитектуры начали его «обживать».

Постепенно искривленное пространство порождает искривленную архитектуру. В 90-х годах появляются удивительно пластичные криволинейные формы, удастся осуществить проекты, которые раньше можно было рассматривать лишь как футуристические фантазии. Необходимость описания столь необычных объектов приводит к тому, что на страницах журналов возникает большое количество туманных терминов — скрещивание (*hybridization*), неопределенность (*indeterminacy*), искривление (*distortion*), трансформация (*transformation*), эластичность (*flexibility*), прерывность (*discontinuity*), нестабильность (*instability*), эфемерность (*transitory*), интерактивность (*interactive*), текучесть (*fluids*), неустойчивость (*fluctuation*); все они стремятся описать новые подходы к форме и пространству, одни из них пытаются передать

пластические свойства, другие говорят о методах, которыми эта архитектура создается. Но, пожалуй, наиболее подходящим является предложенный известным критиком Чарльзом Дженксом — «нелинейная архитектура». Термин кажется удачным, так как подходит и для характеристики формы, и для описания принципов, определяющих ее строй. Попробуем точнее описать сначала само понятие и его происхождение, а потом и архитектуру, к которой оно относится.

Дженкс прямо противопоставляет новую нелинейную архитектуру всему модернизму двадцатого века. Он заявляет о некоторой кардинальной смене мировоззрения и связывает понятие нелинейности в первую очередь с развитием новых областей научного знания, таких, как теория нелинейных динамических систем или комплексная наука.

Понятно, что столь визионерские лозунги могут не отражать реального положения вещей, но факт, что не только поколение молодых архитекторов (Грэг Линн, Рем Коолхас или Бен ван Беркель), но и мэтры современной архитектуры (Франк Гери, Филипп Джонсон, Даниель Либерскинд, Питер Эйзенман) вдруг начали создавать проекты с весьма схожими чертами.

Не вдаваясь в подробности сложных научных теорий для объяснения нелинейности, можно воспользоваться построениями Питера Сандерса, который в своей статье «Nonlinearity. What is it and why it matters» приводит простой пример — самое примитивное понимание нелинейности связано с переходом от уравнения прямой вида  $y = ax + b$  к уравнению параболы  $y = ax^2 + bx + c$ , то есть с переходом на другой уровень системы, которая описывается более сложными уравнениями. Понятно, что большинство процессов в мире очень сложны, и для того, чтобы их понять, всегда приходилось отгораживаться от сложности, выстраивать стену — ограничивать некоторое идеальное и организованное пространство, где можно было бы свести сложные процессы к более простым, что и предлагал метод Декарта: разбить задачу на ряд подзадач и, решив их по отдельности, получить обобщенное решение. Метод действует не всегда, в частности, в нелинейных системах сумма частных решений не является решением целого, по аналогии с тем, как нельзя возвести в квадрат сумму, сложив квадраты слагаемых:  $(y + x)^2$  не равно  $x^2 + y^2$ . То есть нелинейную задачу нельзя решить методом последовательной аппроксимации линейной, нельзя найти такой отрезок на графике, который можно было бы заменить прямой. Переходя в другое измерение — от плоского графика к объему, а значит, ближе к архитектуре, — можно сказать, что ни один участок нелинейной поверхности нельзя заменить плоскостью.

Пожалуй, самым известным образцом архитектуры вне прямых и плоскостей является здание музея Гугенхейма в Бильбао. Гигантская металлическая роза Франка Гери демонстрирует отсутствие какой бы то ни было тектоники — искривленные ленты (слово «стена» не подходит для описания) вплетаются друг в друга с легкостью, заставляющей забыть о гравитации. Создается впечатление, что автор хотел нарисовать абстрактную картину, но перепутал количество измерений — вместо плоского изображения создал трехмерный объект, противоречащий всем законам реального мира, но чудом продолжающий существовать. Впрочем, кажется, что он стремится вернуться в более привычное двумерное пространство, вновь стать наброском, — покрытые металлической чешуей объемы отражают окружающий пейзаж, подобно кривым зеркалам, — все здание рассыпается плоским пятном случайных бликов. Проект предельно иррационален, каждая металлическая панель стены уникальна, изогнута совершенно определенным образом — для столь сложных расчетов потребовалось специальное программное обеспечение, применяемое в авиационной промышленности.

Конечно, в простой кривизне ничего нового нет, можно привести множество примеров криволинейных форм из истории архитектуры — от барочной «плывущей» стены Браманте до органической архитектуры XX века. Но важна прежде всего не сама криволинейность, а принципы и причины, ее породив-

шие. Тут представляется уместным проследить некоторые исторические аналогии, обозначить предтеч нелинейной архитектуры.

Итак, барочная стилистика с ее изогнутыми фронтонами, бесконечными парковыми обманками и извилистыми формами предвосхищает принципы современного формообразования. Вся она построена на игре, иллюзии, в ее основе — предмет, который выдает себя за что-то другое. Материал, который работает на пределе возможностей, поскольку камню несвойственна столь изощренная пластика, бесконечные пространственные фокусы с зеркалами, игры формы и изображения — барочное искусство выстраивает некоторый другой мир или намек на нечто скрытое: кажется возможным говорить о взаимопроникновении реального и виртуального. Но в отличие от современности, в то время эта игра была скорее умозрительна, как некоторая мировоззренческая установка, как философский тезис, теперь же отношения реального и мнимого, несуществующего воплощаются на обыденном, бытовом уровне: электронное письмо уходит в небытие, перестает существовать в виде привычного текста, чтобы вновь возродиться, но уже на компьютере другого пользователя. Можно сказать, что виртуальное стало более демократичным, из утонченной игры, доступной лишь аристократам, превратилось в часть современного быта.

Необходимость адаптировать его для повседневности роднит нелинейную архитектуру с искусством модерна, также призванного примирить достижения современной ему техники с элементарными человеческими нуждами, создать благоприятную, уютную среду. Только прикладное искусство начала прошлого века стремилось к эстетизации среды, созданной массовой промышленностью, а современный архитектурный авангард пытается эстетизировать пространство, определяемое массовой информацией. Если в первом случае происходило заимствование пластики живой природы, то и во втором сложные формы могут быть интерпретированы как цитаты органического мира. Хотя это заключение чисто умозрительное — на практике сравнение нелинейных конструкций с архитектурной бионикой кажется пока неубедительным.

Но, пожалуй, непосредственным предшественником этой архитектуры можно назвать деконструктивизм, тем более что сами авторы-«нелинейщики» во многом прославились своими строениями именно в этом стиле (Гери, Эйзенман). Эта эстетика разрушения, вернее, «разрушительного созидания» трактует любую форму как нечто заведомо несовершенное, это постоянный поиск внутренних противоречий пространственного объекта, подход отчасти романтический — каждая плоскость, каждый ее элемент словно имеют некоторый изъян, врожденный порок, что придает этим зданиям даже трагический оттенок. Важная черта этой эстетики, которую наследует и нелинейная архитектура, — отказ от идеализации формы, от поиска ее чистоты, уход от стерильности, рафинированности модернизма, что, безусловно, прибавляет жизненность подобного рода объектам. Деконструктивистское здание — «сломаный» механизм, и поскольку он сломан, он избавлен от сковывающей рациональности, от машины как части себя — «саморазрушение» дает возможность убежать от диктата логики, ожить. Отсюда его непредсказуемость, необъяснимость — пространство взломано, неудобно, плоскости стен грозно нависают над зрителем, все эти острые углы, косые опоры превращают застройку в апокалиптическое видение. Впрочем, если рассматривать эту «катастрофическую» архитектуру конца времен в качестве предшественницы «нелинейной», то хаотичность вполне может трактоваться как первобытная, неформенная. Работы деконструктивистов вызывают какие-то промышленные ассоциации — переработка, переплавка; металлолом машинной архитектуры перерабатывается, выливается во что-то новое. Космогонические ассоциации прослеживаются в геологических метаморфозах Дизайнерского центра в Университете Цинциннати того же Эйзенмана. Это некоторое переходное звено: формообразование архитектурного объекта напоминает образование земной поверхности — «landform architecture», как называет это Дженкс. Вообще пере-

ход от деконструктивизма к «складчатой», нелинейной архитектуре может быть проиллюстрирован каким-нибудь клипом или мультфильмом о зарождении жизни — среди бурных геологических катаклизмов появляются первые одноклеточные. Причем появление этих форм жизни происходит конечно же в воде — знаковым событием кажется создание двух павильонов в Нидерландах (Свежей и Соленой воды) Ларсом Спаброеком и Касом Остерхьюисом, которых можно отнести к ярким представителям «нелинейки», — образ воды — рождающей субстанции, первобытного бульона — является и метафорой виртуального пространства: динамическое освещение в павильоне Каса генерируется на основе данных, полученных из Интернета.

Чрезвычайно сложные, текучие формы подобных сооружений конфликтуют с нашим восприятием архитектуры, противоречат привычным представлениям об архитектурных нормах. Подсознательно любое строение воспринимается как нечто прочное, незыблемое, как некоторая опора в окружающем пространстве, оно в первую очередь дает ощущение защиты (архитектура = стена) и равновесия. Архитектурный объект является частью нашего описания пространства, помогает ориентироваться, ритм его опор и оконных проемов служит для измерения пространства, прямоугольники зданий становятся своеобразными точками привязки, маяками. Нелинейные же поверхности, лишённые прямых углов и ясной структуры, не позволяют за себя «ухватиться», гладкие и льющиеся, они дезориентируют зрителя, вышибают почву из-под ног, вернее, она ускользает сама — пол, стены и потолок сливаются в единое поле или даже начинают пузыриться, как в ресторане на пятом этаже Центра Помпиду (Jakob & McFarlane).

Благодаря тому, что привычные знаки архитектурной формы, такие, как стена, балка, свод, смазываются, растворяются, постройка перестает восприниматься как архитектура. В отсутствие привычных значений сознание зрителя рождает неожиданные интерпретации незнакомого объекта, поток ассоциаций оказывается переориентированным, направленным в другое русло, всплывают новые метафоры. Плавные бесформенные объемы невольно воспринимаются как что-то живое, напоминают очертания моллюсков или амёб.

Понимание здания как некоторого живого организма или как предмета, живущего некой собственной жизнью, происходит даже не только на уровне формы, гораздо более важной чертой в данном случае кажется возможность взаимодействия, обратная связь, интерактивность. Вероятно, это связано с появлением сложной электроники, многочисленными охранными системами, системами контроля бытовой техники и инженерного оборудования, температуры и влажности. Во многих отечественных журналах все чаще появляется довольно странный термин «интеллектуальный дом»: речь идет о жилище, все системы жизнеобеспечения которого управляются с помощью компьютера или даже по телефону. Таким образом, дом — машина, способная существовать по сценариям, определяемым программой, способная согласовывать свое поведение с жизнью хозяина, становится настолько сложной и одновременно столь комфортабельной системой, что отношение к ней лишь как к технике постепенно вытесняется пониманием архитектуры как интерфейса, интерактивной поверхности, видится информационным буфером обмена между человеком и средой.

Архитектура начинает говорить на языке данных. Постройка становится физическим воплощением информации. Уже на стадии проектирования участок строительства рассматривается как сумма параметров, как пересечение информационных потоков, которые можно представить в виде графической трехмерной диаграммы, и уже она способна многое подсказать архитектору в плане формы. Участок становится не просто пассивным, безличным фоном для проекта, не историческим или культурно значимым пространством, чей гений места должен уловить и выразить архитектор, — теперь это часть проекта, непосредственный источник его очертаний, не место, куда помещается проект, а ситуация, из которой вырастает постройка.

Фактически компьютер, при всех возможных издержках машинной графики, в плане проектирования освободил архитектора от диктата линейки, рейшины, открыв огромное пространство за пределами плоскостей. Большое количество параметров и сложность объектов вынуждают проектировщика капитулировать перед усложнением реальности — все равно материальной или виртуальной. Тут нет рафинированности и точности — поверхности, изменяющиеся каждую секунду на экране и меняющие свою кривизну в каждом квадратном сантиметре, — слишком сложные системы, способные развиваться без тотального контроля автора, который просто не в состоянии отследить все нюансы.

Меняется роль архитектора, который перестает быть создателем абстрактных идеальных форм, прекращает цитировать и воспроизводить другие произведения, зависим не от идеологии, а от собственного вкуса. Он не диктатор, а скорее чуткий соучастник процесса, организатор данных. Изменяется его статус и положение в пространстве — проектировщик не стоит над чертежной доской, а сидит перед экраном — это разговор на равных, другой, более уважительный подход к реальности, творческий процесс все больше походит на исследование, на поиски нужного кадра в постоянно изменяющемся клипе. Чем-то это напоминает появление кинематографа — камера добавляет новое измерение, избавляет художника от необходимости заново создавать реальность, он лишь монтирует ее по-своему.

Так же работает известный американский архитектор Грэг Линн, один из пионеров компьютерного проектирования. Он использует мощные вычислительные машины и программы, предназначенные для производства кинематографических спецэффектов. Это оборудование позволяет в доли секунд представлять и, главное, изменять в реальном времени сложнейшие трехмерные модели, вычерчивание которых вручную заняло бы многие годы. Его эскизы и подачи архитектурных проектов — это всегда ряды кадров, показывающих изменения формы: скорее не объяснение того, как автор пришел к окончательному варианту, а иллюстрации развития объекта.

Проектирование превращается в своеобразную формообразовательную игру, простые каплеобразные объемы претерпевают огромное количество нелинейных преобразований — компьютер и человек наравне участвуют в процессе, машина выстраивает сложные объемы, параметры которых изменяются автором. Парадоксальным образом конечный результат при этом не становится механистичным, однообразным, это, пожалуй, прямая противоположность машинной эстетике Баухауса. Трудно представить, что аморфные, причудливые линии, плавно перетекающие друг в друга, смоделированы с помощью бесстрастной программы, а не нарисованы художником.

Несмотря на всю фантастичность форм, подобная архитектура элементарно воплощается в жизнь. Поверхность практически любой сложности может быть разбита на несущие криволинейные контуры, которые с помощью станков с программным управлением могут быть вырезаны из дерева или металла, поверхность любой кривизны может быть разбита на фрагменты, каждый из которых опять же будет изменен в соответствии с моделью. Трехмерный виртуальный макет воссоздается в реальности почти с такой же легкостью и точностью, как текст на экране распечатывается принтером на листе бумаги. Грань между виртуальным, которое принято воспринимать как чудесное, полусуществующее, и реальным (грубым, материальным) оказывается на самом деле очень размытой. Возможность осуществления подобной архитектуры ставит под сомнение саму идею этого разделения, правильнее было бы говорить о воплощенном и невоплощенном как о двух аспектах одного явления — единой «гиперповерхности», как ее называет теоретик Стивен Перрелла.

Кроме того, оказывается, что даже при всей ее индивидуальности она вполне совместима с промышленным серийным производством — ведь можно задать некоторую принципиальную схему, а затем изменять поверхности каж-

дого отдельного объекта, можно даже поручить это машине, задав определенный алгоритм. В результате получится серия зданий наподобие домов-эмбрионов Линна, но каждое из них будет уникальным.

Сложность объекта и его преобразований привносят в архитектуру случайность. Возможно, это воплощение мечты деконструктивизма о свободе формы от самой себя? От тех рамок, которые ее ограничивали ранее.

Линия, проведенная от руки, всегда изменчива, ее повороты как будто случайны, она не застрахована от ошибки. Из множества проведенных рядом кривых глаз выбирает лишь единственную верную, правильную. Если рассматривать процесс проектирования формы как поиск оптимальной, наиболее рациональной линии, то такой линией будет в большинстве случаев прямая — с точки зрения психологической легкости, как наиболее привычный способ восприятия пространства и как наиболее удобный контур для промышленного производства. Это самый простой и надежный способ организации. Но лишь до определенной степени. Это сознательное самоограничение, искусственная простота идеальной модели, в какой-то момент она исчерпывает себя, и требуется некоторая новая, более гибкая система описания мира. Конкретных причин для изменений может быть множество: научные достижения, требующие пересмотра старых доктрин, появление новых областей знания, раскрывающих сложность процессов, или, может быть, просто профессиональная неудовлетворенность — ведь большинство современных зданий состоит из стандартных деталей или групп элементов, которые легко заносятся в библиотеку и превращаются в конструктор. Вычислительная техника и профессиональные пакеты программ не только упрощают расчеты, сокращают чертежную работу и обезличивают графику, но также сводят творческий процесс к примитивному комбинированию готовых объектов. Архитектура тонет в деталях, рассыпается на составные части, которые необходимо увязать друг с другом в соответствии с существующими строительными стандартами.

Нелинейная архитектура предлагает подойти к зданию не как к набору геометрических тел, а как к единой форме, к поверхности. Этим объясняется увлечение авторов, работающих в этом направлении, топологией — ведь в основе их метода лежит не комбинирование, а изменение, метаморфоза. В такой ситуации становятся привлекательными не простые объекты вроде шара и куба, а топологические, то есть те, которые не вырождаются при последовательных преобразованиях сжимания и растяжения — например, весьма привлекательной формой становится тор или лента Мёбиуса — именно такими объектами оперировал Винка Дубельдам, автор одного из проектов Океанского порта в Йокогаме, а частный особняк ван Беркеля так и называется — *Möbius-House*.

Фантастические конфигурации, подобные причудливым облакам, бесформенные массы, напоминающие примитивные формы жизни, вызывают в памяти образы, весьма далекие от архитектуры, скорее они ближе к телевизионным заставкам, компьютерным спецэффектам; вероятно, повторю, средства информации создают привычную стилистику для современного человека, и эта стилистика получает свое воплощение в архитектуре. Изначально зависимая от графики, архитектура поддается гипнотическому воздействию визуальной культуры, формируемой новейшими видеотехнологиями. Привычка воспринимать мир как набор ярких пятен и форм, которые не имеют определенного конкретного значения, приводит к тому, что важным является не сама форма как объект, как символ (пирамида — знак устойчивости, круг — образ целостности и единства), гораздо важнее становится превращение, изменение во времени.

Термин «нелинейная» можно было бы сопоставить с эпитетом «ускользающая», скользкая. Понятие скольжения, *seif*, — один из речевых штампов, пытающихся описать пребывание в виртуальном пространстве, прохождение сквозь информационный поток — чтение гипертекста. Подобные ощущения стремится вызвать и здание — привычный фасад отменен, точек зрения стано-



вится множество, и с каждого ракурса его контуры изменяются, при движении около него возникают все новые и новые вариации, оно словно стремится быть разным.

Столь радикальные перемены в подходе к форме и к восприятию отменяют сложившиеся тысячелетиями представления и привычки. Реальность и виртуальный мир меняются измерениями, перспективное понимание пространства замещается восприятием его как плоскости — дом, построенный по двумерным чертежам, но кубический в реальности, заменяется зданием, созданным на основе трехмерного компьютерного макета, но воспринимающимся как набор криволинейных контуров. Пока невозможно определить, является нелинейная архитектура лишь экспериментальной попыткой соответствовать современному сознанию или же это неизбежность, обусловленная процессами, выходящими далеко за пределы архитектуры. Как одно из возможных направлений она кажется весьма перспективной. Предлагая принципиально новые методы как проектирования, так и производства, остроумно используя новейшие достижения техники, она порождает необычные метафоры, создает свой уникальный язык, который представляется актуальным для описания отношений сознания и пространства, измененного информационными технологиями. Но это совсем не значит, что архитектурная среда, организованная в соответствии с законами такого языка, будет более человеческой, более гуманной, чем современная. Существование отдельных зданий, спроектированных нелинейными методами, еще не дает представления о том, как будет выглядеть город, сплошь состоящий из подобных зданий. Город, не имеющий центра и окраин, город, в котором сложно отделить пространство дома от пространства улицы, где один дом незаметно перетекает в другой. Действительно ли пространство, где нет понятий *близко* и *далеко*, нет четких границ, является наиболее подходящим для жизни? Если архитектура модернизма изменила соотношение человек — город, человек — здание, укрупнила масштаб, то нелинейные здания эти соотношения вовсе отменяют — и тут, пожалуй, самое главное отличие их от всего предшествующего. Отсутствие орнамента, мелкой пластики фасадов еще как-то компенсировалось ритмом повторяющихся элементов, самими деталями конструкций, здесь же — только изменения гладкой поверхности, которая никак не соотносится с человеческими размерами. Нелинейная архитектура не воспринимает человека как меру, она интересуется не его местом в мире, а его ощущениями. Из стаффажного персонажа городской среды превращает его в пользователя оболочки.



---

---

# О П Ы Т Ы

АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ

\*

## ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ ПОЭТ

*О стихах Бориса Рыжего*

**И**звестно, что греческий мудрец Солон отказался признать лидийского царя и богача Крёза счастливейшим из смертных. Отказался на том основании, что жизненный путь властителя был к тому моменту еще не завершен, а значит, судить о целостности явления, полноте исполнения судьбы не представлялось возможным.

Борис Рыжий, которому едва исполнилось двадцать шесть лет, трагически погиб этой весной. Следовательно, то, что он написал, уже обрело завершённую форму, как бы слилось с автором, стало им навсегда<sup>1</sup>. Например, сделалось понятным, что постоянные оговорки о смерти в его стихах не романтическая поза, а, так сказать, проза повседневного существования:

Когда я выпью и умру —  
Сирень качнется на ветру,  
И навсегда исчезнет мальчик,  
Бегущий в щортах по двору.

Первое и, сразу замечу, ложное впечатление от стихов Рыжего — есенинщина. Только у классика герой — крестьянский мальчик, простодушно и глубоко влюбленный в родную природу, в мифологизированную и идеализированную русскую деревню. Отсюда сильная романтическая струя, пронизывающая всю есенинскую лирику, ностальгическое переживание уходящей юности, чужести большому искусственному городскому миру. Отсюда же и стилизация, которой отмечены порой его стихи.

Лирика Рыжего тоже романтична. В ней тоже возникает своеобразное двоемирие: некий туманный идеальный план детских надежд, настоящей дружбы, святой любви — и сугубо реальный план убогого, опасного существования в полууголовной среде<sup>2</sup>. Герой нашего автора — молодой житель провинциального города с его заводскими окраинами, неприкаянностью, разборками дворовой шпаны. У него и повадки такие, и чувства, и желания:

В голубом от дыма ресторане  
слушать голубого скрипача,  
денежки отсчитывать в кармане,  
развернув огромные плеча.

---

Машевский Алексей Геннадьевич — поэт, эссеист, педагог. Родился в 1960 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт. Автор четырех поэтических сборников и статей о поэзии, литературе, философии.

<sup>1</sup> О книге стихов Б. Рыжего «И все такое» в «Новом мире» (2000, № 11) была опубликована обстоятельная рецензия Ольги Славниковой. Но смерть поэта действительно подводит черту. (Примеч. ред.)

<sup>2</sup> Вот строфа из стихотворения «Мой герой ускользает во тьму...»:

Воротник поднимаю пальто,  
закурив предварительно: время  
твое вышло. Мочи его, ребя,  
он — никто.

Кажется, что менталитет героя Рыжего и в самом деле напоминает есенинский. В основе его — душевность, некая русская потребность отдаваться до конца любой сильной эмоции, переживать и пережигать жизнь на всю катушку. Примеров можно привести множество. Вот стихотворение «Из фотоальбома», начинающееся строками:

Тайга — по центру, Кама — с краю,  
с другого края, пьяный в дым,  
с разбитой харей, у сарая  
стою с Григорием Данским.

Весь сюжет сводится к тому, как напившиеся в стельку ребята, оседлав «Беларусь», вдребезги разбили машину. Но пока продолжалось сие славное действие, они, как говорится, словили такой кайф, что донныне в душе героя живет некое дикое ощущение полноты, подлинности жизни, привязанное к этой пьяной езде. Полноты, подлинности — и одновременно ее обреченности:

Затарахтел. Зафыркал смрадно.  
Фонтаном грязь из-под колес.  
И так вольготно и отраднo,  
что деться некуда от слез.

Как будто кончено сраженье  
и мы, прожженные, летим,  
прорвавшись через окруженье,  
к своим.

Авария. Башка разбита.  
Но фотографию найду  
и повторяю, как молитву,  
такую вот белиберду:

Душа моя, огнем и дымом,  
путем небесно-голубым,  
любимая, лети к любимым  
своим.

Заметим, кстати, что стилистика этих строк совсем не есенинская. Они генетически связаны скорее с Георгием Ивановым, с поэтами «парижской ноты». Вообще у стихов Рыжего богатая генеалогия. Это и Денис Давыдов (романс последнего пародируется в стихотворении «Не забывай, не забывай...»), и Мандельштам (эпиграф из которого предпослан стихотворению «В деревню Сартасы, как лето прошло...»), и Ходасевич (о нем вспоминаешь, читая белое стихотворение «А иногда отец мне говорил...»), и Заболоцкий («Приобретут всеевропейский лоск...»), и Олейников («На окошке на фоне заката...»<sup>3</sup>), и Багрицкий («Что махновцы, вошли красиво...»), и Ярослав Смеляков («Еще не погаснет жемчужин...»). Я уж не говорю о Кушнере и Бродском, чьи стихи усвоены и ассимилированы лирикой Рыжего. И, конечно, Блок. Он присутствует в поэзии Бориса как некая данность, некий «ингредиент», придающий всему совершенно особое «вкусовое» ощущение. Это ощущение конца эпохи, конца мира, к которому целиком принадлежит сам поэт, мира в силу этого дорогого и прекрасного, но обреченного, потому что в нем была великая вина, великая неправда.

И поэтому всю лирику Рыжего пронизывает своеобразный извращенный героический пафос — от противного. Мы проиграли, мы виноваты, мы заслужили все то, что случилось, но отказать от некоего подлинного огня, некой

<sup>3</sup> Вот совершенно олейниковская строфа из этого стихотворения:

Я читал ей о жизни поэта,  
четко к смерти поэта клоня.  
И за это, за это, за это  
эта Н. целовала меня.

сумасшедшей надежды, жившей в обреченном теле большевистской империи, невозможно. Отсюда тотальная ностальгия, мифологизация прошлого, своеобразное мессианство — «и смертью смерть поправ»:

Чем оправдывается это?  
Тем, что завтра на смертный бой  
выйдем трезвые до рассвета,  
не вернется никто домой.

Други-недруги. Шило-мыло.  
Расплескался по ветру флаг.  
А всегда только так и было.  
И веки пребудет так:

Вы — стоящие на балконе  
жизни — умники, дураки.  
Мы — восхода на алом фоне  
исчезающие полки.

Борис Рыжий *последний* настоящий советский поэт, переживший (нет, точнее, *не переживший*) крушение советской России.

Военное кино, героика революционных порывов и трудовых будней, закрепленная соцреализмом нормативная чистота товарищества, идеальной любви, — все это в лирике Рыжего ценности, к которым обращается душа человека, хотя повседневный опыт их-то как раз и не подтверждает. Советский миф становится в этих стихах особенно осязаемым, выполняет функцию того, лучшего мира, который романтическое сознание всегда противопоставляет этому, погрязшему в низменных страстях, в мелких стремлениях. И самым впечатляющим выглядит то, что, заканчиваясь, страшная эпоха как бы оказывается согретой ностальгическим человеческим теплом, она дает повод для сожаления и любви:

Россия — старое кино.  
О чем ни вспомнишь, все равно  
на заднем плане ветераны  
сидят, играют в домино.

Конфликт уходящего и потому идеального, уже превратившегося в литературный, культурный миф, и сегодняшнего, реального, следовательно, худшего, — непримирим. Здесь стыдно быть в первых рядах новых хозяев жизни (Борис так и напишет: «В последнем ряду — пиво и сигареты. / Я никогда не сяду в первом ряду»). Там — несмотря на слезы и кровь — все настоящее, вот почему возможными оказываются такие парадоксальные на первый взгляд строки:

И так все хорошо, как будто завтра,  
как в старом фильме, началась война.

Я хочу только подчеркнуть, что драгоценным и эстетически продуктивным делает советское *вчера* именно его умирание. Реальность сталинско-брежневского времени Рыжего вряд ли бы вдохновила. И тонкую эту грань поэт все время ощущает. Потому-то он и *последний*:

Крути свою дрянь, дядя Паша,  
но лопни моя голова,  
на страшную музыку вашу  
прекрасные лягут слова.

*Последний*, поскольку в своей эстетике Рыжий перерастает рамки и революционного романтизма 20 — 30-х, и социалистического реализма 40 — 60-х годов. Перерастает хотя бы потому, что в своих вкусовых пристрастиях гораздо шире, тоньше, образованнее, искушеннее. Стихи Рыжего существуют не только за счет прямого обращения к жизни (что всегда производит сильное впечатление, однако само по себе еще не делает большого поэта), но и за счет

достаточно сложной литературной игры, целой системы культурологических и исторических реминисценций. Последнее очень важно, поскольку включает поэзию Бориса в смысловой и стилистический контекст русской лирики, дает возможность двойного прочтения. Только один пример. В стихотворении «В безответственные семнадцать...», где Аполлон представлен армейским горлопаном, учащим новобранцев уму-разуму, принципиальное значение имеют именно литературные отсылки. Так, читая строки «Ну-ка, ты, забобень хорем. / Парни, где тут у вас нужник?» — важно понимать, что речь идет в том числе о Державине. Именно с вопросом о нужнике обратился маститый поэт, приехавший в Лицей на экзамен по российской словесности, к трепетно ожидавшему его «новобранцу» Дельвигу.

Замечу, что лирике Есенина подобные реминисценции совершенно чужды. Он демонстрирует полную слитость со своим лирическим героем, сознание которого не литературно, хотя — и тут парадокс — еще Тынянов отмечал именно литературность личности Есенина («Его личность — почти заимствование, — порою кажется, что это необычайно схематизированный, ухудшенный Блок, пародированный Пушкин; даже собачонка у деревенских ворот лает на Есенина по-байроновски<sup>4</sup>).

Лирический субъект лирики Рыжего — иной. Я не случайно употребил слово «субъект», а не «герой». Лирический герой появляется в стихах как литературный двойник автора, он становится ведущей темой всей поэтической системы (прямо по определению Тынянова — смотри его статью «Блок»). Лирический герой есть у Лермонтова, у Блока, у Есенина. У Рыжего скорее не *герой*, а *маска*. Тот, кто в его стихах «корешится с ушедшим в народ мафиози», кому «менты расшибли репу», кто «играет в очко на задней парте», — лишь носитель лирической эмоции. За ним — многое понявший, многое прочитавший интеллектуальный автор, стыдящийся обнаружить свое подлинное лицо<sup>5</sup>. Стыдящийся потому, что как-то неприлично носиться с интеллигентскими личными заморочками, когда «Сын Человеческий не знает, / где приклонить ему главу». Именно здесь проявляется генетическая связь поэзии Рыжего с Блоком и еще раньше — с Некрасовым. Автору мучительно жить в мире, где столько боли и страдания, он стыдится быть счастливым (в том числе по-особому счастливым, как счастливы все творческие люди — искусством) среди человеческого неблагополучия.

Непосредственно связана с этой и другая важнейшая тема книги «И все такое...». Это тема обоснования гуманизма, оправдания ценности бытия простого человека — единицы среди миллионов и миллиардов других человеческих единиц.

В остропародийном и одновременно трагическом варианте подобные вопросы были поставлены в русской поэзии XX века Николаем Олейниковым, которому, напомним, тоже понадобилась маска примитивного человека, таракана, блохи мадам Петровой. По этому поводу Л. Я. Гинзбург писала: «В стихах Олейникова совершается как бы непрерывное движение от чужих голосов к голосу поэта и обратно. Поэтому язык Олейникова выворачивает наизнанку не только сознание его бурлескных персонажей, но и в какой-то мере и сознание самого поэта. Он в какой-то мере берет на себя ответственность за своих героев»<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, стр. 171.

<sup>5</sup> Вот что пишет про своего героя Рыжий, противопоставляя его себе:

Он бездельничал, «Русскую» пил,  
он шмонался по паркам туманным.  
Я за чтением зренье садил  
да коверкал язык иностранным.

<sup>6</sup> Гинзбург Л. Я. Николай Олейников. — В кн.: Олейников Н. Пучина страстей. Л., 1991, стр. 14 — 15.

Ответственность за своего героя берет на себя и Борис Рыжий. В его отчетливо пародийном стихотворении про хулигана, от нечего делать стреляющего из рогатки в прохожих, читаем:

Под бережным прикрытием листьев  
я следствию не находил причины,  
прицеливаясь из рогатки в  
разболтанную задницу мужчины.  
.....  
Как и сейчас, мне думать было лень...

Страшная инфантильность, присущая обыденному сознанию, явлена здесь в полной мере. Лень думать, лень что-то менять в жизни, главное, нет сил осмыслить и охватить этот мир в его полноте, нет сил взять на себя ответственность за происходящее. Гораздо привычнее и легче быть *душевным* человеком, упивающимся своими эмоциями, до конца отдающимся то пьяному гневу, то слезливой жалости. Впрочем, многие ли способны на что-то большее?

И вот в чем же правда, в чем ценность подобного существования? Олейников не случайно выбирает в качестве своих героев карася, таракана, блоху — двойников жалкого, никчемного человека. Тем самым он заостряет вопрос о ценности жизни как таковой. В конечном итоге оказывается, что бытие каждого оправдано равенством в горе и страдании. Муки брошенной любовником *блехи мадам Петровой*, конечно, смешны, но и трагичны. Они ничуть не ниже, не «облегченнее» терзаний какого-нибудь высоколобого героя.

В понимании Рыжего дело не только в конечном страдании и смерти. Его обыденный, примитивный герой уравниен с любым умником своей потенциальной предназначенностью к чему-то высшему, подлинному, что всегда, хотя бы в зачатке, есть в каждой судьбе, но трагически не может осуществиться. В душе самого убогого и пошлого человека как бы живет некая музыка (и именно музыка становится ведущим мотивом книги Бориса). Она заглушена бытовым скотством, нищетой личности, виноватой в собственном ничтожестве, обстоятельствами подлой социальной реальности. Но она есть. Точно так же, как в нашей чудовишной и кровавой советской действительности в потенции присутствовал порыв к справедливости и всеобщему счастью.

Главной темой книги Рыжего становится тоска вечной нереализованности человека, страны, идеи. Нереализованности того, что было призвано к реализации, и вот не случилось, не состоялось. Острота и подлинность ощущения поэтом этой катастрофы как катастрофы личной, поколенческой, национальной завораживает:

Так не вышло из меня поэта  
и уже не выйдет никогда.  
Господа, что скажете на это?  
Молча пьют и плачут господа.

Пьют и плачут, девок обнимают,  
снова пьют и все-таки молчат,  
головой тонически качают,  
матом силлабически кричат.

Но именно тут-то и обнаруживается прорыв, катарсис размыкания невозможности бытия собственной жертвой. Гибель всего дорогого, сама смерть отождествляется с нравственной победой и преодолением. Первое стихотворение сборника Бориса Рыжего заканчивается строками, которыми и хочется подвести итог не только его яркому творческому пути, но и в некотором смысле нашей недавней истории:

Спи, ни о чем не беспокойся,  
есть только музыка одна.

---

---

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ



## ОТРИЦАНИЕ ТРАУРА

**Б**едность — не эпилог. Серьезная литература больше не нужна народу. Несложно подметить: в метро каждый третий мертвецки уткнулся в глянцевого томик. Масскультура берет свое. С inferнальным кличем рвут потребителя на части телевизор, Интернет, новый роман Дашковой... Причины всем известны. «Сколь волка ни корми — все в лес смотрит». Чуть только диапазон чтения расширился, массы, которым литературу навязывали, отвернулись от нее.

Но дело в том, что все происходящее имеет условное отношение к полному, глубинному художественному чувству. Да, «волк» (средний человек) предпочел очевидное, моментально уловив нюхом зов лесных дебрей. Но как тип, скулящий и скалящийся сквозь столетия, «волк» все равно значительней и интересней любых самых бесподобных текстов.

Искусство действительно принадлежит народу — больше, чем это можно себе представить. Народ не утрачивает ярких стихийных талантов и сил. Внутренних красот не теряет. И малолетки, которые у меня под окном, комкая белейший январский снежок, образно вопят о снеге: «Герыч!» (героин) — пронизаны живым природным лиризмом прапрабабок-сказочниц...

Постсоветским литераторам должно быть стыдно ссылаться на свою не востребоваемость массами. А в дореволюционной России безграмотная деревня (большинство) читала, что ли, у русских классиков про себя, деревню? И разве не понятно, что городской мещанин спешил приобрести не «Петербург» Белого, а «Приключения Ната Пинкертон»... По-прежнему не массовый спрос будет определять значимость текста, а талант писателя. Сколькие лишь после кончины получили признание! А вся мировая литература, та, что за плечами, с тех пор, как массы ее читать, видите ли, перестали, — она что, обесценивается, исчезает? Как и раньше, занимают свой пьедестал все, Олейников и античный Катулл, и не блекнут, каким бы ни был процент их нынешних читателей.

Самое болезненное для «плакальчиков литературы» — материальное положение... Да, в незаидеологизированном обществе литература невыгодна. А в заидеологизированном — писали и в стол. И стоит ли напоминать, что в общую могилу сбросили Моцарта, нищенское существование влачило бесчисленное множество писателей, те же эмигранты (сердобольный Бунин раздавал собратьям свою Нобелевскую премию и сам умер бедняком).

Привычный для искусства климат. Отбор талантов по призванию, не корысти ради. Талант уникален, явен, талант не пропадет. Бертран Рассел еще радикальнее заявлял, что, если бы был принят закон, по которому каждого автора, написавшего свою первую книгу, сажали бы в тюрьму на шесть месяцев, только хорошие авторы брались бы за перо. И что же? «Нетворческое вре-

---

Шаргунов Сергей Александрович родился в 1980 году. Студент факультета журналистики Московского университета. Как прозаик дебютировал в «Новом мире» рассказами (2000, № 3; см. также 2001, № 1). Одновременно выступал как рецензент в «Независимой газете» и в «Новом мире». Это первое его пространное эссе на литературно-мировоззренческую тему, попытка манифестации «нового российского поколения» двадцатилетних.

мя», — сопят номенклатурные литераторы, попав из князей в грязь и в ней безрадостно барахтаясь...

Вообще говоря, бедность поэтична. Благословенная бедность. Четкость зябкой зари, близость к природе, к наивным следам коз и собак на глине, полным воды и небес, худоба, почти растворение... «Бежать» пышущего бредом благополучия, «забот призрачного света», проблем виртуальных тусовок — очаровательно и спасительно для писателя. Можно при этом оставаться на месте. Никуда не бежать. Помнится, у Кнута Гамсуна в «Голоде» герой, голодный и измученный, лихорадочно пишет в невыносимой обстановке чужого галдящего дома, на птичьих правах, а наедине с собой, в спокойном одиночестве, — теряется. Его одиночество еще более обостряется среди гвалта, это воинственное одиночество, он не расслаблен, весь в преодолении.

Толстосум — по определению бездарен. Что такое роскошь? Тупая пресыщенность, тучное хамство, тошнота. Литература — алчущие и жаждущие. Тонкая, с голубыми прожилками кисть на древесной грубости рабочего стола вместо дебелой лапищи на чьей-то похабно расплывающейся ляжке... На одном полюсе — истертая ниточка родного крестика или вовсе «эх-эх, без креста», прокопченные висельные шеи. На другом — рвотно-золотая цепь, адов жернов... Элементарные образы.

Но я вовсе не хочу сказать, что место писателя в пыльном убогом углу. Лично я уверен: в идеале государством вправе управлять писатель. Писатель обладает главным — властью описания. Сам по себе «ответственный специалист» — слепой червь. Вот кто изначально опасен. Это матрешка чиновничества, когда нет человека, а есть вешалка и пиджак под пиджаком. Он не знает о жизни и смерти, не знаком с силой слова, не сможет постичь принципиальный смысл отнимающей дыхание красоты. У Хлебникова «на сердце бросает цветы» нагая свобода, обезумевший «самодержавный народ» шагает с нею в ногу. Брюсов считал, что все люди должны заколотиться сердцами в ритме поэзии. Горький — что всех можно научить писательствовать. Эти суждения кому-то покажутся романтическими, необоснованными. Однако за ними скрывается претензия. Писатели не открыто, исподволь признаются: «Мы могли бы. Мы бы сделали». Вся правда в том, что бумага тянется к перу, а не только «перо к бумаге» — здесь смысл настоящей власти. Народ — жертва и любовник поэзии — иррационально мудр, готов признать в своем своего. Народ принадлежит искусству. В этом разгадка России.

Каков вывод? Какова роль писателя? Антон Чехов в воспоминаниях Ивана Бунина провозглашает: «Писатель должен быть нищим... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден!» И он же, Чехов: «Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог... купить себе весь Кавказ или Гималаи...» И тут нету противоречий, а есть «выспренняя диалектика». Претендовать на все и довольствоваться малым.

**Агония постмодернизма.** Крайне распространено также мнение, что для литературы фатален «постмодернистский эксперимент». Постмодернизм якобы несовместим с самим существованием литературы. Оговоримся, что предметом наших рассуждений не является выяснение степени одаренности (подчас несомненной) тех или иных авторов. Нам важна суть постмодернизма, его внутренняя логика.

Человеку нового российского поколения не придет в голову пародировать окружающую его родную реальность, да еще через гримасы неродного советского периода. В этом исключительная прерогатива постмодернистов. В этом закономерность их появления, и их роль — пробить, прокукарекать новое историческое время. Постмодернисты — часы со смехом. Смеясь, они расстаются с прошлым. Смеясь, они дичатся нарождающегося настоящего. Так нервно гогочет выросший в чаше Маугли, выбравшись на опушку. Пелевин главу в «Жизни насекомых» озаглавил «Русский лес» (роман Л. Леонова). Сорокин,



писатель божественной среды советских лет, современен почти настолько же, насколько А. Вознесенский с его поэмой про Интернет...

Постмодернистский процесс глобален, не ограничен экс-социалистическим пространством. Во всем мире с исчезновением дипольности после «холодной войны» иронично сползают и осыпаются некогда агрессивные редуты. Повсеместный постмодернизм — культурная разрядка, результат открытости, смены декораций. Но в плане современных реалий — это смешок извне, реакция «не вписавшихся».

Что до пресловутых масс, в лучшем случае о Пелевине — Сорокине слышали звон. Читают их студенты гуманитарных вузов. «Ну как?» — спрашивал я. И всегда в ответах проскальзывало отчуждение. Сорокин почти никакого ущерба литературе не наносит, отзываются о нем с усмешкой небрежения. И он с уже приевшимися фекалиями, и Пелевин с «восточными единоборствами» способны добиться личного успеха, но не переворота в литературе. Постмодернистские произведения — цирковой номер, фокус. Следишь, ждешь, задрав голову: что еще выкинет, чем удивит еще? Постмодернизм как тенденция заведомо исчерпан, должен пересохнуть.

Молодой человек инкрустирован в свою среду и в свою эпоху, свежо смотрит на мир, что бы в мире до того ни случилось... Два старших брата (Пелевин и Сорокин) раскатисто похохатывают над беспомощным отцом Ноем (традиционная литература), но младшенький не желает смеяться. Грядет смена смеха. Грядет новый реализм.

Мне могут замогильно рассудительно заметить: *а уместно ли вообще обсуждать перспективы литературы? Ладно, предпочтение читателем дешевого чтения — в порядке вещей, но ведь само отношение к писателю в России, почти благоговейное, сменяется чуть ли не презрением... Литература измельчала как явление. Масскультура победно колесит по миру, оставляя чудовищные колеи. И это участь человечества. Что ответить? Я против такого пути, я за палки в сверкающие колеса цивилизации. За насаждение литературы! Но, увы, невозможно не признать: в современном обществе литература обречена на локальность. Литература потеряла прежнее влияние, развивается в условиях резервации...*

И тогда кто-то задается вопросом: *а сохранится ли вообще литература? Не сбросит ли ее реальность, как змея кожу?*

Ответ прост: по-прежнему остается живой набор персонажей. Пока есть персонажи, ничего с литературой не случится. Реализм не исчерпывается. Реализм, нескончаемо обновляясь вместе с самой реальностью, остается волшебнее моложе постмодернизма. Типаж сохраняет знакомые (хоть по Фонвизину, хоть по Теккерее) черты, типаж жив, увлекательно отмечать в нем перемены в свете новых обстоятельств. Вот они, истинные бесчисленные фокусы!

Мы постоянно слышим об угрозе забвения молодежью литературы: молодые уже не знают и не читают классику, для них русская классика устарела, занудна... Понятно, что громче всех о неактуальности прошлой литературы вопят все те же постмодернисты, и это они ее скидывают со своего «парохода пародий»... Сорокин раздражается пародиями на прозу Толстого и Достоевского, кривляется над виршами Пастернака и Ахматовой... Но возникает вопрос: а для какого читателя такие старания? Если и впрямь следовать логике постмодернистов (общее варварство, архаичная литература), то они, наоборот, лишь привлекают читательское внимание к «архаике», прививают к ней интерес. Может, далее последуют пародии на Языкова? Тредиаковского?

Постмодернисты — чем дальше, тем больше — оборачиваются не очистительной силой, а литературоведческим безвредно хихикающим кружком. По интересам этот кружок — сверхархаичен. А как же? Если то, что вы пародируете, — устарело, то ваша пародия — вдвое архаичнее. Постмодернист — змея, кусающая себя за хвост.

У проблемы постмодерна есть еще один аспект. Это уровень метафизики литературы или, лучше сказать, ее физиологии. Попсовый смешок чужероден организму литературы, литературу начинает трясти рвотой, и видно по самим

постмодернистам, что они насилуют себя, подстраиваясь под определенный эталон стиля. Писать всерьез было бы и для них легче.

В чем отличие писателя от обывателя, литературы от фельетона? *Ты царь: живи один.* Дело не в победе, не в буквальном уединении (можно смешаться с толпой), а в восприятии. Подлинный писатель в глазах фельетониста — «идиот», дефективный. Он не просто заигрывает с реальностью, но выдвигает свою. Фельетон — это скользящие праздные взгляды публики... Писатель же видит предмет рельефно ли, туманно ли, но как личное — то есть всерьез.

Писатель серьезен всегда. Это не значит, что он насуплен, чугунно сосредоточен, морально выверен. Его серьезность даже разнится с серой серьезностью, с обыденно-поверхностной адекватностью. Но — «как *творящий ты переживаешь самого себя — ты перестаешь быть своим современником*» (Ницше). Подлинная литература неадекватна штампу, а фельетон — да. Фельетон лишь выигрывает от расхожих словечек. Фельетон должен быть адекватен публике, даже пошлости...

Слова фельетона рабские, тогда как настоящее произведение определяется самостоятельностью автора, свежестью стиля, и удача здесь достигается именно в отрыве от штампа. (При этом гениальный текст может весь состоять из сознательных клише, и это будет лучший способ их изживания, победа над ними. Зощенко оседлал штамп, у него штамп, по сути, пародирует сам себя.)

Прием иронических аллюзий не нов. Достаточно вспомнить «Евгения Онегина» с прямыми пародиями на других поэтов. Или — концентрация этого приема — зловещие «Песни Мальдорора» Лотреамона, в которых тот то и дело изысканно пародирует тексты Бодлера, Байрона, Ламартина, так что личность автора (Изидор Дюкасс) растворяется в цитатах. Но в результате постмодерн самопреодолевается. Лотреамон переходит к предельной серьезности. Отрицая ёрничанье, он утверждает в ядовитой горечи: «Свидетельствую: в нашем мире нет ничего, над чем пристало бы смеяться». «Обычная скептически насмешливая манера» — то, что нужно преодолеть. Отсюда вывод: «Поэзия везде, где только нет дурацкой и глумливой улыбки человека, с его утиной рожей» («Песни Мальдорора»).

Реализм — «постмодернизм постмодернизма» — неотвратим. Через наслаения пародий новый человек (даже варвар — тем лучше) обнаруживает твердую первооснову, заново открывает литературную традицию. Объект пародий оказывается самоценен, остальное же раздражает как недоразумение.

Тщательные наблюдения приводят к выводу: в текстах поколения двадцатилетних доминирует дух серьезного, абсолютно разнящийся не просто с постмодерном, но и со стёбовыми опытами позднесоветского, всего на десятилетие старше, поколения. Литература, опрокинутая с ног на голову, обречена. Ее резко повернут обратно.

Можно пророчествовать: сойдет на нет и обилие психоделических и фантастических текстов. Литература будет свободна от отвлекающих факторов («невнятность» окажется не в чести...). Будет достоверный вымысел. Уже сейчас ничемна психоделическая густая заумь. Отвратны претенциозные тексты, в которых зверьки-мутанты поедают бесконечные волосы какого-нибудь Мао... Неактуально удаление в скучный «космизм»... Действительность преодолевают через земное притяжение.

**Новый «русский ренессанс»?** Мы не можем не вспомнить тему «гражданственности»... Писатели разбегаются двумя стадами в две бездарно сухие степи. Друг друга оценивают не с позиций искусства. Налицо примитивизм подходов. Это, конечно, истеричное наследие: организованное *писательство*, или даже две фракции — *два писательства*, но не сам писатель как противоречивая личность.

Но тут возникает внезапный поворот. В рамках советского строя натурален был именно безумный, перверсионный характер литературного противоборства. Стороны были далеки от стандартного деления «консерватизм — про-

грессизм», и их вражда по сей день осталась хоть и грубой, но хаотичной, живой... Размежевание в отечественной литературе не выглядит завершенным и необратимым, не сформированы беспощадные секторы «политкорректности» и «маргинальности».

В свое оправдание, в подтверждение правомерности своей перепалки литераторы часто ссылаются на традицию. *Всегда было два враждебных гражданственных полюса*, — указывают они на витиеватую распря «славянофилов» и «западников». Здесь-то и начинается самое интересное. Действительно, определенные обстоятельства роднят литературных неприятелей времен советизма со «славянофилами»/«западниками». Это не только тотальный фон Государства, но и все та же корявая самобытность «предков», причудливость, развитие поединка вдали от западной классической баталии. При всей болезненной резкости оценок происходило идейное взаимопроникновение — петрашевец делался богоискателем, смыкались анархический бунт и идеализация допетровской Руси.

Наше внимание приковывает не столько сам поединок, сколь его развязка. Исследователи (в частности, историк Михаил Агурский) называют детищем «славянофилов»/«западников» — «серебряный век», момент, когда две идейные тенденции с плеском слились в один свободный поток. Былая нелепая специфика спасает русскую литературу. О парадоксальном синтезе черт двух противоположных станов подробно и предметно рассуждает Александр Эткинд. Итак, уместно провести аналогию. Аналогия, замешенная на надежде, тем более уместна, что наступающее творческое поколение (я это отмечаю) несказанно эклектичнее и раскованнее предыдущего. Как известно, цветом «русского ренессанса» были новорожденные конца XIX века, 80-х, 90-х его годов. И вот — поколение, возникшее столетие спустя, накануне и на гребне перестройки...

Явился новый контекст, в котором писатель далек от предвзятости и идейной брони. Само геополитическое противостояние уступило иным вариантам. И это не однополярность. «Торжество USA» — пиррова победа. Обломан советский рог, в который упирался рог американский, нарушено равновесие, мир делается недисциплинированным, неполиткорректным, во всех смыслах цветным. Русская литература вследствие непостижимых траекторий рискует очутиться в авангарде нового процесса. Для литературы — это возможность подлинной свободы, не сдавленной тенденциозностью.

Я фокусирую внимание на России, где развитие тенденции обещает быть особо показательным. Этот процесс в чем-то вторичен (докатываются волны чуть ли не полувекковой давности, в частности, экзистенциалистский бум), но как известно, русские подражают французам, а те в изумлении изучают получившееся.

Идеологическое общество сочиняло разнообразные отвлекающие сюжеты, адресованные прежде всего молодым. Сейчас же именно молодежь оказалась абсолютно нага перед смертью, никак не прикрыта. Сократилась былая дистанция между человеком и его персональным исчезновением. Чем ярче смерть, тем туманней и сам человек, и его «окрестности». В условиях, когда любые общественные схемы на поверку оборачиваются кошмаром, а отцы лишь беспомощно оправдываются, сыновья получают урок: *фи а с ко идеологических концепций* как итог XX века в России.

Однако именно в новых идейных условиях прозе некуда податься, кроме как в реализм (от будущей поэзии надо ждать акмеистских ноток и возрастания сюжетности). Как понимание «тщеты» придает личности дикие силы, способствует безоглядной энергичности, так и отмирание идеологий и социальных схем эстетизирует высвободившуюся реальность. Реальность опять внешне привлекательна, и чешуя ее вспыхивает солнечно...

Человек не в силах побороть распложающуюся убийственную реальность. Но можно выделить две попытки «отмститься», очень схожие на подсознательном уровне. Либо реализовать самому, обрести некий «статус», успеть подпрыгнуть над черной ямой. Либо продублировать реальность, клонировав ее в искусство (мир идеального). Тут и раскрывается особый смысл реалистического метода. Реалист застает и «вяжет» время на месте преступления.

**Стиль.** Но если и постмодерн, и идеологические кандалы — это беды временные, то более изощренную угрозу я различаю со стороны Стиля. Недавно один из членов жюри одной основной «качественной» премии признался, что ему сложно было приняться за чтение романов, включенных в шорт-лист. Но он себя принудил и далее устало выдыхает: мы, конечно, привыкли к чеховской ясности, но все меняется, теперь подражают западным образцам, приходится считаться... Уместна ли эта усталая покорность? Ведь это не первый отзыв. Неспроста многие тонкие натуры (ценители и ревнители словесности) жаловались мне, что никак не могут осилить тексты, чванливо именуемые качественными...

Не будем называть имен и отдельных вещей. Но в то время, как Пелевин с Сорокиным развлекают, как умеют, их «оппоненты» картонно пресны. «Вы чё, убитые?» — в пору вскрикнуть плакатным языком тинейджера. Я понимаю всю сложность и противоречивость литературной сферы, и все же: в настоящей прозе всегда есть жизнь и полет. Чехов, Бунин, Горький, Куприн. Персонажи, сюжет, краски, образность... Сегодняшняя «качественная» проза почти лишена художественности. Нагромождение сложных обесцвеченных предложений, пошлость, мизерность, сальная антипоэтичность... Невнятная «бытовуха», тухлые котлеты... И тянется, тянется предложение за предложением — о ком? о чем? — слякотная проза...

В глупых бульварных романчиках (в этой наскальной живописи) и то больше свежести! Вот и Акунин затерялся бы — ну да, интеллигентный гладкий слог, — если бы не детективная форма, которая освежает его тексты и даже как-то... облагораживает.

А между тем наши «истинные» литераторы день и ночь плюют на Пелевина и Сорокина. Этих двух избрали символами деградации. Писательские средства, мол, у них не изобразительные, а назывные. Но неужели известна та пшеница, которую можно отделить от «пелевинских плевел» и «сорокинского сора» (или что там у С.?)? Где она, в каких закромах? Видимо, подразумевается, что в пику постмодернистам (популярным, мол, дешевкам) созданы некие произведения, обходные надлежащим вниманием публики. Но выходит, что дело вовсе не в слепоте читателя, соблазненного постмодерном, а в отсутствии действительно качественной альтернативы. И это ни в коей мере не вина журналов, которые пестуют любой намек на талант, из последних сил сберегая литературу...

Мне лично понятно, откуда взялась вялая мутность некоторых позднесоветских прозаиков. Из предперестроечных комплексов, из «ущемленных», брезгливых к привычному увлечений и опытов.

Мы знаем крайне разные варианты искусства. Искусство — цветущий беспрепятственно и дико куст, где и шип зла, и яркий цветок, и бледный листок. Кому мил этот вариант — тот за устранение любых препон искусству. Мы знаем другой куст, сияющий идеологической стрижкой, — искусство усеченное, обреченное на свистящие ножницы садовника. Садовник задает искусству координаты и убирает все, что их перерастает.

Но на самом деле, полноценно искусство или подвержено экзекуциям, и даже при декларативном равнодушии к читателю-зрителю, — в конечном счете и корни, и почва остаются теми же. Почва — реальность. Корни — люди.

Вглядимся. Среди пышного многоцветья — бутон реализма. Реализм — роза в саду искусства.

Я повторяю заклинание: новый реализм!

В прозу юных возвращаются ритмичность, ясность, лаконичность. Альтернатива постмодернизму. Явь не будет замутнена, сгинет саранча, по-новому задышит дух прежней традиционной литературы.

Надо сказать просто: литература неизбежна.



---

---

# Р Е Щ Е Н З И И . О Б З О Р Ы

## СУРОВЫЙ БЫТ В ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНАХ

Михаил Тарковский. За пять лет до счастья. Повести и рассказы. М., Издательский дом «Хроникер», 2001, 336 стр.

**Е**сть много писателей, которые, покинув некогда родные пенаты, клянут проглотившие их города и с сентиментальной слезой выписывают ностальгические портреты былого рая. Есть много писателей, родившихся среди асфальта и бетона, способных выехать на денек на дачу или рыбалку, мечтательно воздыхающих о недостижимом — бросить все к черту и зажечь наконец-то по-настоящему — в глухом и не тронutom цивилизацией углу. И есть по крайней мере один писатель, решившийся на это встречное движение, променявший сумасшедшую и чумную Москву на поселок Бахта дикого Туруханского края.

То, что предлагает в своей прозе Михаил Тарковский, по существу, очень просто — это личный опыт и личные впечатления человека, до некоторой степени удивленного открывшейся ему неизвестной стороной бытия. Возможность для такого нескончаемого удивления лежит для Тарковского именно в том, что он, человек, воспитанный урбанистической культурой, вынужден заново возвращаться к самым простым вещам, открывать способы существования в «естественном» мире, постигать его гармонию, не данную изначально в ощущениях, а как бы вторично отвоёвываемую разумом.

Окружив себя людьми, для которых таежный быт — единственно известная форма существования, он приобрел материал для наблюдения. Оставаясь при этом человеком другого опыта и другой культуры, Тарковский получил возможность работать на совмещении и взаимопроникновении почти несовмещающихся пластов. Для искусства такие вещи весьма продуктивны, поскольку позволяют вытаскивать на поверхность незаметные привычному взгляду нюансы.

Многие герои произведений Тарковского, как в повестях «Девятнадцать писем» и «Шыштындыр», в рассказе «Ветер», страдают от гнездящейся внутри их двойственности. Двойственность заявлена как противоречие между двумя чувствами — любовью к женщине и любовью к тайге. Эти герои во многом повторяют личный авторский опыт — так же променяв клавиатуру компьютера на топор и ружье. Было бы наивно, однако, ожидать, что крутой поворот судьбы может пройти безболезненно. Можно привыкнуть к отсутствию городских удобств и находить удовольствие в умении самостоятельно обеспечивать свое пропитание — в самом буквальном смысле. Гораздо труднее оторваться от любимой женщины, которая не может разделить твоей страсти к дикой природе, не хочет носить воду из колодца, топить печь, ходить в валенках, которая просто иначе представляет себе жизнь — хотя бы потому, что она — горожанка.

И тогда отношения начинают трескаться и расползаться, идет мучительная для обоих тяготиная встреч и разлук, когда никто не умеет пожертвовать своими интересами, но мучительно выжидает, чтобы это сделал другой. И тогда пишутся долгие и нежные письма, в которых как будто каждый что-то слегка обещает другому, а при встрече всегда выясняется, что эти обещания и не были обещаниями, а только нелепой надеждой, что все как-нибудь образуется само собой.

Эти повести полны грусти, потому что написаны о несбыточном счастье, про которое заведомо известно, что оно — невозможно. В «Шыштындыре», где тема доведена до логического конца, герой в итоге приходит к тому, что главное для него в его положении — это воспоминания. Не те, что похожи на засушенные цветы в связке пожелтевших писем, а те, которые превращаются в опыт, преображающий личность. Сон, где все чудесным образом совмещается в несуществующем поселке Шыштындыр, сбываются несбыточные желания: среди тайги появляется Москва, дом, где живет недостижимая Катя, отношения с которой на самом деле разрушены навсегда. Герой знает, что не кто иной, как он сам, виноват в случившемся, во всяком случае, он *готов* винить прежде всего себя, а не вставшие пре-

градой объективные обстоятельства. Это и есть главный и самый нужный опыт — оценить себя вне зависимости от действия обстоятельств. И тогда выясняется, что не имеет никакого значения, в чем была причина нарушения связи между людьми — в несогласимых представлениях относительно образа жизни или в самых мелких бытовых неурядицах. И герой понимает, что все дело в том, что он недостаточно любил эту женщину, и будь у него тогда столько любви, сколько он теперь скопил в своем одиночестве, все могло бы пойти по-другому.

Герой не раздавлен своим отрицательным опытом, он ни в коем случае не раб его, а в каком-то смысле — хозяин, поскольку, осмысляя, он преобразует прошлое и хоть на одну, пусть самую маленькую, ступеньку, но поднимается вверх.

Когда Тарковский оглядывается — на что же в конечном счете он (или тождественный ему герой) обменял привычный мир, — он видит вокруг себя не только гармоничную даже в своих изначальных противоречиях природу, но и людей, для которых эта среда естественна. Охотники и рыболовы, жители таежных поселков оказываются совсем не так лубочно просты, какими видятся издалека. Вот старый охотник из рассказа «Таинственная влага жизни» («Стройка бани»), труженик и основательный хозяин, строит себе добротную баню. Тарковский внимательно присматривается, как и каким инструментом он работает, как подгоняет инструмент, тешет бревна, кладет венцы... Это настоящая поэма осмысленного труда, несуетного мастерства, когда человек осуществляет свою главнейшую функцию — гармонизирующего преобразования мира, где «хищный глазомер простого столяра» есть действительное мерило красоты и подтверждение глубокой внутренней правоты создателя.

Но даже простейшая ситуация оказывается далеко не простой. Раздумывая при работе над смыслом своей жизни, Иваныч вынужден признать, что смысл этот для него поколеблен: ни новая баня, ни добротный дом, ни ухоженный охотничий участок никому, кроме него, не нужны. Единственный сын — веселый шалопай, которому доступно единичное, пусть и очень большое усилие, но претит равномерный и основательный труд, — подался в город, где ритм жизни больше соответствует его легкой натуре. Это больно ранит отца, прежде всего потому, что как бы перечеркивает всю «философию» его бытия. Однако внутренняя сила заставляет его вопреки обстоятельствам продолжать начатую работу: выкладывать печь, обходить охотничьи угодья — будто он подозревает, что не узнал какой-то важной последней правды, открыть которую может только так — следуя естественному для себя жизненному пути. Он не может сформулировать ее, постигая как бы помимо сознания, перед самой смертью предчувствуя, что во всем этом заложен глубокий смысл.

Герой другого рассказа, «Ложка супа», прекрасный работник и замечательный рыбак — до тех пор, пока не уходит в многодневный изнурительный запой, когда пропивает все заработанное с первым встречным-поперечным. Окружающая реальность не дает этому человеческому типу ощущения всей полноты бытия. Между ним и бытием словно существует какой-то зазор, не позволяющий им слиться в бесконфликтном соединении.

Именно «прекрасность» жизни не дает этому трагическому типу русских людей отдаваться ей в формах, не требующих сообщения с бездной. Герой Тарковского — стихийный, сам не осознающий этого философ, лишенный того инструментария для обработки избыточной информации, которым обладает превозмогший образование человек. Для преодоления переполняющих его ощущений он вынужден пить — и за питьем философствовать, горячо и бессмысленно споря о каких-нибудь пустяках. Он впадает в запой как художник, пораженный величием окружающего мира, не умеющий найти иного способа дать разрядку переполняющему его восторгу.

Тарковский предлагает в своей прозе простую вещь — взглядеться в окружающую жизнь. Все его персонажи — люди довольно цельные, даже те, кто не совпадает с реальностью до конца. И все они люди действия, прежде всего потому, что пассивность при их образе жизни в самом прямом смысле означает физическую гибель. Это люди, сознательно или бессознательно осязающие свое предназначение. Предназначение не так уж сложно. Во многом оно определяется тем, что они

просто живут как мужчины, от работы которых зависит устройство и органичное течение жизни. В тех обстоятельствах, где они существуют, это видится особенно наглядно.

Противопоставление суеты и подлинности хорошо заметно в рассказе «Вековечно», где собака молодого охотника случайно вытаскивает зверька из ловушки охотника старого. Молодой мечется, переживает, что никак не может встретиться и объясниться, что старик может подумать о нем дурное — при том, что сам отчетливо понимает, что причина для переживаний, в сущности, пустяковая. А старик тем временем лежит в больнице — и легко из своего «потустороннего», как бы уже «надмирного», оторванного от жизни бытия отпускает при свидании невольный грех молодому.

Особенно значим оказывается финал: из областного центра, где с трудом выкарабкался из болезни, старик вдруг возвращается с новой женой (он давно вдовец). Жизнь как будто снова берет свое, «надмирность» исчезает, вступает в свои права обыденность и суета, и уже недовольна отцовским «кульбитом» его взрослая дочь... Но накануне отъезда к новой жене старик вдруг делает вдох — и жизнь тихо-тихо выходит из него, словно режиссер, выводя ситуацию к логическому завершению.

Если попытаться выговорить это словами, выходит банальность. Художественный образ оставляет возможность для спасительной недосказанности. У Тарковского, слава Богу, хватает чутья оставлять тексты *недоговоренными*. Он работает мягкими, неяркими красками (потому, быть может, не так заметна его самобытность, и кто-то видит в его текстах лишь повторение пройденного). Эти тона дают его прозе необходимый «воздух» — пространство без жесткой конструкции, рассчитанное на работу эмоции. Рацио осталось в мегаполисе. Здесь, *в лесу*, работают другие законы. Тарковский ни в коем случае не натуралист (в обоих смыслах). Его цель представляется более интересной — попытаться приблизиться к *естеству*. И к сути.

Мария РЕМИЗОВА.



## СКВОЗЬ ГЛАЗОК — ПАНОРАМА

Александр Коноплин. *Шесть зим и одно лето*. Роман. Ярославль, «Верхняя Волга», 2001, 272 стр.

**Ч**то такое *глазок*, знают все. Это застекленная дырочка, например, во входной двери вашей квартиры. Откинул железный пяточок-шторку — и наблюдай сквозь глазок, что происходит во внешнем мире. Не слишком широк угол обзора, но все-таки. Но ведь есть и другие глазки — тюремные, там шторка находится с наружной стороны двери. В такой глазок не ты видишь мир, а наоборот — оттуда за тобой наблюдают. Ярославский прозаик Александр Коноплин в своем новом романе «Шесть зим и одно лето» «сообщает», что его герой Сергей Слонов даже написал когда-то рассказ, который так и назвал — «Глазок». Срок, который отбывал герой Коноплина, приходится на давние времена: 1948 — 1954 годы. В краткой аннотации к книге сообщается, что в ней нет вымысла, все написанное пережито и выстрадано самим автором. Да, Слонов, в сущности, и есть сам Коноплин, отдавший архипелагу ГУЛАГ лучшие молодые годы. В семнадцать, в сорок третьем, пошел артиллеристом на фронт, а после войны был арестован и обвинен по знаменитой 58-й статье: создание антикоммунистического союза — СДПШ (а это было название солдатской, но, в сущности, мальчишеской компании, составленное из начальных букв фамилий ее участников), а также — за пропаганду антисоветских взглядов «блудницы» и «космополита». Речь шла о творчестве Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, по которым тогда только что вышло зубодробительное постановление ЦК. И как до этого посадили В. Шаламова за чтение Бунина, так и молодой солдат получил свою «десятку» за интерес и любовь к творчеству великого поэта и замечательного писателя.

Слонов-Коноплин — из провинциальных интеллигентов небольшого, близкого к Ярославлю городка Данилова. Лагерная школа героя романа прослежена в течение не одного дня, а нескольких лет, в которые происходила духовная закалка его неординарной личности. Да не школа, а настоящий университет, какого не кончить никакому вольняшке. «В камере минской тюрьмы (арестовали солдата в послевоенной казарме белорусской столицы. — *Б. Х.*) профессор Панченко читал мне лекции по химии; в заледенелом бараке на Тунгуске о Белой армии рассказывал воспитанник Пажеского корпуса Владимир Мироллюбов; мне... доверял сокровенные мысли один из верных стражей революции балтийский матрос Фомин... каялся в смертных грехах бывший надзиратель с Лубянки; в разговоре со мной отводил душу Герой Советского Союза генерал-лейтенант Крюков. Зона, как будто специально для меня, собрала их вместе». И как итог этой учебы — вывод: «Я благодарю изверга и тирана (то бишь Сталина. — *Б. Х.*), давшего мне возможность увидеть их, всех сразу, пока они еще были живы».

Генерал Крюков, поясним сразу, — это муж народной певицы Лидии Руслановой, тоже побывавшей зечкой. Уже не герой сочинения, а сам писатель встречался с ней на воле и рассказал об этих встречах подробнее, в воспоминаниях, напечатанных в другой книге. Что же касается Слонова, то он и будущего чешского президента генерала Людвика Свободу в Данилове увидел. Там его во время войны снимали с поезда, шедшего на восток, чтобы сделать срочную операцию, которую провел дед Слонова, опытный старый врач. (Впрочем, что касается Свободы, то имя его все же пишется с буквой «к» на конце — *Людвик*, а не с «г», как в тексте книги.)

Лагерные «учителя» читали Слонову в зарешеченных университетах и лекции по политологии. Так, его земляк-ярославец архитектор Сан Саныч Вахромеев (это, кстати, фамилия известных ярославских купцов-промышленников) открыл солдату, что лагерная жизнь, собственно, и есть «коммунизм»: «В лагерях нет денег — они просто не нужны, нас одевают, кормят, моют в бане, показывают кино — какое надо! — лечат, когда мы доходим. Единственно, что не соответствует учению, так это то, что наших „коммунаров“ гонят на работу палками. Но это уже мелочи, главное — есть основа. Заложена еще в семнадцатом».

Согласно лагерной политологии, ГУЛАГ — коммунистическая империя, и «если начальника Краслага принимать за наместника государя императора в данном регионе Сибири, то начальники ОЛПов будут удельными князьями».

Вообще сквозь коноплинский глазок видна широкая панорама сталинского режима. Эта картина создавалась автором долго, даты под сочинением: 1954 — 1996. Но несмотря на давность замысла, не устарела ни на йоту. Кстати, в году эдак пятьдесят первом в Ярославле чуть было не организовалось общество, похожее на СДПШ, которое почему-то окрестили «нанайским». Правда, были мы тогда еще не солдатами, а школьниками-старшеклассниками, к тому же один из «нанайцев» оказался сыном энкавэдэшника, а тот, умный человек, вовремя разогнал нас, и мы не успели загромоздить в большой серый ярославский дом с колоннами — областную «Лубянку». Так что остались вольняшками-недоучками, ибо, если верить Рабиндранату Тагору, «человек не может стать совершенным, не посидев какое-то время в тюрьме» (эпиграф к одной из глав книги Коноплина).

Разнообразны уроки, усвоенные Александром Коноплиным. «Когда мне трудно, — рассказывает писатель, — я вспоминаю любимую поговорку отца: „Не вставай на цыпочки, чтобы казаться выше, чем ты есть, и не приседай, если на самом деле высок ростом“». Этот урок относится, в частности, и к его литературной работе. Она началась, в сущности, еще перед войной, в детстве, когда мальчик читал сочинения русских классиков из богатой библиотеки деда. Тогда он взял для себя за образец пушкинскую «Капитанскую дочку», ибо, как признается его Слонов, «повесть поражала меня широтой охватываемых событий при очень уплотненном тексте». Богатые библиотеки, впрочем, герой романа нашел и в местах заключения, так как туда поступали книги из собраний репрессированных. Парадокс: в открытых книгохранилищах нельзя было найти сочинения, скажем, Гумилева или Мандельштама, а в лагерных библиотеках они имелись, и у рабов была возможность наслаждаться недоступным на воле. За «шесть зим и одно лето» Слонов не-



плохо изучил и гулаговскую «феню», да и в романе использовал ее, пожалуй, пощеднее, чем Солженицын в «Иване Денисовиче».

Что ж, так ли уже все совершенно в коноплинском романе? Нет, наверное. Но как-то не тянет на критику в юбилейном для автора году — ему исполнилось 75 лет. Скажу только, что структура романа Коноплина немного, на мой взгляд, лоскутная: сюда включены — кроме повествования Слонова — два его рассказа, а одна глава — это как бы рукопись другого автора, тоже заключенного, случайно попавшая к писателю-зеку.

Сам Александр Коноплин, реабилитированный в 1956 году, давно стал профессиональным литератором. Однако его, как Солженицына, как других собратьев по ГУЛАГУ, трагическая память не отпускает. В Ярославле еще с 1993 года выходит серия фундаментальных книг «Не предать забвению» — с подробным, снабженным биографическими справками перечнем коммунистических жертв из Ярославля и Ярославской области. Их «тьмы, и тьмы, и тьмы» — не один десяток тысяч. Александр Викторович Коноплин — заместитель председателя редакционной коллегии этой серии, составитель и редактор многих ее томов.

Надо сказать, что ярославское издательство «Верхняя Волга» отнюдь не пренебрегает как историей своего древнего края, так и трагедией современной нашей истории. Так, оно выпустило три тома публицистики Александра Солженицына. Многое там напечатано вообще впервые, и в этом отношении издание уникально.

...В целом же у нас все-таки сильно недооценивают значение провинциальных издательств. В центральные города их продукция практически не поступает: между собой они совершенно разобщены. Мало того, как нам стало известно, Министерство РФ по делам печати, которому принадлежит, в частности, и «Верхняя Волга», вообще намеревается закрыть многие провинциальные издательства — потеря будет невосполнимая, новый удар по губернской и уездной русской культуре.

В целом же сквозь «глазок» книги Александра Коноплина «Шесть зим и одно лето» ясно видится не только боль прошлого, но и насущные сегодняшние проблемы и нужды.

Пусть лучи от таких книг доходят до читателей, перекрещиваются, фокусируются и не позволяют остывать читательскому волнению...

Бронислав ХОЛОПОВ.

\*

## НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮБВИ

Мишель Уэльбек. Элементарные частицы. Роман. Перевод с французского И. Васюченко, Г. Зингера. М., «Иностранка», «Б.С.Г.-Пресс», 2001, 412 стр.

**А**лен Роб-Грийе когда-то окончил тот же агрономический институт, что и Мишель Уэльбек. Тем не менее классик уже давно не «нового» французского романа не смог осилить книгу своего молодого двойного коллеги: «Это из тех книг, где главное — содержание. Я думаю, что литература его вообще не слишком интересует». Помимо такой, естественной в литературе, непохожести этих двух выпускников с полководческим образованием сказались, конечно, и разница во временных полях, на которых авторы произрастали, — сорок лет для литературы — срок вполне исторический.

Да, у автора имеются идеи, которые он хочет выразить и выражает весьма академическим языком. Да, нет никакой структуры, да, он обращается к общественным проблемам, точнее, к собственным проблемам в обществе, — но читатели, в отличие от Роб-Грийе, не скучают, а с непонятым энтузиазмом раскупают эти самые «Элементарные частицы» — на родине автора разошлось более трехсот тысяч экземпляров. «Новому» роману такие цифры и не снились — он прославился отсутствием читателей. А тираж в десять — пятнадцать тысяч «у них» считается уже вполне приличным, позволяющим вести существование профессионального лите-

ратора. Очевидно, что собственно литература и читателя не очень интересует — это занятие для писателей. Можно сказать, что его интересует *читература* — то есть то, что читается.

Случай с Уэльбеком интересен, в частности, тем, что бестселлером стал достаточно серьезный, растянутый и, в сущности, совсем не французский роман. Он написан с немецкой педантичностью и хотя в русле первично французских идей — контовский позитивизм, — но развитых скорее англичанами. То есть роман Уэльбека — явление наднациональное, касающееся судеб всего западного мира. Можно сказать, что он завис, как летающая тарелка, где-то между Г. Гессе («Степной волк», «Игра в бисер») и О. Хаксли («О дивный новый мир», «Обезьяна и сущность»). В детстве главный герой Уэльбека восхищался Черным Волком, индейцем-одинокочкой, который без конца странствовал по прериям. Напоминает о Гессе и отрешенно-созерцательная, внешне бесстрастная манера повествования. Главный герой романа отчасти и Степной волк, и Йозеф Кнехт. Он тоже слуга своей Касталии, своей науки, с высоты которой — вместе с автором — разглядывает современную ему эпоху, вполне «фельетонную», также угрожающую всем основополагающим человеческим ценностям. Сходна и гибель героев — в водной стихии, — вызывающая рождение посмертного мифа, этакое жития, претендующего на религиозную значимость.

О. Хаксли присутствует в паре со своим братом-ученым Джулианом (Гексли — в принятой у нас транскрипции), и не только как автор влиятельных книг, но и как живой персонаж, «отупевший от наркотиков». С братьями Хаксли как-то соотносится и пара героев-братьев Уэльбека — Брюно и Мишель. Брюно — южанин, пылкий, нежный, постоянно озабоченный и жаждущий «детумесценции» (так Хаксли называет снятие напряжения). Он представитель среднего класса, преподаватель литературы, сам периодически примеряющий маску писателя. Мишель — северянин, волны плотских страстей не смущают его душевный покой, он давно отдал науке всего себя. Он подлинный интеллектуал, в то время как Брюно — всего лишь «образованщина».

Успех романа М. Уэльбека вполне канонический — с судебными процессами, с потоками восторженных и уничтожающих рецензий, с лавиной слухов и скандалов. И все это — не без тонкой рассчитанности, заставляющей работать отлаженный механизм современного литературного процесса на пределе возможностей. Ведь Мишель Уэльбек (род. в 1958 году) не новичок в литературе, уже предыдущий его роман — «Расширение пространства борьбы» — был отмечен вполне престижной премией Общества литераторов. Начинал он как поэт и эссеист. Впрочем, в последнем романе представлена вся его творческая родословная — он не расстался ни с чем. Сам роман можно определить как «универсаль беллетристик» — тип повествования, достигший своих вершин с помощью Достоевского и призванный привлечь к себе — не мытьем, так катаньем — благосклонность читателей самого разного уровня. Поэтому в книге Уэльбека присутствуют и стихи, и порнография, и эссеистика, и семейный роман (с бабушками и дедушками, с родословными до третьего колена), и роман воспитания, и криминальная история, и лавстори — даже две, и научная фантастика, и евангелие от позитивизма. Все это сдобрено фирменной иронией Мишеля Уэльбека. Она-то, возможно, раздражает больше всего: ставит автора в неуязвимую позицию, а читателя — на всегда обидное место простака, разъяренного, как бык красной тряпкой.

Однако за «круглым столом» с французскими писателями Уэльбек — вполне обычный, без всякой иронической амбивалентности, пресноватый студизус, более Вагнер, чем Фауст. В списке значимых для него имен — апостол Павел, Паскаль, Достоевский, Бальзак, Бодлер. Очевидно, роднит с ними автора прежде всего профетический пафос, который оказался также одним из слагаемых успеха («Уэльбек — герольд конца света» — типичный заголовок рецензий). Этот пафос, пожалуй, все-таки перевешивает иронию, которая порядком поднадоела даже интеллектуалам, а у обычного читателя никогда и не была в особой чести. Как замечает один из героев романа, «можно долго с юмором относиться к явлениям действительности, это порой продолжается многие годы; в иных случаях удастся сохранять юмористическую позу чуть ли не до гробовой доски; но в конце концов жизнь раз-

бывает вам сердце. Сколько бы ни было отваги, хладнокровия, юмора, хоть всю жизнь развивай в себе эти качества, всегда кончаешь тем, что сердце разбито. А значит, хватит смеяться». Впрочем, по слову одного известного критика, писателю труднее всего, когда он серьезен.

В список важных для писателя авторов почему-то не попал маркиз де Сад. Между тем его присутствие в романе даже более очевидно, чем присутствие Гессе и Хаксли. По количеству оргазмов на единицу текста южанин Брюно может соперничать с либертенами пресловутого маркиза. Но все это — в рамках сексуальной свободы среднего класса, не дотягивающей до садизма элиты. Как сказано основоположником, «все то, что называют преступлениями либертинажа, может подвергаться наказанию лишь в рабских кастах». Впечатляющим образчиком садизма становится в романе Давид ди Меола, сын проповедника этой же свободы, так и не взошедшая рок-звезда. Абсолютная свобода в сексе, подрывающая способность к любви и в физическом, и в духовном плане, приводит к свободе в ненависти, в насилии и убийстве. Вполне невинные «хиппи» довольно быстро преодолевают эту дистанцию. (Об этом, напомним, свидетельствует и опыт «семьи Мэнсона», совершившей в 60-е годы кровавые ритуальные убийства.) Садизм у М. Уэльбека — «американский», именно оттуда приходит все, разрушающее жизнь героев. Свобода же секса — родная, французская, невинно-бытовая, уик-эндно-развлекательная. Роман, в сущности, дает рекламу полного набора доступных и невинных удовольствий, всегда ожидающих обывателя. Секс — такой же товар, как и все остальное. Платишь — получаешь. Единое природное чувство цивилизация сумела расщепить на телесную и духовную составляющие. При этом с сожалением отбросила последнюю — как нерыночную. Свобода быть товаром, дарованная обществом потребления, отменяет все, что товаром быть не может. И прежде всего любовь, которая не может быть свободной по определению.

Однако порнографический пласт романа работает не только как реклама сексуального туризма, но, конечно, выполняет и определенную роль в художественном пространстве сочинения. Ведь роман Уэльбека прежде всего — о невозможности любви в современном мире. Сегодня человек — не атом, связанный определенными валентностями с другими атомами в химии жизни, но всего лишь элементарная частица, продукт распада того же атома, входившего когда-то даже в состав молекулы. Психологическая, онтологическая и социальная раздробленность лишает его всякой надежды на возможное слияние с себе подобными. Брюно и Мишель — два варианта этой невозможности.

Толстый и трусливый Брюно с неутомимой жадной любовью и нежности, никак не реализуемой в сексуальных отношениях и только бесконечно возрастающей, заканчивает свои дни в психиатрической больнице. Вся «порнография» связана именно с ним и вызывает жалость и сочувствие, граничащие с безразличием. Читатель постепенно ощущает весь ужас тупика, в котором оказался Брюно, ставший заложником своей сексуальности. Обилие секса не приносит ему счастья. А надежда на любовь, которая мелькает перед окончательным крахом героя, исчезает так же быстро, как и появилась. Брюно не способен к любви — к тому, чтобы как-то тратить себя на другого. У него не было перед глазами спасительного примера родительской любви. Ему досталась лишь привязанность бабушки — гипертрофированная, однобокая, причающая к постоянному потоку любви, не требующему ни малейших ответных усилий, и готовящая тем самым своему любимчику психоэмоциональный крах.

Единственным источником любви у Мишеля тоже была бабушка. Но у него, северянина, сексуальность очень рано сублимировалась в интеллектуальный интерес к миру. К тому же он не испытал тех издевательств и унижений, которые выпали Брюно в пансионе и резко повысили потребность в любви и нежности, так неожиданно — со смертью бабушки — покинувших его. Эмоциональная атмосфера, в которой рос Мишель, была намного ровнее. Но он тоже оказался обделенным. Даже любовь прекрасной девушки не могла открыть ему мир этих волнующих и изматывающих Брюно чувств. Только ее смерть спустя годы дала Мишелю некоторое представление о любви. «Через посредство Аннабель... он получил возможность понять, что любовь в известном смысле, в еще неведомых формах может

иметь место». Мишель «под углом зрения постулатов квантовой механики сумел посредством интерпретаций, правда немного слишком дерзких, заново возродить условия возможности любви».

Мишель и Брюно — единоутробные братья, так и не получившие спасительного материнского тепла. Но если Брюно — это уровень эмоционально-чувственного отношения к миру, на котором человек, очевидно, почти всегда проигрывает, то Мишель — уровень интеллектуально-опосредованный. На этом уровне поражение может казаться победой. Мишель побеждает, он мстит жизни, создавая свой вариант человеческого развития — без мучительной и ненадежной зависимости от любви. Он делает материнство и отцовство абсолютно ненужными, разводя в разные стороны наслаждение и воспроизводство, усиливая результативность и того и другого. После его открытия «любой генетический код, сколь угодно сложный, может быть перезаписан в стандартной, структурно стабилизированной форме, недоступной для нарушений и мутаций». Таким образом герой Уэльбека подарил человечеству бессмертие.

Наконец, человеческое сообщество — точнее, его психологически активная, верхушечная часть — в сущности, «вечная образованщина» — от бесплодных и кардинальных попыток изменить мир или изменить собственное сознание пришла к спасительному, хотя и вполне безумному решению: перемена свершится не в умах, а в генах!

Собственно, по нашим временам, фантастики тут не так и много: все мы современники овечки Долли. А к приходу сверхчеловека готовы со времени Ницше. Наконец-то его появление поставлено на твердую материальную основу. Тем более, что сама идея бессмертия, будущего воскрешения, заложенная в коллективное бессознательное, постоянно извлекается откуда всеми религиями. Правда, там же присутствует коллективное бессмертие, бессмертие рода человеческого, поддерживаемое и обновляемое смертными индивидами. Но в эпоху агрессивного индивидуализма и самый архетип родового бессмертия преобразуется в эгоистические устремления ограниченной личности. И дьявольски услужливая наука тут как тут: желаете бессмертия? Будет исполнено. Но бессмертие единиц лишает ресурсов жизни многих — вместо того чтобы совместными усилиями направлять действия живущих на постоянное совершенствование их реальной и сегодняшней жизни, на то, чтобы передавать ее в целостности и сохранности следующим поколениям.

Уэльбек с очевидностью подыгрывает вкусам и мнениям толпы, ее эгоистическим потребностям и ожиданиям — как в сфере секса, так и в отношении бессмертия. Увы, рынок — надо продаться во что бы то ни стало. Но не это обычное и рутинное потворство вкусам определяет успех книги, хотя и аккомпанирует ему. Своим успехом, самой шумной и скандальной частью его, писатель обязан прежде всего острому и безжалостному взгляду — из будущего — на современное общество, на Францию после 1968-го, вырвавшуюся, вслед за Америкой, на простор индивидуального гедонизма, не терпящего никаких ограничений и преград.

Жанин-Джейн, мать Брюно и Мишеля, — одна из первых ласточек сексуальной революции, полной свободы, уничтожившей любые обязанности по отношению к другим — мужьям, детям, родителям. Если личность имеет право на все, то как может существовать общество? Этот вопрос актуален в сегодняшней Франции. Впрочем, как и в России. Или все-таки мы должны признать, что эта свобода, как всегда и было, — не для всех? Ведь поначалу она утверждалась для избранных. Но любой опыт высших жадно усваивается низшими. Негативный опыт намного легче для усвоения — ведь он по нисходящей, в русле энтропии и поэтому не требует особых усилий для массового воспроизводства. Тем более, что всегда и во всех классах есть, как замечает основатель общины хиппи, отец садиста Давида, определенное число «недоумков, взыскующих новых ценностей». Идет постоянный процесс выпадения в группы риска, выводящий неустойчивых особей из круговорота природы, бракующей их. Алкоголь, наркотики, секс — естественная, а впрочем, в значительной мере искусственно подогреваемая реакция на перенаселенность планеты, на все возрастающие трудности обычной жизни. Отсюда вполне понятное стремление как можно быстрее и как можно больше выжать из этого малого, отпущенного только тебе тела. Но свободный секс рождает ожесточение и

некрофильскую жажду уничтожения. А долгожданный прорыв в бессознательное с помощью психоделических наркотиков погружает в новое, и последнее, уже недолгое, рабство.

Уэльбек фиксирует в современном обществе тот предельный уровень личной свободы, следующим шагом которой будет всеобщая гибель. Общество потребления производит анархизм в таких объемах, что это уже создает реальную угрозу прекращения не только культуры, но и западной цивилизации в целом. Достаточно напомнить, что существуют американские клубы ядерного уничтожения, объединяющие тех, кто предпочитает именно такой вариант Апокалипсиса.

Мир, в котором невозможна любовь, неудержимо катится к отрицанию жизни и человека. То, что именно французское общество и является таким миром, стало для многих читателей романа болезненным открытием. «Сегодня (то есть еще десять лет назад), — замечает немецкий христианский публицист Г. Рормозер, — центр вражды к разуму уже не Берлин, как это было во времена Веймарской республики, а скорее Париж. Постструктурализм, деконструктивизм в лице своих представителей — Деррида, Фуко и других — с такой ненавистью атакуют разум, что перед ними побледнел бы радикализм Ницше». Уэльбек также поминает и Фуко, и Лакана, и Деррида, и Делёза, труды которых «после десятилетий бессмысленного почитания внезапно подверглись вселенскому осмеянию». И с тех пор — во времени романа — «во всех областях мысли необратимо вошли в силу деятели науки». Уэльбек, очевидно, имеет в виду исчерпанность постмодернистского сознания, лишаящего возможности мыслить идею единства и всеобщности. В романе чувствуется реальная жажда разрыва с XX веком, его имморализмом, его индивидуализмом, его анархистскими, антисоциальными пристрастиями. Вероятно, эта жажда созрела и в головах читателей, иначе в принципе нечитательный — умствующий, идеологический, моралистический — роман не стал бы национальным бестселлером. Вот до чего доводит авторов опасное, по мнению того же А. Роб-Грийе, желание, чтобы их читали.

М. Уэльбек задел самые болезненные точки либерального сознания среднего класса. «Страна... переходила в категорию среднебедных государств, а люди... живя там зачастую под угрозой нищеты, ко всему прочему проводили дни в одиночестве и горьком озлоблении. Чувства любви, нежности, человеческого братства в значительной мере оказались утрачены; в своем отношении друг к другу его современники чаще всего являли пример взаимного равнодушия, если не жестокости».

Скромного обаяния буржуазии уже не оказалось в наличии.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.

\*

## БЕЗВРЕДНАЯ РАДОСТЬ

Елена Рабинович. Риторика повседневности. Филологические очерки. СПб.,  
Издательство Ивана Лимбаха, 2000, 239 стр.

Не только философам, но равно и всем прочим сладостнее всего — познавать.

*Аристотель.*

**С** первых фраз внимание, не равнодушное к языку и литературе, окажется прикованным к этой книге. Думаю, она не просто в состоянии соперничать с художественной литературой, но — и в этом заключается основная мысль, с которой я взялась за перо, — в современном литературном дискурсе сочинения подобного рода для определенной категории читателей играют роль художественной прозы, невольно, пользуясь слабостью последней, вытесняя ее и замещая.

Словосочетание *наука о литературе* не случайно все чаще заменяется словом *филология* — сама «научность», предмет долгих неразрешенных споров, постепенно утратила притягательную силу поры своего расцвета. Процесс замещения литературы филологией не сегодня начался и замечен не только мной. «Рискну пред-

положить, — пишет, например, А. Барзах, — что в каком-то смысле русская филология... перехватила эстафету (и даже, как это ни парадоксально, эстафету эстетическую) у русской литературы...» («Новая русская книга», 2000, № 6 (7), стр. 60). Статьи Эйхенбаума и Тынянова, а затем С. С. Аверинцева, Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова то и дело оказывались предпочтительнее художественного вымысла. А теперь «дискурс о литературе» окончательно вышел из методологических рамок, разлившись свободным течением, захватывая все более широкие читательские круги. Филологические и философские сочинения, печатаемые толстыми журналами, охотно читаются если не «как роман», то вместо романа. И разве приключения грамматической формы или лексического значения менее увлекательны, чем (сам по себе) калейдоскоп событий жизни вымышленного персонажа? Признаемся: *узнавания миг* уже не так сладок — узнавать-то приходится как минимум по второму разу. А вот сладость познания, слава Богу, неизменна.

Но чтобы занять воображение читателя, нужно предложить нечто затрагивающее чувствительные сердечные струны, нечто равное любовной интриге, на которой держится беллетристика. И в качестве этого равного выступают интимные, если можно так сказать, сокровенные знания филолога (в данном случае филолога-античника) о языке и литературе. Профессиональные сведения принимают на себя роль элементов фабулы, а характер лирического героя сказывается в способе их подачи. Такие книги, как «Занимательная Греция» М. Гаспарова, «Воспоминания о Евтерпе» и «Утраченные аллюзии» А. Пурина, «Царская ветка» А. Арьева, «Мемуарные виньетки» А. Жолковского (в силу филологической начинки мемуаров), «Разговоры в пользу мертвых» С. Лурье (те эссе, в которых присутствует исследовательская мысль, а не просто претенциозная «изысканная словесность»); такая публицистика, как «Кого мы казним?» А. Мелихова («Звезда», 2001, № 3), — очень разные произведения, но они обладают существенным сходством, обусловленным характером читательской в них заинтересованности...

«Риторика повседневности» Елены Рабинович состоит из двух разделов. Первый посвящен стилистике устной речи. Второй содержит анализ некоторых литературных текстов. «Часть очерков в обоих разделах, — предупреждает автор, — ограничена одним более или менее частным предметом исследования, будь то грамматический род или „Поэма без героя“». Так и есть. Но сказать об этой особенности хочется иначе.

Дело в том, что автор, как мне представляется, умышленно ставит в центр сюжета незначительное языковое или литературное событие, как, например, упоминание Антиноя в посвящении к «Поэме без героя», вокруг которого вьется увлекательный сюжет очерка под названием «Ресницы Антиноя». И подобно тому, как в стихах ничтожный повод в виде лепета воды в фонтане или вовсе не поэтической бытовой вещицы (скажем, монетки) как нельзя более удачно служит развитию поэтической мысли, у Рабинович «мелочи» типа грамматического рода или значения одного слова ложатся в основание сюжета филологической новеллы, научной по существу содержащейся в ней мысли и художественной по форме. «Всесильный бог деталей» распространяет свою власть и на филологический дискурс. Читая Елену Рабинович, видишь, как близки друг другу в чем-то очень существенном художественное и научное мышление.

...Ахматова сказала Жирмунскому, комментировавшему «Поэму без героя», что не подразумевала под Антиноем Князева, и в своем комментарии ученый повторил ее слова. Однако как все-таки связать упоминание Антиноя в первом посвящении к поэме с ее содержанием? «И темные ресницы Антиноя / вдруг поднялись — и там зеленый дым...» Должна же быть связь! «Несоответствие авторского толкования авторскому поэтическому свидетельству лишь подтверждает ту неоспоримую истину, что миновавшее вдохновение непостижимо даже и для тех, кому было ненадолго ниспослано». Этой тонкой и справедливой мыслью можно было бы ограничиться и не начинать то расследование, которое автором затеяно. Но процитированные слова из последнего абзаца главы, притиснутые к вопросу, с которого она начинается, звучат совсем не так, как они звучат по прочтении развернутой цепочки литературных и психологических фактов, имеющих силу доказательства. Придется все-таки кое-что предъявить из этой цепочки, хотя пересказ этой, как и любой, новеллы неизбежно несет с собой потери.

Судьба героя поэмы Князева и судьба Антиноя, легендарного персонажа, на первый взгляд, безусловно сходны: «...при непредвзятом взгляде молодые красивые самоубийцы кажутся очень похожи...» — говорит Рабинович. Однако подробности биографии того и другого показывают, что на самом деле различий между ними больше, чем сходства. По одной из версий самоубийство Антиноя было самопожертвованием: он принес себя в жертву Нилу, вернее, божеству Нила ради спасения от бедствий обожаемого императора; подобные поступки случались, хотя и редко. Не все так ясно и в судьбе Князева. «Историческая информация, — пишет автор, — всегда имеет источник или источники в разной степени надежные, а потому нуждающиеся в сопоставлении». Один из типичных источников — исторический роман. «Откуда мы знаем, что жил когда-то на свете кардинал Ришелье и что с королевой Анной отношения у него были скверные? А это ведь чистая правда. И пусть приключение с алмазными подвесками от начала до конца придумано Александром Дюма, да и подробности этого приключения далеко не всем памятливы, исторический фон походов трех мушкетеров вполне достоверен, так что знаменитый роман вполне может считаться одним из источников сведений об интригах при дворе Людовика XIII — а уж является таким источником без всяких сомнений». Рабинович называет возможный (и весьма вероятный) источник сведений об Антиное, которым, может быть, бессознательно пользовалась Ахматова. Это роман Георга Эберса «Император». Перед читателем разворачивается динамичный, красочный, остроумный пересказ романа. Показательно, что Михаил Кузмин, как сообщает Рабинович, признавался в дневнике 1934 года, что античность «открылась» ему через романы Эберса, и называет роман «Император». Но даже если Ахматова и не читала роман «Император», Антиной Эберса «был частью той расхожей информации, которая наводняла русскую читательскую среду ее времени», притом «в беллетристическом универсуме царит своя логика, — говорит автор, — непременно сопрягающая любовь с красотой, то и другое — со смертью, самоубийство — с безответной любовью», так что можно смело утверждать, что Ахматова интерпретировала самоубийство Князева именно в согласии с беллетристической логикой. Беллетризованный Антиной и беллетризованный Князев (стреляющийся в поэме на пороге дома жестокой возлюбленной, что есть сущий вымысел) «сходны до чрезвычайности». При этом исследователь не видит противоречия между мелодраматическим сходством персонажей и ахматовским утверждением, что никакого отношения Князев к Антиною не имеет: «Когда автор принимается сам толковать свой текст, он вольно или невольно отчуждает себя от несимпатичных ему как человеку идей...» И еще: «Поэт сочиняет стихи, собеседник поддерживает беседу, и занятия эти предполагают столь различно протекающие интеллектуальные и эмоциональные процессы, что поэт в качестве собеседника и собеседник в качестве поэта — едва ли не разные личности».

Как раз в отношении Ахматовой наблюдение Рабинович полностью подтверждается многочисленными мемуарными материалами. Но главное не это. Вызывает восхищение сам ход рассуждений, неожиданность историко-литературного разыскания там, где, казалось бы, нет для него места. Автору удалось проделать извилистый путь между несомненным фактом и его неминуемым подтверждением; в сознании читателя эти вещи находятся в непосредственной близости. Разве может то, что сказано в посвящении, не иметь никакого отношения к основному тексту? Антиной на фоне «зеленого дыма», отсылающего к Кузмину, может быть только исторической метафорой Князева — «иначе... его темным ресницам вообще нечего делать в посвящении». То, что представляется само собой разумеющимся, для ученого таит скрытые возможности осмысления — и это похоже на фокус, когда из носового платка иллюзионист достает деньги, галстук, голубя, роман Эберса... и все это неподдельное, настоящее.

Последние слова очерка символичны и поэтичны: «А созвездие Антиноя светит до сих пор — в Млечном Пути, к югу от Орла; у Брокгауза — Ефрона сказано также, что в 1784 году астроном Пигорт открыл в Антиное звезду, сияющую переменным блеском с периодом светоизменения в семь дней и четыре часа». Переменный блеск как будто отсвечивает неровными ахматовскими строфами и, сцеп-

ленный с числительными, придает особую прелесть всему научно-художественному тексту.

Будучи стеснена рамками рецензии, обозначаю хотя бы пунктирно некоторые из других сюжетов.

...Кто был первым биографом, открывателем биографического жанра?

...Почему Ахматовой не нравился женский род слова *поэт* — *поэтесса*? Ответ филолога на этот вопрос не так прост, как может представиться.

...Что такое маюскула? А немая маюскула?

Отчего фонетических знаков становится все меньше, а знаков, имеющих смысл, но немых (к ним можно отнести и @ — «собаку», интерпозитивный детерминатив адреса), становится все больше?

(Только не надо думать, что книга похожа на викторину с приложенными тут же ответами. Самое ценное в ней — подробное глубокое и вместе с тем занимательное толкование частных вопросов, связанных с общими экзистенциальными темами.)

...Помнил ли Достоевский, сочиняя историю Маркела, брата Зосимы, что у Вергилия «быть Марцеллом» означает нереализованную возможность?

...Не любопытно ли, что группа носителей жаргона может быть чрезвычайно мала, сведена до минимума, до двух человек! Читая на стр. 14 — 15 о «жаргоне парочек» — двое, находящиеся в любовной связи, нередко прибегают к собственному языку, — невозможно не вспомнить Баратынского: «Своенравное прозвание / Дал я милой в ласку ей, / Безотчетное созданье / Детской нежности моей...» Вспоминаются также письма Чехова к жене: *лошадь, лошадка, собака...* У того же Баратынского в письме к жене можно найти ласковое обращение *Попинька*. Не о нем ли сказано: «Им бессмертье я привечу...»? Впрочем, остановимся вовремя: «Не хочу, чтоб суесловью / Было ведомо оно».

Между членами одной семьи часто устанавливается такая близость, при которой понимание ситуации может быть выражено совершенно индивидуальным способом, вне общеязыковых значений. Толстым в «Юности» замечательно описаны такие отношения между детьми. (Не удержусь и приведу одну чудную цитату, относящуюся к предмету разговора: «Я был в расположении духа пофилософствовать и начал свысока определять любовь желанием приобрести в другом то, чего сам не имеешь, и т. д. Но Катенька отвечала мне, что, напротив, это уже не любовь, коли девушка думает выйти замуж за богача, и что, по ее мнению, состояние самая пустая вещь, а что истинная любовь только та, которая может выдержать разлуку... Володя, который, верно, слышал наш разговор, вдруг приподнялся на локте и вопросительно прокричал: — *Катенька! Русских?* — *Вечно вздор!* — сказала Катенька. — *В перешницу?* — продолжал Володя, ударяя на каждую гласную. И я не мог не подумать, что Володя был совершенно прав». Замечательна эта ремарка: «был совершенно прав» — в отношении к бессмыслице произнесенных слов!)

...Катарсис — слово, пущенное в оборот Аристотелем. Но значение этого слова у Аристотеля иное, чем принято думать. «Внезапность окончательного прояснения», то есть развязка, — вот что вкладывал Аристотель в это понятие. Потрясающая душа развязка и дарит зрителю трагедии *безвредную радость* (выражение Аристотеля) «сперва возбужденного самыми сильными средствами и наконец сполна удовлетворенного любопытства». Тут нельзя не прибавить, что та же безвредная радость сопровождает читателя на страницах этой книги — безвредная и безгрешная радость, подобная шампанского бутылке или, как сказано, «Женитьбе Фигаро».

И вот еще что. В условиях безграничности подобного вселенной Интернета, где любой желающий выступает со своим текстом и сайтом и не адресуется к определенной референтной группе, поскольку не имеет с ней предустановленной связи, как это было прежде при помощи литературных журналов, монопольных держателей культурных акций, — в этих условиях предсказанного «холода и мрака» («И крик, когда ты начнешь кричать, / Как камень, канет») что может организовывать культурную среду, из которой художник черпает свой материал? Что создаст интеллектуальную и эмоциональную общность, питающую систему ценностей? Наши знания о мире все более и более дробятся, разрозненная информация поступает не в единое культурное русло, а в безбрежный океан Интернета и там тонет.



Так вот, соединяя знания о грамматическом роде или риторическом приеме с потребностями человеческой души, с явлениями литературы, жизни, повседневности, автор, способный на такое строительство, скрепляет распадающееся культурное пространство («так лепит ласточка гнездо»), поддерживает некий общий духовный универсум и в конце концов сохраняет в мире человечность, благодаря которой существует возможность понимания между людьми.

Елена НЕВЗГЛЯДОВА.

С.-Петербург.



## КОНЕЦ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ?

**С. И. Романовский. Нетерпение мысли, или Исторический портрет радикальной русской интеллигенции. Издательство Санкт-Петербургского университета, 2000, 365 стр.**

**К**нига Романовского написана с вполне определенной целью и выражает вполне определенную мысль. Цель — благородна: дать определение русской радикальной интеллигенции. Мысль — вполне банальна: показать, что на всех этапах своей истории (а их автор насчитывает три) русская интеллигенция осуществляла (преднамеренно или нет) вредоносную работу по развалу государства. Мысль эту мы уже не раз слышали и с ней сроднились. Интеллигенция — редкая сволочь: всегда обиженная, всегда вялая и бездельная, но полная амбиций и ненависти как к реально работающим людям, так и к реально управляющему правительству.

Перед нами не историческая монография, посвященная так мучившей Васисуалия Лоханкина проблеме. Это скорее памфлет, написанный интеллектуалом-естественником, для которого вообще история и социология — хобби, хотя и увлекательное.

Романовский пишет: «У древних римлян был девиз *Sine irae et odio*<sup>1</sup> (без гнева и пристрастия)», очевидно, имея в виду известное изречение Корнелия Тацита: *sine ira et studio*. Несмотря на такое заявление, говорить автор будет как раз с гневом. Так ученые не говорят, так говорят ораторы на площадях — в большинстве своем радикальные интеллигенты.

Романовский дает такое определение радикальной интеллигенции: «Социально активная часть творческой интеллигенции, главное предназначение которой — использовать свои профессиональные навыки, чтобы „заводить общество“. Цель их жизни — непрерывно воевать с существующими порядками, торопить историю и направлять течение общественно-политических процессов в то русло, которое проложено их видением будущности страны; одним словом, они непременно желают „выпрыгнуть из истории“, ибо их не устраивает та жизнь, которой они живут».

Главной причиной появления радикальной интеллигенции автор полагает прогрессирующее удушение свободомыслия на протяжении всей русской истории. Ну и реакция на удушение — естественный протест. Вторая причина — непроходимая пропасть между образованным слоем и народом, породившая комплекс вины у интеллигенции и полное непонимание ее целей непросвещенным народом. А причина слабости Российской империи приводится в главе «Я понял всю историю...»: это несоответствие пространственной экспансии государства и аппарата управления им, который не менялся веками.

<sup>1</sup> Без гнева и ненависти (*лат.*).

Отметим еще одну бросающуюся в глаза цитатную неточность. Романовский пишет: «Александр Блок в том же году (1912. — *В. Г.*) сочинил драму „Роза и крест“. Там есть такой призыв к „товарищам“:

Товарищ, винтовку держи,  
Не трусь!  
Пальнем-ка пулей в Святую  
Русь...

И пальнули!..» (Разбиение на строки по цитате Романовского на стр. 188.) Цитата приведена, конечно, из поэмы Блока «Двенадцать», написанной уже после революции — в январе 1918 года.

Последнее обстоятельство обусловило необходимость жесткого силового контроля общества со стороны государства, поскольку процессы социальной самоорганизации не действовали. В результате государство удушало свободомыслие с одной стороны, чтобы не разболтать окончательно и без того неустойчивую систему, и вынуждено было развивать образование, пусть даже строго дозированно, а распространение просвещения входило в противоречие с силовым подавлением интеллектуальной свободы. В результате создалась особая каста интеллектуалов, которая хлебнула западного образования, но не удостоилась демократических свобод. И эта самая каста осталась не у дел — государство не было заинтересовано в ней, относилось к ней с подозрением, и она платила государству сходной монетой — призывала к топору. По-моему, эти суждения Романовского хотя и не особенно новы, но для несколько огрубленной картины вполне приемлемы.

Нужно еще отметить одну особенность этой самой радикальной интеллигенции. Будучи материалистами во всем, что касается природы, они были абсолютными идеалистами в этике. Здесь они не признавали никакой относительности. Добро для них было идеалом, принятым на веру, но не имело никакого отношения к Богу или, упаси Бог, к церкви. Но внутреннее противоречие или не осознавалось, или легко игнорировалось. Достаточным доказательством идеальности добра для радикальной интеллигенции было самопожертвование. Если люди ради этого (добра, народа, торжества социализма и т. д.) готовы идти на смерть — значит, это существует и в конце концов восторжествует. И таким образом формировалось утопическое сознание, о чем подробно писал еще В. В. Зеньковский в «Истории русской философии» (особенно — в статье о М. А. Бакуanine).

Романовский дважды цитирует слова Милюкова «наше слово уже есть наше дело». И довольно издевательски замечает: «Если так, то ничего другого нам не остается — только шуметь и дальше...» Здесь я позволю себе с ним не согласиться. Слово вполне может быть делом, если дело — это производство или разрушение материальных ценностей. Если речь идет о ценностях духовных, тут все очевидно: вся литература — это сплошная говорильня. Вот если бы «Солнце останавливали словом» или, к примеру, «Словом разрушали города», тогда, я думаю, Романовский согласился бы с тем, что слово есть дело. Случаев остановки Солнца словом в новейшей истории мне неизвестно, а вот разрушенное государство, можно припомнить, это — Российская империя.

Если слово не дело, а радикальная интеллигенция занималась только тем, что говорила, то какова же ее ответственность за разрушение империи? Нет никакой ответственности. А Романовский (да и не он один) на этой ответственности настаивает. Получается противоречие. Или слово иногда — дело, или радикальная интеллигенция никакой роли в истории не играет.

Слово становится делом как раз в те моменты истории, когда общество приходит в сильно неравновесное состояние и обратная связь оказывается положительной. Если в нормальном общественно-политическом состоянии к призыву штурмовать Бастилию люди отнесутся как к параноидальному бреду, то при возникающей положительной обратной связи пойдут и разрушат этот оплот абсолютизма. Камил Демулен никому не мог приказать — у него не было властных рычагов воздействия, он мог только призвать — то есть воздействовать словом, и только словом, резким, бескомпромиссным, утопическим призывом. Здесь недопустимы никакие колебания — призыв должен быть отчетливо направленным, и направленным на врага, на разрушение, но разрушение, обещающее обязательное последующее возрождение из пепла. При малейшем сомнении призыв теряет всю свою силу, становится только одним из возможных вариантов выбора. А при неравновесном состоянии общества человек стоит перед огромным выбором вариантов, ни один из которых не кажется ему окончательным. В этом состоянии люди, утомленные необходимостью выбора, с радостью делегируют ответственность за этот выбор кому-нибудь, но этот кто-нибудь должен выглядеть (не быть! а именно выглядеть) абсолютно правым, знающим безусловную правду. Он — не должен сомневаться. И убедить в своей правоте и доказать свою правоту он может только словом.

Конечно, не всегда и не всякому это удается. Но в периоды брожения и неустойчивости слово обретает необыкновенную мощь, потому что берет на себя

труд выбора, снимает сомнение и дает уверенность в послезавтрашнем дне — завтра-то как раз будут одни развалины, это все понимают, а вот послезавтра наступит рай земной, в этом никаких сомнений быть не должно.

Это время радикальной интеллигенции, с ее «нетерпением мысли» (очень точное выражение Романовского), с ее неискоренимой страстью к утопии, с ее блестящим владением словом, которое может стать в таких условиях страшным делом. Впрочем, ничего нового в этом утверждении нет. «Идеи, овладевая массами, становятся материальной силой».

Романовский пишет: «В данной книге проводится резкая грань между русской, советской и постсоветской интеллигенцией. Причем в этом контексте для нас наиболее интересен сам процесс *интеллектуально-нравственной мутации* (курсив автора. — В. Г.) русской интеллигенции в интеллигенцию советскую. Переход же между интеллигенцией советской и постсоветской неинтересен вовсе, ибо нынешняя так называемая интеллектуальная элита есть, по сути, та же советская интеллигенция, только говорящая на другом языке».

Если советская и постсоветская интеллигенция так мало отличны, то как же можно провести между ними «резкую грань»? Если дело интеллигенции — говорить, то как же она могла не измениться, перейдя на другой язык?

На этих этапах большого пути радикальной интеллигенции я как раз хочу остановиться более подробно. Ленин в статье «Памяти Герцена», когда-то входившей в школьную программу, пишет: «Мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции». Сначала «дворяне и помещики, декабристы и Герцен», потом «революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями „Народной воли“», и, наконец, «пролетариат, единственный до конца революционный класс». Заканчивает Ленин характерными словами: «Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам с *вольным русским словом* (курсив Ленина. — В. Г.)».

Романовский отделяет, хотя и не вполне отчетливо, большевиков от русской интеллигенции. Большевики — плохие и жестокие, а интеллигенция, вдруг оказавшаяся совершенно не способной взять власть из боязни замараться, — слабая и вялая. Вроде бы одни призывали к топору, а как дело дошло до дела, топор перехватили другие — не говоруны, а деятели. Но я хочу обратить внимание, во-первых, на то, как высоко Ленин ценит значение вольного русского слова. А во-вторых, я никак не могу отделить большевиков от радикальной русской интеллигенции. Это просто наиболее последовательная, наиболее жестокая ее часть. Первый Совнарком — это правительство профессиональных журналистов. Не писателей, не ученых, даже не военных, — один военный — и тот прапорщик Крыленко. А именно журналистов, которые стремительно перековали перья на штыки. Строго говоря, ничего особенного не произошло в 1917 году. Просто радикальная интеллигенция, сто лет готовившая государственный переворот, его произвела и пришла к власти. И все. Добились своего. И главным оружием было именно слово. И Ленин об этом говорит в «Памяти Герцена» — он и декабристов, и самого Александра Ивановича — который, кстати, Маркса терпеть не мог и ни в какой социальный прогресс никогда не верил, — и разночинцев-нигилистов числит среди своих прямых предшественников.

Если большевики — это часть радикальной интеллигенции, то сама радикальная интеллигенция — это далеко не весь широкий слой «интеллектуальных работников» (выражение М. Л. Гаспарова). Интеллектуальный работник — человек, занятый любым видом умственного труда (гуманитарным или естественным) и отличающийся от простого рабочего только точкой приложения усилия. Такой человек слишком занят своим делом, чтобы всерьез думать о реформировании социальной структуры общества. Он относится к власти, как правило, как к неизбежному злу или некоторым внешним условиям, которые следует учитывать в своей деятельности так же, как учитываются изменения погоды или особенности ландшафта. И таких людей среди российских интеллектуалов всегда было большинство. А то, что они не очень бросаются в глаза, вполне понятно — работают люди, а процесс труда извне выглядит не очень-то интересно, скорее скучно. Сво-

его рода манифестом такого отношения к действительности стали, конечно, «Вехи». Веховцев обвинили в отсутствии положительной программы, в чистом критицизме, хотя весь сборник — это именно программа реформы, но не внешней, не реформы общества, а внутренней. Это ясный призыв заняться собой — «на себя оборотиться». Может быть, этот призыв прозвучал слишком поздно, но сам по себе этот призыв свидетельствовал: далеко не вся интеллигенция в России — радикальная.

Романовский задается вопросом: почему после революции начались гонения на интеллигенцию? Но начались они не сразу. Первыми были устранены политические противники, что совершенно нормально для победившей партии. А интеллигенцию-то по большей части довольно мягко выпроваживали из страны. Почему Ленин погрузил ее на «философский пароход», а не расстрелял? Что он там про себя думал, неизвестно. Но не исключено, что он уважал своих идеологических противников, и высылка была своего рода данью их заслугам. Ведь Ленин когда-то и работал с ними вместе, со Струве книжки издавал. Внутри государства они были неприемлемы — здесь должно было остаться только одно слово — правильное, идеологически выдержанное, а за рубежом эти философы были совершенно безвредны. Ну не Бердяева же бояться с его заумными рассуждениями — из них лозунг не скроишь.

То самое нетерпение мысли, о котором говорит Романовский применительно к русской интеллигенции, вырвалось на абсолютный простор в государстве, подчиненном единой утопической цели. Разве не нетерпение, не безумная жажда утопии и первые пятилетки, и коллективизация? Разве не этот же самый порыв в последний раз проявился в Программе КПСС 1961 года, где было написано, что коммунизм должен быть построен к 1980 году? И нет ничего удивительного в том, что такая значительная часть русской интеллигенции, воспитанная на революционной утопии, пошла за большевиками — не по принуждению, а по вдохновению пошла. Разве не тем же порывом, что и Программа партии, полны были стихи и песни шестидесятников? Обвинения советской интеллигенции в сервильности кажутся мне не вполне корректными. Она, будучи наследницей идей интеллигенции русской, продолжала ее дело, как умела продолжала.

Но утопия недолговечна. Она исчерпывает себя, устает. Как недолговечны любые жесткие системы. Удивляет не то, что СССР распался в 1991 году, а то, что он так долго просуществовал. В отличие от Романовского, я полагаю, что история радикальной интеллигенции уже кончилась. Никакой постсоветской интеллигенции — в узком терминологическом понимании — нет. Потому что нет утопии. «Гайдар и его команда», как иронически пишет Романовский, — вполне типичные интеллектуалы на службе у власти. Призыв: давайте жить хорошо, по-людски, и не будем больше строить рай на земле — это обыкновенный прагматизм. Я не экономист и не могу судить о том, как именно следовало реформировать экономику, хотя и полагаю, что советскую экономику реформировать было нельзя.

Есть, наверное, и будут постепенно формироваться интеллектуальные элиты. Это нормально. Но радикальной интеллигенции уже нет и, дай Бог, не будет. То, что ее нет, видно по тому, например, как девальвировалось слово — оно же ничего не стоит. И в первую очередь слово публициста. Вот Романовский пишет довольно агрессивный текст о радикальной интеллигенции, который заканчивается словами: «Без интеллектуалов Россия не выживет и не проживет, а вот без радикальной интеллигенции — вполне». И некому ему возразить или заспорить с ним. Слова уходят в пустоту, в вату. Я пишу рецензию и знаю, что десятка полтора читателей заглянут в нее и лениво перелистают. И хорошо, и славно. Не нужно больше клеймить или воспевать русскую радикальную интеллигенцию. Ее необходимо исследовать как уникальное историческое явление, явление уже законченное, и делать это нужно с холодной головой, спокойно и профессионально, а все памфлеты уже написаны.

Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА АЛЕКСАНДРА НОСОВА

## +4

Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. Том 3 (К — М). М., «Научное издательство „Большая Российская энциклопедия”», 2000, 632 стр.

В начале нынешнего учебного 2001/02 года Правительство РФ вдруг озоботилось состоянием учебников по истории, в которых, как внезапно выяснилось, написано невесть что. За что и было немедленно подвергнуто заушениям со стороны «прогрессивной общественности», разглагольствовавшей за естественной обеспокоенностью насчет исторической безграмотности граждан РФ, смутно представляющих себе, в какой стране довелось им проживать (составитель «Полки» вынужден сталкиваться с этой безграмотностью на лекциях по отечественной истории, которые еженедельно читает в одном не из самых последних вузов), желание навязать нечто вроде обязательного для всех «Краткого курса», задушить свободу, отменить демократию и проч. А как же свобода мнений, как же творческая индивидуальность ученого, как же право на «альтернативную концепцию»? Понятно: что ж может быть хорошего из Назарета! На одном ток-шоу, которыми СМИ моментально, как из залпового орудия, отвели на довольно безобидную и вполне объяснимую реплику премьера, ведущий пытал чиновника Министерства просвещения: а вот есть же версия В. Суворова о начале войны, имеет ли право автор написать учебник истории России с позиции этой версии? Ответ подразумевался сам собой, и, измордованный «прогрессистскими» ударами, «ретроград» устало ответил: «...имеет...»

Вакуум исторического знания быстро заполняется квазиисторическими концепциями. Опять же пример из ток-шоу: беседуют два уважаемых ученых на исторические темы; звонок в эфир: ну о чем вы так долго и скучно спорите, есть ведь теория Л. Н. Гумилева, которая *всё* объясняет. Однажды на зачете студент, впервые услышавший от меня о Первой мировой войне, спросил в свою очередь: «А что вы думаете о новой хронологии Фоменко?»

Историю все же надо *знать* — мне, во всяком случае, так кажется. Потом уже можно расслабиться и обсуждать новые хронологии, версии, теории, гипотезы, активно тиражируемые в отличие от серьезных исторических исследований, изданий мемуаров, источников, научных биографий. Хотя история — наука и не совсем естественная (вроде физики), однако и не так чтобы совсем *противоестественная* (вроде литературоведения): она заключает в себя последовательность событий, в ней действуют реальные участники (а не литературные герои), ставящие перед собой конкретные политические цели; в истории существуют определенные *закономерности*, имеются *источники* и *документы* (а не художественные тексты), фиксирующие те или иные решения, и т. д.

И восстановление утраченного исторического знания должно начинаться не с правильного, утвержденного Госкомвузом учебника, а с национальной *исторической* энциклопедии. Историческая наука в подсоветские времена поневоле ушла в позитивное знание, в то, что ругали словом «фактология», — и блестящие результаты накопленного являются прекрасной базой для появления авторитетного энциклопедического издания, последний том которого закономерно продолжает ряд исторических изданий последних лет.

Вот только как бы не оказался этот том последним?! Вдруг «прогрессивная общественность» окажется настырней и вместо исторического знания мы в очередной раз получим — нет, не *правильную* историческую концепцию, а полный плюрализм концепций, версий и очередных «ледоколов»?

**Ф. Ансело. Шесть месяцев в России. Вступительная статья, составление, перевод с французского и комментарии Н. М. Сперанской. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 288 стр. («Россия в мемуарах»).**

Молодой, но уже известный поэт Жак Арсен Франсуа Поликарп Ансело оказался в России в качестве секретаря главы французской посольской миссии маршала Мармонна, прибывшей для участия в торжествах по случаю коронации Императора Николая I, обстоятельства восхождения на престол которого еще больше подстегивали любопытство и интерес к загадочной, могущественной и грозной, но удивительной стране. Книга в жанре «записок француза о России», знакомого по ранее переведенным на русский язык сочинениям Ш. Массона и А. де Кюстина<sup>1</sup>, написана в форме писем к другу, в которых автор с легкостью и непосредственностью делится впечатлениями от архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга, быта и нравов обитателей обеих столиц, объясняет устройство российского государства и общества, пересказывает разнообразные исторические анекдоты и т. д.

Определенная поверхностность в восприятии, присущая легкомысленному национальному характеру путешественника, проявилась в некоторых частностях: вторичности сообщаемых сведений (так, описания архитектурных памятников были попросту списаны, порой с ошибками, из книги П. Свиньина «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей»), тривиальности в оценках чиновничьих нравов («бескорыстие не есть главнейшая черта русской администрации») или сообщений о том, что чин фрейлины соответствует чину армейского капитана. Эти ошибки не остались незамеченными русской критикой и в вошедших в состав издания отзывах современников (Я. П. Толстого и П. А. Вяземского) были достойно разоблачены.

Книжечка получилась очень симпатичная: буду рекомендовать ее студентам, имеющим представление об императорской России еще более туманное, нежели адресат писем французского путешественника.

**А. А. Фет. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии В. А. Кошелева и С. В. Смирнова. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 480 стр. («Россия в мемуарах»).**

Признаться, трудно себе представить читателя этой книжки. Вот названия некоторых глав, из которых можно понять, о чем, собственно, идет здесь речь: «Еще о пчелах», «Систематическая потрава», «Философия и история одной молотильной машины». Кого могут заинтересовать следующие экономические расчеты из главы «Гуси с гусятами»: «По букве посредничьего положения, мне следовало получить за 20 гусят и 6 гусынь по 20 к. серебром за голову: всего 5 р. 20 к. серебром. Возможно ли это, когда все стадо не стоило и половины этой суммы, к тому же не успело причинить почти никакого вреда зелени?.. Тотчас же гусята превратились на суде моем в простые атрибуты гусыни. Итак, следовало только получить за шесть голов 1 р. 20 к.; но и тут адвокат воскликнул, что весной гусыня едва стоит 20 к. серебром... Назначу по гривеннику. Всего за 6 голов — 60 к. серебром. И дешево и сердито!» Между тем эти нехитрые подсчеты настолько запомнились современникам, что спустя тридцать лет Н. К. Михайловский писал: «„Ангел чистой красоты“ отлетел от русской литературы. Если он и блеснет иногда, „как мимолетное виденье“, в стихах, например, г. Фета, так... в нас, наученных горьким опытом и размышлением, закрадывается ядовитое сомнение: подлинный ли это ангел чистой красоты, не гусиные ли у него крылья, не тех ли именно крестьянских гусей крылья, которые некогда так беспокоили г. Фета, на что он и жаловался „презренною прозой“...»<sup>2</sup>

<sup>1</sup> См.: Массон Ш. Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. М., «Новое литературное обозрение», 1996; Кюстин де А. Россия в 1839 году. М., 1996.

<sup>2</sup> Михайловский Н. К. Литература и жизнь. — «Русская мысль», 1891, № 7, стр. 131.

Эти самые «гуси с гусенятами» и установили вполне однозначную репутацию не столько даже Фета, сколько самого жанра лирической поэзии как своеобразной манифестации «реакционного», антидемократического искусства.

Кто-то писал, что «Записки охотника» сделали для отмены крепостного права больше, нежели все политэкономические сочинения по этому поводу; и русская демократическая литература гордилась этим своим вкладом всю вторую половину XIX века. Однако представления о «вольнонаемном труде» в деревне ее наиболее видных деятелей, сложившиеся в эпоху общелиберальных мечтаний «идеалистов 1840-х годов», были весьма далеки от пореформенной действительности, с которой им же пришлось столкнуться. И тут не могу удержаться от рискованной исторической аналогии с минувшим десятилетием наших реформ, когда представления «властителей дум» о том, что же наступит сразу *после*, редко шли дальше увиденной во время заграникомандировки витрины супермаркета. Появление в экономической жизни «новых собственников» разрушало привычные мечты о будущем свободном, ничем не стесненном общественном труде вольных хлебопашцев — под общим культурным руководством просвещенного поместного дворянства, разумеется. И в этом, как отмечалось историками, отчасти совпадали взгляды демократической интеллигенции и правящего сословия: М. Е. Салтыков-Щедрин бичевал «новых русских» Колупаевых и Разуваевых с не меньшей, если не большей страстью, нежели ранее — губернскую и правительственную бюрократию; Л. Н. Толстой видел образ идеального сельского хозяина в дворянине-помещике, озабоченном не столько извлечением прибыли (чего стоит эта всех умилявшая, но совершенно бессмысленная с экономической точки зрения косьба), сколько культурным просвещением деревни; наконец, призыв Александра III к волостным старшинам «слушаться своих губернских предводителей дворянства» (см. знаменитое полотно И. Репина) закреплял ведущую роль этого стремительно разоряющегося и стремительно теряющего свой культурный приоритет сословия.

Очерки Фета можно рассматривать как праволиберальную экономическую публицистику десятилетия эпохи Великих реформ; однако, на мой взгляд, гораздо интереснее увидеть в них психологический документ, запечатлевший довольно сложный, как нам теперь понятно, процесс вхождения человека традиционной культуры («Шепот, робкое дыханье, трели соловья...») в жесткий (порой жестокий) мир свободных экономических отношений. Процесс этот прошел весьма удачно: в том самом 1891 году, когда «властитель дум» припоминал давние гусиные крылья, а бюджеты дворянских усадеб, включая и Ясную Поляну, трещали по всем швам, Фет-Шеншин владел благоустроенной, приносящей хороший доход Воробьевкой в Курской губернии, собственным домом на Плющихе и ключом камергера.

Да и Михайловского сегодня помнит кто? А стихи Фета, пусть и с гусиными крыльями, очень даже хороши.

*Не жизни жаль с томительным дыханьем...<sup>3</sup>*

Д. А. Милютин. Воспоминания. Предисловие Л. В. Захаровой, подготовка текста и комментариев Л. Г. Захаровой, Т. А. Медовичевой и Л. И. Тютюнник. [Т. 1]. 1816 — 1843. М., «Студия „ТРИТЭ“» — «Российский архив», 1997, 495 стр. [Т. 2]. 1843 — 1856, 527 стр. [Т. 3]. 1860 — 1862. М., «Редакция альманаха „Российский Архив“», 1999 — 2000, 559 стр.

Грустно, что приходится объяснять, кто такой граф Д. А. Милютин.

Д. А. Милютин сделал стремительную военную карьеру: *полковник* в тридцать один год, через десять лет — уже генерал-лейтенант, военный министр в сорок

<sup>3</sup> Малосущественное, но все же замечание к изданию. Серия «Россия в мемуарах» — несомненно самая авторитетная из существующих, и мне уже приходилось писать о высоком качестве подготовки текстов и комментариев к ним. Но зачем же, спрашивается, засорять информационное пространство комментария такими бессмысленными справками, как «древнегреческий математик и физик Архимед (ок. 287 — 212 до н. э.) обосновал, в частности, закон рычага» (стр. 439), «Моисей — вождь и законодатель еврейского народа, пророк и первый священный бытописатель» (стр. 433), а у «богатого человека Иова» было 7 тысяч овец, 3 тысячи верблюдов, тысяча быков и пятьсот ослиц» (стр. 430)? А Милютинские лавки находились в Петербурге (а не в Москве) — на месте нынешнего «Гостиного двора».

пять. Твердый государственный: один из покорителей Дагестана и Чечни, непосредственный участник пленения Шамиля — и друг московской либеральной интеллигенции, один из главных идеологов и двигателей либеральных реформ, убежденный сторонник свободы, в 1870-е годы — сторонник народного представительства<sup>4</sup>, наконец, родной брат того самого Н. Милютина, который, по мнению графа Шереметева (см. ниже), являлся главным погубителем России. Вот и выходит, что можно, оказывается, быть полковником и покорителем Чечни, «обагрившим руки в крови», — и сделать для «демократии в России» гораздо больше, нежели сделали «погибающие за великое дело любви».

Появление первых томов «Воспоминаний» генерал-фельдмаршала графа Д. А. Милютина еще недавно было бы событием в историографии Российской империи. Доведенные до 1873 года, они представляют собой самое большое по объему из всех известных мемуарных произведений, созданных в XIX веке, написанных к тому же человеком, бывшим в центре наиболее драматических, узловых для русской истории событий. Можно предположить, что доселе они были прочитаны от начала и до конца едва ли не единицами и, будучи изданы полностью и прочитаны уже в книжном издании, внесут много нового и неожиданного в привычную картину истории России середины века. Вышедшие тома — пока еще меньшая часть из неизданного материала, и остается только призывать участников продолжить столь важное и столь необходимое государственное дело.

Мемуары Д. А. Милютина особенно интересно выглядят на фоне мемуаров С. Д. Шереметева: неустанные труды первого (военная и государственная служба, работа над военной историей и проч.) — и красивая придворная служба в Зимнем дворце второго — светская столичная жизнь, балы, приемы — и при этом, разумеется, «горячий патриотизм» в свободное время и страстное обличение «разрушителей России».

Прекрасный подбор иллюстраций, выполненный Т. А. Медовичевой.

Мы продолжаем жить в странном мире: в городе, где от терактов взлетают на воздух дома, люди мирно живут на улице Степана Халтурина, грохнувшего Зимний дворец, в результате которого погибли десятки ни в чем не повинных людей, в городе, уставленном памятниками основателю Империи, замучившему собственного сына, — и вряд ли дождемся улицы братьев Милютиных<sup>5</sup> или памятника Царю-Освободителю<sup>6</sup>.

### ±3

**Н. Ф. Гриценко. Консервативная стабилизация в России в 1881 — 1894 годах. Политические и духовные аспекты внутренней политики. М., «Русский путь», 2000, 240 стр.**

Фигура предпоследнего Императора, похоже, приобретает все большую популярность, и не только в кинематографе. Историческая монография Н. Гриценко примечательна своей ненавязчивой попыткой если не пересмотреть, то несколько скорректировать представления о внутренней политике Царя-Миротворца, которая еще в дореволюционной либеральной историографии оценивалась исключительно негативно, как политика «контрреформ», реакции и консервативного «охранения». Видимо, бурное реформаторство России последнего десятилетия XX века не могло не повлиять на историческую перспективу: в политике Александра III начали просматриваться положительные стороны, столь желанные для уставших от политических потрясений россиян: укрепление государственной власти (не в последнюю

<sup>4</sup> Введения в Государственный Совет, наряду с членами по назначению, выборных от земств. Подобного рода «смешанный» законодательный орган весьма напоминает принцип формирования Первого съезда народных депутатов.

<sup>5</sup> Увы, но Милютинский переулок (бывшая улица Мархлевского) к Д. и Н. Милютиным непосредственного отношения не имеет.

<sup>6</sup> Напомню, что в сносе памятника Александру II в Московском Кремле принимал личное участие В. И. Ульянов.



очередь в целях борьбы с политическим терроризмом), ограничение печати, открыто призывавшей к изменению политического строя, введение контроля над органами судопроизводства, выносящими слишком большое число оправдательных приговоров, ограничительные меры в отношении инородцев и инославных, восстановление традиционных, «национально-русских» форм политической жизни и общественного быта и т. д. Хрестоматийные блоковские строки о России, над которой Победоносцев «простер совиные крыла», стали казаться позицией эсера-левака, типичного радикального русского интеллигента. Кто ж нынче сомневается, что Россию погубили интеллигенты и жиды.

К счастью, автор не задается соблазнительной задачей радикального пересмотра сложившихся представлений, а пытается отыскать некую историческую логику в политике правителя, имеющего репутацию человека необразованного, глупого (хотя и доброго), предпочитавшего руководствоваться не мнениями и советами просвещенных бюрократов минувшего царствования (таких, как великий князь Константин Николаевич, Д. А. Милютин, и других), окружившего себя советниками одиозными, как К. П. Победоносцев, или сомнительной репутации, как князь В. П. Мещерский. Рассматривать годы царствования Александра III как необходимую паузу в процессе модернизации с целью дать стране время прийти в себя, осмыслить происшедшее, «жесткой рукой» восстановить разваливающуюся в результате реформирования и недавней войны экономику — такая интерпретация напрашивается как бы сама собой. Однако если исследователь выстраивает концепцию на основании источников, а не подгоняет последние под первую, то историческая фактура в конечном итоге возьмет свое. Модель национальной монархии с опорой на дворянское сословие и русский элемент в народе мыслилась Императором и его окружением как идеальная, высшая форма государственного устройства, призванная уберечь Россию от конституционных поползновений, в которые страну чуть было не завел так вовремя убитый террористами Александр Николаевич, ведóмый, разумеется, международной закулисой. Приводимые исследователем документы свидетельствуют о правоте художественной интуиции поэта и научной состоятельности работ таких историков, как П. А. Зайончковский. Тринадцать лет столь милого русскому сердцу политического застоя и наведения «порядка» сменились двадцатилетней смутой и национальной катастрофой.

**Ю. В. Кудрина. Императрица Мария Федоровна (1847 — 1928 гг.). Дневники. Письма. Воспоминания. М., «ОЛМА-Пресс», 2001, 319 стр. («Архив»).**

Для исторического повествования опасно выпасть за рамки традиционных жанров: биографическая хроника рискует соскользнуть в романистику, принести «скучную» историческую фактуру в жертву романической «увлекательности». Что делать — но исследователь, посвятивший многие годы изучению личности своего «героя», часто теряет дистанцию между собой и изучаемым персонажем, между временем нынешним и давно прошедшим. Историческая фигура, поначалу являвшаяся всего лишь предметом исследовательского интереса и углубленных научных штудий, превращается сначала в знакомого и друга, а потом и в близкого родственника, члена семьи. Вместо беспристрастной исторической хроники получается хроника семейная, герой которой — личность нравственно безупречная, житейски мудрая, и все исторические беды России произошли исключительно потому, что эта личность оказалась не понятой современниками. Получается в лучшем случае «ЖЗЛ», в худшем — «Пламенные революционеры».

Книги «ЖЗЛ», «Пламенные революционеры» или иные популярнейшие беллетризованные биографии пользуются заслуженным читательским интересом, однако все они не претендуют (или претендуют лукаво) на то, чтобы читатель искренне поверил в то, что так оно и *было на самом деле*<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Реплика машинистки, перепечатавшей роман Т. Манна «Иосиф и его братья». «Это была трогательная фраза, — комментирует сочинитель „исторической“ хроники, — ведь на самом деле ничего этого не было» (см.: Манн Т. Иосиф и его братья. Т. 2. М., 1968, стр. 900).

С одной стороны, в книге есть все, что заставляет верить в аутентичность авторского образа историческому персонажу: количество приводимых в тексте пространственных цитат из личной переписки Императрицы с мужем (сначала Цесаревичем, потом Императором Александром III), с «бедным Ники», как чаще всего называет она своего старшего сына, с родственниками по датскому императорскому дому<sup>8</sup>, извлеченных из архивных фондов, впечатляет, а сами документы прочтываются с огромным интересом.

Однако жанр исторической агиографии берет свое: «Неожиданная гибель невинных людей всегда трогала их (М. Ф. и ее супруга. — А. Н.) сердца»; М. Ф. «была прекрасной матерью и бабушкой. Она горячо любила своих детей и внуков, а те отвечали ей взаимностью»; «нежно любившая своего мужа, ласково называла его в письмах „мой ангел Саша“, „ангел моего сердца“, „радость дней моих“». На подобного рода пассажи можно было бы и не обращать внимания, если бы не одно существенное обстоятельство.

Влюбленность в историческую личность, как и влюбленность в реального человека, невольно закрывает глаза на некоторые черты его характера и обстоятельства личной биографии. Как в жизни, так и в истории из этого чаще всего ничего хорошего в итоге не выходит. Историк, работающий над монографией, все же не может игнорировать публикации своих коллег, тем более столь авторитетных, как П. А. Зайончковский, который в своей классической книге упомянул о том, что в переписке М. Ф. с флигель-адъютантом графом В. Шереметевым<sup>9</sup> Императрица подписывала свои письма «votre старая Мари», а ее корреспондент в обращении писал: «целую зубки». К сожалению, в книге нет ответов на вопросы о том, каковы же были подлинные мотивы решительного отстранения князя В. П. Мещерского от общения с ее мужем, последовавшего сразу же после ее брака с Цесаревичем. Имеются ли в бумагах вдовствующей Императрицы какие-либо свидетельства о ее планах или намерениях (об этом говорено и писано было достаточно) передачи престола от Николая ее любимому сыну Михаилу — или это были досужие домыслы?

**А. Тыркова-Вильямс. Воспоминания. То, чего больше не будет. Предисловие В. В. Шелохаева, комментарии В. В. Шелохаева, С. В. Шелохаева. М., «СЛОВО/SLOVO», 1998, 560 стр. («Русские мемуары»).**

Никак не удастся отделаться от ощущения, что сегодняшняя историческая ситуация влияет на издательские решения не только в части репертуарной политики. В книге, собственно, два мемуара: первый, название которого вынесено на обложку, — довольно традиционные воспоминания о детстве и юности, проведенных в среднепоместном имении неподалеку от Петербурга. Отец и мать, братья и сестры, гувернантки и дворовая старуха Агафья, темные аллеи, другие берега... Второй мемуар, рассказывающий о превращении заурядной дворянской барышни в деятельного члена Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы), имеет авторское название «На путях к свободе». Похоже, ностальгия по временам, когда был порядок, «мужики при господах, господа при мужиках», имеет больший читательский спрос, нежели историческая хроника заключительного этапа освободительного движения в России. Слово с в о б о д а, еще недавно заставлявшее «стучать сердца», становится настолько «немодным», что издатели, похоже, даже не рискуют выносить его на обложку: не раскупят, спроса нет...

Именно по этой причине составитель полки решил напомнить о книге, вышедшей несколько лет назад, но оставшейся практически незамеченной. «На путях к свободе» писались в 1940-е годы, когда в далеком прошлом оказались темные аллеи, а либералы начала века давно сожгли то, чему поклонялись, покинули «пути к свободе» и поклонились тому, что сожгли: кто фашизму, кто евразийству, кто сталинизму, кто православному фундаментализму. Тырковой-Вильямс удалось сохранить ясность исторической памяти: она, участница антиправительственных демон-

<sup>8</sup> Автору удалось работать с документами Архива Датского Королевского дома.

<sup>9</sup> Двоюродным братом С. Д. Шереметева!

страций, перевозившая под юбкой запрещенный в России журнал «Освобождение», побывавшая в тюремном заключении, ясно отдает себе отчет в том, что ошибкой либеральных партий была не борьба за свободу, но борьба против государства как такового. «Я была частицей, хотя и малой, того оппозиционного кипения, которое тогда же стали называть освободительным движением. Теперь... я иначе отношусь ко многому, что тогда происходило, в чем я так или иначе принимала участие. Мне виднее стали наши слабости, заблуждения. Но я не отрекаюсь от своего прошлого, от основных идеалов права, свободы, гуманности, уважения к личности, которым и я по мере сил служила. Я горько сожалею, что наше поколение не сумело их провести в жизнь, не сумело, не смогло утвердить в России тот свободный демократический строй, к которому мы стремились».

Если бы комментарий к текстам был редуцирован к аннотированному указателю имен, было бы еще полбеды; мемуарист предупреждает, что пишет исключительно по памяти, а значит, ошибки неизбежны. Комментаторы кое-где отмечают исторические неточности, но именно что кое-где, создавая у читателя впечатление, что все прочие сведения соответствуют действительности. Увы! Так, мемуарист, называя Е. Н. Трубецкого в числе депутатов первой Думы, замечает, что не помнит его на трибуне. Не удивительно, что не помнит: Е. Н. Трубецкой думским депутатом никогда и не был.

### -3

**Мемуары графа С. Д. Шереметева. Составление, подготовка текста и примечания Л. И. Шохина. М., «Индрик», 2001, 736 стр.**

Поначалу, когда берешь в руки увесистый, в прекрасном переплете том, срываются старые привычки: спасибо-де издателям, постарались, издали хранящиеся в архиве мемуарные тексты, да еще и на хорошей бумаге... Но ведь не благодарим же мы мясокомбинат только за то, что на нем производят колбасу.

Мемуарной трилогии предпослана небольшая вступительная статья составителя, озаглавленная «Мемуары графа С. Д. Шереметева как исторический источник», где, как можно ожидать, логично было бы выяснить мнение авторитетного исследователя, насколько же публикуемые мемуары могут и в самом деле таковым источником служить. Неудобно и напоминать ту очевидную вещь, что мемуары далеко не всегда могут служить надежным историческим источником, ведь помимо ошибок памяти автора, сознательного уклонения от неудобных для него тем известны тексты, написанные с сознательной целью создать искаженную картину прошлого. Собственно, задача издателя мемуаров в том и заключается, чтобы ввести их читателя в контекст эпохи, обозначить политические и идеологические позиции их автора. Это принципиально важно для пореформенной России, когда оценка даже личных качеств и характеров тех или иных действующих политических и общественных фигур определяется по большей части степенью близости их идеологических позиций авторским.

Согласно составителю, ценность мемуаров графа С. Д. Шереметева заключается в том, что данные автором «характеристики государственных и общественных деятелей, членов императорской фамилии и придворных, императора Александра II и императрицы Марии Александровны не утратили свежести восприятия и содержат немаловажные наблюдения и факты». Вот, однако, пример «немаловажного наблюдения»: «Милютин сознательно и неуклонно шел к ясной своей цели, его лозунг: революция сверху. Он — центр и глава всего движения. Он — тот паук, который расставил свою сложную сеть, заставляя играть по своей дудке тех, которые мнили быть руководителями (либерального. — А. Н.) движения, распуская во все стороны ту обширную паутину, нити которой терялись в преисподней. Константин (Великий князь Константин Николаевич. — А. Н.) и сопр. — пешки Милютина; передовики освобождения — Николай Милютин с товарищи — это более или менее исполнители глубоко задуманной игры. Но достижение успеха ее обусловливалось приобретением Государя всецело в сферу своего подавляющего влия-

ния». Что же такого «немаловажного» можно извлечь из этой «свежей характеристики» одного из наиболее выдающихся деятелей эпохи Великих реформ, автора основных принципов и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», и «Положения о губернских и уездных земских учреждениях», на которые как на образец государственного устройства для современной России постоянно указывают далеко не последние мыслители нашего времени?<sup>10</sup> Или — характеристика министра народного просвещения А. В. Головнина, при котором был принят либеральнейший университетский устав (1863) и «временные правила о печати» (1865), создавшие реальную периодическую печать в России: «Я редко встречал наружности более отталкивающей... Небольшого роста, горбатый, с большою головою, плоским бледным лицом и с выдающимися скулами». Достаточно, однако, сравнить фотопортрет Головнина<sup>11</sup> с известным обликом К. П. Победоносцева — так ведь просто Аполлоном Бельведерским покажется! Рейтерн, министр финансов: «золотушный орангутанг», «очень дурен, с странным выражением губ»; граф П. А. Валуев, министр внутренних дел: «европейский лоск прикрывал внутреннюю пустоту, но он любил казаться; не быть, а слыть»; «изрекал звучные, но туманные и бессодержательные фразы» и т. д.

Для тех, кому приходилось сталкиваться с оценками эпохи реформ со стороны «правого крыла» российской общественности — в теоретических статьях, журнально-газетной публицистике или в тех же мемуарах, — идея подпольных центров антирусского и антидворянского заговора, размещавшихся в Мраморном дворце и в «Palais Michel»<sup>12</sup>, — не новость. Эти заговорщики — ужасные на вид, проникнутые ненавистью к благородному сословию, — конечно, не могли не сгубить Россию, процветающую при покойном Николае Павловиче! Мемуары графа могли бы быть интересны историку и читателю, если бы выражали некую политическую линию. Однако вся идеология автора, в общем, может быть выражена словами известного персонажа чеховской пьесы: «В прежнее время, лет сорок — пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и бывало... И бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... Способ тогда знали».

И последнее. Возможно ли верить «подготовке текста», когда едва ли не с первой страницы книги встречаешь бессмысленные буквосочетания: «Mais on Jout les meiger d'Auton» (вместо «Mais où sont les neiges...»), «U'allez pas dire ei L'Europe...» (стр. 38), «adien» (стр. 110), «rieu» (стр. 100), «Se ne'est un mari, ce u'est qu'uu est omac sderange» (стр. 76), «c'ert» etc.?

Издание осуществлено при поддержке Российского фонда гуманитарных исследований. Где деньги, Зин?

### **Князь Мещерский. Воспоминания. М., «Захаров», 2001, [688 стр.].**

Это на обложке и шмуце; в колонтитуле: «Князь В. П. Мещерский. Мои воспоминания». Последнее правильно.

Чего не хватало графу, то с лихвой имеется в воспоминаниях князя. В. П. Мещерский, получивший в либеральных кругах прозвище «князь Точка» за свой публичный призыв «поставить точку» в процессе реформирования России, и от Владимира Соловьева — «Содома князь и гражданин Гоморры», входил (наряду с К. П. Победоносцевым, М. Н. Катковым и графом Д. А. Толстым) в круг наиболее влиятельных идеологов той самой политики, которая в монографии Н. Гриценко получила осторожное название «консервативной стабилизации». Однако если К. П. Победоносцев и граф Д. А. Толстой проводили эту политику в жизнь (как обер-прокурор Святейшего Синода и министр внутренних дел), а М. Н. Катков

<sup>10</sup> В данном случае я не касаюсь вопроса о возможности реализации этих принципов в современной России.

<sup>11</sup> Например, в издании: «Отечественная история с древнейших времен до 1917 года». Энциклопедия. Т. 1. М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1994.

<sup>12</sup> Резиденции Великого князя Константина Николаевича и Великой княгини Елены Павловны, служившие идейными и интеллектуальными центрами либерального движения.

взял на себя роль «официального пропагандиста» этой политики, то влияние Мещерского по большей части было личным, «теневым». Его «журнал-газета» «Гражданин» (в которой в 1873 году получил кратковременный приют Ф. М. Достоевский со своим «Дневником писателя») в 1880-е годы считалась своеобразным офисом, а первые статьи редактора — выражением мнения самого Императора.

Три тома мемуаров Мещерского давно стали библиографической редкостью, и их переиздание не может не радовать: без них вообще невозможно разобраться в хитросплетениях внутренней политики самодержавной власти второй половины XIX века (если вообще в ней можно когда-либо разобраться). Их автор считал себя идеологом и писал мемуары именно как идеолог, открыто подчиняя вроде как автобиографическое повествование выражению собственных идеологических взглядов, которые своей радикальностью нередко смущали, а порой и шокировали даже его консервативно настроенных единомышленников. (Вот один из довольно ярких примеров: Мещерский выступил сторонником сохранения телесных наказаний — и на первых же страницах своих воспоминаний рассказывает о том, как в детстве был подвергнут отцом наказанию розгами за украденную в оранжерее дыню и какое благотворное влияние на него оказала эта процедура<sup>13</sup>.) Известно высказывание, что Мещерский — это человек, о котором «никто доброго слова не скажет».

Но опять же, хвалить Издателя Захарова лишь за перепечатку ценной книги вовсе не хочется. Приходится признать, что сложившийся в советские времена тип издания источниковедческой литературы (воспоминаний, дневников, эпистолярного наследия) как издания прежде всего научного, предполагающего своей обязательной составляющей наличие пространной и информативной вступительной статьи и подробного критического комментария, выполненных компетентным ученым, специалистом по данному историческому периоду, делало выпуск таких изданий вполне осмысленным<sup>14</sup>. Понимая все сложности нынешнего книгоиздательского процесса (подробный комментарий требует порой многолетней тяжелой работы с источниками и проч.), все же найти сотрудника и деньги (в особенности тем издателям, которые выпускают массовыми тиражами сверхпопулярных писателей) — вещь совершенно необходимая и вполне реальная. Короткая справка «об авторе» представляет собой сильно сокращенную энциклопедическую статью В. А. Викторovichа<sup>15</sup> в сопровождении короткой и несколько высокомерной издательской вводки («Перепечатывая с сокращениями справку... за подписью В. А. Викторovich, оставляю на благоусмотрение читателей возможность делать всякие выводы по поводу прочитанного»).

**Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном дворце. М., «Захаров», 2001, 384 стр.**

Когда я впервые увидел доставленные мне из хранилища Государственного архива РФ (тогда еще — Архива Октябрьской революции) в кожаном с пряжкой переплете дневники одного из Великих князей, игравшего далеко не последнюю роль в истории России, — сердце мое дрогнуло в сладком предчувствии: вот сейчас тайны Российской империи откроются перед моим умственным взором!.. И вот что мне тогда открылось.

Мемуары Великого князя Гавриила Константиновича, внука первого из Романовых — хозяина Мраморного дворца и сына одного из самых умных и культурных представителей династии — поэта К. Р.

*Церемониальные марши:* «Показался молодой государь в конногвардейской форме». *Торжественные выходы:* «Обе царицы были в русских платьях, в сарафанах-де-

<sup>13</sup> Теоретическое осмысление связи розги, сексуальной ориентации и политического консерватизма любезно предоставляю исполнить А. Эткинду в очередной монографии.

<sup>14</sup> То, что причины, по которым соответствующие ведомства поддерживали именно этот тип изданий, имели не научную, а идеологическую основу, не является доводом отказаться от такой традиции.

<sup>15</sup> «Русские писатели 1800 — 1917», Биографический словарь. Т. 4. М., Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». Научно-внедренческое предприятие ФИА-НИТ, 1999.

колте, с длинными шлейфами и в кокошниках. На них были замечательные драгоценности». *Полковые и придворные богослужения*: «Во время обедни государь, государыня и старшие члены семейства стояли у правой стороны, против окон, а остальные — у левой стены, рядом с окнами». *Парад на Марсовом поле*: «По приказанию государя два конвойных, стоявших за ним, сыграли сигнал „карьер”». *Эскадронные ученья*: «Ходили мы также на маневры и ночевали на биваках. Помнится, я ходил однажды в ночной разъезд». *Завтраки в Царском Селе*: «В гостиной стоял стол с закусками и водкой, а также и стол, за который садились завтракать. Первые годы я водки не пил, а когда начал пить, то государь всегда говорил мне, что мне пить вредно». *Полковые обеды*: «После обеда пел русский хор и цыгане». *Балы*: «Отец был очень изящен в конногвардейском вицмундире». *Свадьба членов императорской фамилии*: «Государь был в привезенной ему испанской форме, которая оказалась очень некрасивой и ему не шла». *Театры*: «Ставились веселые пьесы, оперетки и красивые балеты, в которых неизменно принимала участие балерина Кшесинская, восхищавшая всех своими танцами».

И последнее. При советской власти во дворике Мраморного дворца стоял броневик. Теперь — памятник Александру III работы Паоло Трубецкого. Памятник хороший, но вот ведь нашлось же подходящее место!

---

## WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*«Возвращение желаний» Хургина; «Крестьянские поэты» в Интернете; разрушение тартуского мифа на сайте Евгения Горного*

### 1

**В** начале обзора — информация о современной литературе. О новой повести Александра Хургина «Возвращение желаний», появившейся на сайте «Сетевой словесности» (<http://www.litera.ru/slova/khurgin/poluxin.html>). Повесть эту я обнаружил, прочитав в новостях электронных библиотек на РЖ следующее: «Национальный союз писателей Украины присудил литературную премию им. Вл. Короленко за лучшую прозу Александру Хургину (книга „Возвращение желаний”)».

Хургин написал текст рискованный, в том смысле, что — «обыкновенно» об «обыкновенном». О смерти. О старике, погружающемся физически — в предсмертную немочь, а душевно — куда-то, куда нам пока нет доступа (здесь обычно отмахиваются фразой «впадает в детство», не слишком задумываясь, что это за детство). Мы и не очень задумываемся; большинство из нас бессознательно идет за древним философом, предложившим такой ход: пока я осознаю себя, я жив, а когда умру — не смогу это осознать, и, значит, смерти для меня (моей смерти) не существует. Жалко только близких, которым придется возиться с твоим мертвым телом, венками, гробом и т. д. Материал, привлеченный писателем, казалось бы, предполагает именно этот уровень восприятия — сугубо бытовой, с описаниями физиологии умирания, тоски и стеснения близких. Однако сюжет повести строится на другом — на непостижимой для окружающих отделенности и странности умирающего, на особой сфокусированности его взгляда на себя и вокруг. На погружении старика в... — вот тут, собственно, и главный вопрос повести: погружении во что? Можно легко ответить: в смерть. Во что же еще? А что такое тогда смерть?

Честно говоря, приступал я к чтению повести с некоторым страхом — слишком много «веселых похорон» мы уже прочитали, чтоб не задаться вопросом о праве на тему. Подозрительно незатейливым и «литературным» поначалу кажется повествование Хургина: неужели еще одна психологическая бытовая повестушка на острую тему? Похоже, что нет. Похоже, автор знает, о чем говорит, — знает, разумеется, с нашей стороны, живых, повстречавших смерть рядом и почувствовавших что-то за давящим душу мраком. Хургин пишет спокойно, но это спокойствие че-

ловека, пережившего и принявшего в себя тот жизненный опыт, который приходит после недель и месяцев, прожитых рядом и вместе с умирающим.

Предсмертный мир старика, ограниченный несколькими эпизодами его прошлой жизни, женой, сыном и внуком, кажется необыкновенно емким и многомерным. Смерть выстраивает свою иерархию ценностей «обыкновенной жизни», и ее базовые понятия — любовь, супружество, отцовство, верность, душевная близость, всегда сочетающаяся с взаимным отчуждением двух людей, и многое другое — наполняются здесь непривычным содержанием.

«Обыкновенная» смерть в контексте будничной обыкновенной жизни без какого-либо усилия автора, а благодаря чуть сдвинутому в сторону смерти взгляду обретает незнакомое и странное для нас бытийное звучание. И — в очередной раз сделанное художником открытие: для прикосновения к бытийному не надо напрягаться, становиться на цыпочки и тащить себя за волосы вверх — оно рядом, оно в нас. Вот в этой «обыкновенности». Сама смерть у Хургина входит в состав жизни. Как необходимая, органичная часть ее. Старик погружается в смерть как в последнее откровение жизни. Причем, и это очень важно здесь, писатель обходится без религиозной риторики, его образ смерти как части жизни принадлежит художнику, а не верующему. (Единственная аналогия в искусстве, которая мне сейчас приходит на ум, — это две смерти в «Земле» Довженко — величественная смерть деда в первых кадрах фильма, где смерть — некое сакральное действие жизни, и смерть героя фильма, которая есть убийство самой жизни, смерть не продолжающая вечный порядок жизни, а отвергающая его.)

Здесь ничего нового, скажут мне, то есть «ничто не ново под луной». Но в данном случае уместнее и продуктивнее вспомнить другое изречение — про «этнобашую новость миров в изголовье», на которой держится литература.

Я отдаю себе отчет в том, что повесть Хургина после такого представления захотят прочитать немногие. Может быть, это и хорошо — пусть читают те, для кого написано. Я очень благодарен украинскому жюри за его выбор.

## 2

Ну а теперь об интернетовских новостях. Одна из них — открывшийся сравнительно недавно сайт «Творчество новокрестьянских поэтов» (<http://nk-poety.narod.ru>).

Сайт представляет пятерых поэтов начала века: Сергея Есенина, Сергея Клычкова, Николая Клюева, Петра Орешина, Александра Ширяевца. То есть пять персональных страниц, обширный материал которых представлен в разделах «Биография», «Стихотворения», «Поэмы», «Письма», «Современники о ...», «Библиография». А также для каждого поэта сделана информационно насыщенная (фотографии, автографы, рисунки и т. д.) страница в рубрике «Галерея». Кроме полноты представления поэтов хочу отметить удачное — скупое и выразительное — художественное оформление сайта (исключая разве несколько китчевый, под «русские березки», стиль новоарбатской ширпотребовской живописи на титульной странице) и логичный функциональный дизайн.

Здесь же содержится коллекция ссылок на родственные сайты. Вот краткий обзор этих и других, обнаруженных мною с помощью Яндекса и Апорта, ссылок на представленных здесь поэтов.

Разумеется, наиболее полно представлен в Интернете Сергей Есенин. Прежде всего в самых известных интернетовских библиотеках — почти полное собрание текстов в Библиотеке Максима Мошкова (<http://lib.ru/POEZIQ/ESENIN/>). И такое же обстоятельное представление поэта в «Публичной электронной библиотеке» Евгения Пескина (<http://www.online.ru/sp/eel/russian/Esenin.Sergei/>). Пескинское собрание текстов ориентировано на составленный самим Есениным трехтомник. Сверка произведена по Собранию сочинений С. А. Есенина в трех томах (М., 1970). Однако в «первый том электронного издания поэзии Есенина дополнительно к 167 отобранным самим Есениным включено 6 стихотворений, написанных поэтом в ноябре — декабре 1925 года. Во второй том входят так называемые „маленькие поэмы“; в третий том — поэмы. Отдельно приведены стихотворения 1910 — 1915 и

1916 — 1925 годов, не включенные Есениным в основное собрание, а также стихотворные дарственные надписи, послания и альбомные записи».

Внушительное собрание есенинских стихотворений представлено на странице сайта «Стихия» в разделе «Крестьянские поэты» (<http://www.litera.ru/stixiya/authors/esenin.html>) — 96 стихотворений плюс 22 «Неповторенных стихотворения» и материалы разделов «Есенин: хронология стихотворений», «Критика и биография».

Несколько ошеломительным было для меня обнаружить персональную страницу Есенина на специфическом сайте «Темные аллеи»: две подборки текстов Есенина — «Стихи любовникам» и «Письма Н. Клюеву и А. Мариенгофу» (<http://www.gay.ru/art/literat/library/esenin.htm>).

Творчество Николая Клюева представлено страницей на «Стихии» (<http://www.litera.ru/stixiya/authors/klyuev.html>) — 46 стихотворений и портрет поэта, а также соответствующей страницей в «Темных аллеях» с короткой биографической справкой и подборками «Стихи к Есенину», «Плач о Сергее Есенине» и «Стихи к Яр-Кравченко» (<http://www.gay.ru/art/literat/library/klyuev.htm>).

У Александра Ширяевца также есть еще две интернет-страницы: персональная страница (<http://oba.wallst.ru/classics/1917/shiryava.htm>), содержащая четыре раздела — «Автобиография», «Библиография прижизненных изданий», «Поэмы», «Стихотворения», и страница «Дом поэта А. Н. Ширяевца (Музей крестьянского быта)» (<http://www.museum.ru/mus/form.asp?id=1598>).

Что же касается Сергея Клычкова и Петра Орешина, то их страницы на сайте «Творчество новокрестьянских поэтов», видимо, самые полные в Интернете. Ссылок на какие-либо отдельные их страницы в Интернете я не обнаружил.

Правда, большинство каталогов содержат ссылки на страницу Клычкова, а также и на страницы Есенина и Клюева, расположенные на сайте «Мир Марины Цветаевой», но страница Клычкова, содержащая достаточно богатый перечень различных текстов (стихи, проза, биографический и литературно-критический материал и т. д.), пока не работает. Возможно, к моменту выхода этого номера журнала доступ к обещанным материалам будет открыт, поэтому я привожу эту ссылку: [www.ipmce.su/~tsvet/WIN/silverage/klyuev](http://www.ipmce.su/~tsvet/WIN/silverage/klyuev)

### 3

И еще один сайт, появившийся в Интернете в этом году, — «Тартуское культурное подполье 1980-х годов» (<http://www.litera.ru/slova/gorniy/tartund.html>).

...У мифа о Тартуской школе была долгая жизнь. Но, похоже, она заканчивается. Не школа, разумеется, а жизнь мифа. Причина в изменении общественного и культурного контекста, питавшего миф. Наиболее благоприятными были для него 70 — 80-е годы: с одной стороны, господствующий в филологии и вообще в гуманитарных науках официоз (в качестве знаковых фигур назовем маститого Храпченко и мобильного Феликса Кузнецова), обслуживавший интересы государственной идеологии, и, с другой, противостоявшие официозу прогрессивные ученые (скажем, канонизированный к 70-м годам интеллигенцией А. Белинков и активно действовавший Н. Эйдельман). В силовом поле этого противостояния и нужно было определяться каждому гуманитарно. Но был еще и третий ориентир — Тартуская школа. Это словосочетание использовалось, конечно, и в качестве определения собственно научной школы (семиотика, структурализм), но миф о ней был шире: где-то там, в университетском городке (в европейском смысле этого словосочетания), ученые и их питомцы занимаются наукой, не стесненной никакими идеологиями; там подлинная свобода и подлинная культура. «Тартусцы» могли себе позволить отстраниться от всего, кроме собственно науки и культуры (дискурс, определенный в те годы знаменитой фразой А. Наймана: «Советский, антисоветский — какая мне разница?»). Тартуская школа, существовавшая вполне официально, воспринималась как акт диссидентства, и не только по отношению к официальной идеологии, но и к тому, что тогда считалось ее противоположностью.

Но вот, кажется, мы сами начали становиться Европой. Тартуская резервация лишилась границ. Люди Тарту вошли в нашу реальную жизнь, и соответственно их деятельности начал видоизменяться и миф о Тарту. Причем изменяться неожидан-



но. Кроме прогнозируемого — скажем, европейских и американских адресов знаменитых сегодня «тартусцев» (Жолковский, Пятигорский) или литературно-критической и издательской деятельности молодых «тартусцев» (Г. Морев с журналом «Новая русская книга», Григорий Амелин со своими провокативными для многих литературоведческими штудиями), — обнаружилось много неожиданного, иногда обескураживающего: широта и характер приложения сил бывших «тартусцев» — от деятельности знаменитого московского ресторатора и издателя, сделавшего литературу и культуру частью имиджа своих ресторанных заведений, до интернетовских идеологов новейшей ленинско-дугинской модификации евразийства (поневоле вспомнишь, как Лотман благословил Фоменко на его революционные изыскания в исторических науках).

Прежний тартуский миф кончился, и жизнестроительное творчество вчерашних «тартусцев» уже потребовало некой рефлексии. Проявлением таковой отчасти и следует, видимо, считать создание в Интернете нового проекта одного из отцов русского литературного Интернета **Евгения Горного** (о его проекте «Русская виртуальная библиотека» см.: «Новый мир», 2001, № 3) «Тартуское культурное подполье 1980-х годов».

Структура сайта проста: страница с перечнем текстов. Первым стоит доклад самого Горного о «Тартуском подполье», прочитанный им в Тарту в 1994 году. Текст доклада можно рассматривать и как программу сайта: «охарактеризовать „тартускую атмосферу“ 1980-х годов и... набросать общую картину культурного творчества, происходившего в этой атмосфере».

«Я приехал в Тарту в августе 1985 года. До этого я четыре года проучился на гуманитарном факультете Новосибирского университета, из которого был исключен... поступил на русскую филологию в Тартуский университет и жил первый год в общежитии на Пяльсоны, 14, где тесно общался с русскими филологами разных курсов. Именно творчество этих людей и составляет по преимуществу то, что я называю „тартуским культурным подпольем“».

Последнее и представлено на странице Горного — тексты Алексея Плущера-Сарно, Елены Мельниковой-Григорьевой, Владимира Литвинова, Александры Петровой, Юлии Фридман, Евгения Горного, Дмитрия Болотова, Юлии Василенко, Анатолия Величко, Игоря Пильщикова и других. Большая часть — из личных архивов самого Горного. Для знакомства с некоторыми авторами, уже обжившими Интернет, как, скажем, Лейбов или Петрова, Горный отсылает читателя на страницы соответствующих сайтов.

Само название «Тартуское подполье» не имеет прямого отношения к содержанию тартусского мифа. Речь о другом подполье — эстетическом и отчасти поведенческом. По свидетельству Горного, Тартуский университет требовал от студентов полной сосредоточенности на науке, никак не поощряя их художественное творчество («...если объект академического литературоведения всегда уже институционализирован как культурная ценность, то любое „свежее“ произведение будет закономерно восприниматься как попытка узурпации ценности. Сакрализация классики, таким образом, закономерно приводит к тому, что всякое живое творчество оказывается богохульством»).

Стремившиеся в Тарту молодые люди из европейской России, Урала, Сибири, мечтавшие об оазисе интеллектуальной и творческой свободы, были несколько разочарованы. Сам по себе стандарт европейской университетской жизни их не только не вдохновлял, но вызывал скорее внутреннюю иронию и отчуждение («...студенты, когда я учился, делились на местных и приезжих весьма отчетливо. Местные, как правило, тихо получали дипломы, чего, собственно, и хотели, и исчезали из памяти народной. Приезжие приезжали накаленные предвкушением, эрудицией и амбициями» — В. Литвинов). Общая культурная жизнь, как пишет Горный, практически отсутствовала — «существовали маленькие отдельные группы, объединенные дружескими связями; преобладало же „творчество по углам“. Как следствие почти не было критики и попыток рефлексии над феноменом подпольного творчества».

Увы, не утруждая читателя подробным анализом представленных здесь текстов, вынужден констатировать, что отсутствие полноценного творческого обще-

ния действительно сказалось на художественном уровне «тартусцев» 80-х годов. Большинство представленных текстов может претендовать на интерес только у «своих», ну и, разумеется, у историка культуры. Литературное имя есть, пожалуй, только у Александры Петровой и Дмитрия Болотова.

Сайт будет привлекать другим — нашим традиционным интересом к этому уникальному культурному сообществу; интересом, обострившимся реалиями сегодняшней культурной жизни. И, естественно, некоторыми получившими сегодня новый импульс вопросами. Например: насколько сам подход к культуре, специфический для «тартуской школы», формировал будущую (сегодняшнюю) деятельность ее выучеников? А если никак не формировал, можем ли мы тогда вообще говорить о школе?

Для меня одним из самых интересных в этом отношении текстов на сайте оказался короткий мемуар «Ускользящая ссылка», с ее внутренним, драматичным по-своему, сюжетом: молодой человек, студент и поэт, вырвавшийся из Челябинска, угнетавшего убожеством «города-детища первых пятилеток» в Европу, в Тарту, издаലെка представлявшемуся как «город свободы, разума и ума. Соответственно и творчества», «этакая Кастальская республика в пределах любимой родины», обретает веселую университетскую жизнь, друзей, среду, но ни ученым, ни поэтом так и не становится. Для тартуской филологии не хватило «начальной школы», для поэзии — воздуха. «Это забавно, поскольку стихи я писал лет с 14 и филологией занялся, чтобы получше понять, что такое стихи, как они сделаны, ну а потом филология засосала, еле выбрался. Нет, профессиональным филологом я никогда не был, но всеобщим пафосом был захвачен очень сильно... Вот, пожалуй, и все. Было весело всю дорогу, весело и до сих пор. Единственно „веселой науки“ не получилось — веселье пошло в свою сторону, а наука, без меня, — в свою». Литвинов вспоминает о веселом, но читать грустно.

Ну а что касается собственно тартуской науки, то страница Горного содержит множество полезных ссылок. Прежде всего на Тартуский университет (<http://www.ut.ee/>) и соответственно на Отделение русской и славянской филологии ТУ (<http://www.ut.ee/FLVE/ruslitwin.html>) и Отделение семиотики ТУ (<http://www.ut.ee/SOSE/>).

А также:

«Труды по знаковым системам (содержание выпусков)» (<http://www.stv.ee/~run/Trudy.htm>);

«Труды по знаковым системам (MP3-альбом Псоя Короленко)» (<http://www.listen.to/psoy/>);

Совместный интернет-проект московского издательства О.Г.И. ([www.ogi.ru](http://www.ogi.ru)) и кафедры русской литературы Тартуского университета ([www.ut.ee/FLVE/ruslit\).Ruthenia.ru](http://www.ut.ee/FLVE/ruslit).Ruthenia.ru)

Григорий Амелин. Истоки и смысл русского структурализма ([http://www.art.uralinfo.ru/literat/Ural/Ural\\_2000\\_01/Ural\\_01\\_2000\\_14.htm](http://www.art.uralinfo.ru/literat/Ural/Ural_2000_01/Ural_01_2000_14.htm)) и другие.

Особо нужно отметить «Страницу Ю. М. Лотмана на Vivos Voco!» ([http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/LOTMAN/LOTMAN\\_A.HTM](http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/LOTMAN/LOTMAN_A.HTM)). На этой странице в разделе «Статьи, выступления, интервью» представлены пятнадцать текстов Ю. М. Лотмана; в разделе «О Лотмане и его творчестве» помещены статьи и очерки Б. Ф. Егорова, В. Э. Вацура, М. Л. Гаспарова, Г. С. Кнабе, И. Грековой, Ю. А. Шрейдера. Сноски в разделе «Ю. М. Лотман в Интернете» предоставляют доступ к интернет-страницам «Международный научный семинар, посвященный дню рождения Лотмана (Тарту, март 1999 г.)» (<http://www.ut.ee/FLVE/lotman99.html>), «Оглавление тартуского издания „Труды по знаковым системам“» (<http://www.zone.ee/run/Trudy.htm>) и сетевым ресурсам по семиотике: журнал «Semiotica» ([www.degruyter.de/journals/semiotica/](http://www.degruyter.de/journals/semiotica/)), Международная ассоциация семиотических исследований (IASS-AIS) ([www.arthist.lu.se/kultsem/assoc/IASShp1.html](http://www.arthist.lu.se/kultsem/assoc/IASShp1.html)), философско-литературный журнал «Логос» (<http://www.ruthenia.ru/logos>), «Русский язык. Семиотика. Знаковые системы» (<http://teneta.rinet.ru/rus/sema/sema.htm>), «Русские тексты» (<http://atlantis.stavropol.net/rt/index800x600.htm>) и др. (всего здесь 16 сносок).

P. S.

И еще две цитаты.

Из доклада Горного:

«Специфика маленького города, каковым является Тарту... привела к тому, что основным прозаическим жанром является здесь сплетня. Слухи и сплетни не только составляли подавляющую часть тартуского устного фольклора и универсальный феномен бытовой жизни... но и зачастую выступали конструктивным принципом создаваемых художественных текстов».

Из текста Плуцера-Сарно о Лотмане «Седой шалун»:

«Перед началом лекции, в поисках исчезнувшей кафедры: „А где же наш налой?“

Подходит как-то Юрмих с учениками к своему дому. А у него в кабинете свет горит. Юрмих (с издевкой): „А Лотман все работает!“

Юрмих спешит по улице, страшно торопится. Навстречу П. Х. Т. „Здравствуйте, Юрий Михалыч! Вы куда так торопитесь?“ Юрмих быстро останавливается и долго стоит в задумчивости. „Да, в самом деле, куда же это я?“

Юрмих о стиле советского литературоведения: „То и дело встречаешь в статьях: „Пушкин разоблачает Екатерину“. Так и видишь: Пушкин раздевает императрицу“.

„Три гвардейских забулдыги — братья Орловы. Они интересовали Пушкина, потому что это те „жадной толпой стоящие у трона“ — это герои 1762 года. Положение их тогда было критическим. Или делать переворот, или погибнуть. Все в долгах, денег на водку никто не дает, в кабаках их держат за пьяниц и буянов. Ну, в общем... положение то, что называется — революционная ситуация!“ (из лекции).

„Возникает народная организация. Вроде мафии. Она, конечно, демократическая по своей природе. Эти мафиози называют себя карбонариями. Такая массовая крестьянская организация... В общем, то, что называется партия“ (из лекции)».



---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## О ПАРТПРИНАДЛЕЖНОСТИ ФИЛОСОФА

**В** седьмом номере «Нового мира» аннотирована переписка Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса: «Отмежевавшись от своего учителя Эдмунда Гуссерля... Хайдеггер продолжил научную деятельность уже в качестве ректора-фюрера Фрайбургского университета и национал-социалиста... В конце 80-х годов в Германии... из архива был даже извлечен его билет члена нацистской партии с отметкой об уплате членских взносов по год окончания войны».

Между тем запись партсобраний, на котором Хайдеггер отмежевывается от учителя, историей не сохранена; да и сама традиция подобных отречений должного распространения в Третьем рейхе не получила.

Но это детали; в целом же перед нами апробированные общественным мнением суждения, они кочуют из статьи в статью, из книги в книгу. Спорить с подобными суждениями — напрасный труд. Но поскольку они повторены теперь и «Новым миром», посмотрим, какое отношение они имеют к реальности.

В 1933 году ректор Фрайбургского университета фон Меллендорф был снят властями за запрещение вывесить в помещениях «еврейские плакаты». Он просил Хайдеггера выставить свою кандидатуру на выборах нового ректора. Хайдеггер колебался, но самоотвода не дал и был избран. Сразу начался сильный нажим на него, «рекомендации» разрешить вывешивание «еврейских плакатов». Хайдеггер не разрешил.

В конце года новый ректор попытался сделать деканами социал-демократа фон Меллендорфа и еврея Эрика Вольфа. Попытка не удалась, и вскоре Хайдеггер подал в отставку. «Первый национал-социалистический ректор», — радостно приветствовала его преемника нацистская газета.

Эти факты приводились не раз, в частности, о них сообщает в предисловии к изданному им тому работ мыслителя Владимир Биbihин (в кн.: Хайдеггер Мартин. Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993, стр. 5). И помянутое нами выше общественное мнение не отрицает этих фактов: оно просто игнорирует их.

Периодически вспыхивающая на Западе антихайдеггеровская кампания — явление неоднозначное. Заметную роль в нем играют троцкисты — верно, тень покойного кумира возбуждает их антитоталитаристский раж. С другой стороны, немцы, беспощадно анализируя свое прошлое, хотя и разбираются во всех его фактах и деталях.

А на наших широтах — свои, дополнительные, проблемы. Асимметрия в нашем отношении к двум самым страшным тоталитаризмам XX века грустна. У каждого из нас хватает добрых знакомых и сослуживцев, десятилетиями «продолжавших научную и иную деятельность в качестве интернационал-социалистов». И искать в архивах их членские билеты нет нужды. Активность этих людей проявлялась не в уплате членских взносов — на страницах центральных газет они гневно отмежевывались от Пастернака, Сахарова и Солженицына.

Если мы будем об этом помнить, наши суждения о далекой Германии будут, возможно, несколько взвешеннее.

Валерий СЕНДЕРОВ.

---

## НЕ ТОЛЬКО О ГОРЬКОМ

**В** интересном и очень полезном в информационном отношении разделе «Периодика» (2001, № 1), соглашаясь со мной, что все же следовало бы восстановить неведомо по чьему распоряжению снятую и бесследно исчезнувшую мемориальную доску в Горках и вообще не забывать совсем-то уж горьковские юбилейные даты, А. Василевский высказывает несколько суждений по поводу тех моментов в

моей заметке на страницах «Независимой газеты» (от 2 сентября 2000 года), которые показались ему неуместными.

Постараюсь объяснить насчет моего обращения к Президенту. Оно возникло не от хорошей жизни. Еще 13 марта 2000 года в ходе обсуждения моей книги в ЦДЛ «Максим Горький — подлинный или мнимый» (тоже не забытой «Новым миром» — 2000, № 7) было принято обращение группы участников к руководству о необходимости восстановления мемориальной доски на доме в Горках, где жил и умер писатель, коего еще на нашей памяти именовали «великий русский». Упомянутое обращение было опубликовано с 17 марта по 10 апреля в четырех газетах: «Независимой», «Книжном обозрении», «Труде» и «Московской правде», причем одна из них назвала ликвидацию мемориальной доски «актом вандализма» (тем более, что ничего подобного не происходило в послевоенных Германии или Италии). Все материалы были направлены в Администрацию Президента, откуда без особой спешки их переправили в Министерство культуры, а оттуда, с той же неспешностью, в Управление делами Президента. Вот такой административный пинг-понг.

А. Василевский по поводу моего выступления замечает: «Вообще апелляция к Первому лицу в историко-литературных вопросах вызывает неприятные ассоциации». Но речь в моем письме идет вовсе не о вмешательстве властей в научные проблемы «историко-литературного» характера. Говорится совсем о другом: о необходимости *внимания* властей к состоянию национально-культурного наследия, чтоб не допустить погружения его ценностей в мрак забвения.

Восстанавливая в памяти прежние юбилеи и отбрасывая прочь казенную трескотню, мы вспоминаем чтение классиков по радио, фильмы и спектакли по их произведениям. Выпускались для любителей разнообразные сувениры, почтовые марки со спецгашением и т. д. Я уже не говорю про обязательное переиздание книг классиков-юбиляров. Все это *напоминало*, что писатель творчески жив, а не сброшен с «парохода современности». А административный перебор в этих делах действительно может принести только вред. Мы не забыли, как очень задолго до юбилейной пушкинской даты Б. Ельцин публично что-то сказал о великом поэте, и во что это потом вылилось! С телеэкрана народ начал по строчкам «собирать» «Евгения Онегина» (?!). Поэт смотрел на нас с московских уличных щитов на каждом перекрестке... В конце концов «Ex libris НГ» открыл специальный номер фразой «От Пушкина тошнит». И понять сказавших это можно.

Ничто подобное Горькому, к счастью, не грозит (тем более, что два самых крупных юбилея были просто проигнорированы). Но тут совершенно обратная «расейская» крайность. Пренебрежение к писателю, явно того не заслуживающему: горьковские дела в этом плане — полная противоположность пушкинским (хотя когда-то А. Платонов в специальной статье сопоставлял два эти имени и отмечал определенное сходство их новаторской роли в развитии русской литературы).

Характерная закономерность. За рубежом, где исследователь не подвержен бесконтрольно-эмоциональному отторжению всего советского прошлого, к Горькому в целом отношение совсем иное. Придется сослаться на собственный воистину горький опыт горьковеда. Книга моя «Горький без грима. Тайна смерти» (1996) привлекла к читателю с невероятным трудом и вышла в частном издательстве, вне программы федеральной поддержки, в которую была включена Госкомпечатью и которую проигнорировало издательство «Московский рабочий». Минуты авторских скитаний, скажу лишь, что количество издательств, пороги которых пришлось обивать, составило двузначное число.

Зато о ее выпуске хлопотал из Парижа редактор «Континента» Владимир Максимов. Заказы поступили из тринадцати стран. Первый полный перевод осуществлен в Китае в 1999 году. А новые заказы из США породили и второе, существенно дополненное, издание 2001 года. (И это при том, что, по словам одного из крупнейших знатоков русской словесности XX века Л. Флейшмана, убежденного сторонника концепции насильственной смерти М. Горького и, кстати, нашего бывшего соотечественника, книга имеется в библиотеках всех университетов США.)

В рецензиях (Франция, Польша), в письмах автору содержится приятие моей концепции, которая очень проста. Горький после 1928 года неоднороден. Посте-

пенно преодолевая иллюзии и ошибки, в самом конце (1934 — 1936 годы) он занимал довольно последовательные антисталинские позиции, за что и был насильственно устранен из жизни. (Об этом подробно см. в недавно вышедшей моей новой книге «Беззаконная комета» — о баронессе М. Будберг.)

Для убедительности лишь один характерный отзыв из зарубежной почты, принадлежащий бывшему диссиденту, естественно, не испытывающему ни малейшей ностальгии по советскому прошлому и по «соцреализму». Я имею в виду известного писателя и крупного филолога, профессора Калифорнийского университета Ю. Дружников (разоблачившего сталинистский миф о Павлике Морозове и превосходно раскрывшего подноготную жизни СМИ брежневской поры в сатирическом романе-памфлете «Ангелы на кончике иглы»). Ю. Дружников вместе с книгой о Павлике Морозове прислал мне письмо, где, в частности, говорится: «Книга важная, очень нужная, по-своему уникальная. Вижу, какой пласт материала Вы перепахали и сделали все очень корректно, с уважением чужих мнений и умеренно настаивая на своих точках зрения как раз настолько, чтобы убедить меня как читателя, что Ваши аргументы весомы».

Я не раз высказывался за широкую свободную дискуссию по Горькому. А. Василевский, как он сам парадоксально выразился, в порядке «здоровой демагогии» комментирует: «И тоже — при участии Первого лица?»

Ирония не по адресу. Я не представляю, у кого может родиться совершенно утопическая мечта о том, что с олимпийских высот выстроенной им «вертикали власти» нынешний Президент спустится на грешную литературоведческую делянку, на которой надо разнимать фехтовальщиков-горьковедов.

Хотя, между прочим, в былые времена такие «первые лица», как А. Луначарский, охотно участвовали в литературных баталиях, и, к примеру, задира В. Маяковский уверенно дискутировал с наркомом. Проиграет ли дискуссия, если в ней примет участие нынешний министр культуры М. Швыдкой? Уверен, не проиграет (по меньшей мере) и выступающие не станут подлаживаться под «мнение старшино».

Р. С. В февральской «Периодике» за текущий год наткнулся на аннотацию (никакого отношения к Горькому не имеющую): в «Новом литературном обозрении» (№ 44) — материал о Н. Заболоцком на страницах «Известий». Останавливают внимание даты известных публикаций: 1934 — 1937. Кто был редактором «Известий» в эти годы? Правильно: Н. Бухарин. Назначенный Сталиным по настоянию максимально влиятельного тогда Горького. И литературные материалы в «Известиях» курировал именно Горький. После 1937 года Н. Заболоцкого больше в «Известиях» не напечатают. В марте 1938 года Н. Бухарин будет приговорен к расстрелу в результате процесса «правотроцкистского» блока. А сразу после окончания процесса, всего лишь через неделю, Н. Заболоцкого арестуют и отправят в лагерь. Еще раньше, в декабре 1935 года, Сталин назовет лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи Маяковского. Явно в пику либералу Бухарину, ставившему на место «лучшего» — Пастернака... А тут — рукой подать до начала «антиформалистической» кампании в «Правде» (разгромная статья «Сумбур вместо музыки» от 28 января 1936 года). Горький решительно выступил против этой статьи, в защиту Д. Шостаковича, которого травят «бездарности и тупицы». Это произойдет за три месяца до смерти Горького. Так рождается *реальная* тема: «Литературная политика „Известий“ Горького — Бухарина и „Правды“ Сталина — Мехлиса». Пока такой темы никто не поднимал. (Глядишь — новая глава для третьего издания «Горького без грима»?) Вот чем надо заниматься: исследованием *реальных историко-литературных проблем*, поиском реальных взаимосвязей и взаимозависимостей явлений, а не бесплодными перепалками, которые мы называем «спорами», «дискуссиями» и в которых участники не ищут истину, какой бы она ни была, а утверждают всеми способами *свою правоту*.

Вадим БАРАНОВ.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

## КНИГИ



**Авторник.** Альманах литературного клуба. М., «АРГО-РИСК», Тверь, «Колонна», 2001, 68 стр.

Первый выпуск альманаха, представляющего круг московского литературного клуба «Авторник»; руководители: Дмитрий Кузьмин, Илья Кукулин и Данила Давыдов. В альманахе представлены: Иван Ахметьев, Фаина Гринберг, Дмитрий Воденников, Леонид Костюков, Елена Фанайлова, Ирина Шостаковская и другие.

**Анатолий Азольский.** Монахи. Море Манцевых. Романы. М., «Грантъ», 2001, 608 стр.

Книжное издание романа «Монахи» (первая публикация — «Новый мир», 2000, № 6), а также одного из ранних «военно-морских» романов Азольского.

**Алексей Денисов.** Xenia. М., О.Г.И., 2001, 56 стр.

Третья книга молодого поэта («Твердый знак» — Владивосток, 1995; «Нежное гласие» — М., «АРГО-РИСК», 2000), приписанного критиками к «постконцептуалистам» (Д. Кузьмин). Персональная страница с собранием текстов в Интернете — <http://www.vavilon.ru/texts/denisov0.html>

**Харуки Мураками.** Dance, dance, dance... Перевод с японского Дмитрия Коваленина. СПб., «Амфора», 2001, 360 стр.

Новый роман японского писателя, ставшего знаменитым в России после «Охоты на овец». «Dance...» является продолжением первого романа, но если «кто-то ждет такого же облегченного молодежного стиля, как в „Овцах“, пусть не надеется... Герой повзрослел, а вместе с ним „повзрослел“ и язык романа, и круг проблем» («Ex libris НГ»).

**Борис Рыжий.** На холодном ветру. Стихотворения. СПб., «Пушкинский фонд», 2001, 80 стр.

Вторая, и, очевидно, последняя, книга новых стихотворений самого яркого дебютанта 90-х, трагически ушедшего из жизни. «Так гранит покрывается наледью, / и стоят на земле холода, — / этот город, покрывшийся памятью, / я покинуть хочу навсегда. / Будет теплое пиво вокзальное, / будет облако над головой, / будет музыка очень печальная — / я навеки прощаюсь с тобой». Предисловие к книге («Слово памяти») написал Сергей Гандлевский.



**Ирина Балабанова.** Говорит Дмитрий Александрович Пригов. М., О.Г.И., 2001, 168 стр., 3000 экз.

Выбор жанра — беседа — оказался продуктивным; присутствие рядом интервьюера с отнюдь не девственным в культурном отношении восприятием и тем не менее способного задавать вопросы типа: «А что такое антисоветский?» — потребовало от Пригова соблюдения определенной дистанции, с которой он оглядывает эпизоды собственной жизни, творческой биографии, выпавшего на долю рассказчика и его друзей времени. В результате книга содержит не только «историю Пригова», но и достаточно проработанный социопсихологический, культурологический анализ русского андерграунда 60 — 70 годов.

**Жан Бодрийяр.** Система вещей. Перевод с французского и сопроводительная статья С. Н. Зенкина. М., «Рудомино», 2001, 218 стр., 2000 экз.

Второе (первое — 1995) издание с уточненным переводом дебютной книги Бодрийяра (1968), сделавшей его имя знаменитым.

**Александр Гольдштейн.** Аспекты духовного брака. М., «Новое литературное обозрение», 2001, 320 стр., 3000 экз.

Вторая книга букеровского и антибукеровского лауреата 1997 года, составленная из эссе, писавшихся в последние годы и частично публиковавшихся в журналах («Зеркало», «Неприкосновенный запас» и др.). Разнотемные тексты сплавлены в единое повествование стилистической и интонационной. Эссеистика Гольдштейна строится как исповедальная лирическая проза, интеллектуальное наполнение которой (размышления об

искусстве, об истории, о писателях — Добычин, Мисима, Саша Соколов, Кундера, Оруэлл, Камю и другие) ориентируется не столько на со-мыслие или на спор с читателем, сколько на со-чувствие тем метафорам культурных явлений, с помощью которых Гольдштейн их описывает. Несмотря на продекларированную автором приверженность стилистике фаумского портрета («графичность, фронтальность, плоскостность, резкие контуры»), в способах описания и соответственно размышления автор ближе к декоративной многозначительности прерафаэлитов, приправленной приемами постимпрессионистов: «С течением лет ему, знавшему только униженность отвергнутых движений, стали доступны снисходительные сарказмы, диалектическая лирика превосходства, чуть задышающееся спокойствие аристократа-лишенца, возвысившегося до нематерьяльных богатств. Бледно-фиалковый стиль его прозы имеет сходство с пурпурным слогом мечтательного французского блатаря, не забывающего об ужасной беде, когда его, рожденного в августейшей семье, дождливой ночью положили в корзинке за воротами отчего замка, — но этой несправедливостью научили в точной пропорции смешивать гной с литургийным распевом, добываясь риторики монарха в изгнании» («Братья Соледад»).

**Сергей Житомирский.** Эпикур. Исторический роман. М., «Астрель», 2001, 400 стр., 6000 экз.

Романная составная этого повествования — беллетризованное изложение того немногого, что мы знаем об Эпикуре и его времени, — заметно уступает четкому, квалифицированному изложению учения Эпикура; основным сюжетом романа стала история и становление мысли античного философа.

**А. М. Зверев.** Владимир Набоков. М., «Молодая гвардия», 2001, 453 стр.

После десятилетнего набоковского бума в России наконец-то появилась внятно написанная биография Набокова, автор которой — известный историк русской и американской литературы. Книга, изданная в серии «Жизнь замечательных людей», сочетает черты жизнеописания и литературоведческой монографии.

**Артур Кёстлер.** Тринадцатое колено, или Крушение империи хазар и ее наследие. Перевод с английского А. Ю. Кабалкина. СПб., «Европа», 2001, 320 стр., 3000 экз.

Скандальная книга историка, философа и писателя (автора «Слепящей тьмы»), в которой с привлечением огромного количества труднодоступного материала доказывалось, что «колено» ашкеназов (то есть европейских и в особенности восточноевропейских евреев) составилось из ошметков населения хазарской империи, которое было иудаистским только по вероисповеданию, а этнически представляло собой смесь тюркских и кавказских элементов. В сопровождающих текст подробных комментариях (научный редактор издания А. Г. Юрченко) содержится критика большинства положений и выводов Кёстлера, но отдается должное огромному количеству привлеченных источников.

**Антуан Компаньон.** Демон теории: литература и здравый смысл. Перевод с французского С. Зенкина. М., Издательство им. Сабашниковых, 2001, 336 стр., 3000 экз.

Вышедшая во Франции в 1998 году и ставшая международным бестселлером работа представителя младшего поколения структуралистов (ученика Барта и Кристевой). Оказавшись свидетелем распада движения, автор подводит его итоги и отстаивает традиции рационального мышления против вульгарного «постмодернизма».

**О Довлатове.** Статьи, рецензии, воспоминания. Составление Елены Довлатовой. Тверь, «Другие берега», 2001, 224 стр., 1500 экз.

Сборник выпущен к 60-летию Сергея Довлатова. Содержит тексты Юнны Мориц, Андрея Арьева, Иосифа Бродского, Александра Гениса, Виктора Камянова, Алексея Зверева и других.

**Сергей Параджанов.** Исповедь. Составитель Кора Церетели. СПб., «Азбука», 2001, 656 стр.

В книгу великого кинорежиссера вошли все написанные им сценарии, статья «Вечное движение», лагерные письма, а также его графические работы. В «Приложении» — материалы, связанные с историей заключения и освобождения режиссера из тюрьмы.

**Ойген Розеншток-Хюсси.** Язык рода человеческого. Составление и перевод с немецкого и английского А. И. Пигалева. Послесловие «Язык, культура и история в „диалогическом мышлении“ Ойгена Розенштока-Хюсси» А. И. Пигалева. М., СПб., «Университетская книга», 2000, 608 стр., 5000 экз.

Малоизвестный при жизни, имевший репутацию «маргинального мыслителя» и высокоценный только в узком кругу коллег и учеников, американский философ, ис-



торик, культуролог, выходец из Германии Ойген Мориц Фридрих Розеншток-Хюсси (1888 — 1973) активно входит в культурный обиход только сейчас. Проблематика его работ и уровень мысли ставят его в один ряд с такими именами, как М. М. Бахтин, М. Бубер, П. Тиллих, Х. Кокс. Книга содержит четырнадцать произведений философа, отнесенных составителем к его программным работам.

**Среди великих.** Литературные встречи. Составление, предисловие, комментарий М. М. Одесской. М., РГГУ, 2001, 445 стр., 1500 экз.

Собрание отрывков из литературных воспоминаний «обыкновенных талантов» (Н. В. Успенский, А. Милюков, И. Л. Щеглов, Алексей Мошин, Н. М. Ежов, Е. Н. Опочинин, И. И. Ясинский) о классиках: Гоголе, Толстом, Лермонтове, Некрасове, Тургеневе, Помяловском, Слепцове, Григоровиче, Бунине и других. Такого рода воспоминания редко воспроизводятся в канонических сборниках («NN в воспоминаниях современников») — в своих текстах авторы держатся с портретируемыми накоротке, еще не научившись соблюдать приличествующую при общении с классиками дистанцию:

«Я, возмущенный этой грубостью, не оставался в долгу...

— Не знаю, что лучше, говорить или делать глупости.

Тогда в совершенном неистовстве Вяземский кричал:

— Убирайтесь к черту!

— Хорошо, я уйду! — также кричал я в ответ. — ...С вами ни один черт работать не будет. <...>

— Стыдно вам! Вы еще молоды! — останавливал меня на полдороге голос князя, звучавший укоризненно, но без раскаяния.

Я понимал все без дальнейших объяснений, возвращался назад, мы снова принимались за работу как ни в чем не бывало» (Е. Н. Опочинин).

**Творчество Булата Окуджавы в контексте культуры XX века.** Материалы Первой международной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения Булата Окуджавы. 19 — 21 ноября 1999 года. Переделкино. Составитель И. И. Ришина. М., «Соль», 2001, 152 стр., 1500 экз.

Участники конференции, представленные в сборнике текстами своих докладов и сообщений: И. Ришина, Г. Кнабе, Вл. Новиков, С. Яманоути, Л. Бахнов, Г. Белая, Я. Гордин, В. Куллэ, А. Кушнер, Б. Кархофф, М. Поздняев, Ю. Карякин, Л. Лазарев, С. Ломинадзе и другие.

**Пауль Тиллих.** Систематическая теология. М., СПб., «Университетская книга», 2000, 3000 экз. Том 1-2 — 463 стр. Том 3 — 415 стр.

Русское издание одной из самых фундаментальных работ немецко-американского христианского мыслителя, философа культуры Пауля Тиллиха (1886 — 1965).

**Михаил Эпштейн.** Философия возможного. СПб., «Алетейя», 2001, 334 стр., 1000 экз.

Известный филолог и культуролог выступает в этой работе как философ, открывающий XXI век. В издательской аннотации сказано: «Три последних века завершились беспощадной критикой философии (Кант, Ницше, Деррида), каждый последующий — начинался открытием новых методов... Эпоха „пост-“ сама уже позади. Мы вступаем в век „прото-“ — зачинательных, возможных форм философской мысли». Автор о своей работе: «В данной книге сочетаются две задачи: философское понимание возможного в ряду других модальностей („философия возможного“); и исследование модальностей, действующих в современной культуре („модальная культурология“). Иными словами, предмет исследования — „возможное“ — постепенно превращается в метод, „возможностный“ подход к гуманитарным дисциплинам и тенденциям культуры на рубеже столетий. Язык модальностей изучается, чтобы затем на нем можно было говорить, строить модальную эпистемологию, этику, психологию, теологию...» Предисловие к книге «Возможное как сущее» написал Г. Л. Тульчинский.

**Михаил Ямпольский.** О близком. (Очерки немиметического зрения). М., «Новое литературное обозрение», 2001, 240 стр., 3000 экз.

Новая работа известного теоретика искусства и культуры, продолжающая темы его книги «Наблюдатель» (М., «Ad marginem», 2000), «посвящена проблеме „бесперспективного“, недисциплинированного зрения... Близкое — это такая зона, куда доступ крайне затруднен. Эта зона защищена невероятной близостью к такой загадочной, вечно ускользающей инстанции, как наше „я“» (от автора).

Составитель Сергей Костырко.

## ПЕРИОДИКА



*«Вести.Ru», «VIP-Premier», «Время MN», «Время новостей», «Демократический выбор», «Deutschland», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Завтра», «Запад России», «Заповедник», «Звезда», «Знамя», «Известия», «Интеллектуальный Форум», «Кантовский сборник», «Книжное обозрение», «Континент», «Лебедь», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Мой город Черняховск», «Московские новости», «Независимая газета», «Независимое военное обозрение», «Огонек», «Октябрь», «Орфей», «Посев», «Правое дело», «Русский Журнал», «Русский переплет», «Труд», «Утро.ru», «Центральный Еврейский Ресурс»*

**Максим Амелин.** Памяти Восточной Пруссии. Стихи. — «Мой город Черняховск». Литературно-художественный и публицистический журнал. Главный редактор С. И. Бондаренко. Черняховск (Калининградская обл.), 1999, № 3.

*Прусский цикл* Максима Амелина с гордостью представляет брат поэта Андрей Виноградов, живущий в Черняховске/Инстербурге.

**Александр Архангельский.** Русский ответ на еврейский вопрос. Скандальная книга Солженицына [«Двести лет вместе»] напрочь лишена скандальности. — «Известия», 2001, № 142, 8 августа <<http://www.izvestia.ru>>

«Первый и главный из этих стереотипов, [сломанных Солженицыным]: нельзя взирать на проблемы русского еврейства имперской эпохи столь же спокойно и отстраненно, как на проблемы русских эстонцев, или немцев, или чеченцев. Почему нельзя, спрашивается?..» См. также полемическую беседу **Владимира Бондаренко** и **Танкреда Голленпольского** «Зачем Солженицын поднял еврейский вопрос?» («Труд», 2001, № 157, 28 августа; «Завтра», 2001, № 35, 28 августа).

**Дмитрий Бавильский.** Золотой песок. — «Независимая газета», 2001, № 149, 15 августа <<http://www.ng.ru>>

Лучший текст *этого лета* (выражение Бавильского) — «Бессмертный» **Ольги Славниковой** («Октябрь», 2001, № 6 <<http://magazines.russ.ru>>). «Недовольных она тащит на аркане мощных и удивительных метафор, которые блестками рассыпаны по ее тяжелому тексту. <...> на фоне мутного повествовательного потока (убогая жизнь спальных районов) именно эти — просто мандельштамовские — эпитеты и сравнения оказываются горными прорывами к правде жизни, мира и бессмертия». См. также рецензию **Евгения Ермолина** — «Новый мир», 2001, № 11.

**Дмитрий Бавильский.** Куст Пруста. — «Знамя», 2001, № 8 <<http://magazines.russ.ru>>

«Если искать в русской литературе XX века какой-нибудь аналог прустовской эпопеи, вспоминается, как это ни парадоксально, „Красное Колесо“ Александра Солженицына — неподъемный, постепенно обрастающий вариантами и книгами-спутниками гигантский текстуальный организм. С помощью детальной реконструкции утраченного (как бы исторического) времени Солженицын точно пытается переиграть отпущенные судьбой сроки и получить прописку в окончательно захлопнувшейся еще до него эпохе...» См. также: **Александр Кушнер**, «Наш Пруст» — «Новый мир», 2001, № 8.

**Алексей Бартникас.** Имена городов и весей наших. — «Мой город Черняховск». Литературно-художественный и публицистический журнал. Черняховск (Калининградская обл.), 1999, № 3.

Как *Воля* превращается в *Вольное*. О происхождении новых — их более 1600 — названий населенных пунктов бывшей Восточной Пруссии.

**Мишель-Андре Бернстайн** (*The New Republic*). Его бытие и время. Перевод с английского Виктора Голышева. — «Интеллектуальный Форум». Международный журнал. Издатель Глеб Павловский. Главные редакторы Елена Пенская, Марк Печерский. 2001, № 4 <<http://www.if.russ.ru>>

Являются ли политические (подразумевается — национал-социалистические) взгляды Мартина Хайдеггера частью его философии? Любой ответ не очевиден. См. полемическое письмо **Валерия Сендерова** «О партпринадлежности философа» в настоящем номере «Нового мира».

**Сергей Боровиков.** В русском жанре — 20. — «Знамя», 2001, № 8.

«Пастернак очень хвалил „Первые радости” Федина, и нет оснований заподозрить Б. Л. в неискренности, которая, как известно, и вовсе ему была не присуща. Но — имеющий уши да услышит, не кидайте в меня дохлой кошкой! — достаточно прочитайте вслух несколько страниц „Живаго” и „Радостей”, чтобы услышать несомненное родство интонаций».

«Я получаю письма от читателей, которые требуют от меня, чтобы я написал, условно поговоря, современного „Доктора Живаго”...» — рассказывает Эдуард Тополь («Нельзя спорить с успехом». Беседовал Борис Пастернак (так! — А. В.). — «Время новостей», 2001, № 146, 15 августа).

**Михаил Брусиловский.** Победоносцев над Россией... — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

Фигура Победоносцева раздражала(ет) русскую интеллигенцию настолько, что впрямую задуматься о комплексе неполноценности, «испытываемом представителями этого весьма поверхностно образованного класса по отношению к подлинному интеллектуалу, профессионалу в своем деле (во многих делах), человеку, чьи таланты и широта кругозора десятилетиями являлись эталоном для всякого государственного деятеля».

**Владимир Букарский.** Глобализация против Израиля. — «Центральный Еврейский Ресурс» <<http://www.sem40.ru/anti>>

«Сценарий, который готовится для Израиля, опробован на Сербии. <...> Стратегам Нового Мирового порядка плавать на то, что мы хотим жить. Страна, гражданами которой мы с вами являемся, с ее древней традицией, Иерусалимом и сильной армией, не вписывается в концепцию „глобальной деревни”...»

**Василь Быков.** На болотной стежке. Рассказ. Перевод с белорусского автора. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 8.

Учительница просит партизан не взрывать мост — за мост перед немцами отвечает деревня. Партизаны мост не взорвали, но учительницу расстреляли.

**Восьмая нога осьминога.** Беседа главных редакторов газеты «Завтра» Александра Проханова и газеты «Советская Россия» Валентина Чикина. — «Завтра», 2001, № 32, 7 августа <<http://www.zavtra.ru>>

«Я бы, например, был восхищен, — говорит Александр Проханов, — если бы в тот момент, когда в Генуе заседала „восьмерка” с Путиным, туда бы поехал Геннадий Андреевич Зюганов. Но он был бы не во дворце, а среди генуэзских повстанцев. Какой бы был мировой эффект, какая бы это была бомба грандиозная, каким бы новым человеком он вернулся к нам сюда...»

**Михаэль Гизеке.** О конце автора. Авторское право в Интернете — анахронизм перехода: сменят ли интерактивно-креативные команды отдельных авторов? — «Deutschland». Политика, культура, экономика и наука. 2001, № 3, июнь — июль <<http://www.magazine-deutschland.de>>

«Нам придется искать альтернативные формы присвоения информации и вознаграждения за создание ценностей [в Сети]. <...> Но культурно-исторический взгляд открывает для нас столь разные формы вознаграждения, например, взаимность (? — А. В.), почет, власть, любовь, доверие, что одностороннее заострение дискуссии на деньгах лишено как логики, так и фантазии». Автор — профессор, историк культуры и средств информации, преподает в университете Эрфурта.

**Олег Глушкин. К. и Анна.** Рассказ. — «Запад России». Художественно-публицистический журнал калининградских писателей. Главный редактор Вячеслав Карпенко. Калининград, 2001, № 2 (25). E-mail: alex.exterier@baltnet.ru

«В этом доме все пишут — называется культурхауз, некоторые пишут, не вставая из-за стола, — день и ночь», а писатель К. утонул.

**Олег Глушкин.** Поэт и генерал. — «Запад России», Калининград, 1999, № 1 (21). Пушкин. Милорадович.

**Василий Голованов.** К развалинам Чевенгура. — «Знамя», 2001, № 7.

«Надеялись ли мы, [участники экспедиции], и вправду обнаружить [на воронежском юге] Чевенгур — это страшное место, ставшее могилой последних отверженных, собранных увидеть зарю коммунизма?»

**Горькие плоды «национального примирения».** Письма читателей. Подготовил А. Штамм. — «Посев», 2001, № 7 <<http://www.webcenter.ru/~posevru>>

В ночь на 1 мая 2001 года в Тамбове неизвестными был уничтожен установленный в июне 2000 года памятник погибшим участникам народного крестьянского («антоновского») восстания в Тамбовской губернии в 1918 — 1921 годах.

**Владимир Губайловский.** Нежность к бытию. — «Дружба народов», 2001, № 8 <<http://magazines.russ.ru>>

«Сегодняшние стихи Ахмадулиной нужны и актуальны». См. также интервью Беллы Ахмадулиной — «Литературная Россия», 2001, № 32, 10 августа.

**Олег Дарк.** В забавном стиле, или Оправдание лжи. — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>

О том, как незаконен в русской культуре сам жанр эссе. «Эссе на литературную тему [в России] *всегда будут читать* как критическую статью (я вас не слишком напугал?). Под *русской „статьей“* я понимаю аналитическое произведение ограниченного объема, объясняющее истину или смысл: события, личности, другого произведения и т. д.». Автор статьи *знает*, эссеист не уверен ни в чем.

А также: «Помню, как в 70-е мой старший знакомый говорил, что все эти отношения с маленькой девочкой [в „Лолите“], разве *это* тут главное (звучало почти снобистски), а вот описание путешествия по Америке, вот действительно *интересно*. Меня больше всего поразила неуязвимость позиции. Не скажешь же, что ты читаешь ради маленькой девочки. Но судьба ее была печальна, и предпочтень американский пейзаж или сатиру на учителей все равно, что торопиться „по делам“ мимо кустов, откуда доносятся „не надо“ и „пустите“. Я, может быть, и пройду мимо, но потом буду очень переживать».

**Гейдар Джемаль.** Исламский взгляд на глобализм, «большую восьмерку» и новую поляризацию мира. — «Завтра», 2001, № 33, 14 августа.

«...Китай до сих пор сохраняет коммунистическую партию и „тоталитарный“ партийно-государственный строй вопреки либерализации своей экономики. Он делает это не для того, чтобы сохранить эффективную систему управления обществом, не из страха власти в хаос (или, вернее, не только из этого страха). Главная задача — сохранить проектную самобытность перед лицом либерального глобализма. Именно эта самобытность и дает статус великой державы эффективнее, чем межконтинентальные ядерные ракеты».

**Денис Драгунский.** Гордость, тревога и долг. — «Правое дело». Учредитель — «Политическая партия „Союз правых сил“». Издается с августа 2001 года. Главный редактор Алексей Кара-Мурза. 2001, № 1, 17 — 30 августа <<http://www.sps.ru>>

«Сейчас в России гораздо больше сторонников социализма, чем в эпоху Брежнева».

**Борис Дубин.** В стране зрителей. — «Дружба народов», 2001, № 8.

«Транслируемые [по ТВ] сведения и вся „картинка мира“ не только повторяются потому, что они — важные, но они становятся важными потому, что повторяются».

**Владимир Емельянов.** Русская история от Пушкина до Бродского. Хронология самосознания. — «Лебедь». Независимый бостонский альманах. Выходит с 1997 года. Бостон, 2001, № 233, 19 августа <<http://www.lebed.com>>

Занимательная историография/историософия. Запоминается высказывание о том, что переписанная и сокращенная Толстым Библия была актом *цензуры* со стороны правящей умами особы.

**Евгений Ермолин.** Слабое сердце. — «Знамя», 2001, № 8.

«У него (Кибирова. — А. В.) есть большие заслуги перед обществом».

**Сергей Есин.** «А время действительно „не то“». Беседу вел Владислав Иванов. — «Литературная Россия», 2001, № 31, 3 августа <<http://www.litrossia.ru>>

«Я согласен с мыслью Ленина, утверждавшего, что не бывает независимых ни журналистики, ни писательства. Настоящий профессиональный автор всегда обслуживает либо какую-то группу людей, либо идеологию. Это естественно — пуповина».

**Александр Зиновьев.** «Спустившись с зияющих высот». Беседовал Владимир Поляков. — «Литературная газета», 2001, № 33, 15 — 21 августа <<http://www.lgz.ru>>

«Русская литература — одно из орудий разрушения дореволюционной социальной системы. Не случайно после ее взяли на вооружение в советскую идеологию». См. также: Александр Зиновьев, «Третья мировая как она есть» — «VIP-Premier», 2001, № 7.

**Ольга Зиновьева.** Трудный путь к «Зияющим высотам». — «Завтра», 2001, № 32, 7 августа.

«Впрочем, все, связанное с жизнью и творчеством этого генератора мыслей, — <...> идет ли речь о Зиновьеве-мыслителе, о Зиновьеве-художнике, о Зиновьеве-социологе, о Зиновьеве-логике, о Зиновьеве-поэте, — поражает. <...> набросанные куски,

отрывки, порою — строчки [„Зияющих высот”] он читал мне [в 1974 году], если они были уже записаны, а часто диктовал мне, диктовал, принимая горячую ванну. Уму непостижимо, как он выдерживал эту температуру воды — практически кипятком. Теперь, после трех с лишним десятилетий совместной жизни, я этому удивляюсь меньше, хотя он остается верен этой своей привычке и сейчас, когда ему необходимо сконцентрировано и напряженно поработать над какой-нибудь особенной идеей. А так как мозг этого удивительного человека — генератор мыслей — работает неумоимо, перелопачивая и выдавая на-гора результаты, которых хватило бы на творческую деятельность десятков людей, то можно понять, почему он по крайней мере через день проводит десять — пятнадцать минут в брутально-горячей воде: эта процедура помогает ему, по его выражению, „расширить мозговые пазухи”...» Отрывок из книги жены о своем муже под названием — без шуток! — «Александр Зиновьев. Творческий экстаз».

**Борис Значков.** Клиника тщеславия. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

Методика клонирования будет применена к человеку в самом ближайшем будущем — не через год, так через три. Одна из причин: тщеславие.

**Михаил Золотаносов.** Таганка как воля и представление. — «Московские новости», 2001, № 32, 7 — 13 августа <<http://www.mn.ru>>

«Юрий Петрович Любимов, [выпустивший мемуарную книгу „Рассказы старого трепача”], — <...> властный барин, для которого „властность”, своя „воля” — самое ценное, а актеры — это глупые крестьяне, которые без барина могут только все напороть. Режиссура же оказывается уникальной возможностью волю и власть реализовать».

**Тимур Зульфикаров.** Обращение к русскому человеку. — «Завтра», 2001, № 35, 28 августа.

Сколько же русских должно остаться на земле, чтобы они полюбили друг друга?..

**Всеволод Иванов.** Московские тетради. Из дневников военного времени. Предисловие Вячеслава Вс. Иванова. Публикация Елены Папковой-Ивановой. Подготовка к печати Елены Папковой-Ивановой и Ирины Ковалевой. — «Дружба народов», 2001, № 8.

«7 ноября [1942]. Суббота. <...> Говорят, введут погоны и звание офицера. Как странно! И звание это, опошленное всей российской литературой, и эти ненужные кусочки сукна на плечах уже стали через 25 лет романтическими».

**Вячеслав Иванов.** «У меня нет сегодня особых страхов по поводу будущего России в XXI веке...». [Беседа главного редактора «Континента» Игоря Виноградова с академиком Вяч. Вс. Ивановым, Москва, сентябрь 2000 года.] — «Континент», № 106 (2000, № 4).

«Иг. В.: Я всегда считал <...> что крупнейшая ошибка Солженицына по его возвращении в Россию состоит в том, что он даже и не попытался поднять знамя Сахарова (своего идейного оппонента? — А. В.), собрать и сплотить вокруг себя людей, действительно болеющих Россией, встать во главе широкого общенационального демократического движения, а предпочел по-прежнему оставаться таким волком-одиночкой. <...>

Вяч. И.: Увы, не хватило жертвенности. Обычной, в прямом смысле (академик Вяч. Вс. Иванов живет и преподает в Лос-Анджелесе. — А. В.).

Иг. В.: Ну что ж делать — на нет и суда нет...»

**Из переписки Е. Г. Эткинда с И. М. Дьяконовым** (июнь — декабрь 1976). Публикация, вступительная заметка и комментарии П. Л. Вахтиной и И. Б. Комаровой. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 7.

Пять писем: из Ленинграда — с оказией — за бугор к Эткинду и обратно. «Я рад, что Вы чувствуете себя марксистом в моем смысле. Это действительно единственная возможная для разумного человека позиция. Вот Л. И. Б[режнев] не марксист» (из письма И. М. Дьяконова от 7 июля 1976 года). Из ответного письма Е. Г. Эткинда от 26 июля 1976 года: «Я не думаю, что можно жить „не по лжи” — это сентиментально-христианские глупости».

**Александр Изгоев.** «Курск» убила Америка. — «Завтра», 2001, № 31, 31 июля. Еще одна версия.

**Роберт Каган** (*The New Republic*). Задним числом. Перевел с английского Г. Марков. — «Интеллектуальный Форум», 2001, № 4.

В третьем томе своих мемуаров (1999) Киссинджер пытается сделать вид, что уже в 70-е годы он предвидел то, что случилось в 90-е, но против этого свидетельствует второй том (1982) его мемуаров.

**Леонард Калининков.** Пушкин и Кант. «Евгений Онегин» и «Критика практического разума», или Любовь и Категорический Императив. — «Запад России», Калининград, 1999, № 1 (21).

Автор — президент Кантовского общества России (Калининградский университет). См. также: Л. А. Калининков, «Теория гения в эстетике Канта и „Моцарт и Сальери“ Пушкина» в «Кантовском сборнике». — Межвузовский тематический сборник научных трудов. Выпуск 22. Издательство КГУ, 2001. В Калининграде/Кенигсберге именно Кант — *наше всё*.

**Сергей Карамеев.** Котлеты — отдельно, мухи — отдельно. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Казалось бы, кто проигрывает от того, что у власти будет находиться высокоморальный, праведный человек? <...> Все проиграют».

**Назифа Каримова.** «Всеобщий переход на латиницу неизбежен». — «Независимая газета», 2001, № 143, 7 августа.

«Я полагаю, — говорит член-корреспондент РАН, заведующий отделом Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН **Сергей Арутюнов**, — что глобализация и компьютеризация нашей жизни в конечном счете приведут к тому, что в нынешнем столетии на латинский алфавит перейдет и русская письменность. Кириллица устарела уже и для славянских языков. Даже в Болгарии, на родине кириллического алфавита, и то сейчас звучат здравые голоса о необходимости перехода на латиницу. Препятствует тому идея русской великодержавности. <...> К сожалению, судя по настроению некоторых, русский язык перейдет на эту графику, видимо, одним из последних, что приведет лишь к тому, что другие, неславянские, народы России будут опережать русский народ в своем цивилизационном развитии. <...> По существу, кириллица — ведь это даже не алфавит, когда, скажем, такие буквы, как „я” и „ю”, представляют собой слоговые графемы и абсолютно не отражают фонемы, что приводит к массе (? — А. В.) затруднений...»

«Можно подумать, что Арутюнов — наивный сторонник гуманизма, зовущий в общий Европейский дом, так сказать, исправляться и отмывать сажу с черной рожы (да обязательно со справкой *vshaj et Treponema njet*)», — иронизирует **Дмитрий Крылов** в полемической статье «Индейцы» в сетевом журнале «Русский переплет» (<<http://www.pereplet.ru>>). Однако Д. Крылов обнаружил у С. Арутюнова и такие высказывания, относящиеся к 1994 году: «Само внешнее различие графических основ армянского и арабского шрифтов даже для неграмотных людей служило постоянным индикатором этнической дифференциации, напоминанием о разности культурных традиций <...>. Надо думать, что именно наличие книжности уберекло большинство армянских популяций, живших в тюркском и ином языковом окружении, от полной языковой ассимиляции, равно как и от этнического раскола между григорианами и католиками» («Народные механизмы языковой традиции. Язык. Культура. Этнос». М., 1994). Отсюда Д. Крылов делает радикальный вывод: «Не может быть никаких сомнений: человек, который предлагает латинизацию, прекрасно понимает, какие последствия она может иметь для русских. Он профессионал, который идет на сознательный подлог, отговариваясь мнимыми преимуществами латиницы, а на деле прекрасно понимает культурные механизмы, которые ведут к смерти народа».

Интервью С. Арутюнова вызвало оживленную полемику в Дискуссионном клубе «Русского переплета» <<http://www.pereplet.ru/Discoussion>>. «Все гон у этого академика, и в том числе о „неудобности” кириллицы. „Удобство” латинского алфавита не избавляет английский или французский язык от разрыва между графикой и фонетикой, разрыва весьма и весьма существенного. Нехай этот Арутюнов сначала убедит американов писать „*fak ju*”, а потом уже лезет со своим повсеместным введением латиницы», — пишет некий **Paul**.

«Авторы прогноза [о желательности перехода русского языка на латиницу], будучи по происхождению отчасти армянами, отчасти евреями, воздерживаются от предложения сходным образом устроить судьбы армянского и еврейского народов, хотя и судьбы многотрудные, и письменность тоже отнюдь не латинская. <...> Можно нарваться на неадекватно грубый ответ, а от русских такой грубости не дождешься — так отчего же и не предложить», — иронизирует **Максим Соколов** («Известия», 2001, № 148, 16 августа).

**Вячеслав Карпенко.** «Я смотрю на все с далекой точки будущего...» Мировобраз и миросмысл. От юродивого до гения. [Эссе]. — «Запад России», Калининград, 2001, № 1.

К 110-летию художника Сергея Калмыкова.

**Ян Анджей Ключовский (Znak).** «Открытый» католицизм и его враги. Перевод с польского Анджея Базилевского. — «Интеллектуальный Форум», 2001, № 5.

*Закрытый, размытый и открытый* католицизм(ы) в Польше. Название статьи вызывает в памяти известную книгу Поппера.

**Никита Кривошеин.** Блаженный Августин. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 7.

Лагерь конца 50-х.

**Владимир Крупин.** Освящение престола. Рассказ-быль. — «Мой город Черняховск». Литературно-художественный и публицистический журнал. Черняховск (Калининградская обл.), 2000, № 6.

Возрождение Троицкой церкви в Кильмезе (Вятская — пока Кировская — область) — «причаститься там, где долгое время плясали, выступали, пели „Интернационал“...».

**Майя Куликова.** Из сказки крови не выкинешь. — «Огонек», 2001, № 33, август <<http://www.ropnet.ru/ogonyok>>

В правильной народной сказке Медведь обязательно *раздав* теремок и его обитателей. А иначе зачем он приходил? А чтобы дети вовремя узнали, что у всякого ресурса есть предел.

**Валентин Курбатов.** На завалинке. — «Литературная Россия», 2001, № 32, 10 августа.

«Вы читали „Человека без свойств“? — интересовался у Курбатова **Юрий Нагибин**. — <...> Музиля надо читать, несмотря на чудовищный временами перевод [Соломона] Апта. Апт так мощно перевел „Иосифа [и его братьев]“, а тут увяз. <...> Нет, это великая книга. Поглядите, как [Томас] Манн, такой блестящий и точный в оценках других писателей, сразу начинает мяться, когда речь заходит о Музиле, — так велик был дар этого нищего несчастливца (временами жившего по подписке)...»

**Алла Латынина.** «Этот жанр все-таки хорош своим несовершенством». — «Литературная газета», 2001, № 31-32, 8 — 14 августа.

Опытный критик хладнокровно пересказывает новый роман Василия Аксенова.

**Александр Левин (levin@rinet.ru), Александр Касымов (alkas@ufanet.ru).** Магнитная буря. Маленькая *e-mail*ная повесть. — «Знамя», 2001, № 7.

«**А. К.:** Кстати, по секрету. 13 января 2000 года в Овальном зале библиотеки имени Рудомино (там был зимний праздник „Знамени“, и мне даже дали премию) я подошел к Ирине Бенционовне Роднянской и спросил, будет ли „Н<овый>м<ир>“ печатать рецензию на подборку Левина. Она сказала, что да, но заметила: „Уж больно вы его расхвалили. Это, знаете, такой пласт поэзии: обэриуты, Хармс... Я сама их люблю. Там великолепно проводится игра со словом“. Я ответил: „Я их тоже люблю. Но два последних года редко волновался, читая стихи, а от Левина — взволновался... И по-моему, он метафизичнее“. — „Ну что вы!“ — рассмеялась Ирина Бенционовна.

**А. Л.:** Я понимаю реакцию г-жи Роднянской. Традиционно считается, что я такой легкий автор, игровой и не очень серьезный. Дитя простое».

В этом же номере «Знамени» прозаик **Анатолий Королев** удивляется, что критик И. Роднянская пишет о текущей (в частности, о его) прозе не тем тоном, каким Хайдеггер писал о картине Ван Гога. См.: **И. Роднянская**, «Гамбургский ежик в тумане» — «Новый мир», 2001, № 3.

**Лев Левицкий.** Дневник. [1963 — 1968]. — «Знамя», 2001, № 7.

«Прибалты ненавидят русских, видя в них оккупантов и их прислужников, русские последними словами отзываются о кавказцах...» (запись от 24 декабря 1963 года). В 60-е годы Левицкий работал в «Новом мире». С 1997 года живет в Лос-Анджелесе.

**Валерий Липневич.** Путешествие для бедных. Из Москвы в Минск на электричке. — «Дружба народов», 2001, № 8, 9.

*Физиологические очерки* — одна из самых привлекательных особенностей нынешней «Дружбы народов».

**Александр Мелихов.** Книга мертвой скуки. — «Октябрь», 2001, № 7 <<http://magazines.russ.ru>>

...то есть лимоновская «Книга мертвых».

**Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года.** — «Независимое военное обозрение», 2001, № 28, 3 — 9 августа <<http://nvo.ng.ru>>

Полный текст документа, утвержденного президентом 27 июля с. г.

**Виктор Некрасов.** От слова «любить»... Публикация В. Кондырева. Вступительная заметка Л. Дубшана. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 8.

Мемуарный очерк 1986 года об И. С. Соколове-Микитове из предполагаемого цикла «Лежа на диване». «Я потоптался, потоптался и пошел домой [на Васильевский]... А наутро прохожу мимо Зимнего и чувствую носом, чем-то родным, спиртным пахнет. Откуда бы? Подошел поближе, вижу, все окна в подвалах дворца настезь, и оттуда солдатики лезут, покачиваются, веселые. Винные подвалы царские ликвидируют. А как они во дворец попали, шут его знает. Может, и штурмовали», — это Иван Сергеевич вспоминает об исторической октябрьской ночи 1917 года.

**Андрей Немзер.** Попробуй сделать лучше. — «Время новостей», 2001, № 138, 3 августа <<http://www.vremya.ru>>

*Произошло событие:* трехтомный вузовский учебник Наума Лейдермана и Марка Липовецкого «Современная русская литература» — это первый полноценный опыт описания отечественной словесности второй половины XX века. Три немзеровских *но*. «Вторую спорную тенденцию (подчеркну: речь идет не о соавторах, а об общем веянии) хочется назвать „экстазом историзма“. <...> Роман Леонида Леонova настойчиво соотносится с „Доктором Живаго“, но в расчет не берется „мелочь“: „Русский лес“ — это циничная имитация того философского романа, что был „запланирован“ логикой движения литературы. Он сочинялся словно бы для того, чтобы „заместить“ писавшегося примерно об эту же пору „Доктора Живаго“. Точно так же „простой советский человек“ Андрей Соколов призван был загодя перекрыть дорогу Ивану Денисовичу Шухову».

**Григорий Нехорошев.** Настоящий Пелевин. Отрывки из биографии культового писателя. — «Независимая газета», 2001, № 159, 29 августа; № 160, 30 августа.

В Литинституте Пелевин попал на семинар прозы, которым руководил критик Михаил Лобанов.

**Юрий Нечипоренко.** Праздничность Гоголя. — «Орфей». Литературно-эзотерический альманах. Главный редактор Владимир Цапин. 2001, № 1.

Гоголь. Шумеры.

**Лешек Новак (Dzis).** Что происходит в Польше? Перевод с польского Анджея Базилевского. — «Интеллектуальный Форум», 2001, № 5.

Возможен ли католический фашизм вообще и в Польше в частности? Автор, антиклекриал, на оба вопроса отвечает *да*. На первый — уверенно, на второй — с оговорками.

**Всеволод Овчинников.** «Ветка сакуры»: тридцать лет спустя. — «VIP-Premier». Международный журнал о лидерах и для лидеров. 2001, № 4, 5, 6, 7.

*Сиквел* популярной некогда книги журналиста-международника о том, что за люди японцы («Новый мир», 1970, № 2, 3; 1974, № 9).

**Дмитрий Ольшанский.** Лестница успехов. Рейтинг десяти удавшихся и неудавшихся сочинений сезона 2000/01 года. — «Независимая газета», 2001, № 146, 10 августа.

*Десять (будто бы) хороших книг:* Юрий Мамлеев, «Блуждающее время»; Татьяна Толстая, «Кысь»; Леонид Юзефович, «Дом свиданий»; Эдуард Лимонов, «Книга мертвых»; Дмитрий Пригов, «Живите в Москве»; Дмитрий Быков, «Оправдание»; Михаил Кононов, «Голая пионерка»; Дмитрий Воденников, «Как нужно жить, чтоб быть любимым»; Владимир Сорокин, «Пир»; Михаил Шишкин, «Взятие Измаила».

*Десять (будто бы) плохих:* Илья Стогов, «Мачо не плачут»; Баян Шириянов, «Низший пилотаж»; Вячеслав Курицын, «Акварель для матадора»; С. Сакин — П. Тетерский, «Больше Бэна»; Хольм Ван Зайчик, «Дело жадного варвара»; Борис Акунин, «Любовница смерти»; Анастасия Гостева, «Travel Агнец»; Вадим Назаров, «Круги на воде»; Федор Михайлов, «Идиот»; Владимир Тучков, «Танцор».

**Дмитрий Ольшанский.** Север без признаков Юга. Старая и новая проза Валентина Распутина. — «Независимая газета», 2001, № 159, 29 августа.

«Поздние, широкой публике неизвестные рассказы Распутина обладают неожиданными метафизическими достоинствами, о которых, возможно, не подозревает и сам автор, действующий, как и пристало писателю, скорее в качестве медиатора, нежели теоретика и пророка. Проблема, вокруг которой выстраивается распутинская проза, — человек как антропологическая единица, помещенная внутрь чуждого ей ландшафта...»

**Остановить «реформы смерти»!** Обращение сорока трех [М. Алексеев, Ж. Алферов, В. Белов, Ю. Бондарев, В. Бондаренко, С. Глазьев и др.]. — «Завтра», 2001, № 33, 14 августа.

Слово к народу.



**Глеб Павловский.** «В явочном порядке». Беседа о метаморфозах гражданского общества. Беседу вел Кирилл Якимец. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«СМИ сегодня могут выжить (и сохранить влияние) только одним способом: они должны реально доводить позиции одних групп до других групп — в значимых для этих других групп образах. <...> У нас этого нет. <...> В идеале же любые СМИ — не что иное, как *система ссылок*».

**Евгений Пономарев.** Прорезается душа... Диссидентское и общечеловеческое в текстах Юза Алешковского. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 7.

«И даже странно, что умный и внимательный герой Алешковского не видит дальше советской власти». Отметим в подзаголовке противопоставление *диссидентского и общечеловеческого*, а также *тексты* вместо *прозы, произведений* и проч.

**Ирина Прохорова.** «Нельзя отказываться от интеллекта». Беседу вела Алена Солнцева. — «Время новостей», 2001, № 139, 6 августа.

«[В отечественной культуре] идет реанимация отживших структур и фигур...»

**Михаил Ремизов.** Ксенофобия. Приступ 6. Блаженны миротворцы. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

Страшное подозрение: «Что, если в своих *действиях* НАТО и в самом деле руководствовало схоластической метафизикой „прав человека“ и гротескной мифологией „гуманитарной катастрофы“?! <...> Запад — морален. Но именно потому безответствен».

См. также: **Алек де Вааль**, «Миротворчество с позиции силы». — «Интеллектуальный Форум», 2001, № 5 <<http://www.if.russ.ru>>

**Владимир Рецептер.** «Эта жизнь неисправима...» Записки театрального отщепенца. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 7.

См. также: **Владимир Рецептер**, «Прощай, БДТ. Из жизни театрального отщепенца» — «Знамя», 1996, № 11; **Владимир Рецептер**, «Ностальгия по Японии. Гастрольный роман» — «Знамя», 2001, № 3, 4.

**Омри Ронен.** Берберова (1901 — 2001). — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 7.

«Я знал [Нину Николаевну] Берберову без малого тридцать лет. Если правда, что она симпатизировала гитлеризму за четверть века до нашего знакомства, то, значит, прав Гумилев: мы меняем души. <...> Никогда не встречал я человека, который бы одновременно так ненавидел Романовых, презирал русскую аристократию, какой она стала к концу XIX века, и боялся русских революционеров и масонов. Масоны были ее манией, она серьезно считала, что если бы не масонская клятва союзникам, то Россию можно было спасти, может быть, еще и летом 1917 года».

«Берберова верила: перед тем как „только умереть“, надо жить, — пишет **Андрей Немзер** („Время новостей“, 2001, № 141, 8 августа). — Жить, а не ждать сомнительного беккетовского Годо или неизбежного Фортинбраса. Эта жажда жизни логично оборачивалась тягой к „современности“ (от которой Ходасевича, как правило, сильно мутило). Поразительно, как трезвые суждения о Европе 1920 — 1930-х годов, бездарности политиков и левом дрейфе „культурных людей“ уживаются у Берберовой со страстным желанием соответствовать „духу времени“. Потому ей казались „старомодными“ не только Горький, Бунин, Зайцев или Мережковский, но и сам Ходасевич. Потому, храня верность его памяти, занимаясь посмертными изданиями, Берберова долго не могла поверить, что ее ушедший спутник — великий поэт. (Убедила лишь „вдруг“ вспыхнувшая слава.) Потому так восхищалась Набоковым, лично ей несимпатичным, — тот был оправданием младоэмигрантского поколения, выстоял за всех, покорил мир».

«Сегодня ей бы наверняка нравился Акунин», — со сдержанным осуждением пишет **Дмитрий Быков** («Огонек», 2001, № 35; «Быков-quickly: взгляд-12» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>).

**Алек Росс** (*London Review of Books*). Расставание с мифом. Перевод с английского Виктора Голышева. — «Интеллектуальный Форум», 2001, № 5.

«На грани [XIX — XX] веков атмосфера в музыкальном мире напоминала гонку вооружений или космическую гонку. [Густав] Малер строил самые большие ракеты».

**Геннадий Русаков.** Разговоры с богом. Стихи. — «Знамя», 2001, № 7.

Другие *разговоры*, ранее печатавшиеся в «Знамени», принесли автору Малую премию имени Аполлона Григорьева. См. рецензию **В. Славецкого** «Голошение» — «Новый мир», 1998, № 1.

**Борис Рыжий.** Стихи. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 7.

Тут же — некролог «Памяти Бориса Рыжего», написанный **А. Пуриным**. См. также стихи **Бориса Рыжего** в журнале «Знамя» (2001, № 6). См. также рецензию **Ольги Слав-**

никовой «Из Свердловска с любовью» — «Новый мир», 2000, № 11 и эссе Алексея Машевского «Последний советский поэт» — «Новый мир», 2001, № 12.

**Михаил Синельников.** Дафнис и Хлоя. — «Московские новости», 2001, № 31, 31 июля — 6 августа.

Биографическая проза, собранная в пятом томе сочинений Ахматовой (издательство «Эллис Лак»), — ее бегство от тьмы «низких истин», «но все-таки поэзия Ахматовой крупнее ее самозащиты, как подлинное лицо значительнее тех замечательных фотографий, на которых Ахматова явно позирует для будущего...».

**Анатолий Смелянский.** Так победим. Без восклицательного знака. — «Известия», 2001, № 147, 15 августа.

Полуживой Брежнев смотрит «Так победим!» (Шатров/Ефремов/Калягин) во МХАТе. Другие фрагменты книги А. Смелянского «Роман с театром» см.: «Известия», 2001, № 135, 28 июля; № 137, 1 августа; № 144, 10 августа; № 154, 24 августа.

**Илья Смирнов.** Правильный выбор Пола Донована. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

Философ и культуролог неожиданно обнаружил, что в неполиткорректном немецко-канадском фантастическом сериале «Lexx» (ТВ-6) присутствует *смысл*. «Ума не приложу, как все это по дороге на киностудию не проглотила [западная] цензура. <...> [Впрочем], у нас в 60 — 70-е гг. кукольным театрам и ТЮЗам тоже позволялось много такого, за что „взрослый“ режиссер имел бы неприятности в райкоме партии». См. также — <http://www.lexx.newmail.ru>

**Илья Смирнов.** Певучая органичность пластилиновых членов. — «Русский Журнал» <[http://www.russ.ru/ist\\_sovr](http://www.russ.ru/ist_sovr)>

Информационный бизнес — единственный, который не отвечает за качество продукции.

**Виктор Сонькин.** О времени и о себе. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/razbor>>

«Моя золотая теща» Нагибина — «пародийная, зеркальная, перевернутая „Лолита“ <...> с изысками стиля, сквозь которые видно желание что-то доказать Владимиру Владимировичу».

**Список Кузьминского.** Беседовал Владимир Березин. — «Ex libris НГ», 2001, № 32, 30 августа.

Говорит **Борис Кузьминский:** «Любое процветающее издательство (Кузьминский работает в „ОЛМА-Пресс“. — А. В.), которое не намеревается захапнуть в ближайшие пять — десять лет, попросту обречено нащупывать стратегию работы с „серьезной“, мейнстримной словесностью. Сегодня — навскидку — около 70 процентов литературы, выпускаемой в стране, — детективы, боевики, фэнтези, любовные романы. А в реально производимом на территории России массиве текстов соотношение традиционно обратное: 70 — 80 процентов — „нормальная“ проза реалистической ориентации. <...> Ни на ком нельзя ставить крест, это было бы антигуманно. Даже Николай Кононов или Марк Харитонов в будущем, чем черт не шутит, могут произвести на свет что-нибудь жизнеспособное и по-настоящему интеллектуальное...»

**Соня Стебловская.** Веничка и Христос. Предисловие Владимира Христофорова. — «Литературная Россия», 2001, № 31, 3 августа.

«Веня — травестийный Христос, страдающий Христос советской эпохи. На протяжении всего произведения проходит образ Венички-Христа, причем противопоставление и сопоставление происходит одновременно и параллельно. <...> Сам образ советского Христа (это не есть кошунство)...» *Нет, деточка, это poshlost.* Статья студентки журфака МГУ про «Москву — Петушки» написана не столько на основе поэмы Венедикта Ерофеева, сколько на основе известного комментария Эдуарда Власова к поэме. См. об этом комментарии резко критическую статью А. Плущера-Сарно — «Новый мир», 2000, № 10.

**Странный Циолковский.** Беседу вела Наталия Лескова. — «Труд-7», 2001, № 145, 9 — 15 августа <<http://www.trud.ru>>

Говорит член комиссии по изучению творческого наследия Циолковского **Вадим Казютинский:** «Циолковский <...> считал, что все низкоразвитые формы жизни должны быть уничтожены. К этому разряду он относил, кстати, и животных, и птиц, и рыб... Вместо них, согласно его учению, Землю и Вселенную заполнят гармоничные, во всех отношениях прекрасные существа. <...> Я считаю философию Циолковского антиэкологичной».

**Ирина Стрелкова.** Литературы не будет. — «Труд», 2001, № 144, 8 августа.

«Теперь в опасности само существование полноценного школьного курса литературы...» См. также: **Ирина Стрелкова**, «Учебник литературы как общенациональная катастрофа?» — «Литературная газета», 2001, № 24-25; **Ясен Засурский**, «Быть русским человеком, не прочитав „Муму“?» — «Литературная газета», 2001, № 31-32.

**Виталий Танасийчук.** «Что гонит вас через Анды?..». — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 7.

Русские студенты в Южной Америке, 1914 — 1915.

**Татьяна Толстая.** Любовь и море. — «Время MN», 2001, № 150, 24 августа <<http://www.vremyamn.ru>>

Как звали шпица Анны Сергеевны? Гуров знал, но — от волнения — забыл, а читатель так и не узнает.

**Томас Транстремер.** Музеи. Изгнание беса. Война. Из книги «*Die Erinnerungen sehen mich*». [Переводчик не указан]. — «Запад России», Калининград, 2000, № 2 (23).

«Я вступил в фазу, когда у меня был неслыханный страх перед скелетами...» Шведский номер калининградского/кенигсбергского журнала подготовлен к печати и выпущен при поддержке Шведского Института/*SVENSKA INSTITUTET* (Стокгольм <<http://www.si.se>>).

**Отто Ульрих.** Конец частной сферы? — «Deutschland». Политика, культура, экономика и наука. 2001, № 3, июнь — июль.

«Невозможно отрицать, что до сих пор не существует политического проекта, делающего выводы из массового контроля за данными из частной сферы, открыто хранящимися в Интернете. <...> Каждым шелчком мыши на любом веб-сайте он (пользователь Сети. — *А. В.*) разглашает сведения о себе и своем компьютере». Автор — член Европейской академии по исследованию последствий научно-технического развития.

**Учить детей гомосексуализму — это по-канадски.** — «Утро.ру». Ежедневная е-газета. 2001, № 213, 20 августа <<http://www.utro.ru/articles>>

«Федерация учителей начальных классов общеобразовательных школ канадской провинции Онтарио на ежегодной встрече подавляющим большинством голосов приняла решение добиваться выделения средств на приобретение литературы для учеников младших классов о гомосексуальных отношениях. Голоса распределились совершенно удивительным образом — только 20 членов Федерации из более 50-ти проголосовали против предложения коллег — геев и лесбиянок. Причем проголосовавшие против вызвали всеобщее осуждение. <...> Принятое решение о лоббировании литературы, которая должна будет знакомить детей с реальностью жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов, было встречено возгласами одобрения. <...> Преподавательница 6 класса Лиона Лэрд, лесбиянка, сказала, что поддержала предложение других „голубых” и „розовых” коллег, так как, по ее мнению, без знаний в этой области образование детей будет неполным...»

А родителей спросили?

**Игорь Чубайс.** Чего недостает нашей системе образования? — «Посев», 2001, № 7.

...курса *россиеведения*.

**Мариэтта Чудакова.** Прощайте, годы безвременщины! — «Известия», 2001, № 150, 18 августа.

Почти весь номер газеты так или иначе посвящен десятилетию ГКЧП. См. также традиционный знаменский *конференц-зал* — «Россия 1991 — 2001. Победы и поражения» — «Знамя», 2001, № 8.

**Виктор Шендерович.** Трын-трава. Рассказ. — «Знамя», 2001, № 7.

Октябрь 1697 года, Петр Алексеевич забил косяк в амстердамском кабаке и Петербурга не построил, но Русь оною травой маригуаной навеки осчастливил.

**Хольгер Штельцнер.** Евро: отсчет времени начался. — «Deutschland». Политика, культура, экономика и наука. 2001, № 3, июнь — июль.

«Дизайнеры евробанкнот, [на которых изображены не портреты великих европейцев, а безымянные фрагменты мостов и зданий], вряд ли смогли бы нагляднее продемонстрировать то, что евро не принадлежит ни одной стране, не имеет прошлого и корней. Новая валюта определяется только сама собой, своей денежной стоимостью».

**Валерий Шубинский.** Ритм и традиция. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 7.  
«Значит, свобода — это выбор между традициями, а не отсутствие традиций...»

**Шариф Шукуров.** Александр Македонский и начала современного мира. — «Интеллектуальный Форум», 2001, № 5.

«Понятие Евразии представляется бледной тенью той виртуальной и бесконечной модели мироустройства, которую создал Александр Великий. В эту саморазвивающуюся модель органично вписываются даже возникшие сравнительно недавно США. С этой точки зрения Америка оказывается всего лишь одной из стран Средиземноморского бассейна, продолжающей историю культуры именно этого макространства».

**Михаил Эпштейн.** Амероссия. Двукультурие и свобода. Речь при получении премии «Liberty». Вступительная заметка Александра Гениса. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2001, № 7.

«Мы не в изгнании и не в послании — мы в искании. <...> мы — цитаты из одной культуры в тексте другой, мы носим на себе невидимые кавычки. <...> мы — в соитии и в зачатии, мы — клетки, которые одна страна выбрасывает из себя, чтобы зачать новую жизнь в лоне другой страны».

**Сергей Юшенков.** Постзападная цивилизация — путь для России и всего человечества. [Фрагмент книги «Постзападная цивилизация»]. — «Демократический выбор». Еженедельная либеральная газета. 2001, № 31, 2 — 8 августа <<http://www.dvr.ru>>

Юшенков — поэт.

**Александр Яковлев.** Деятельность коммунистов в интересах власти. «Архитектор перестройки» в эксклюзивном интервью «Вести.Ru», подготовленном Владимиром Нузовым. — «Вести.Ru». Ежедневная интернет-газета. 2001, 6 августа <<http://www.vesti.ru>>

«На первых порах перестройки нам пришлось частично лгать, лицемерить, лукавить — другого пути не было...» См. это же интервью — «Демократический выбор», 2001, № 32, 9 — 15 августа.

Ср. с заявлением **Михаила Горбачева** на семинаре в Американском университете в Турции: «Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми» (впервые напечатано в словацкой газете «Usvit», 1999, № 24; перепечатано в еженедельнике «Патриот», 2000, № 30; цит. по: «Наш современник», 2001, № 8 <<http://read.at/nashsovr>>).



**ДАТЫ:** 11 (24) декабря исполняется 100 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева (1901 — 1956); 18 декабря исполняется 30 лет со дня смерти Александра Трифоновича Твардовского (1910 — 1971).

Составитель **Андрей Василевский.**

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Декабрь*

**35 лет назад** — в № 12 за 1966 год напечатаны рассказы Юрия Трифонова «Вера и Зойка», «Был летний полдень».

**70 лет назад** — в № 12 за 1931 год напечатаны «Кавказские стихи» Бориса Пастернака.

**75 лет назад** — в № 12 за 1926 год напечатано стихотворение Вл. Маяковского «Разговор на Одесском рейде».

# СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 2001 ГОД



## РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

**Анатолий Азольский.** ВМБ. Повесть. VI — 44.

**Виктор Астафьев.** Пролетный гусь. Рассказ. I — 7; Связистка. Рассказ. За-теси. VII — 7.

**Олег Борушко.** По шучьему веленью. Рассказ. X — 84.

**Юрий Буйда.** Степа Марат. Рассказ. IV — 70.

**Дмитрий Быков.** Оправдание. Роман. III — 12; IV — 12.

**Андрей Волос.** Недвижимость. Роман. I — 40; II — 13.

**Александр Генис.** Трикотажд. Автоверсия. IX — 88.

**Нина Горланова, Вячеслав Букур.** Дама, мэр и другие. Рассказ. II — 100.

**Борис Екимов.** Прошлым летом. Рассказы. V — 96.

**Алексей Зикмунд.** Герберт. Повесть. VII — 41.

**Леонид Зорин.** Из жизни Багрова. Рассказы. II — 79.

**Анатолий Ким.** Остров Ионы. Метароман. XI — 12; XII — 13.

**Илья Кочергин.** Волки. Рассказ. VI — 98.

**Михаил Кураев.** Записки беглого кинематографиста. VIII — 75.

**Олег Ларин.** Пятиречие. Сцены из холостной жизни. II — 107.

**Владимир Маканин.** Однодневная война. Рассказ. X — 7.

**Анна Матвеева.** Остров Святой Елены. Рассказ. III — 113.

**Александр Мелихов.** Любовь к отеческим гробам. Роман. IX — 11; X — 24.

**Вл. Новиков.** Высоцкий. Главы из книги. XI — 77; XII — 98.

**Геннадий Новожилов.** Другие жизни. Книга рассказов. VI — 7.

**Юлия Пескова.** Привет, красавица! Несколько летних дней. VII — 86.

**Григорий Петров.** Такая вот любовь. Короткие рассказы. IX — 75.

**Вячеслав Пьецух.** Бог в городе. Маленькая повесть. III — 88.

**Роман Сенчин.** В обратную сторону. Рассказ. XII — 81.

**Алексей Смирнов.** Хмель памяти. Рассказы. X — 98.

**Александр Солженицын.** Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть третья (1982 — 1987). IV — 80.

**Михаил Тарковский.** Гостиница «Океан». Короткая повесть. V — 77.

**Александр Титов.** Жизнь, которой не было. Повесть. VIII — 7.

**Лев Усыкин.** Новая секретарша. Рассказ. VII — 114.

**Сергей Шаргунов.** Уйти по-английски. Рассказы. I — 147.

**Евгений Шкловский.** Улица. Рассказы. VIII — 48.

**Галина Щербакова.** Мальчик и девочка. Роман. V — 13.

## СТИХИ И ПОЭМЫ

**Алексей Алехин.** ...И шагну в пустоту. V — 74.

**Максим Амелин.** Из-под пепла и брена. VI — 92.

**Иван Ахметьев.** Вот до чего дожил. V — 115.

**Татьяна Бек.** В километре от рая. IX — 84.

**Ефим Бершин.** Песочные часы. II — 104.

**Марина Бородицкая.** К погоне лицом. VIII — 45.

**Мария Ватутина.** Пурга с незнакомых звезд. III — 121.

**Зоя Великова.** Во влажном огне. X — 21.

**Борис Викторов.** Рябь. I — 159.

**Максим Волчкевич.** Единство вещей. VII — 82.

**Татьяна Вольтская.** В потоке ветвей. V — 92.

- Анна Гельмин.** Морозный голос. XI — 115.
- Юрий Грунин.** Из плена — в плен. VIII — 65.
- Владимир Губайловский.** Пытка надеждой. VIII — 122.
- Владимир Захаров.** До синих гор. IV — 75.
- Александр Зорин.** Дружество звезд. II — 97.
- Евгений Карасев.** Глухие снега. VIII — 70.
- Светлана Кекова.** На семи холмах. III — 7.
- Анатолий Кобенков.** Выстуженный вокзал. VII — 111.
- Николай Кононов.** Кортик луны. VI — 110.
- Владимир Коробов.** Прямая улика. X — 81.
- Эльмира Котляр.** Обрыв дыхания. X — 94.
- Григорий Кружков.** В марсианском раю. VI — 40.
- Юрий Кублановский.** Долгое путешествие. VII — 35.
- Виктор Куллэ.** Послесловие к первой любви. IV — 7.
- Александр Кушнер.** Третья платформа. I — 136.
- Инна Лиснянская.** Глухая благодать. I — 141.
- Светлана Львова.** Зерно винограда. XII — 94.
- Татьяна Милова.** ...Я все же договарю. IX — 72.
- Анатолий Найман.** Львы и гимнасты. III — 107.
- Олеся Николаева.** Ничего лишнего. V — 7.
- Сергей Островой.** А песне сносу нет. IX — 118.
- Ирина Ратушинская.** Говорит ветер. I — 37.
- Владимир Рецепттер.** Через тридцать семь лет... X — 109.
- Борис Романов.** Сносимые облака. II — 76.
- Владимир Салимон.** Долгожданный покой. IV — 67.
- Евгения Смагина.** Сеть городов. II — 7.
- Сергей Стратановский.** Слово из жизни живой. IX — 7.
- Марина Тарасова.** Свеча в сугробе. XII — 78.
- Александр Трунин.** Сильный ветер. III — 85.
- Елена Ушакова.** За призрачной дверью. XI — 72.
- Илья Фаликов.** Под перекаты вороньего грая. XII — 7.
- Олег Чухонцев.** Фифиа. XI — 7.

## ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

**Игорь Дедков.** Новый цикл российских иллюзий. Из дневниковых записей 1985 — 1986 годов. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой. XI — 119; XII — 147.

«Зови знакомый облик мой...». Публикация и предисловие Елены Тахо-Годи. X — 169.

«Мне кажется, я люблю ее и любил искренно...». Эпистолярный дневник Ивана Ювачева. Вступительная статья Е. Н. Строгановой. Подготовка текста и примечания Е. Н. Строгановой, А. И. Новиковой. VI — 128.

**Рустам Рахматуллин.** Облюбование Москвы. X — 148.

**Дмитрий Шеваров.** Очарованные жители. Размышления на полях альманахов из серии «Старинные города Вологодской области» (Вологда, 1992 — 2000). III — 126.

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

**Александр Кушнер.** Наш Пруст. VIII — 171.

## ИЗ НАСЛЕДИЯ

**Анна Баркова: сто лет одиночества.** Публикация и предисловие Л. Н. Таганова. VI — 122.

**Прутковиана.** Публикация и предисловие Алексея Смирнова. IX — 120.

**Георгий Семенов.** Спасение. Рассказ. Публикация Елены Семенович. VI — 114.

**Илья Тюрин.** Многообразие в конце человека. Из записных книжек. Публикация Ирины Медведевой. Предисловие Юрия Кублановского. XII — 137.

## ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

**Борис Екимов.** Новое начало, или На колу мочало. VII — 122.

## ВРЕМЕНА И НРАВЫ

**Максим Кронгауз.** Жить по «правилам», или Право на старописание. VIII — 128.

## ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

**Сергей Аверинцев.** «Премудрость созда себе дом». Речь на открытии выставки

русских икон в Ватикане 29 июля 1999 года. I — 162; Преодоление тоталитаризма как проблема: попытка ориентации. IX — 144.

**Священник Алексей Гостев.** Церковный взгляд на общественное оздоровление. К принятию «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви». IV — 142.

**Юрий Каграманов.** Ислам, Россия и Запад. VII — 137; *Panta rhei*. Заметки о связи времен. X — 114.

**Александр Неклесса.** Глобальный град: творение и разрушение. III — 135.

**Евгений Рашковский.** Историк Михаил Гершензон. X — 128.

**Андрей Серегин.** Владимир Соловьев и «новое иррелигиозное сознание». II — 134.

#### *Города и годы*

**Рустам Рахматуллин.** Точки силы. II — 149.

#### ОПЫТЫ

**Владимир Губайловский.** После праздника. Заметки на полях журнала «Искусство кино». X — 171.

**Алексей Машевский.** Последний советский поэт. О стихах Бориса Рыжего. XII — 174.

**Ольга Шамборант.** Срок годности. V — 118; Жизнь как римейк. IX — 135.

**Сергей Шаргунов.** Отрицание траура. XII — 179.

#### ПОЛЕМИКА

**Священник Владимир Вигилянский.** Новое исследование по старым рецептам. IV — 156.

**Никита Елисеев.** Красота дьявола. По поводу литературных очерков Владимира Бондаренко. V — 167.

**Григорий Померанц — Андрей Зубов.** Переписка из двух кварталов. VIII — 133.

**Валерий Сендеров.** Подморозить историю? I — 169; Абнегистская революция: волевой выбор или перст судьбы? X — 139.

#### МИР НАУКИ

**Владимир Лопатин.** Русская орфография: задачи корректировки. V — 136.

**Галина Муравник.** Человек парадоксальный: взгляд науки и взгляд веры. II — 161.

**Борис Раушенбах.** Из книги «Праздные мысли». Литературная запись Инны Сергеевой. V — 147.

**Ревекка Фрумкина.** Маленькие истории из жизни науки. VI — 159.

#### ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

**Владимир Ошеров.** Глобализация и/или глобализаторство? I — 179; Предел демократии? III — 147; После Клинтона. V — 161; Homeschooling и его уроки. VII — 158; О пользе науки. IX — 151; Что случилось с «плавильным котлом»? XI — 143.

#### МИР ИСКУССТВА

**Татьяна Чередниченко.** В режиме музыкального времени. Фрагменты из новой книги «Музыкальный запас. 70-е». VIII — 152.

**Владимир Юзбашев.** От бумажной к виртуальной. Возможности и потери в архитектуре. I — 186; О языке нелинейной архитектуры. XII — 166.

#### *Борьба за стиль*

**Татьяна Чередниченко.** Форма и структура в искусстве звука и слова. X — 181.

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

**Марина Адамович.** Юдифь с головой Олоферна. Псевдоклассика в русской литературе 90-х. VII — 165.

Гарри Поттер на мировой сцене: **Владимир Александров.** Кто придумал футбол, или Гарри Поттер в школе и дома; **Владимир Губайловский.** Чужое детство; **Ирина Роднянская.** Заключительная реплика. VII — 175.

**Михаил Горелик.** Проекция Борхеса. IV — 183.

**Владимир Губайловский.** Борисов камень. О современных поэтах. II — 182.

**Виталий Каплан.** Заглянем за стенку. Топография современной русской фантастики. IX — 156.

**Татьяна Касаткина.** Русский читатель над японским романом. IV — 165.

Мейнстрим и мы. Спор двух петербургских восьми(девяти?)десятичников:

**Сергей Завьялов.** Оправдание поэзии; **Валерий Шубинский.** Кофий императрицы. V — 183.

**Виктор Мясников.** Экономика мейн-стрима. III — 153; Бульварный эпос. XI — 150.

**Вл. Новиков.** Nos habebit humus. Реквием по филологической поэзии. VI — 167.

**Ирина Роднянская.** Гамбургский ежик в тумане. Кое-что о плохой хорошей литературе. III — 159.

**Ольга Славникова.** Спецэффекты в жизни и литературе. I — 189; Экспансия. Опыт обозрения актуальной книжной серии. VI — 179.

**Георгий Циплаков.** Зло, возникающее в дороге, и *дао* Эраста Фандорина. XI — 159.

### *Борьба за стиль*

**Сергей Аверинцев.** Ритм как теодицея. II — 203.

**Лариса Миллер.** Чаепитие ангелов. IX — 171.

**Алексей Смирнов.** То, во имя чего. IX — 175.

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

**Марина Адамович.** Простой хороший человек (Марк Поповский. Мы — там и здесь). II — 217.

**Дмитрий Бак.** Триста лет одиночества, или Вечность у реки (Алан Черчесов. Венок на могилу ветра. Роман). VII — 187.

**Павел Басинский.** Переулочек — не тупик (Олег Павлов. В безбожных переулках). VIII — 187.

**Михаил Бутов.** И громко играет любимый состав... (Нэт Шапиро, Нэт Хентофф. Послушай, что я тебе расскажу. Джазмены об истории джаза). I — 213.

**Дмитрий Быков.** Заложник и предстоятель (Леонид Зорин. Зеленые тетради; Леонид Зорин. Маньяк. Современная комедия). II — 206; Вокруг отсутствия (Лев Лосев. Собрание; Лев Лосев. Sisyphus redux. Пятая книга стихотворений). VIII — 189.

**Михаил Горелик.** «Дедушка ничего не отвятил» (Этгар Керет. Дни, как сегодня). VI — 203; Рильке из Магадана (Перевод и переводчики. Научный аль-

манах. Выпуск 1. «Р. М. Рильке»). IX — 197.

**Владимир Губайловский.** Отрицающая Платона (Вера Павлова. Линия отрыва; Вера Павлова. Четвертый сон). V — 203; Воскресение Шарикова (Сергей Стратановский. Тьма дневная. Стихи девятидесятых годов). VII — 190; Конец интеллигенции? (С. И. Романовский. Нетерпение мысли, или Исторический портрет радикальной русской интеллигенции). XII — 197.

**Филипп Дзядко.** Филологические раскопки (Олег Проскурин. Литературные скандалы пушкинской эпохи). IV — 201.

**Дмитрий Дмитриев.** Русская литература XX века: разные тексты или гипертекст? (И. В. Кондаков. «Где ангелы реют». (Русская литература XX века как единый текст); И. Н. Сухих. Книги XX века: русский канон. Эссе; А. Гольдштейн. Лучшее лучших. Еще одна попытка систематизации достижений русской прозы уходящего столетия). IX — 193.

**Александр Доброхотов.** Анатомия Левиафана (А. А. Чанышев. История политических учений. Классическая западная традиция /античность — первая четверть XIX в./). II — 221.

**Никита Елисеев.** Между Оруэллом и Диккенсом (Елена Ржевская. Ворошенный жар. Избранное. Повести. Рассказы. Записки; Елена Ржевская. Вечерний разговор. Избранное. Повести. Рассказы. Записки). IX — 178.

**Евгений Ермолин.** Летят щепки (Виктор Мануйлов. Жернова. Роман. Книга первая. Иудин хлеб). VI — 191; Время правды пришло (Ольга Славникова. Бессмертный. Повесть о настоящем человеке). XI — 182.

**Светлана Иванова.** Летописцу авангарда (Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н. И. Харджиева). X — 194.

**Ольга Канунникова.** С кем протекли его боренья?.. (К. Чуковский. Собрание сочинений в 15-ти томах). XI — 194.

**Елена Касаткина.** Искусство сосать камешки (Сэмюэл Беккет. Моллой. Малон умирает). II — 215; В лабиринтах умного неведения (Олдос Хаксли. Серое пресвященство. Этюды о религии и политике). VIII — 201.



**Татьяна Касаткина.** Простые вещи (Эльмира Котляр. В руки твои. Стихотворения и поэма (1991 — 1997); Эльмира Котляр. Я двух народов дщерь... Стихи). VI — 198.

**Павел Крючков.** Последний постскриптум (In metoigiam. Исторический сборник памяти А. И. Добкина). I — 216.

**Юрий Кублановский.** От Озириса — к Апокалипсису (В. В. Розанов. Последние листья). III — 186; Обнаруженный заговор (Игорь Волгин. Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года). IX — 200.

**Виктор Куллэ.** Поэт личного стыда (Юрий Левитанский. «...год две тысячи»). XI — 188.

**Майя Кучерская.** Погружение в пустоту (Роман Сенчин. Афинские ночи. Повести. Рассказы). X — 189.

**Сергей Ларин.** Ценою жизни (Марек Хласко. Красивые, двадцатилетние. Повести и рассказы). IV — 197; Крушить — не строить (Никанор Коваль. Крушиловка Тридцатого года. Повесть). VI — 195.

**Валерий Липневич.** Невозможность любви (Мишель Уэльбек. Элементарные частицы. Роман). XII — 189.

**Александр Люсый.** Праздник, который всегда с (Борис Цытович. Праздник побежденных). III — 183.

**Алла Марченко.** В начале жизни школу помню я (Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия). V — 195; В оценке поздней... (Наталья Иванова. Борис Пастернак: участь и предназначение. Биографическое эссе). VIII — 194.

**Алексей Машевский.** Авангардизм традиционности (Юрий Колкер. Ветилуя. Стихи, написанные в Англии). IX — 185.

**Ирина Машинская.** Голос невидимых птиц (Анатолий Найман. Ритм руки). II — 208.

**Виктор Мясников.** Два полуострова — остров (Олег Юрьев. Полуостров Жидятин). IV — 188; И слово всегда будет(и)т мысль (Владимир Новиков. Сентиментальный дискурс. Роман с языком). V — 200.

**Елена Невзглядова.** Безвредная радость (Елена Рабинович. Риторика повседневности. Филологические очерки). XII — 193.

**Андрей Немзер.** Передо мной лежит последний номер «Волги» («Волга», Саратов, 2000, № 413). I — 202.

**Михаил Одесский.** Поэтика террора и текст Сталина (Михаил Вайскопф. Писатель Сталин). X — 196.

**Елена Ознобкина.** Истина, скрывающая, что ее нет... (Жан Бодрийяр. Символический обмен и смерть). III — 190.

**Лиля Панн.** Доказательство в образах (Владимир Гандельсман. Тихое пальто. Новые стихотворения). VII — 194.

**А. Плуцер-Сарно.** Словари мертвых слов (Л. В. Беловинский. Российский историко-бытовой словарь; В. С. Елистратов. Язык старой Москвы; Н. А. Замятина. Терминология русской иконописи). III — 193.

**Дина Ратнер.** Иерусалимские картинки (Елена Аксельрод, Михаил Яхилевич. Стена в пустыне; Зинаида Палванова, Вениамин Клецель. Иерусалимские картинки). II — 212.

**Мария Ремизова.** Не напрасно (Сергей Гандлевский. Порядок слов). IV — 194; Козел отпущения (Владимир Личутин. Миледи Ротман. Роман). XI — 186; Суровый быт в пастельных тонах (Михаил Тарковский. За пять лет до счастья. Повести и рассказы). XII — 185.

**Евгения Свитнева.** Феерии и наваждения (Бруно Шульц. Трактат о манекенах. Собрание прозы). V — 206; Рю де Флерюз, 27 (Гертруда Стайн. Автобиография Алисы Б. Токлас). VII — 202; Координаты духа, или Дикопись в ритме свинга (Елена Шварц. Дикопись последнего времени. Новая книга стихотворений). IX — 189.

**Валерий Сендеров.** Уход преподобного Симеона (Александр Нежный. Мощи. Повесть). IV — 191; Мистика стремительного домкрата, или «Силы за пределами констант» (Андрей Никитин. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Советской России). VIII — 198.

**Ольга Славникова.** Пушкин с маленькой буквы (Татьяна Толстая. Кысь. Роман). III — 177.

**Алексей Смирнов.** Явление Велимира (Мир Велимира Хлебникова. Статья. Исследования /1911 — 1998/). I — 209; Таинственный человек (В. Н. Топоров. Из истории русской литературы. Том II. Русская литература второй половины XVIII века. Исследования, ма-

териалы, публикации. М. Н. Муравьев. «Введение в творческое наследие». Книга I). VII — 200; Путь к «Вишнево-му переулку» (Владимир Мощенко. Вишневый переулок. Стихотворения. Поэмы). XI — 191.

**Александр Соколянский.** Человеческое, слишком человеческое (Дина Шварц. Дневники и заметки). X — 207.

**Анна Фрумкина.** Сегодня. Завтра. Вчера (Светлана Шенбрунн. Розы и хризантемы. Роман). VI — 186.

**Бронислав Холопов.** Сквозь глазок — панорама (Александр Коноплин. Шесть зим и одно лето. Роман). XII — 187.

**Леонид Цывьян.** «Некоторые любят поэзию» (Наталья Астафьева, Владимир Британишский. Польские поэты XX века. Антология). VI — 201.

**Валерий Черешня.** Своим путем... (Мария Чурсина. Путем письма). X — 192.

**Михаил Эдельштейн.** Песнь методологической невинности (Н. Переяслов. Нерасшифрованные послания). X — 202.

**Елена Касаткина.** — Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича. I — 221.

**Василий Костырко.** — Ларс Густафсон. Смерть пчеловода. I — 220.

**Книжная полка Андрея Василевского.** II — 230; X — 209.

**Книжная полка Никиты Елисеева.** XI — 202.

**Книжная полка Кирилла Кобрин.** I — 222; V — 209; IX — 204.

**Книжная полка Сергея Костырко.** IV — 204.

**Книжная полка Павла Крючкова.** VII — 205.

**Книжная полка Александра Носова.** III — 205; XII — 201.

**Книжная полка Елены Озобкиной.** VIII — 204.

**Книжная полка Ирины Роднянской.** VI — 208.

**Зарубежная книга о России.** V — 216.

**Кинообозрение Дмитрия Быкова.** I — 228; III — 211; V — 217; VII — 212; IX — 211; XI — 212.

**WWW-обозрение Сергея Костырко.** I — 232; II — 235; III — 217; IV — 212; V — 221; VI — 217; VII — 217; VIII — 211; IX — 213; X — 216; XI — 216; XII — 210.

## ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

**Вадим Баранов.** Не только о Горьком. XII — 216.

**М. Д. Данилова.** Несколько штрихов к октябрьским дням 1917 года в Ярославской губернии. IV — 220.

«...И моя точка зрения имеет право на существование». VIII — 218.

**Александр Кушнер.** Подтасовка. I — 238.

**Борис Любимов.** «Широкому читателю» — от богослова Халявы. VI — 223.

**О книге Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов».** III — 222.

**Людмила Поликовская.** Цветник повенски. VI — 224.

**Дмитрий Поспеловский.** По поводу статьи священника Вигилянского. IX — 217.

**Валерий Сендеров.** О партпринадлежности философа. XII — 216.

## ПРЕМИЯ

**А. Солженицын.** Слово при вручении литературной премии Константину Воробьеву и Евгению Носову 25 апреля 2001 г. V — 179.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

**Книги.** I — 242; II — 243; III — 225; IV — 223; V — 226; VI — 226; VII — 223; VIII — 222; IX — 221; X — 222; XI — 222; XII — 219.

**Периодика.** I — 244; II — 245; III — 227; IV — 226; V — 228; VI — 229; VII — 226; VIII — 225; IX — 224; X — 225; XI — 225; XII — 222.

*Авторы этого года*

Аверинцев С. (I, II, IX), Адамович М. (II, VII), Азольский А. (VI), Александров В. (VII), Алехин А. (V), Амелин М. (VI), Астафьев В. (I, VII), Ахметьев И. (V), Бак Д. (VII), Баранов В. (XII), Баркова А. (VI), Басинский П. (VIII), Бек Т. (IX), Бершин Е. (II), Бородицкая М. (VIII), Борушко О. (X), Буйда Ю.

- (IV), Букур В. (II), Бутов М. (I), Быков Д. (I — V, VII — IX, XI), Василевский А. (I — XII), Ватутина М. (III), Велихова З. (X), Вигилянский В. (IV), Викторов Б. (I), Волос А. (I — II), Волчкевич М. (VII), Вольтская Т. (V), Гедымин А. (XI), Генис А. (IX), Горелик М. (IV, VI, IX), Горланова Н. (II), Гостев А. (IV), Грунин Ю. (VIII), Губайловский В. (II, V, VII, VIII, X, XII), Данилова М. (IV), Дедков И. (XI — XII), Дедкова Т. (XI — XII), Дзядко Ф. (IV), Дмитриев Д. (IX), Доброхотов А. (II), Екимов Б. (V, VII), Елисеев Н. (V, IX, XI), Ермолин Е. (VI, XI), Завьялов С. (V), Захаров В. (IV), Зикмунд А. (VII), Зорин А. (II), Зорин Л. (II), Зубов А. (VIII), Иванова С. (X), Каграманов Ю. (VII, X), Канунникова О. (XI), Каплан В. (IX), Карасев Е. (VIII), Касаткина Е. (I, II, VIII), Касаткина Т. (IV, VI), Кекова С. (III), Ким А. (XI — XII), Кобенков А. (VII), Кобрин К. (I, V, IX), Кононов Н. (VI), Коробов В. (X), Костырко В. (I, V), Костырко С. (I — XII), Котляр Э. (X), Кочергин И. (VI), Кронгауз М. (VIII), Кружков Г. (VI), Крючков П. (I, VII), Кублановский Ю. (III, VII, IX, XII), Куллэ В. (IV, XI), Кураев М. (VIII), Кучерская М. (X), Кушнер А. (I, VIII), Ларин О. (II), Ларин С. (IV, VI), Липневич В. (XII), Лиснянская И. (I), Лопатин В. (V), Львова С. (XII), Любимов Б. (VI), Люсья А. (III), Маканин В. (X), Марченко А. (V, VIII), Матвеева А. (III), Машевский А. (IX, XII), Машинская И. (II), Медведева И. (XII), Мелихов А. (IX — X), Миллер Л. (IX), Милова Т. (IX), Муравник Г. (II), Мясников В. (III — V, XI), Найман А. (III), Невзглядова Е. (XII), Неклесса А. (III), Немзер А. (I), Николаева О. (V), Новиков В. (VI, XI — XII), Новикова А. (VI), Новожилов Г. (VI), Носов А. (III, XII), Одесский М. (X), Ознобкина Е. (III, VIII), Островой С. (IX), Ошеров В. (I, III, V, VII, IX, XI), Панн Л. (VII), Пескова Ю. (VII), Петров Г. (IX), Плущер-Сарно А. (III), Поликовская Л. (VI), Померанц Г. (VIII), Пospelовский Д. (IX), Пьещух В. (III), Ратнер Д. (II), Ратушинская И. (I), Раушенбах Б. (V), Рахматуллин Р. (II, X), Рашковский Е. (X), Ремизова М. (IV, XI, XII), Репеттер В. (X), Роднянская И. (III, VI, VII), Романов Б. (II), Салимон В. (IV), Свитнева Е. (V, VII, IX), Семенов Г. (VI), Семенова Е. (VI), Сендеров В. (I, IV, VIII, X, XII), Сенчин Р. (XII), Сергеева И. (V), Серегин А. (II), Славникова О. (I, III, VI), Смагина Е. (II), Смирнов А. (I, VII, IX — XI), Соколянский А. (X), Солженицын А. (IV, V), Стратановский С. (IX), Строганова Е. (VI), Таганов Л. (VI), Тарасова М. (XII), Тарковский М. (V), Тахо-Годи Е. (X), Титов А. (VIII), Трунин А. (III), Тюрин И. (XII), Усыскин Л. (VII), Ушакова Е. (XI), Фаликов И. (XII), Фрумкина А. (VI), Фрумкина Р. (VI), Холопов Б. (XII), Циплаков Г. (XI), Цывьян Л. (VI), Чередниченко Т. (VIII, X), Черешня В. (X), Чухонцев О. (XI), Шамборант О. (V, IX), Шаргунов С. (I, XII), Шеваров Д. (III), Шкловский Е. (VIII), Шубинский В. (V), Щербакова Г. (V), Эдельштейн М. (X), Ювачев И. (VI), Юзбашев В. (I, XII).

#### ПОПРАВКА

В № 11 «Нового мира» за этот год, в примечании отдела критики на стр. 211 следует читать: «См. полемическую рецензию А. Соколянского на книгу Д. Шварц...»

## SUMMARY



This Issue publishes the end of the novel «The Jonah's Island» by Anatoly Kim, the story «In the Backward Direction» by Roman Senchin, and also chapters from the book «Vysotsky» by the prosaist and the professor of Russian literature Vladimir Novikov. The poetry in this Issue is represented by new poems written by Ilya Falikov, Marina Tarasova and Svetlana Lvova.

Under the heading «From the Heritage» the fragments are published from notebooks of Ilya Tyurin, a young talented poet recently perished.

Under the heading «Close Remote Past» readers can find the publication «A New Cycle of Russian Illusions» from the diary notes made by the literary critic Igor Dedkov.

Under the heading «The World of Art» Vladimir Yuzbashev's article «About the Language of Nonlinear Architecture» is published.

The literary critique is represented by Aleksey Mashevsky's article «The Last Soviet Poet» about poems of another young poet, also perished not long ago, Boris Ryzhy, and by an article «The Denial of Mourning» written by Sergey Shargunov.



**«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).**

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: seva@mail.cnt.ru или butov@aha.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: <http://magazines.russ.ru>

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.08.2001 г. Подписано к печати 25.10.2001 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 12 350 экз. Зак. 2465. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
ПРИСУДИЛА ПРЕМИИ  
ПО ИТОГАМ ГОДА**

**АНДРЕЮ ВОЛОСУ —**

за роман «Недвижимость» (2001, № 1, 2);

**ВЛАДИМИРУ ГУБАЙЛОВСКОМУ —**

за цикл стихов «Пытка надеждой» (2001, № 8) и литературно-критические публикации (2001, № 2, 5, 7, 10, 12);

**ТАТЬЯНЕ ЧЕРЕДНИЧЕНКО —**

за статьи о музыке «Традиция без слов» (2000, № 7), «В режиме музыкального времени» (2001, № 8), «Форма и структура в искусстве звука и слова» (2001, № 10);

**ОЛЕГУ ЧУХОНЦЕВУ —**

за цикл стихотворений «Фифиа» (2001, № 11).

---

Специальная премия в связи с 115-летием  
со дня рождения литературного критика, журналиста  
**ВЯЧЕСЛАВА ПАВЛОВИЧА ПОЛОНСКОГО,**  
возглавлявшего «Новый мир» в 1926 — 1931 годах,  
присуждена

**ОЛЬГЕ СЛАВНИКОВОЙ —**

за литературно-критические и эссеистические статьи, опубликованные в нашем журнале в 2000 — 2001 годах.